Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Война в воздухе

ГЛАВА 1

О ПРОГРЕССЕ И СЕМЕЙСТВЕ СМОЛЛУЕЙЗ

1

— А прогресс-то этот,— сказал мистер Том Смоллуейз,— идет себе вперед.

— Вот уж не думал, что так и дальше пойдет,— сказал мистер Том Смоллуейз.

Это замечание мистер Смоллуейз сделал задолго до того, как разразилась война в воздухе. Он сидел на ограде в дальнем углу своего сада и равнодушно созерцал знаменитые банхиллские газовые заводы. Над сгрудившимися газгольдерами возникли три странных предмета—маленькие, колышущиеся пузыри; они переваливались с боку на бок, становились все больше, все круглее — это наполняли газом воздушные шары, на которых по субботам Южно-английский аэроклуб устраивал полеты.

— Каждую субботу взлетают,— сказал сосед Тома, мистер Стрингер, владелец молочной лавки.— Еще только вчера, можно сказать, весь Лондон высыпáл на улицу поглазеть на летящий воздушный шар, а нынче в каждой деревушке, что ни суббота, отправляются на прогулку, то бишь взлетают на прогулку шары. Для газовых компаний прямо чистое спасение.

— В прошлую субботу мне пришлось увезти с картошки три тачки песку,— сказал мистер Том Смоллу-

ейз.— Три тачки! Это они балласт сбросили. Несколько кустов сломали, а другие и вовсе засыпало.

— Говорят, и дамы на них поднимаются!

— Дамы, как бы не так,— отозвался Том Смоллуейз.— По-моему, не дамское это дело — разлетывать по воздуху да сыпать людям на голову песок, как хотите, а я привык, что дамы ведут себя по-другому.

Мистер Стрингер одобрительно кивнул и некоторое время оба — теперь уже не равнодушно, а с осуждением — глядели на все больше раздувавшиеся шары.

Мистер Том Смоллуейз, по роду занятий зеленщик, питал большое пристрастие к садоводству, его женушка Джессика хлопотала в лавке — словом, волею судеб Том был создан для спокойчой жизни. Но, к несчастью для него, судьба не даровала ему спокойной жизни — покоя не было. Том жил в мире неудержимых, нескончаемых перемен, в той его части, где перемены эти особенно бросались в глаза. Ненадежна была даже земля, которую Том возделывал: даже аренду на огород ему приходилось возобновлять ежегодно, и огромная, заслонявшая солнце вывеска гласила, что это не столько огород, сколько годный под застройку участок. Этот последний уголок сельской жизни был обречен: со всех сторон наступало новое, городское. Том утешал себя как мог надеждой, что лучшие времена не за горами.

— Вот уж не думал, что так и дальше пойдет,— повторял он.

Престарелый отец мистера Смоллуейза помнил еще времена, когда Банхилл был мирной кентской деревушкой. До пятидесяти лет он служил кучером у сэра Питера Боуна, но потом пристрастился к спиртному, воссел на козлах станционного омнибуса и ездил так до семидесяти восьми лет, а затем удалился на покой. Он грелся у очага, согбенный, старенький кучер, его переполняли воспоминания, и он готов был излить их на любого неосмотрительного пришельца. Он мог бы рассказать про поместье сэра Питера Боуна, которое давно исчезло, разделенное на участки и застроенное, и про то, как этот магнат заправлял всей сельской округой, пока она еще была сельской, как господа охотились да катались по дорогам в каретах, и какое там, где нынче стоит газовый завод, было крикетное поле, и как появился Хрустальный

Дворец. Хрустальный Дворец находился в шести милях от Банхилла, его великолепный фасад сверкал в лучах утреннего солнца, в полдень он выделялся на фоне неба четким голубым силуэтом, а по вечерам позволял всем жителям Банхилла любоваться даровым фейерверком. Потом появилась железная дорога, и виллы, много вилл, и газовые заводы, и водопроводные станции, и огромное скопище уродливых домов для рабочих; затем окрестности осушили, и вода ушла из Оттерберна, который превратился в отвратительную канаву; затем прибавилась еще одна железнодорожная станция — Южный Банхилл; появлялись все новые и новые дома, новые лавки и новые конкуренты, магазины с зеркальными витринами, государственные школы, твердые цены, автобусы, идущие до самого Лондона, трамваи, велосипеды, автомобили, которых становилось все больше, и, наконец, библиотека Карнеги.

— Вот уж не думал, что так и дальше пойдет! — говорил Том Смоллуейз, выросший среди всех этих чудес.

Однако все шло дальше. И с самого начала зеленная лавка, которую Том открыл в маленьком, уцелевшем с деревенских времен домике в конце Хай-стрит, казалась какой-то пришибленной, словно ее кто-то выслеживал, а она хотела спрятаться. Когда Хай-стрит замостили, улицу выровняли, и теперь, чтобы попасть в лавку, приходилось спускаться по трем ступенькам. Том изо всех сил старался торговать лишь собственной, превосходной, хотя и не слишком разнообразной продукцией. Но прогресс наступал, затопляя витрину лавки французскими артишоками и баклажанами, бананами, диковинными орехами, грейпфрутами, манго и привозными яблоками — яблоками из штата Нью-Йорк, яблоками из Калифорнии, яблоками из Канады, яблоками из Новой Зеландии.

— С виду они хороши, да только с английскими я их не сравню, — говорил Том.

Автомобили, мчавшиеся на север и на юг, становились все мощнее, все совершеннее, от них было все больше шуму и вони; исчезли запряженные лошадьми фургоны — уголь и товары теперь доставляли большие грохочущие грузовики, автобусы вытеснили омнибусы, даже кентскую клубнику отправляли ночью в Лондон на

машинах, она тряслась и подпрыгивала, вместо того чтобы мерно покачиваться, и отдавала теперь прогрессом и бензином.

И в дополнение ко всему Берт Смоллуейз обзавелся мотоциклетом...

2

Необходимо пояснить: Берт был прогрессивным Смоллуейзом. Прогресс проник даже в кровь Смоллуейзов, и это красноречивее всего прочего говорило о его безжалостном напоре и неудержимости. Младший Смоллуейз, еще бегая в коротких штанишках, обнаружил уже известную предприимчивость и тягу ко всему новому. Пяти лет он однажды пропал на целый день, и ему еще не исполнилось семи, когда он едва не утонул в отстойнике новой водопроводной станции. Ему было десять, когда настоящий полицейский отобрал у него настоящий пистолет. И курить он научился совсем не как Том — самодельные трубки, оберточная бумага, камыш его не интересовали,— он курил американские папиросы «Мальчики Англии», пенни пачка. Не достигнув и двенадцати лет, он уже употреблял словечки, приводившие в ужас его папашу, предлагал пассажирам на станции поднести багаж, продавал банхиллскую «Уикли Экспресс» и, зарабатывая таким манером больше трех шиллингов в неделю, тратил их на покупку иллюстрированных юмористических журнальчиков, на папиросы и на прочие атрибуты приятной и просвещенной жизни. Однако все это не мешало Берту получить классическое образование, ввиду чего он в поразительно юном возрасте достиг седьмого класса начальной школы. Я упомянул обо всем этом, чтобы вам стало ясно, что представлял собой этот Берт.

Он был на шесть лет моложе брата, и одно время Том попытался было использовать его в своей зеленной лавке, когда на двадцать втором году жизни женился на тридцатилетней Джессике, служанке, сумевшей скопить немного деньжат. Однако Берт был не из тех, кого можно использовать. Он терпеть не мог копаться в земле, а когда ему поручали доставить заказчику корзину зелени, в нем просыпался инстинкт кочевника, и он от-

правлялся шататься: корзина становилась вьюком, Берта не смущал ее вес и нимало не заботило, куда ее надо доставить — до места назначения он никогда не добирался. Мир был полон чудес, и он блуждал в поисках их с корзиной в руке. Так что Том разносил свои товары самолично, а Берту старался подыскать хозяина, который не ведал бы о поэтических наклонностях братца. Одно за другим Берт перепробовал множество всяких занятий: был сторожем в галантерейном магазине, рассыльным аптекаря, слугой доктора, младшим помощником газовщика, надписывал адреса на конвертах, побывал подручным у молочника, мальчиком, прислуживающим игрокам в гольф, и, наконец, поступил в велосипедную мастерскую. Тут, вероятно, он наконец и сумел удовлетворить снедавшую его жажду прогресса. Хозяин его, некий Грабб, молодой человек с душой пирата, мечтавший изобрести и запатентовать новую цепную передачу, днем ходил с перемазанной физиономией, а по вечерам развлекался в мюзик-холле; он казался Берту истым аристократом духа. Он давал напрокат самые грязные и самые ненадежные во всей Южной Англии велосипеды и с большим жаром отвергал претензии недовольных клиентов. Они с Бертом прекрасно поладили. Берт вошел во вкус и стал сущим циркачом — он мог миля за милей катить на велосипеде, который подо мной или под вами в мгновение ока развалился бы на части; покончив с дневными делами, он стал мыть лицо и иногда даже шею, лишние деньги тратил на всякие необыкновенные галстуки и воротнички, на папиросы и на изучение стенографии в Банхиллском институте.

Изредка он заходил к брату и при этом так элегантно выглядел и изъяснялся, что Том с Джессикой, вообще склонные почитать всех и вся, взирали на него совсем уж сверхпочтительно.

— Наш Берт от времени не отстает,— говорил Том жене.— Много чего знает.

— Только бы не слишком много,— отзывалась Джессика, убежденная, что каждый должен помнить свое место.

— Время-то мчится вперед,— говорил Том.— Взять хоть новый сорт картошки да еще наш, английский. Если так пойдет дальше, уже в марте копать придется.

Таких времен я еще не видывал. Заметила, какой вчера был на нем галстук?

— Он ему, Том, совсем не к лицу. Это же галстук для джентльмена. А ему он — как корове седло. Ну совсем не подходит.

А потом Берт завел себе костюм, кепи, значок и все, что положено велосипедисту. И тем, кто видел, как Берт с Граббом, припав к рулю, изогнувшись дугой, мчатся в Брайтон (или возвращаются оттуда), становилось ясно, что порода Смоллуейзов способна на многое!

Время мчалось вперед!

Старик Смоллуейз по-прежнему сидел у огня и бубнил о величии прежних дней, о старом сэре Питере, который, когда сам правил лошадьми, успевал съездить в Брайтон и обратно за двадцать восемь часов, о белых цилиндрах старого сэра Питера, о леди Боун, которая ступала по земле лишь когда гуляла в саду, о знаменитых состязаниях боксеров в Кроули. Он толковал о красных охотничьих куртках и кожаных штанах, о лисицах, водившихся в долине Ринга, там, где Совет графства устроил теперь приют для умалишенных, о кринолинах леди Боун. Никто не слушал его. В мире народился абсолютно новый тип джентльмена — джентльмена, обладавшего отнюдь не джентльменской энергией, джентльмена в запыленной кожаной куртке, защитных очках и кепи, джентльмена, который распускал вокруг вонь, стремительного нарушителя спокойствия, который без конца носился по дорогам, стремясь вырваться из клубов пыли и вони, им же самим поднимаемых. А его дама — насколько ее удавалось разглядеть жителям Банхилла,— обветренная богиня, как цыганка, свободная от пут утонченности, была не одета, а скорее упакована для транспортировки с громадной скоростью.

И Берт рос, обуреваемый идеалами скорости и предприимчивости, и мало-помалу стал чем-то вроде механика, специалиста по велосипедам, из тех, что, колупая ногтем эмаль, небрежно роняют: а ну-ка взглянем, что там у вас? Даже гоночный велосипед с передачей сто на двадцать его не вполне удовлетворял. И одно время он изнывал, делая двадцать миль в час на дорогах, где пыли и механического транспорта становилось все больше и больше. Но наконец-то он скопил достаточно, и на-

стал его час. Система продажи в рассрочку позволила преодолеть недостаточность финансов, и в одно прекрасное, незабываемое воскресное утро Берт вывел свое приобретение из мастерской на дорогу. Он взобрался на него с помощью не скупившегося на советы Грабба и, затарахтев, исчез в сизой дымке истерзанного шинами шоссе, своей персоной добровольно увеличив опасности, портящие прелесть жизни на юге Англии.

— В Брайтон покатил! — воскликнул старик Смоллуейз, с неодобрением, но и не без гордости наблюдавший за действиями своего младшего сына из окна гостиной, расположенной над зеленной лавкой.— В его-то годы я сроду и в Лондоне не был, не забирался южнее Кроули — только там и бывал, куда мог добраться пешком. Да и никто никуда не ездил. Кроме господ, конечно. А нынче все куда-то несутся. Вроде как вся страна в тартарары летит. Как еще назад-то ворочаются! Тоже мне — в Брайтон покатил! А не охота ли кому купить пару лошадок?

— Про меня вы, папаша, не можете сказать, что я бывал в Брайтоне,— заметил Том.

— И нечего про это думать,— резко добавила Джессика,— шататься бог знает где да сорить деньгами.

3

На какое-то время великие возможности мотоциклета совсем заворожили Берта, и он не заметил, что неугомонную душу человека влечет уже что-то совершенно новое. От его внимания ускользнуло, что вслед за велосипедом и автомобиль, утрачивая романтику риска, стал обычным надежным средством передвижения. И весьма примечательно, как ни странно, что первым заметил нарождавшееся новшество Том. Но возня в огороде частенько заставляла его поглядывать на небо, под боком у него были банхиллские газовые заводы и Хрустальный Дворец, откуда то и дело взлетали воздушные шары, и в довершение всего песок, который начал сыпаться на его картошку,— все это заставило тугодума Тома осознать тот факт, что Богиня Перемен обратила свою неугомонную пытливость к небу. Начиналось первое грандиозное увлечение воздухоплаванием.

Грабб и Берт услышали об этом в мюзик-холле; затем кинематограф заставил их понять, что к чему, а шестипенсовое издание «Изгнанников неба» — классический труд по аэронавтике мистера Джорджа Гриффитса — разбудило фантазию Берта, и таким образом воздухоплавание овладело воображением друзей.

Прежде всего бросалось в глаза, что аэростатов стало гораздо больше. В небе над Банхиллом они кишмя кишели. Стоило только днем в среду, и особенно в субботу, с четверть часика понаблюдать за небом, как уж где-нибудь непременно объявлялся аэростат. И вот в один прекрасный день направлявшийся в Кройдон Берт вдруг остановился и слез с мотоциклета — над Хрустальным Дворцом медленно поднималось гигантское чудовище. Оно было похоже на приплюснутую луковицу, снизу в небольшой прочной клети помещался аэронавт и мотор, спереди со свистом вращался винт, а позади торчал сделанный из парусины руль. Клеть тащила за собой сопротивлявшийся газовый баллон — словно шустрый крохотный терьер тянул к публике осторожного, надутого газом слона. Комбинированное чудовище, несомненно, двигалось своим ходом и слушалось руля. Поднявшись футов на тысячу (Берт слышал шум мотора), оно повернуло к югу и исчезло за грядой холмов, потом вновь появилось, но уже на востоке крохотным синим контуром, и, подгоняемое юго-западным ветерком, быстро приблизилось, покружило над башнями Хрустального Дворца, выбрало место для посадки и скрылось из виду.

Берт глубоко вздохнул и вернулся к своему мотоциклету.

Это было только начало — в небесах одно за другим появлялись невиданные доселе чудовища — цилиндрические, конусообразные, грушевидные аппараты, а однажды в вышине проплыло даже какое-то сооружение из алюминия, которое так ярко блестело, что Грабб вдруг подумал о броне и по ассоциации принял его за летающий броненосец.

А потом начались настоящие полеты.

Однако в Банхилле наблюдать их было нельзя — они устраивались в частных владениях или других недоступных для публики местах, при благоприятных условиях, и Грабб с Бертом Смоллуейзом узнавали о по-

летах только из дешевых газеток и кинематографических лент. Но разговорам не было конца, и стоило в те дни услышать в толпе громко, с уверенностью сказанную фразу: «Непременно получится»,—как можно было биться об заклад, что речь идет о полетах. Берт взял дощечку и четко вывел: «Здесь изготовляют и чинят аэропланы»,—и Грабб выставил объявление в витрине мастерской. Том расстроился: по его мнению, это говорило о несерьезном отношении к собственному заведению, но большинство соседей, и особенно завзятые остряки, горячо одобрили шутку.

Все говорили о полетах, все твердили в одно слово «непременно получится», но ничего не получилось. Произошла заминка. Летать-то летали — это верно. В машинах тяжелее воздуха, но они разбивались. Иногда разбивалась машина, иногда — аэронавт, чаще всего — оба. Машины, которые один раз уже пролетели три-четыре мили и благополучно приземлились, в следующий раз взлетали навстречу неминуемой гибели. Выходило, что они были совсем ненадежны. Их опрокидывал легкий ветерок, их опрокидывали завихрения воздуха у самой земли, их опрокидывала лишняя мысль в голове аэронавта. И они опрокидывались просто так — ни с того ни с сего.

— Им не хватает устойчивости,— повторял Грабб вычитанные в газете фразы.— Их мотает во все стороны, пока они не рассыплются на куски.

После двух лет ожиданий и обманутых надежд опыты в этом направлении прекратились; публике, а затем и газетам надоели дорогостоящие фотографии летательных аппаратов, надоели восторженные статьи об успешных полетах, сменявшиеся сообщениями о катастрофах и зловещим молчанием. Полеты на управляемых аппаратах прекратились совершенно, даже на аэростатах стали подниматься гораздо меньше, хотя этот вид спорта оставался весьма популярным, и песок со взлетного поля банхиллских газовых заводов по-прежнему поднимался в воздух, а затем сыпался на газоны и огороды почтенных граждан. Теперь Том мог бы несколько лет пожить спокойно — во всяком случае, воздухоплавание ему не досаждало. Но в это время начал стремительно развиваться монорельс, и заоблачные выси перестали

тревожить Тома — грозные признаки надвигавшихся перемен появились над самой его головой.

Об однорельсовой железной дороге поговаривали уже не первый год. Но беда пришла, когда Бреннан ошеломил Королевское общество своим гироскопическим монорельсовым вагоном. Это была самая большая сенсация светских приемов 1907 года. Знаменитый демонстрационный зал Королевского общества оказался на сей раз мал. Доблестные воины, столпы сионизма, прославленные романисты, светские дамы забили узкий проход, грозя переломать своими благородными локтями ребра, для человечества весьма ценные, и почитали себя счастливыми, если им удавалось увидеть «хотя бы кусочек рельса». Великий изобретатель давал очень убедительные пояснения, которые из-за шума нельзя было разобрать, и модель поезда будущего, послушная его воле, взбегала наверх, делала повороты, скользила по провисшей проволоке. Она бежала по своему единственному рельсу, на своем единственном колесе, простая и надежная, она останавливалась, шла задним ходом и хорошо сохраняла равновесие, когда ее останавливали. Вокруг бушевали аплодисменты, а модель сохраняла свое поразительное равновесие. Наконец зрители разошлись, обсуждая, насколько приятно будет перебираться через пропасть по натянутому канату. «А если гироскоп возьмет да и остановится?!» Мало кто из них предвидел и десятую долю того, что сделает бреннановский монорельс с их железнодорожными акциями и как изменит он лицо мира.

Поняли это через несколько лет. Прошло немного времени, и никто уже не боялся проноситься над пропастью по канату, а монорельс все настойчивее вытеснял трамвайные линии, железнодорожные пути и вообще любые рельсовые дороги. Там, где земля стоила дешево, рельс бежал по земле, а где дорого — поднимался на стальные опоры и проходил верхом; удобные вагоны быстро добирались до любого места, вполне заменив весь прежний рельсовый транспорт.

Когда умер старик Смоллуейз, самое интересное, что нашел сказать о нем Том, было:

— А когда папаша был мальчонкой, выше трубы-то в небе ничего не было — ни тебе канатов, ни проводов!

Старик Смоллуейз сошел в могилу, осененную густоплетением кабеля и проводов. Банхилл стал к тому времени не только своего рода центром распределения энергии (Южно-английская компания распределения энергии построила рядом со старыми газовыми заводами генераторную станцию и трансформаторы), но и узловой станцией пригородной монорельсовой системы. Мало того, лавочники, все до единого, обзавелись телефонами, да и вообще почти в каждом доме был теперь телефон.

Опоры монорельса—громоздкие конусообразные конструкции из металла, выкрашенные в яркий сине-зеленый цвет, стали наиболее примечательной чертой городского пейзажа. Одна из опор оседлала жилище Тома, и домик под этой махиной выглядел еще более съежившимся и виноватым; другой великан расположился в самом углу огорода, который так и остался незастроенным и лишь украсился двумя рекламными щитами; один рекомендовал дешевые часы, а другой — средство для успокоения нервов. Оба щита, между прочим, укрепили почти горизонтально, чтобы их могли видеть пассажиры монорельса, и они служили отличной крышей для сарайчиков, где Том хранил инструменты и разводил шампиньоны. И днем и ночью над головою Тома с жужжанием проносились вагоны, они мчались из Брайтона и Гастингса — длинные, комфортабельные, ярко освещенные. И по ночам на улице внизу казалось, что над головой непрерывно грохочет летний гром и сверкают молнии.

Вскоре монорельс прошел и над Ла-Маншем — вереница громадных стальных Эйфелевых башен несла его трос над водой на высоте ста пятидесяти футов, а в середине пролива трос поднимался еще выше — чтобы под ним могли проходить суда, направляющиеся в Лондон или Антверпен, и пароходы, курсирующие на линии Гамбург — Нью-Йорк.

А потом и тяжелые грузовики встали на два колеса, расположенные одно за другим, и это почему-то невероятно расстроило Тома; после того как первый такой грузовик промчался мимо его лавчонки, он несколько дней ходил как в воду опущенный...

Разумеется, развитие гироскопа и монорельса приковывало внимание публики, а затем последовало сенса-

ционное открытие мисс Патриции Гидди, которая, производя подводную геологическую разведку, обнаружила у берегов острова Англии колоссальные залежи золота. Мисс Гидди прослушала курс геологии и минералогии в Лондонском университете и занималась изучением золотоносных пород в Северном Уэльсе; после короткого отпуска, во время которого она агитировала за предоставление женщинам избирательных прав, ей вдруг пришло в голову, что основные выходы породы могут находиться на морском дне. Она решила проверить свою догадку с помощью подводного ползуна, изобретенного доктором Альберто Кассини. Благодаря счастливому сочетанию научного предвидения и присущей ее полу интуиции, она обнаружила золото при первом же погружении и, пробыв под водой три часа, поднялась на поверхность с грузом неслыханно золотоносной руды — семнадцать унций на тонну породы. Но подробный рассказ о ее подводных работах, как он ни интересен, должен подождать до другого раза. Сейчас достаточно заметить, что, когда в результате ее находки резко повысились цены и оживилась деловая жизнь, вновь вспыхнул интерес к воздухоплаванию.

4

Начало этого завершающего этапа в развитии воздухоплавания очень любопытно. Словно в тихий день внезапно подул ветер. Люди вдруг снова заговорили о полетах и так, будто ни на секунду не охладевали к этой теме, Фотографии летательных аппаратов, снимки полетов вновь замелькали на страницах газет. В серьезных журналах множилось число статей, посвященных воздухоплаванию. Пассажиры монорельса спрашивали друг друга: «Когда же мы начнем летать?» Полчища новых изобретателей выросли буквально за одну ночь, как грибы. Аэроклуб предложил проект создания грандиозной выставки летательных аппаратов на обширной территории, освободившейся в Уайтчепеле после уничтожения трущоб.

Приливная волна вызвала ответную рябь и в велосипедной мастерской Банхилла. Грабб снова извлек на свет божий свою модель летательной машины, стал на

заднем дворе ее испытывать, с грехом пополам заставил ее взлететь и вдребезги разбил в соседском парнике семнадцать рам и девять цветочных горшков.

А потом, неизвестно где и как зародившись, возник настойчивый, волнующий слух: проблема разрешена, секрет найден. Берт услышал про это, когда подкреплялся в ресторанчике близ Натфилда, куда он прикатил на своем мотоцикле — в этот день друзья раньше обычного закрыли мастерскую. У дверей некто в хаки, с виду сапер, задумчиво покуривал трубку. Незнакомец заинтересовался мотоциклетом Берта. Эта почтенная машина прослужила уже почти восемь лет и представляла теперь историческую ценность: ведь все так быстро менялось. Детально обсудив ее достоинства, солдат заговорил о другом:

— А я уж об аэроплане подумываю. Хватит с меня дорог и шоссе.

— Да все только говорят,— заметил Берт.

— И говорят и летают,— сказал солдат.— Дело на мази.

— Да уж оно давно на мази,— возразил Берт.— Вот увижу своими глазами, тогда поверю.

— Ждать недолго,— сказал солдат.

Постепенно разговор перешел в дружескую перепалку.

— Говорю тебе, они уже летают,— настаивал солдат.— Сам видел.

— Да все мы видели,— не сдавался Берт.

— Да я не о тех, что взлетают и тут же разбиваются, я говорю про настоящие, надежные, устойчивые машины, которые летают против ветра, и им ничего не делается.

— Ну уж такого ты не видел!

— Видел! В Олдершоте. Они стараются держать все в секрете. Но машины у них есть, можешь мне поверить. Уж на этот раз военное министерство не оплошает, будь покоен.

Недоверие Берта было поколеблено. Он засыпал солдата вопросами, и тот пустился в подробности.

— Они огородили там почти квадратную милю — целую такую долину. Колючая проволока в десять футов

высоты, и за ней все чего-то происходит. Ребята наши нет-нет да кое-что и подсмотрят. Только не мы одни такие умные. Взять хоть японцев. Бьюсь об заклад, что у них уже есть машины, да и у немцев тоже. А уж французишки эти и тут наверняка всех обскачут: уж они всегда так! Первыми броненосцы построили, и подводные лодки, и управляемые аэростаты; уж будьте уверены — на этот раз они тоже не отстанут!

Солдат принялся задумчиво набивать трубку. Берт сидел на низенькой ограде, около которой поставил свой мотоциклет.

— Чудно-то как воевать будут,— заметил он.

— Полеты долго не скроешь,—сказал солдат.—А как все откроется... как занавес поднимется, так, помяни мое слово, окажется, что на сцене они все, все до единого, и времени зря не теряют. И грызутся меж собой. Да ты в газетах-то про это читаешь?

— Иногда читаю,— ответил Берт.

— А ты не замечал таких случаев, которые можно окрестить «тайной исчезающего изобретателя»? Раструбят о новом изобретении, и, глядь, изобретатель после двух-трех успешных полетов исчезает неизвестно куда...

— Да нет, по правде говоря, не замечал,— сказал Берт.

— А я вот заметил. Стоит только кому-нибудь придумать по этой части что-нибудь стоящее, и уж его нет как нет. Исчезнет тихо, незаметненько. И скоро о нем уже ни слуху ни духу. Понятно? Исчезают, и все тут. Выбыл без указания адреса. Первыми появились — да это еще когда было! — в Америке братья Райт. Полетали-полетали да и пропали из виду. И было это, чтоб не соврать, еще в году девятьсот четвертом или пятом. А потом появились эти ирландцы — забыл, как их звали. Все говорили, что они могут летать. И тоже исчезли. Я не слышал, чтоб они погибли, да и живыми их не назовешь. Как в воду канули. А потом еще этот парень, что сделал круг над Парижем и упал в Сену! Де Булей, кажется? Забыл фамилию. Хоть он и плюхнулся в воду, а все равно пролетел здорово. Где этот парень теперь? После того случая он остался цел и невредим. Выходит, что же? Значит, притаился где-то.

Солдат достал спички.

— Похоже, их зацапывает какое-то тайное общество! — заметил Берт.

— Тайное общество! Как бы не так!

Солдат чиркнул спичкой и поднес огонек к трубке.

— Тайное общество! — повторил он, сжимая зубами трубку, не погасив еще спичку.— Военные ведомства — это вернее.— Он отшвырнул спичку и направился к своей машине.

— Вы уж мне поверьте, сэр, сейчас ни одна из держав в Европе, ни в Азии, ни в Америке, ни в Африке в стороне не стоит, и каждая прячет под полой не меньше двух летательных машин. Никак не меньше. Настоящие, действующие, летательные машины. А шпионят-то как! Как вынюхивают да выведывают, что есть новенького у других! Говорю вам, сэр, из-за этого сейчас ни одного иностранца да и своих местных без пропуска ближе чем на четыре мили к Лидду не подпускают, не говоря уж про наш цирк в Олдершоте и лагерь для испытаний в Голуэй. Вот так-то.

— Ну что ж,— сказал Берт,— я бы не прочь поглядеть на такую штуковину. Просто, чтоб убедиться. Если увижу, то поверю, даю слово.

— Увидишь, и довольно скоро,— сказал солдат и вывел свою машину на дорогу.

Берт остался сидеть на ограде в мрачной задумчивости, кепи съехало у него на затылок, в углу рта тлела папироса.

— Если только он не врет,— сказал Берт,— выходит, мы с Граббом попусту теряем драгоценное вребя. Да еще прямой убыток из-за этого разбитого парника.

5

Интригующий разговор с солдатом все еще будоражил воображение Берта, когда произошло самое поразительное событие этой драматичной главы в истории человечества—долгожданный полет в воздухе стал явью. Люди привыкли запросто рассуждать о событиях эпохального значения, но это событие действительно составило эпоху. Некий мистер Альфред Баттеридж совершенно не-

ожиданно и во всех отношениях успешно совершил перелет из Хрустального Дворца в Глазго и обратно в небольшой, с виду весьма надежной машине тяжелее воздуха; она прекрасно слушалась управления и летела не хуже голубя.

Каждый понимал, что это не просто шаг вперед, но гигантский шаг, громадный скачок. В общей сложности мистер Баттеридж пробыл в воздухе около девяти часов, и все это время летел легко и уверенно, как птица. Однако машина его вовсе не походила на птицу или на бабочку, и у нее не было широких горизонтальных плоскостей, как у обыкновенных аэропланов. Она скорее напоминала пчелу или осу. Одни части аппарата вращались с громадной скоростью и создавали впечатление прозрачных крыльев, другие же оставались совершенно неподвижными, в том числе и два по-особому изогнутых «надкрылья», если можно прибегнуть к сравнению с летящим жуком. Посредине находился продолговатый округлый кузов, очень напоминавший туловище ночной бабочки, и снизу можно было разглядеть, что мистер Баттеридж сидит на нем верхом, как на лошади. Сходство с осой усиливалось тем, что во время полета аппарат громко жужжал, совсем как оса, которая бьется об оконное стекло.

Мистер Баттеридж ошеломил мир. Он принадлежал к тем личностям, которые вдруг являются из неизвестности, чтобы стимулировать энергию всего человечества. Говорили, что он приехал из Австралии, из Америки, с юга Франции. Рассказывали также безо всяких к тому оснований, что он сын фабриканта, который нажил приличное состояние изготовлением самопишущих ручек с золотым пером «Баттеридж». Но изобретатель принадлежал к совсем другим Баттериджам. В течение нескольких лет он, несмотря на свою представительную внешность, зычный голос и развязные манеры, был одним из самых незаметных членов почти всех воздухоплавательных обществ. Потом в один прекрасный день он написал во все лондонские газеты о своем намерении совершить с территории Хрустального Дворца полет на воздухоплавательной машине, которая убедительно продемонстрирует, что чрезвычайные трудности, мешавшие успешным полетам, наконец-то преодолены. Однако лишь немногие

газеты напечатали письмо Баттериджа, и очень мало кто ему поверил. Интерес к полету не пробудился даже после того, как его пришлось отложить из-за скандала, разразившегося у подъезда одного из самых лучших отелей на Пиккадили, когда Баттеридж по причинам личного характера попытался нанести оскорбление действием известному немецкому музыканту. В газетах это происшествие осветили очень бегло и фамилию переврали — одни писали о Буттеридже, другие — о Бетриже. До своего первого полета Баттериджу так и не удалось привлечь к себе внимание публики. Как он себя ни рекламировал, едва ли тридцать человек собралось к шести часам утра в тот знаменательный летний день, когда двери большого ангара, в котором он собирал свой аппарат, распахнулись (ангар находился около Хрустального Дворца, неподалеку от громадной статуи мегатерия), и гигантское насекомое с громким жужжанием вылетело навстречу презрительно равнодушному, недоверчивому миру.

Но не успел Баттеридж и два раза облететь башни Хрустального Дворца, как о нем уже затрубила Богиня Молвы; она набрала в легкие воздух, когда спавшие около Трафальгарской площади бродяги проснулись от громкого жужжания и увидели, что аппарат вертится вокруг колонны Нельсона, а к тому времени, как он достиг Бирмингема, что произошло в половине десятого утра, раскаты ее трубы уже гремели по всей стране. Свершилось то, в чем уже отчаялись. Человек летел, летел хорошо и уверенно.

Шотландия уже ждала Баттериджа, разинув рот. Он прилетел в Глазго в час дня, и, говорят, работа на верфях и фабриках этого гигантского промышленного улья возобновилась только в половине третьего. Человеческий ум свыкся с мыслью, что полеты в воздухе — затея несбыточная, ровно настолько, чтобы по достоинству оценить достижение мистера Баттериджа. Он покружил над университетскими зданиями и снизился, чтобы его могли услышать толпы, собравшиеся в парках и на склонах Гилморского холма. Аппарат летел уверенно, со скоростью примерно три мили в час, он описывал широкие круги, и его мощное жужжание, конечно, заглушило бы зычный голос Баттериджа, если бы он не запасся рупором. Беседуя с зеваками, авиатор свободно маневрировал,

пролетая мимо церквей, высоких зданий и линий монорельса.

— Меня зовут Баттеридж! — выкрикивал он.— Б-а-т-т-е-р-и-д-ж! Поняли? Моя мамаша была шотландка.

Убедившись, что его поняли, он поднялся выше, сопровождаемый ликующими возгласами и патриотическими выкриками, быстро и легко набрал высоту и устремился на юго-восток; свободные волнообразные движения аппарата очень напоминали полет осы.

Возвращение Баттериджа в Лондон — он пролетел и покружился еще над Манчестером, Ливерпулем и Оксфордом и повсюду выкрикивал свою фамилию — вызвало волнение совершенно неслыханное. Все жители до единого жадно смотрели в небо. На улицах в тот день передавили больше народу, чем за три предыдущих месяца, а пароход «Айзек Уолтон», принадлежащий совету графства, налетел на бык Вестминстерского моста и только чудом избежал гибели: уровень воды был невысок, и пароход успел выброситься на илистый южный берег. К вечеру Баттеридж вернулся на территорию Хрустального Дворца — эту историческую взлетную площадку дерзателей аэронавтов,— благополучно поставил в ангар свой аппарат и запер ворота перед самым носом у фоторепортеров и журналистов, дожидавшихся его возвращения.

— Вот что, ребята,— заявил он в то время, как помощник запирал ангар.— Я до смерти устал и совсем отсидел зад. Не в силах сказать и двух слов. Слишком измотался. Моя фамилия Баттеридж. Б-а-т-т-е-р-и-д-ж. Не переврите. Я гражданин Британской империи. Завтра поговорим.

Нечеткие снимки, увековечившие этот эпизод, сохранились и до сих пор. Помощник пробивается сквозь бушующий водоворот энергичных молодых людей в котелках и пестрых галстуках, с блокнотами и фотоаппаратами в руках. Внушительная фигура самого Баттериджа высится в дверях, под густыми усами перекошенный провал рта — изобретатель старается перекричать неумолимых служителей гласности. Вот он возвышается над всеми, самый знаменитый человек в Англии. Рупор, которым он размахивает, выглядит как символ его славы.

6

Оба брата, и Том и Берт Смоллуейз, видели возвращение аэронавта. Они стояли на вершине холма, откуда столько раз любовались рассыпавшимся над Хрустальным Дворцом фейерверком. Берт был взволнован, Том сохранял туповатое спокойствие, но ни тот, ни другой не представляли себе, как это новшество повлияет на их собственную жизнь.

— Может, старина Грабб теперь всерьез займется мастерской и сожжет свою проклятую модель,— сказал Берт.— Конечно, нас это не спасет, разве что заказ Стейнхарта нас вывезет.

Берт достаточно разбирался в вопросах аэронавтики и сразу понял, что от появления этой гигантской пчелы у газет — как он выразился — родимчик сделается. На другой день его слова полностью подтвердились: газетные полосы чернели моментальными снимками, истошно вопили заголовки, захлебывались статьи. Через день стало еще хуже. К концу недели это были уже не газеты, а один истошный вопль.

Такую сенсацию вызвала прежде всего колоритная фигура мистера Баттериджа и то обстоятельство, что он соглашался открыть секрет своего изобретения лишь при соблюдении совершенно неслыханных условий. Да, у Баттериджа был секрет, и он охранял его самым тщательным образом. Собрал он свой аппарат собственноручно, надежно укрывшись в ангаре Хрустального Дворца, с помощью рабочих, которые ни во что не вникали; на другой день после полета он без посторонней помощи разобрал машину на части, все наиболее важные детали упаковал сам, а чтобы сложить и разослать остальное, нанял чернорабочих. Запечатанные ящики отправились на север, восток и запад, в самые различные склады, причем механизмы были упакованы с особой тщательностью. Предосторожности оказались не лишними: спрос на любые фотографии и зарисовки аппарата был бешеный. Но, продемонстрировав один раз свою машину, мистер Баттеридж не желал больше рисковать: он намеревался сохранить свой секрет в тайне. Он поставил перед страной вопрос: нужен ей его секрет или нет? Он без конца твердил, что он гражданин Британской империи и

жаждет только одного, чтобы его изобретением монопольно владела Империя. Только...

Тут-то и начинались трудности.

Оказалось, что Баттеридж отнюдь не страдает ложной скромностью, вернее, скромность вообще не была ему ведома: он на редкость охотно давал интервью, отвечал на любые вопросы, но только не связанные с аэронавтикой, высказывался на разные темы, многое критиковал, рассказывал о себе, позировал перед портретистами и фотографами и вообще заполнял собой вселенную. На портретах прежде всего бросались в глаза черные усищи и свирепое выражение лица. Общее мнение было, что Баттеридж личность мелкая: ведь ни одна крупная личность не стала бы смотреть на всех так вызывающе — и тут уже Баттериджу не мог помочь ни его рост — шесть футов, два дюйма, ни соответствующий вес. Кроме того, оказалось, что Баттеридж бурно влюблен, но чувство его не освящено узами брака, и английская публика, по-прежнему весьма щепетильная в вопросах морали, с тревогой и возмущением узнала, что Британская империя может приобрести бесценный секрет устойчивых полетов, только проникнувшись сочувствием к этому адюльтеру. Подробности этой истории так и остались неясны, но, очевидно, дама сердца мистера Баттериджа в порыве неосмотрительного великодушия вступила в брак с ядовитым хорьком (я цитирую одну из неопубликованных речей Баттериджа), и этот зоологический раритет каким-то законным и подлым образом запятнал ее положение в обществе и сгубил счастье. Баттеридж с великим жаром распространялся об этой истории, желая показать, сколько благородства обнаружила его дама в столь сложных обстоятельствах. Пресса попала в весьма щекотливое положение: конечно, о личной жизни знаменитостей писать принято, но в освещении слишком интимных подробностей всегда проявляется известная сдержанность. И репортеры чувствовали себя крайне неловко, когда их безжалостно заставляли созерцать великое сердце мистера Баттериджа, которое на их глазах обнажалось в процессе беспощадной самовивисекции и каждый пульсирующий его кусок снабжался выразительной этикеткой.

Но спасения не было. Снова и снова заставлял Баттеридж стучать и греметь перед смущавшимися журна-

листами эту гнусную мышцу. Ни один дядюшка с часами-луковицей не мучил так свои часы, развлекая крохотного племянника. Не спасали никакие уловки. Баттеридж «безмерно гордился своей любовью» и требовал, чтобы репортеры записывали все его излияния.

— Да это же, мистер Баттеридж, дело частное,— отбивались репортеры.

— Несправедливость, сэр, касается всего общества. Мне все равно, против кого я сражаюсь — против институтов или отдельных лиц. Да хоть бы против всей Вселенной! Я, сэр, защищаю честь женщины, которую люблю, женщины благородной, непонятой. Я хочу оправдать ее перед всем светом.

— Я люблю Англию,— твердил он,— люблю Англию, но пуританизм не перевариваю. Омерзительная штука. Ненавижу его всем нутром. Взять хоть мое дело...

Он беспощадно навязывал свои чувства и требовал, чтобы ему показывали гранки. И если обнаруживал, что корреспонденты оставляли его любовные вопли без внимания, вписывал корявым почерком гораздо больше того, что они пропускали.

Да, английской прессе приходилось туго! Трудно было представить себе более заурядный, пошлый роман, который ни у кого не вызывал ни любопытства, ни симпатии. С другой стороны, изобретение мистера Баттериджа всех необычайно интересовало. Однако если и удавалось отвлечь его внимание от дамы, рыцарем которой он себя провозгласил, он сразу со слезами на глазах принимался рассказывать о своем детстве и о своей маме, которая обладала всеми материнскими добродетелями и в довершение всего была «почти шотландка». Не совсем, но почти.

— Всем лучшим во мне я обязан матери,— заявлял он.— Всем! И это скажет вам любой мужчина, чего-либо добившийся в жизни. Женщинам мы обязаны всем. Они продолжатели рода. Мужчина — всего лишь сновидение. Он появляется и исчезает. Вперед ведет нас душа женщины.

И так без конца.

Было неясно, что же он хотел получить от правительства за свой секрет и чего, помимо денег, мог он ожидать от современного государства в таком деле. Большинство

здравомыслящих наблюдателей полагало, что Баттеридж вообще ничего не добивался, а просто пользовался исключительной возможностью покричать о себе и покрасоваться перед всем светом. Поползли слухи, что он не тот, за кого себя выдает. Говорили, будто он был владельцем весьма сомнительной гостиницы в Кейптауне и однажды приютил робкого и одинокого молодого изобретателя по имени Пэлизер, который приехал в Южную Африку из Англии смертельно больной чахоткой и вскоре умер. Баттеридж наблюдал за экспериментами своего жильца, а затем украл у него все чертежи и расчеты. Так по крайней мере утверждали не слишком корректные американские газеты, но доказательств ни за, ни против не последовало.

Мистер Баттеридж со всей страстью принялся добиваться выплаты ему всевозможных денежных премий. Некоторые из них были объявлены за успешный управляемый полет еще в 1906 году. Ко времени полета мистера Баттериджа великое множество газет, соблазненных безнаказанностью, обязалось уплатить определенную, в некоторых случаях колоссальную сумму тому, кто, например, первым пролетит из Манчестера в Глазго или из Лондона в Манчестер, или совершит перелет в сто миль, в двести и так далее. Большинство газет, правда, поставило еще кое-какие условия и теперь отказывалось платить; две-три выплатили премии сразу и всячески об этом трубили. Баттеридж предъявил судебный иск тем газетам, которые сопротивлялись, и в то же время развил бурную деятельность, стараясь заставить правительство купить его изобретение.

Однако факт оставался фактом, несмотря на нежнейший роман, политические взгляды, немыслимое бахвальство и прочие качества, Баттеридж был единственным человеком, знавшим секрет создания настоящего аэроплана, от которого — что там ни говори — зависело будущее господство Англии над миром. Но вскоре, к великому огорчению многих англичан, в том числе и Берта Смоллуейза, стало ясно, что переговоры о покупке драгоценного секрета, если правительство и вело их, грозят сорваться. Первой забила тревогу лондонская «Дейли Реквием», поместив интервью под грозным заголовком «Мистер Баттеридж высказывается начистоту».

В этом интервью изобретатель — если только он им был — дал волю своим чувствам.

— Я приехал с другого конца света,— заявил он (как бы подтверждая версию с Кейптауном),— и привез моему отечеству секрет, благодаря которому оно может стать владыкой мира. И как же меня встретили? — Пауза.— Престарелые бюрократы обливают меня презрением, а с женщиной, которую я люблю, обходятся, как с прокаженной!

— Я гражданин Британской империи,— гремел он в великолепном негодовании (в гранки интервью это место было вписано его собственной рукой),— но всему же есть предел! Есть нации более молодые и более предприимчивые! Они не дремлют, не храпят в тяжком сне на ложе бюрократических проволочек и формальностей! Эти страны не станут отвергать мировое первенство только для того, чтобы смешать с грязью нового человека и оскорбить благородную женщину, у которой они недостойны расшнуровать ботинки! Эти страны умеют ценить науку, и они не отданы во власть худосочных снобов и дегенератов-декадентов. Короче, запомните мои слова — есть и другие страны!

Эта речь потрясла Берта Смоллуейза.

— Если только секретом Баттериджа завладеют немцы или американцы, Британской империи крышка,— выразительно сказал он брату.— Наш флаг, Том, не будет стоить, так сказать, той бумаги, на которой он напечатан.

— А ты, Берт, не мог бы помочь нам сегодня? — спросила Джессика, воспользовавшись выразительной паузой.— В Банхилле всем вдруг сразу захотелось молодого картофеля. Тому одному не справиться.

— Мы живем на вулкане,— продолжал Берт, пропустив мимо ушей слова Джессики.— В любой момент может разразиться война! И какая война!

Берт грозно кивнул.

— Ты, Том, лучше отнеси сначала вот это,— сказала Джессика и, внезапно повернувшись к Берту, спросила:— Так у тебя найдется время помочь нам?

— Пожалуй, найдется,— ответил Берт.— В мастерской сейчас делать нечего. Только вот опасность, нависшая над нашей империей, уж очень меня тревожит.

— Поработаешь, успокоишься,— сказала Джессика.

И вот Берт вслед за Томом вышел из лавки в полный чудес, изменчивый мир, согнувшись под тяжестью корзины с картофелем и бременем тревог за отечество. Эта двойная тяжесть породила вскоре злую досаду на неуклюжую корзину с картошкой, и Берт ясно понял, что противней Джессики женщины не найти.

ГЛАВА II

КАК БЕРТ СМОЛЛУЕЙЗ ПОПАЛ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1

Ни Тому, ни Берту и в голову не пришло, что замечательный полет мистера Баттериджа может как-то повлиять на их судьбу и выделить их из миллионов других людей. Посмотрев с вершины Банхилла на летательную машину, которая, сверкнув в лучах заката вращающимися плоскостями, с жужжанием скрылась в своем ангаре, братья направились к зеленной лавке, ушедшей в землю под громадной опорой монорельсовой линии Лондон — Брайтон. Они вернулись к спору, который был прерван триумфальным появлением мистера Баттериджа из дымной завесы над Лондоном.

Спор был нелегкий и бесплодный. Разговор носил частный характер, но братьям приходилось кричать во весь голос — так грохотали по Хай-стрит гироскопические автомобили. Дела Грабба шли плохо, и в порыве финансового великодушия он сделал Берта своим компаньоном: их отношения давно уже стали неофициальными и товарищескими, и жалованья Берт не получал.

Теперь Берт пытался внушить Тому, что преобразованная фирма «Грабб и Смоллуейз» открывает перед здравомыслящим человеком со скромными средствами совершенно исключительные возможности. Но тут Берту пришлось убедиться — хотя для него это не должно было явиться полной неожиданностью,— что Том совершенно не способен воспринимать новые идеи. В конце концов,

оставив в стороне момент финансовой выгоды и воззвав к родственным чувствам, Берт все же умудрился одолжить у брата соверен под честное слово.

Фирме «Грабб и Смоллуейз» (бывший «Грабб») в последний год действительно не везло. В течение многих лет в безалаберной крошечной мастерской на Хай-стрит, украшенной броскими рекламами велосипедов, выставкой звонков, защипок для брюк, масленок, насосов, чехлов, сумок для инструментов и прочих принадлежностей велосипедного спорта и объявлениями вроде «Прокат велосипедов», «Ремонт», «Накачка шин — бесплатно», «Бензин», дела шли ни шатко, ни валко, с некоторым привкусом романтического риска. Грабб и Берт были агентами мелких велосипедных фирм, выбор ограничивался двумя образчиками, но иногда им все же удавалось продать велосипед. Кроме того, они заклеивали проколотые шины и как могли лучше — правда, тут удача улыбалась им далеко не всегда — выполняли другие ремонтные работы. Торговали они и дешевыми граммофонами, а также музыкальными шкатулками. Но основу дела все-таки составлял прокат велосипедов. Это оригинальное предприятие вообще не зиждилось ни на каких принципах, экономических или финансовых. Выдававшиеся напрокат мужские и дамские велосипеды были в совершенно неописуемом состоянии. Пользовались ими легкомысленные и нетребовательные клиенты, профаны в делах, уплачивая за первый час всего шиллинг, за каждый последующий — по шесть пенсов. Но вообще твердой таксы не было, и если назойливым мальчишкам удавалось убедить Грабба, что у них имеется всего три пенса, они могли получить велосипед и за эту сумму и целый час испытывать жгучее чувство смертельной опасности. Грабб кое-как подгонял руль и седло, брал залог (делая исключение для постоянных клиентов), смазывал машину, и смельчак пускался в опасный путь. Обычно клиент сам приезжал обратно, но в особо серьезных случаях Берту и Граббу приходилось самим доставлять машину в мастерскую. Но в любом случае плата удерживалась из залога за все время отсутствия машины. В совершенно исправном состоянии велосипеды отбывали из мастерской крайне редко. Романтические возможности катастрофы таились и в закреплявшем седло изношенном винте, и в раз-

болтанных педалях, и в ослабевшей цепи, и в затяжке руля, а главное, в тормозах и шинах. Отважный клиент пускался в путь под дребезжание и странное ритмичное поскрипывание машины. Затем внезапно немел звонок или на спуске отказывал тормоз; или седло внезапно проваливалось под седоком, ошеломляя его и обескураживая, а порой на спуске с шестерни соскакивала слишком свободная цепь, велосипед резко останавливался, а седок летел по инерции кувырком. Порой шина, лопнув, испускала глубокий вздох и, отказавшись от дальнейшей борьбы, волоклась в пыли.

Когда клиент возвращался в мастерскую, превратившись в измученного пешехода, Грабб, не обращая внимания на жалобы, принимался серьезнейшим образом обследовать машину и заявлял для начала:

— Так с машиной не обращаются.

А затем начинал мягко увещевать потерпевшего:

— Или вы думаете, что велосипед возьмет вас на ручки да и понесет? Им надо пользоваться с умом. Ведь это же механизм.

Иногда процесс улаживания претензий едва не завершался рукоприкладством. Он всегда бывал утомителен и требовал немалого красноречия, но в нынешние просвещенные времена без скандала не заработаешь на жизнь. Прокат велосипедов порой был тяжким трудом, но тем не менее он давал постоянный доход, пока в один прекрасный день два не в меру взыскательных клиента, неспособных оценить перлы красноречия, не разнесли вдребезги окна и двери мастерской и не расшвыряли, изрядно их при этом попортив, товары, разложенные в витрине. Буянили два здоровенных кочегара из Грейвсенда,— один был недоволен тем, что у него сломалась левая педаль, а другой — тем, что спустила шина, по банхилласким понятиям, сущие пустяки, да к тому же причиной их послужило грубое обращение клиентов с хрупкими механизмами, которые им доверили. Но кочегары так до конца и не поняли, что учиненный ими разгром лишь доказывал их неправоту. Вы никогда не убедите человека, что он дал вам напрокат испорченный велосипед, если станете швырять его насос по всей мастерской и заберете весь запас звонков с тем, чтобы вернуть их сквозь витрину. Грабба и Берта эти действия возму-

тили, но ни в коей мере не убедили. Однако беда никогда не приходит одна, и неприятное происшествие привело к горячей перепалке между Граббом и домовладельцем относительно того, кто терпит моральный ущерб и кто по закону обязан вставить выбитые стекла. Накануне троицы положение стало критическим.

В конце концов Граббу и Смоллуейзу пришлось потратиться и отойти под покровом ночи на новые позиции.

Об этих новых позициях они подумывали давно. Маленькая, похожая на сарай мастерская, с витриной и комнаткой позади, находилась на крутом повороте дороги, у подножия холма. И здесь, невзирая на настойчивые домогательства их прежнего хозяина, друзья продолжали мужественно бороться с невзгодами в надежде, что своеобразное месторасположение мастерской и счастливый случай поправят их дела. Но и тут их постигло разочарование.

Шоссе, идущее из Лондона в Брайтон через Банхилл, подобно Британской империи и английской конституции, приобрело свое теперешнее значение не сразу. Не в пример другим дорогам Европы в Англии дороги никогда не выпрямлялись и не выравнивались, чем, возможно, и объясняется их живописность. Хай-стрит, главная улица Банхилла, в конце своем круто спускается вниз, сворачивает под прямым углом влево и, образуя изгиб, ведет к каменному мосту через сухую канаву, где некогда протекала река Оттерберн; затем, свернув вправо, огибает густую рощицу и превращается в обыкновенную, прямую, спокойную дорогу. Еще до того, как была построена мастерская, которую ныне занимали Берт и Грабб, на этом крутом повороте разбилось два-три фургона и не один велосипедист, и, откровенно говоря, именно вероятность повторения подобных катастроф привлекла сюда молодых людей.

Впервые они осознали возможности такой позиции скорее в шутку.

— В таком вот местечке можно прожить, разводя кур,— сказал Грабб.

— Курами не проживешь,— возразил Берт.

— Твоих кур будут давить автомобили,— сказал Грабб,— а владельцам машин придется платить за ущерб.

Когда друзья перебрались на новое место, они вспомнили этот разговор. Но от кур пришлось сразу же отказаться: их негде было держать, разве что в самой мастерской. Но тут они были совершенно неуместны, ибо, не в пример прежней, эта мастерская была построена на современный лад и имела большую зеркальную витрину.

— Рано или поздно в витрину непременно врежется автомобиль,— сказал Берт.

— Очень бы хорошо,— заметил Грабб.— Получили бы компенсацию. Я бы не прочь, чтобы это случилось поскорее, не возражаю, если и меня при этом контузит.

— А пока что,— лукаво сказал Берт,— я куплю себе собаку.

И купил. Трех, одну за другой. В собачьем магазине в Баттерси он всех озадачил, заявив, что ему нужен глухой сеттер, и отверг всех собак, которые настораживали уши.

— Мне требуется хороший глухой неторопливый пес,— сказал Берт.— Пес, который не бросается на любой шорох.

Продавцы проявили совсем нежелательное любопытство и стали уверять, что глухие собаки — большая редкость.

— Глухих собак не бывает.

— А у меня должна быть,— упорствовал Берт.— Были у меня собаки неглухие, хватит с меня. Дело в том, что я продаю граммофоны. Мне, конечно, приходится их заводить,— нужно же покупателю послушать. А собаке, если она не глухая, это не нравится,—она волнуется, принюхивается, лает, рычит. Покупатель начинает нервничать. Понимаете? К тому же собака неглухая всегда что-то выдумывает, каждый бродяга кажется ей грабителем, она кидается драться с каждым автомобилем. Это прекрасно, если в доме скучно, а у нас и так весело. Мне такой собаки не нужно. Мне нужен спокойный пес.

И он-таки раздобыл трех глухих псов, но ни один не оправдал его надежд. Первая собака удалилась в бесконечность, не внемля призывному зову хозяина; вторую задавил ночью грузовик с фруктами, который скрылся из виду прежде, чем Грабб добрался до места происшест-

вия; третья умудрилась попасть под переднее колесо мчавшегося во весь дух велосипедиста, и он прямехонько угодил в витрину. Велосипедист оказался безработным актером и, разумеется, безнадежным банкротом. Он стал требовать компенсацию за какое-то мнимое увечье; ничего не желая слушать об убитой им бесценной собаке и разбитой витрине, он упорно не двигался с места, пока Грабб не выпрямил ему погнутое колесо; а затем его поверенный засыпал погибавшую фирму письмами, написанными невообразимым юридическим языком. Грабб отвечал на эти письма довольно язвительно, чем, по мнению Берта, сильно себе навредил.

Под бременем всех названных обстоятельств дела шли все хуже и хуже. Витрину забили досками, и неприятные объяснения по этому поводу с новым домовладельцем, банхиллским мясником, упрямым, вспыльчивым, грубым и ограниченным типом, напомнили друзьям, что еще не улажен конфликт с их прежним домовладельцем. Вот в этот критический момент Берт и решил облагодетельствовать Тома, уговорив его вложить деньги в их дело. Но, как я уже сказал, в характере Тома недоставало предприимчивости. Он признавал только один вид денежных вложений — в чулок. И дал брату соверен отступного, лишь бы тот забыл о своем предложении.

А потом злой рок нанес погибающему заведению последний удар и добил его окончательно.

2

Жалок тот, кто не умеет веселиться! А праздник троицы сулил измученной фирме Грабб и Смоллуейз некоторую приятную передышку. Ободренные реальными плодами переговоров Берта с братом и тем обстоятельством, что половина велосипедов была взята напрокат с субботы до понедельника, они решили покинуть на воскресенье обитель прокатных дел и посвятить этот день столь необходимому отдохновению, иными словами — устроить себе на троицын день праздник что надо, а в понедельник со свежими силами вступить в единоборство с осаждавшими их невзгодами и разбитыми за эти дни велосипедами. Измотанный, подавленный человек ни на что не годен. К тому же друзья как раз недавно познако-

мились с двумя молодыми барышнями, состоящими в услужении в Клафеме,— с мисс Флосси Брайт и мисс Эдной Банторн. Было решено прокатиться вчетвером в самое сердце Кента и устроить пикник на лоне природы, где-нибудь между Ашфордом и Мейдстоуном.

Мисс Брайт умела ездить на велосипеде, и для нее подобрали машину, разумеется, не из тех, что выдавались напрокат, а из предназначенных для продажи. Но мисс Банторн, симпатия Берта, ездить не умела, поэтому, не без труда взяв у фирмы Рей на Клафем-роуд для нее напрокат прицепную плетеную коляску, Берт пристроил ее к своему мотоциклету. В нарядных костюмах, с папиросами в зубах, отправились наши молодые люди на свидание; и при виде того, как Грабб искусно ведет одной рукой машину для своей дамы, как бодро тарахтит Берт на своем мотоциклете, становилось ясно, что даже банкротство не в силах сломить истинное мужество.

— У-у мерзавцы! — приветствовал их мясник-домохозяин и кровожадно рявкнул им вслед: — Ату их!

Но друзья и ухом не повели.

День выдался великолепный, и, хотя наши молодые люди пустились в путь в половине девятого, загородные дороги были уже запружены празднично разодетыми горожанами. Молодежь ехала по большей части на велосипедах и мотоциклетах, многочисленные гироскопические автомобили, передвигавшиеся, как и велосипеды, на двух колесах, катили вперемежку со старомодными, четырехколесными экипажами. По праздникам на свет всегда выползают допотопные средства передвижения и всевозможные чудаки. Попадались трехколесные велосипеды, электромобили и совсем древние гоночные машины с огромными пневматическими шинами. Один раз наши молодые люди увидели даже запряженную в двуколку клячу и еще юношу верхом на вороной лошади—мишень для всевозможных шуток. В небе, кроме воздушных шаров, плыло несколько дирижаблей. После мрачной атмосферы мастерской все казалось таким интересным, так взбадривало. Эдна, очаровательная в своей коричневой с маками соломенной шляпке, восседала в прицепной коляске, как королева, и старый мотоциклет мчался по дороге, будто новехонький.

И какое дело было Берту Смоллуейзу до газетных заголовков, кричавших:

ГЕРМАНИЯ ОТВЕРГАЕТ ДОКТРИНУ МОНРО

ДВУСМЫСЛЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ

ЧТО ПРЕДПРИМЕТ АНГЛИЯ?

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВОЙНЕ?

Все это давно уже стало привычным, и в праздники на эти вопли никто не обращал внимания. В будни, в свободную после обеда минуту, еще можно поволноваться за судьбу империи, поворчать на положение в мире, но не сегодня же, в солнечный воскресный день, когда катаешь хорошенькую девушку и снедаемые завистью велосипедисты тщетно стараются тебя обогнать. Не встревожило наших молодых людей даже передвижение воинских подразделений, которое они кое-где заметили. Близ Мейдстоуна они увидели у обочины одиннадцать моторизованных пушек необычайной конструкции; несколько офицеров наблюдали в бинокли за какими-то земляными работами на гребне холма. Но и это ничего не сказало Берту.

— Что там такое? — спросила Эдна.

— Наверно... маневры,— ответил Берт.

— А я думала, их проводят на пасху,— откликнулась Эдна и успокоилась.

Бурская война, последняя большая война, которую вела Англия, давно кончилась; о ней забыли, и публика уже отвыкла со знанием дела критиковать действия военных.

Под сенью леса компания веселилась вовсю,— они были счастливы тем счастьем, которое остается неизменным с дней самой седой старины. Грабб всех смешил и был почти остроумен, Берт сыпал каламбурами; живая изгородь пестрела цветами жимолости и шиповника; и тут, средь леса, далекие гудки автомобилей на пыльной проезжей дороге казались пением рога в волшебной стране чудес. Смеялись, и собирали цветы, и кокетничали, и болтали, а девушки еще и выкурили по папироске. Даже, дурачась, боролись. Говорили они и о воздухоплавании и о том, как когда-нибудь — и десяти лет пройти не успеет — они все вчетвером отправятся на прогулку на

летательном аппарате Берта. В этот день мир сулил им только радость и забавы. А как бы отнеслись к воздухоплаванию их далекие предки! Вечером, около семи, компания, не помышляя о несчастье, отправилась домой, и они уже почти достигли вершины гряды холмов между Ротэмом и Кингсдауном, когда стряслась беда.

Уже начинало темнеть, и Берт старался проехать большую часть пути прежде, чем придется включить фары,— он совсем не был уверен, что они загорятся. Они промчались мимо нескольких велосипедистов, а потом обогнали четырехколесный автомобиль, у которого спустила одна шина. У Берта в клаксон набилась пыль, звук получался хриплый, невероятно чудной и забавный, и Берт нарочно то и дело нажимал грушу, а Эдна хохотала, как сумасшедшая, в своей коляске. Такая развеселая езда воспринималась другими путешественниками по-разному, в зависимости от характера. Эдна, правда, заметила, что из мотора у ног Берта стал сочиться синеватый вонючий дымок, но подумала, что, наверно, так и надо, и всполошилась, лишь когда он вспыхнул желтоватым пламенем.

— Берт! — завизжала она.

Но Берт так внезапно затормозил, что Эдна очутилась где-то у его ног. Девушка выбралась на обочину и поправила свою сильно пострадавшую шляпку.

— Ух ты! — сказал Берт.

Шли роковые секунды, а он все смотрел, как капает и загорается бензин и как, растекаясь, растет пламя, которое теперь пахло уже и жженой эмалью. Прежде всего он пожалел, что год назад не продал свой мотоциклет, когда нашелся покупатель, но в данный момент от этого разумного соображения было мало пользы. Он резко повернулся к Эдне.

— Набери-ка мокрого песку!

Затем откатил машину к обочине, положил ее на бок и отправился искать мокрый песок. Для пламени такая предупредительность оказалась благотворной,— оно становилось все ярче, а сумерки вокруг все гуще. Почва вокруг была кремнистая, да и шоссе не изобиловало песком.

— Нам нужен песок,— остановила Эдна толстяка-велосипедиста и добавила: — У нас загорелся мотор.

Секунду толстяк оторопело смотрел на нее, а потом с жаром принялся сгребать с дороги пыль и мусор. Берт и Эдна тоже принялись сгребать пыль и мусор. Подъезжали все новые велосипедисты, спешивались и выстраивались вокруг; их освещенные пламенем лица выражали любопытство, интерес, удовлетворение.

— Мокрый песок,— говорил толстяк, ожесточенно скребя дорогу,— нужен мокрый песок.

Кто-то стал ему помогать. Добытые тяжким трудом пригоршни пыли полетели в пламя, и оно с радостью их пожирало.

Примчался, налегая вовсю на педали, Грабб. Он что-то кричал. Спрыгнув с велосипеда, он швырнул его к живой изгороди.

— Только не лейте воду! Не лейте воду!

Он взял команду в свои руки и стал отдавать распоряжения. Остальные с радостью повторяли его команду и делали то же, что и он.

— Только не лейте воду! — твердили они, хотя воды нигде не было.

— Сбивайте, дурачье, пламя! — крикнул Грабб.

Он выхватил из коляски плед (одеяло, которым зимой укрывался Берт) и стал сбивать горящий бензин. И на какое-то волшебное мгновение это ему, казалось, удалось. К сожалению, он разбрызгал горящий бензин по дороге. Остальные, вдохновившись рвением Грабба, последовали его примеру. Берт выхватил из коляски подушку и стал сбивать пламя; оттуда же извлекли еще одну подушку и скатерть. Какой-то юный герой стянул с себя куртку и принялся орудовать ею. Несколько секунд слышалось только тяжелое дыхание людей да ожесточенные хлопки. Флосси, добравшись наконец до толпы, воскликнула:

— О боже! — И ударилась в слезы.— Помогите! — всхлипывала она.— Горим!

Подкатил хромавший на одно колесо автомобиль и, ужаснувшись, замер. Сидевший за рулем высокий седовласый мужчина в защитных очках спросил, растягивая слова, как выпускник Оксфорда:

— Не можем ли мы быть вам полезны?

Уже стало ясно, что пропитавшиеся бензином ковер, скатерть, подушки и куртка вот-вот вспыхнут. По-

душка, которой орудовал Берт, испустила дух, и в воздухе закружились перья, словно метель в тихих сумерках.

Покрытый пылью, совсем взмокший Берт рвался в бой. У него вырвали из рук оружие, как ему казалось, в самый момент победы. Пламя распласталось по земле, ослабевшее, словно умирающее, и при каждом ударе подпрыгивало, как от боли. Но Грабб уже отошел в сторону и топтал загоревшееся одеяло, да и рвение остальных несколько ослабело. Кто-то даже бросился к своему автомобилю.

— Эй, вы,— крикнул Берт,— бей его дальше!

Он отшвырнул горящие останки подушки, скинул пиджак и с воплем обрушился на пламя. Он топтал остатки мотоциклета, пока огонь не побежал по его башмакам. Эдна глядела на Берта—озаренного пламенем пожара героя — и думала: «Хорошо быть мужчиной!»

Раскаленные полпенса, описав дугу, угодили в кого-то из зрителей. Тогда Берт вспомнил, что в кармане у него документы и отступил, стараясь загасить свой загоревшийся пиджак,— он понял, что потерпел поражение, и его охватило отчаяние.

Эдна заметила среди зрителей нарядно одетого пожилого господина приятной наружности в шелковом цилиндре и праздничном сюртуке.

— Ах, да помогите же этому молодому человеку! — обратилась она к нему.— Как можете вы так стоять и смотреть!

— Брезент! — крикнул вдруг кто-то.

Какой-то человек в светло-сером спортивном костюме очутился около хромого автомобиля.

— Есть у вас брезент? — спросил он.

— Да,— ответил изысканно-корректный владелец машины.— Да. Брезент у нас есть.

— Отлично! — завопил вдруг человек в сером.— Так давайте его скорей!

Учтивый автомобилист, словно загипнотизированный, очень медленно и смущенно достал и подал новехонький большой брезент.

— Эй,— крикнул человек в сером,— держите!

И все поняли, что сейчас будет испробован новый способ. Множество рук ухватилось за брезент, принадлежавший джентльмену из Оксфорда. Остальные с одо-

брительным гулом попятились. Брезент, как балдахин, повис над горящим мотоциклетом, а затем опустился и плотно придавил его.

— Давно бы нам так! — пыхтел Грабб.

Настал момент торжества. Пламя исчезло. Каждый, кто сумел, наступил на край брезента. Берт прижимал свой угол обеими руками и ногой. Брезент надулся в середине, словно стараясь сдержать бушевавший в нем восторг. Затем, не в силах подавить самодовольства, вдруг расплылся в огненной улыбке. Он действительно словно рот раскрыл и хохотал языками пламени. Красный отсвет заиграл в защитных очках владельца брезента. Все отпрянули.

— Спасайте коляску! — крикнул кто-то, и начался последний этап битвы. Но отцепить коляску не удалось, ивовые прутья вспыхнули, и она сгорела последней. Все притихли. Бензин почти догорел, плетеная коляска трещала и стреляла искрами. Толпа образовала круг, состоявший из критиков, советчиков и второстепенных персонажей, не игравших в происходящем почти никакой роли. В центре круга скучились главные действующие лица, разгоряченные, опечаленные. Какой-то дотошный юноша, знаток мотоциклетов, атаковал Грабба и все пытался доказать ему, что несчастья могло б и не случиться. Грабб оборвал его и не стал слушать. Тогда юноша выбрался из толпы и принялся втолковывать приветливому господину в шелковом цилиндре, что когда люди ездят на мотоциклетах и совсем в них не разбираются, они сами во всем бывают виноваты.

Пожилой господин слушал его довольно долго и вдруг, просияв, сказал:

— Я совершенно глух... Пренеприятные эти машины...

Тут всеобщее внимание привлек к себе какой-то розовощекий человек в соломенной шляпе.

— Я спас переднее колесо,— заявил он.— Эта шина тоже загорелась бы, если б я не крутил все время колесо.

Все согласились с ним.

Уцелевшее переднее колесо с шиной все еще медленно вращалось над почерневшими искореженными останками мотоциклета. В нем чудились то подчеркнутое достоинство, та безупречная респектабельность, которые

отличают сборщика квартирной платы от обитателей трущоб.

— Колесо-то стоит целый фунт,— не унимался розовощекий,— я все время и крутил его.

С юга прибывали все новые зрители, и каждый спрашивал, что случилось. Грабб начал злиться. Но в направлении Лондона толпа стала редеть,— свидетели происшествия один за другим трогались в путь на своих различных машинах с видом зрителей, недаром потративших деньги. Их голоса замирали в темноте, и было слышно, как некоторые смеялись, вспоминая какой-нибудь особенно забавный момент.

— Боюсь, что мой брезент немного пострадал,— сказал учтивый владелец автомобиля.

Грабб согласился, что мнение хозяина в данном случае *является решающим*.

— Больше я ничем не могу быть вам полезен?— осведомился учтивый господин, быть может, с оттенком легкой иронии.

Берт встрепенулся.

— Послушайте,— сказал он,— тут со мной барышня. Если она не поспеет к десяти, ее не впустят в дом. Понимаете? Все мои деньги были в кармане пиджака, он еще догорает в этой куче, и до них не доберешься. Клафем вам по пути?

— Все пути ведут в Рим,— ответил учтивый господин и повернулся к Эдне.— Буду очень рад, если вы отправитесь с нами. К обеду мы все равно опоздали, так что можем вернуться и через Клафем. Нам надо в Сербитон. Боюсь, только что мы поедем не слишком быстро.

— А как же Берт?

— Не уверен, что у нас хватит места для Берта,— сказал владелец автомобиля.— Хотя мы были бы счастливы подвезти и его.

— А не могли бы вы прихватить и все это? — Берт показал рукой на изуродованные черные обломки.

— Ужасно сожалею, но боюсь, что не смогу,— ответил воспитанник Оксфорда.— Приношу тысячу извинений.

— Тогда мне придется остаться,— сказал Берт.— Надо будет что-то придумать. А вы, Эдна, поезжайте.

— Я бы лучше осталась с вами, Берт.

— Ничего не поделаешь, иначе нельзя, Эдна...

Последнее, что, оглянувшись, разглядела в сгущающихся сумерках Эдна, была печальная фигура Берта в обгоревшей, грязной рубахе. Он стоял в скорбном раздумье над грудой пепла и железных обломков, оставшихся от мотоциклета. Свита зрителей сократилась до пяти-шести человек. Флосси и Грабб тоже готовились сбежать следом за остальными.

— Выше голову, Берт! — как можно бодрее крикнула Эдна.— До свидания.

— До свидания, Эдна,— отозвался Берт.

— До завтра.

— До завтра,— ответил Берт, не подозревая, что прежде, чем им доведется встретиться вновь, ему суждено будет повидать полмира.

Берт взял у кого-то спички и при помощи их принялся разыскивать среди обгорелых остатков никак не находившиеся полкроны. Лицо его было серьезно и грустно.

— Какая жалость, что все так случилось,— вздохнула Флосси, уезжая вместе с Граббом.

В конце концов Берт остался почти в полном одиночестве, скорбная, почерневшая фигура Прометея, которому огонь принес проклятие. До этого он смутно надеялся, что наймет тележку, сотворит чудо и починит единственное ценное свое имущество, чтобы хоть как-то им воспользоваться. Но теперь, в темноте, он постиг несбыточность этих грез. Правда предстала перед ним во всей своей унылой наготе, и невозвратимость потери пронзила его холодом. Он взялся за руль, поднял изуродованную машину и попытался сдвинуть ее с места. Опасения его подтвердились,— заднее колесо, лишенное шины, смялось в лепешку. Оцепенев от горя, Берт минуту-другую постоял, поддерживая машину. Потом сделал над собой усилие, свалил все, что от нее осталось, в канаву, пнул обломки ногой, посмотрел на них в последний раз и решительно зашагал в сторону Лондона.

И ни разу не обернулся.

— С этой забавой покончено! — сказал он.— Не раскатывать больше Берту Смоллуейзу на мотоциклете, может, год, а то и два. Прощайте, веселые денечки! И чего я не продал проклятый драндулет три года тому назад, когда к нему приценялись!

3

Утро нового дня застало фирму «Грабб и Смоллуейз» в полнейшем унынии. Ее владельцы почти не обратили внимания на огромные плакаты, один за другим появившиеся в лавчонке напротив, где торговали табаком и газетами.

АМЕРИКАНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ

АНГЛИЯ ДОЛЖНА ВОЕВАТЬ

НАШЕ БЕЗРАССУДНОЕ ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ЖЕЛАЕТ СЛУШАТЬ МИСТЕРА БАТТЕРИДЖА

БОЛЬШОЕ КРУШЕНИЕ НА ОДНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГЕ В ТИМБУКТУ

И еще:

ВОЙНА НА ПОРОГЕ

В НЬЮ-ЙОРКЕ СПОКОЙНО

БЕРЛИН ВСТРЕВОЖЕН

И далее:

ВАШИНГТОН ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛЧИТ

ЧТО ПРЕДПРИМЕТ ПАРИЖ?

ПАНИКА НА ПАРИЖСКОЙ БИРЖЕ

КОРОЛЬ ДАЕТ БАЛ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ЧЕСТЬ ТУАРЕГОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИСТЕРА БАТТЕРИДЖА

СТАВКА ТЕГЕРАНА

Или еще:

БУДЕТ АМЕРИКА ВОЕВАТЬ?

АНТИНЕМЕЦКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В БАГДАДЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ В ДАМАСКЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ БАТТЕРИДЖА ПРИОБРЕТАЕТ АМЕРИКА

Берт смотрел на все эти сообщения невидящим взором, поверх картонки с наконечниками для насосов, выставленной в застекленной половинке двери. На нем была почерневшая фланелевая рубашка и жалкие остат-

ки вчерашнего праздничного костюма. В мастерской с забитой досками витриной было до ужаса темно и неуютно, а выдаваемые напрокат велосипеды выглядели сегодня как никогда позорно. Берт вспомнил об их «выданных» собратьях и о том, что близится полдень, а значит, и неизбежные объяснения с клиентами. Он вспомнил их нового домохозяина, потом старого, вспомнил неоплаченные счета и всякие иски. И впервые жизнь представилась ему долгой и безнадежной борьбой против судьбы.

— Знаешь, Грабб,— сказал он, беря быка за рога,— мне до чертиков надоела эта мастерская.

— Мне тоже,— ответил Грабб.

— Я в ней разочаровался. Глаза б мои не глядели на этих клиентов.

— Да еще эта прицепная коляска,— добавил, помолчав, Грабб.

— Черт с ней, с коляской! — ответил Берт.— Я же не оставлял за нее задатка. Не оставлял-то не оставлял, но, конечно... Знаешь что, тут у нас ничего не получается. Мы все время терпим убытки. И совсем запутались.

— А что же делать-то? — спросил Грабб.

— Покончить со всем. Продать что можно за любую цену. Ясно? Чего цепляться за гиблое дело? Незачем. Это чистейшая глупость.

— Так-то оно так,— заговорил Грабб,— да ведь погибает тут не твой капитал...

— А нам-то зачем погибать вместе с капиталом? — ответил Берт, оставив без внимания намек Грабба.

— Имей в виду, что за эту прицепную коляску я отвечать не намерен. Я тут ни при чем.

— А кто говорит, что ты тут при чем? Хочешь здесь оставаться, сделай милость. С меня хватит! До конца праздников еще здесь пробуду, а потом меня нет! Понял?

— Бросишь меня?

— Брошу. Если ты хочешь остаться.

Грабб оглядел мастерскую. В ней и впрямь стало мерзко. Когда-то ее украшали новые идеи, надежда, запас товаров, перспективы кредита. А теперь — теперь кругом запустение и упадок. Вот-вот нагрянет домовладелец, чтобы продолжить скандал из-за разбитой витрины.

— Куда ж ты думаешь податься, Берт? — спросил Грабб.

Берт повернулся и внимательно посмотрел на друга.

— Я все это продумал по дороге домой и в постели. Всю ночь не сомкнул глаз.

— Что же ты придумал?

— Я наметил план.

— А какой?

— Да ведь ты хочешь остаться тут.

— Не останусь, если есть надежда на что-нибудь получше.

— Пока это только идея,— сказал Берт.

— Ну, давай выкладывай.

— Вчера девушки помирали со смеху от твоей песенки.

— С тех пор будто сто лет прошло,— вставил Грабб.

— А когда запел я, бедняжка Эдна даже всплакнула.

— Просто ей в глаз попала мошка,— сказал Грабб.— Я сам видел. Но при чем тут это?

— А вот при том.

— Каким же это образом?

— Не догадываешься?

— Уж не петь ли на улицах?

— На улицах? Ну нет. А что ты скажешь, если нам совершить турне по курортам Англии как певцам? Просто молодые люди из хороших семей решили развлечься, а? У тебя голос неплохой, у меня тоже. Да я любого из этих певцов на пляжах в два счета переплюну. А уж пыль пустить в глаза мы оба умеем. Верно? Так вот что я придумал. Мы станем петь романсы и исполнять чечетку. Вот как мы вчера дурачились. Потому мне это и пришло в голову. Программу составить — пара пустяков. Репертуар из шести песен и одну-две на бис, речитативом. У меня это здорово получается.

Грабб все еще созерцал свою сумрачную и унылую мастерскую; он подумал о своем прежнем домохозяине и о теперешнем, подумал, что вообще препротивно иметь собственное дело в этот проклятый век, который несет гибель людям среднего достатка; и тут ему вдруг показалось, будто он слышит в отдалении звуки банджо и пение выброшенной на берег сирены. Он почувствовал под ногами нагретый солнцем песок, увидел себя в кольце отпрысков щедрых родителей — недаром же они повезли

их на курорт — услышал шепот: «А на самом деле они настоящие джентльмены!» — и звон падающих в шляпу медяков, а иной раз и серебряных монет. Чистый доход, ни издержек, ни счетов.

— Идет, Берт,— сказал он.

— Дело! — воскликнул Берт.— И незачем время терять.

— Отправляться в путь совсем без капитала тоже незачем,— сказал Грабб.— Если мы продадим самые лучшие машины в Финсбери, мы выручим шесть-семь фунтов. Завтра утречком, пока на улицах никого нет, это будет легко проделать...

— Ловко получится: эта отбивная котлета притащится, чтобы закатить нам очередной скандал, а тут объявление: «Закрыто на ремонт».

— Обязательно проделаем такую штуку,— загорелся Грабб,— обязательно! И напишем еще, чтобы по всем вопросам обращались к нему. Ясно? Уж он им ответит.

К концу дня друзья тщательно продумали весь план. Вначале они прибегли к довольно неудачному плагиату и решили назваться «Голубыми офицерами флота» в подражание прославленной труппе «Пурпурные графы»,— Берту до смерти хотелось покрасоваться в наряде, похожем на светло-синюю офицерскую форму, но только еще шикарнее, с золотыми галунами и всякими шнурами. Но от этой затеи пришлось отказаться,— изготовление таких костюмов потребовало бы слишком много времени и средств. Друзья поняли, что должны удовольствоваться костюмами более дешевыми и простыми, и Грабб предложил белое маскарадное домино. Затем они некоторое время носились с мыслью взять два самых плохих велосипеда, из тех, что выдавались напрокат, выкрасить их якро-красной эмалью, заменить звонки пронзительными клаксонами и кружить на машинах перед началом и в конце представления. Потом решили, что это, пожалуй, рискованно.

— Найдутся люди, которые нас-то не узнают, зато в два счета распознают наши велосипеды, а старые хвосты нам ни к чему. Нужно начинать все заново.

— Да, уж мне хвосты ни к чему,— подхватил Грабб.

— Нам надо проветриться и забыть проклятые старые заботы. От них одно расстройство.

Все же они решили рискнуть и выступать с велосипедами вот в каких костюмах: коричневые чулки с сандалиями, холщовые простыни с дыркой для головы, парики и фальшивые бороды из пакли. В остальном каждый будет самим собой. Они станут называться «дервишами пустыни» и будут распевать популярные куплеты «У меня в прицепной коляске» и «Эти шпильки. расскажите-ка, почем?».

Друзья решили начать с маленьких приморских местечек и затем уж, убедившись в своих силах, повести наступление на большие курорты. Первым выбрали местечко Литтлстон в Кенте из-за его непритязательности.

Так, болтая, разрабатывали они план действий, и то обстоятельство, что больше половины правительств мира все больше и больше грозило войной, казалось им несущественным и маловажным.

Часа в четыре друзья увидели в лавке напротив первые плакаты с заголовками выпусков вечерних газет, вопивших:

ТУЧИ ВОЙНЫ СГУЩАЮТСЯ

ТОЛЬКО ЭТО — НИЧЕГО БОЛЬШЕ

— Заладили одно: война да война,— сказал Берт.— Так и правда можно ее накликать.

4

Нетрудно догадаться, что неожиданное появление «дервишей пустыни» изумило, но совсем не обрадовало тихий пляж захолустного Димчерча. Димчерч был одним из последних прибрежных селений Англии, куда не дотянулся монорельс, поэтому его обширные пляжи по-прежнему были тайной и отрадой немногих избранных душ. Они бежали сюда от пошлости и показной роскоши, чтобы мирно купаться, болтать с друзьями, играть с детьми, а поэтому появление «дервишей пустыни» отнюдь не привело их в восторг.

Две белые фигуры на ярко-красных велосипедах приближались к пляжу со стороны Литтлстона; их было уже хорошо видно и слышно: они трубили в клаксоны, испускали жуткие вопли и вообще грозили неудержимым, назойливым весельем.

— Боже мой! — сказал Димчерч.— Что это?

Тут наши молодые люди, согласно разработанному плану, поставили свои велосипеды рядом, спешились и вытянулись по стойке смирно.

— Почтенные дамы и господа,— начали они,— разрешите представиться: — Дервиши пустыни.— И низко поклонились.

Сидевшие на берегу группками люди в страхе уставились на них, но несколько ребятишек и подростков заинтересовались и подошли поближе.

— Тут ни черта не получишь,— прошептал Грабб.

И «дервиши пустыни», кривляясь, свалили в кучу свои велосипеды, но насмешили только одного совсем уж простодушного малыша. Набрав в легкие побольше воздуха, они запели разудалую песню «Эти шпильки, расскажите-ка, почем?». Грабб пел, Берт с великим усердием подхватывал припев, и после каждого куплета оба артиста, подобрав полы своих домино, исполняли несколько тщательно разученных па.

Динь-бом, тилинь-бом-бом.
Эти шпильки, расскажите-ка, почем?

Так они пели и приплясывали на залитом солнцем пляже Димчерча, и маленькие дети, подойдя поближе к молодым дядям, никак не могли понять, почему они ведут себя так глупо, а взрослые смотрели на них холодно и недружелюбно.

В это утро на всех пляжах Европы звенели банджо, слышались веселые возгласы и песни, дети играли на солнце, пароходики совершали увеселительные рейсы; обычная многообразная жизнь тех дней текла по своему веселому, бездумному руслу, и никто не подозревал, что над ней собираются темные, грозные силы. В городах люди хлопотливо занимались своими обычными делами. Газеты слишком часто кричали об опасности, и сейчас уже никто не обращал на них внимания.

5

Когда Берт с Граббом в третий раз выкрикнули припев к своим куплетам, они увидели низко в небе громадный золотисто-коричневый воздушный шар, который быстро приближался к ним с северо-запада.

— Только нам удалось заинтересовать их, и на тебе — еще какая-то штука притащилась! — проворчал Грабб.— Валяй, Берт, дальше!

Динь-бом, тилинь-бом-бом.
Эти шпильки, расскажите-ка, почем?

Шар поднялся выше, затем снизился и скрылся из виду.

— Слава богу, сел,— успел сказать Грабб и вдруг шар выпрыгнул снова.

— Чтоб ему! — буркнул Грабб.— Жми, Берт, не то они его увидят.

Друзья закончили свой танец и впились глазами в шар.

— Что-то с ним неладно,— сказал Берт.

Теперь уже все смотрели на шар, который быстро приближался, подгоняемый свежим северо-западным ветром. Песня и танец потерпели полное фиаско. Представление никого больше не интересовало, даже Берт с Граббом совсем забыли, что далеко еще не исчерпали свою программу. Шар дергался, словно его пассажиры пытались приземлиться,— он, медленно опускаясь, касался земли, тут же футов на пятьдесят подскакивал вверх и снова начинал медленно опускаться. Его корзина задела верхушки деревьев, и черная фигура, возившаяся в стропах, не то свалилась, не то спрыгнула назад, в корзину. Через секунду шар оказался совсем рядом. Громадный, величиной с дом, не меньше, он быстро снижался над песчаным берегом, за ним волочился длинный канат, и человек в корзине что-то громко кричал. Он как будто сбрасывал с себя одежду, а потом его голова появилась над краем корзины, и все расслышали слова:

— Хватайте канат!

— Лови, Берт! — крикнул Грабб и бросился ловить канат.

Берт последовал его примеру и столкнулся с каким-то рыбаком, тоже нагнувшимся за канатом. Женщина с ребенком на руках, два малыша, вооруженные игрушечными лопатками, и толстый господин в спортивном костюме почти одновременно оказались около волочившегося по земле каната и теперь топтались вокруг, стараясь поймать его. Берт добрался до этой извиваю-

щейся, ускользающей змеи, прижал ее ногой, опустился на четвереньки и, изловчившись, схватил. Не прошло и минуты, как вся рассыпанная по пляжу публика словно выкристаллизовалась на канате и старалась удержать шар, выполняя яростные команды человека в корзине.

— Тяните! — кричал он.— Говорю вам, тяните!

Но шар, повинуясь ветру и силе инерции, протащил свой живой якорь еще немного к морю. Потом опустился, с легким всплеском коснулся воды и отпрянул, как обжегшийся палец.

— Тяните к себе! — взывал человек в корзине.— Она в обмороке!

Он нагнулся над чем-то невидимым, а шар тем временем оттащили от воды. Берт, оказавшийся ближе всех к корзине, сгорал от любопытства и волновался больше всех. Он тянул что было мочи, но без конца спотыкался о длинный хвост своего балахона. Он и представления не имел, что воздушный шар такая громадная, легкая, неустойчивая штука. А корзина была сравнительно небольшая, сплетенная из толстых бурых прутьев. Канат, за который он тянул, был прикреплен к массивному кольцу футах в пяти над корзиной. При каждом рывке Берт выбирал значительный кусок каната, и покачивающаяся корзина мало-помалу приближалась к берегу. Из нее долетал гневный рев:

— Она лишилась чувств! Сердце ее не выдержало — столько пришлось ей всего вынести!

Шар больше не сопротивлялся и пошел вниз. Берт отпустил канат и бросился вперед, чтобы ухватиться за него в другом месте, и уцепился за край корзины.

— Держите крепко,— сказал человек в корзине, и рядом с Бертом появилось его лицо. До чего же знакомое лицо — свирепые брови, приплюснутый нос, пышные черные усы, темная, растрепанная шевелюра. Пиджак и жилет человек сбросил — наверно, собирался спасаться вплавь.

— Все держите корзину,— говорил он.— Тут дама, она потеряла сознание или у нее плохо с сердцем, одному богу известно, что с ней! Меня зовут Баттеридж, Баттеридж... и я на воздушном шаре! Все навалитесь на этот край. В последний раз доверился я этим допотопным изобретениям. Веревку заело, и клапан не от-

крылся. Попадись только мне мерзавец, который должен был проверить...

Внезапно он просунул голову между стропами и воззвал:

— Раздобудьте коньяку, рюмку коньяку покрепче!

Кто-то отправился добывать коньяк.

В корзине в обдуманной позе, выражавшей полнейшее безразличие к собственной судьбе, лежала на мягкой скамье пышная блондинка в меховой накидке и большой шляпе с цветами. Ее запрокинутая голова упиралась в мягкую обивку корзины, глаза были зажмурены, рот открыт.

— Дорогая моя! — произнес мистер Баттеридж своим обычным оглушительным голосом.— Мы спасены!

Дама не шелохнулась.

— Дорогая моя! — повторил мистер Баттеридж невероятно оглушительным голосом.— Мы спасены!

Дама по-прежнему оставалась недвижима.

И тут мистер Баттеридж дал волю своей пламенной натуре.

— Если она умерла,— он медленно поднес кулак к воздушному шару и раскатисто взревел,— если она умерла, я р-р-р-азнесу в клочья небо! Я должен вынести ее отсюда! — вопил он, и ноздри его от избытка чувств раздувались.— Я должен ее вынести. Я не допущу, чтобы она скончалась в этой тесной плетеной корзине — она, созданная для королевских покоев! Крепче держите корзину. Есть среди вас сильный мужчина, который сможет удержать ее на руках?

Мощным движением он подхватил даму и поднял ее.

— Не дайте корзине взлететь,— обратился он к тем, кто теснился вокруг.—Навалитесь на нее всей тяжестью. Эта дама не перышко, и когда мы ее вынесем, нагрузка значительно уменьшится.

Берт ловко подпрыгнул и уселся на краю корзины. Остальные покрепче ухватились за кольцо и стропы.

— Готово? — спросил мистер Баттеридж.

Он встал на скамью и осторожно поднял даму. Потом присел на край корзины напротив Берта и перекинул одну ногу наружу. По-видимому, ему мешала какая-то снасть.

— Кто-нибудь поможет мне?—спросил Баттеридж.— Сможете вы удержать ее?

И в то самое мгновение, когда Баттеридж со своей дамой балансировал на краю корзины, она вдруг пришла в себя. Она очнулась внезапно, стремительно, с громким, душераздирающим воплем:

— Альфред! Спаси меня!

Руки ее шарили по воздуху, и наконец она обхватила мистера Баттериджа.

Берту показалось, что корзина качнулась, а потом дернулась и дала ему пинка. И еще он увидел, как ботинки дамы и правая нога джентльмена описали в воздухе дугу и исчезли за бортом корзины. В голове у него все смешалось, но все же он сообразил, что теряет равновесие и вот-вот встанет на голову в этой поскрипывающей корзине. Он вытянул руки и пошарил вокруг. И в самом деле, он почти стоял на голове, борода из пакли забилась ему в рот, щекой он проехался по мягкой обивке корзины, носом зарылся в мешок с песком. Корзину сильно рвануло, и она замерла.

— Черт подери!

Берт решил, что его оглушило — в ушах шумело и голоса долетали откуда-то издалека. Как будто внутри горы кричали эльфы.

Берт с трудом поднялся на ноги. Он запутался в одеждах мистера Баттериджа, которые тот скинул, опасаясь, что ему придется погрузиться в море.

— Могли бы предупредить, прежде чем вылезать!— полусердито, полужалобно крикнул Берт. Затем поднялся на ноги и судорожно ухватился за стропы.

Под ним далеко-далеко внизу сверкали синие воды Ла-Манша. А вдали, быстро убегая вниз, словно кто-то выгибал его, виднелся игрушечный, залитый солнцем пляж и горсть разбросанных домишек — сам Димчерч. Берт видел кучку людей, которых так внезапно покинул. Около самой воды бежал Грабб в белом балахоне «дервиша пустыни». Что-то надрывно кричал, стоя по колено в воде, мистер Баттеридж. Позорно покинутая всеми дама сидела на песке с великолепной шляпой на коленях. Весь берег был усыпан крошечными человечками — только ноги да головы — все смотрели вверх. А шар, освободившись от ста семидесяти килограммов живого

веса мистера Баттериджа и его спутницы, летел по небу со скоростью гоночного автомобиля.

— Батюшки! — ахнул Берт.— Вот это да!

Он проводил горестным взглядом удалявшийся берег и подумал, что голова у него совсем не кружится; потом бегло осмотрел канаты и веревки: ведь надо же было «что-то предпринять». Но в конце концов опустился на скамью и сказал:

— Нет уж, ничего не стану трогать... И что вообще нужно делать?

Но тут же вскочил на ноги и долго смотрел на удалявшуюся землю — белые скалы на востоке, плоские болота слева, обширные низины Англии, дымные города и гавани, реки, ленты дорог, пароходы, их палубы и короткие трубы на фоне безбрежного моря и гигантский мост монорельса, соединяющий Фолкстон с Булонью. Но вот прозрачные обрывки облаков, а затем плотная пелена их скрыли панораму от глаз Берта. Головокружения он не чувствовал и был не слишком напуган, только совершенно растерялся.

ГЛАВА III

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

1

Берт Смоллуейз был заурядным человечком, развязным и ограниченным — на заре двадцатого века старая цивилизация миллионами плодила таких людей во всех странах мира. Жизнь его протекала в узеньких улочках, среди убогих домишек, дальше которых он ничего не видел, в замкнутом кругу окостеневших понятий. От человека, по его мнению, требовалось только быть похитрее других, уметь, как он выражался, «разжиться деньжатами» и наслаждаться жизнью. В сущности, люди вроде него и сделали Англию и Америку тем, что они есть. До сих пор счастье не улыбалось Берту, но он не унывал. Он был всего лишь напористым и своекорыстным индивидом, не имевшим ни малейшего представления о долге гражданина, верности, преданности, чести и даже о храбрости. И вот благодаря странной случайности он оказался на некоторое время вырванным

из удивительного современного мира с его суетой и всяческими соблазнами и воспарил между морем и небом как бестелесный дух. Как будто сами небеса, желая произвести опыт, выбрали его, как образчик, из миллионов англичан, намереваясь получше рассмотреть, что же случилось с человеческой душой. Однако что̀ он открыл в этом смысле небесам, сказать не берусь, ибо давно уже отказался от умозрительных попыток установить, каковы идеалы и устремления неба.

Оказаться одному на высоте в пятнадцать тысяч футов — а Берт скоро поднялся именно на такую высоту — ощущение ни с чем не сравнимое. Это одно из наиболее величественных достижений, доступных человеку. Ни одна летательная машина не способна на большее. Ведь это означает вознестись совсем за пределы всего земного. Оказаться в полнейшем одиночестве, которое никто не нарушит, средь не сравнимого ни с чем спокойствия, когда ни малейший шорох не потревожит чуткой тишины. И это означает увидеть небо.

Ни единый отзвук суеты человеческой сюда не долетает, ничто не может загрязнить чистый, сладостный воздух. Ни птица, ни насекомое не залетают так высоко. Тут не веет, не шелестит ветерок: ведь шар движется вместе с ветром, он как бы сливается с воздухом. Взлетев, шар больше не дергается, не раскачивается, не ощущается ни подъем его, ни спуск. Берт совсем закоченел, но голова не кружилась, в ушах не звенело. Под балахоном «дервиша пустыни» на Берте был дешевый выходной костюм, он надел еще пиджак, пальто и перчатки, сброшенные Баттериджем, и долго сидел недвижимо, подавленный открывшимся ему великим покоем. Над его головой раскачивался легкий, полупрозрачный шар из блестящего коричневого промасленного шелка, сиял ослепительный солнечный свет и синел купол неба. Освещенные солнцем облака далеко внизу казались разломанным паркетом, и сквозь гигантские трещины в нем Берт видел море.

Если б вы наблюдали за Бертом снизу, вы бы увидели его голову — черная точка подолгу виднелась у края корзины, затем исчезала, чтобы снова появиться с другой стороны.

Берт не испытывал какого-либо неудобства и не был

напуган. Конечно, ему приходило в голову, что раз эта вышедшая из повиновения штука взяла да взлетела с ним в небо, она с таким же успехом может немного погодя упасть вниз, но это соображение не слишком его волновало. Преобладающим чувством было удивление. Страх и беспокойство не омрачают полет на воздушных шарах — пока они не начинают снижаться.

— Ого! — сказал Берт, ощущая потребность поговорить.— Это получше всякого мотоциклета. Здорово! Наверно, повсюду уж телеграфировали обо мне...

Через час Берт принялся тщательно осматривать все снаряжение. Над ним находилась стянутая и перевязанная горловина шара, но через оставленное отверстие Берт мог видеть внутри огромное пустое пространство, откуда к двум клапанам около кольца спускались два тонких шнура неизвестного назначения, один белый, другой красный. Сетка, покрывавшая шар, прикреплялась к кольцу — огромному стальному ободу, и к нему же была прикреплена канатами корзина. С кольца спускался гайдроп и якорь, а по бокам корзины висели холщовые мешки, и Берт решил, что это балласт, который надо швырять вниз, если шар начнет спускаться («пока что этого не требуется»,— заметил он).

К кольцу был подвешен барометр и еще какой-то инструмент в футляре. На костяной дощечке, прикрепленной к футляру, стояло «статоскоп» и еще какие-то французские слова, а маленькая стрелка указателя дрожала между словами «Montée» [1] и «Descente» [2].

— Все понятно,— заметил Берт.— Эта штука показывает, поднимается шар или опускается.

На красном мягком сиденье лежало два пледа и кодак, а на полу в углу корзины валялись пустая бутылка из-под шампанского и бокал.

— Освежающие напитки,—задумчиво произнес Берт, тронув ногой пустую бутылку, и тут его осенило. Он сообразил, что оба мягкие сиденья, покрытые матрасами и одеялами, на самом-то деле вместительные ящики, и обнаружил в них все то, что мистер Баттеридж считал необходимым для путешествия на воздушном ша-

---

[1] Подъем *(франц.)*.
[2] Спуск *(франц.)*.

ре. В корзине с провизией он нашел пирог, паштет из дичи, холодную курицу, помидоры, салат, сандвичи с ветчиной и креветками, большой кекс, ножи, вилки, бумажные тарелки, самосогревающиеся жестянки с кофе и какао, хлеб, масло и мармелад. Кроме того, в ящиках оказались бережно упакованные бутылки с шампанским и с минеральной водой, большая фляга с водой для умывания; портфель, карты, компас и рюкзак со всякими необходимыми вещами; там были даже щипцы для завивки волос, шпильки и теплая шапка с наушниками.

— Домашний уют вдали от дома,— сказал Берт, обозревая припасы, и завязал под подбородком тесемки наушников

Он выглянул из корзины. Далеко внизу лежали облака. Теперь они сгустились и закрыли от него весь мир. К югу они громоздились снежной массой — он чуть было не принял их за горы; на севере и востоке облака вздымались, как волны, и ослепительно сверкали на солнце.

— Интересно, сколько может шар продержаться в воздухе? — сказал Берт.

Ему казалось, что он застыл на месте: настолько незаметным было движение чудовищного шара, словно слившегося с окружающим воздухом.

— Лучше бы не снижаться, пока нас не отнесет дальше,— сказал он и взглянул на статоскоп.

— Стоит на «монте». А что, если дернуть за веревку? Нет уж, лучше не надо.

Попозже он все-таки дернул за обе веревки — за клапанную и за разрывную, но, как уже обнаружил ранее мистер Баттеридж, обе их заело в горловине шара, и ничего не произошло. Если б не эта незначительная неисправность, разрывное полотнище распороло бы шар, как удар меча, и мистер Смоллуейз отправился бы в вечность со скоростью нескольких тысяч футов в секунду.

— Не действует! — сказал он, в последний раз дернув роковую веревку. И приступил к завтраку.

Он стал открывать бутылку шампанского, но едва снял проволочку, как пробка с силой вылетела и следом за ней почти все содержимое. Берт все же налил себе почти полный бокал.

— Атмосферное давление,—сказал он, впервые найдя практическое применение познаниям, почерпнутым в школьные дни.

— В другой раз буду осторожнее. Незачем тратить вино зря.

Потом он принялся искать спички, чтобы воспользоваться сигарами мистера Баттериджа, но и на этот раз счастье не покинуло его — спичек не было, и ему не удалось поджечь газ у себя над головой, чтобы исчезнуть в яркой вспышке великолепного, но мгновенного фейерверка.

— Черт бы побрал этого Грабба,— проговорил Берт, хлопая себя по пустым карманам.— Надо же ему было взять мой коробок! Вечно он берет чужие спички.

Некоторое время он отдыхал. Потом встал, прошелся по корзине — поправил мешки с балластом, понаблюдал за облаками и наконец занялся картами. Географические карты всегда интересовали Берта, и он попытался отыскать карту Франции или Ла-Манша, но не нашел ничего, кроме карт английских графств, выпущенных военным министерством. Тут он задумался над тем, что не везде говорят по-английски, и постарался освежить в памяти школьные познания французского. «Je suis Anglais. C'est une méprise. Je suis arrivé par accident ici»[1] — эти фразы показались ему наиболее подходящими. А потом ему пришло в голову, что можно поразвлечься чтением писем Баттериджа и изучить его записную книжку. Так он и скоротал остаток дня.

2

Берт сидел на мягкой скамье, тщательно закутавшись,— воздух, хотя и неподвижный, был пронизан бодрящим холодком. На Берте было простое белье провинциального франта и синий саржевый костюм, на ногах — нечто вроде сандалий, удобных для езды на велосипеде, и коричневые носки, в которые он заправил брюки. Далее следовала продырявленная простыня, приличествующая «дервишу пустыни», затем жилет, пиджак и меховое пальто мистера Баттериджа; наряд довершала

[1] Я англичанин. Это — недоразумение. Я попал сюда случайно *(франц.)*.

дамская меховая накидка и одеяло, в которое он закутал ноги. Голову его защищали парик из пакли, меховая шапка с наушниками, а ноги согревали меховые домашние сапожки мистера Баттериджа. Корзина воздушного шара была небольшая, но уютная; только мешки с балластом несколько портили вид. Обнаружив легкий складной столик, Берт поставил его себе под локоть и поместил на него бокал с шампанским, а вокруг, и сверху и снизу, простиралось необъятное пространство — та совершеннейшая пустота и безмолвие, какие ведомы лишь аэронавтам.

Берт не знал, куда его уносит и что ждет его впереди. Но сложившееся положение вещей он принимал с невозмутимостью, делающей честь мужеству Смоллуейзов, в котором прежде вполне позволительно было усомниться. Он считал, что где-нибудь он все-таки окажется на земле, и тогда, разумеется, если только он не разобьется, кто-нибудь, возможно, какое-то «общество», подберет его и переправит вместе с воздушным шаром в Англию. Если же нет, он решительно потребует британского консула. «Le consuelo Britannique [1],— скажет он,— apportez moi à la consuelo Britannique s'il vous plait» [2],— ведь он все-таки знает французский язык.

А пока что он с интересом предался изучению интимной жизни мистера Баттериджа.

Сперва ему попались письма сугубо личного характера, в том числе пылкие любовные послания, написанные размашистым женским почерком. Нас они не интересуют, и можно только пожалеть, что Берт прочитал их.

— Ого!—изумленно воскликнул он, прочитав письма, и после длительной паузы добавил:—Неужто это от нее?

Он призадумался, а потом снова занялся бумагами Баттериджа. Среди них он нашел газетные вырезки — интервью Баттериджа; несколько писем, написанных по-немецки, и письма, написанные тем же почерком, но уже по-английски.

— Ага! — задумчиво произнес Берт.

---

[1] Le consuelo — утешение *(исп.)*; britannique — британский *(франц.)*.

[2] Отнесите меня, пожалуйста, к британскому консулу *(франц.)*.

В одном из писем — первом попавшем ему в руки — корреспондент прежде всего извинялся перед Баттериджем за то, что ранее писал ему не по-английски, что вызвало известные неудобства и задержку в переписке; содержание письма показалось Берту чрезвычайно интересным. «Мы вполне понимаем всю сложность вашего положения и что при сложившейся ситуации за вами, возможно, следят. Но все-таки, сэр, мы не можем поверить, что вам станут серьезно препятствовать, если вы пожелаете покинуть свою страну и прибыть к нам с вашими планами по обычному маршруту — через Дувр, Остенде, Булонь или Дьепп. Нам трудно поверить, что из-за вашего бесценного изобретения вас могут, как вы опасаетесь, «убить».

— Любопытно! — воскликнул Берт и призадумался. Потом просмотрел остальные письма.

— Им, видно, хочется, чтоб он приехал,— сказал Берт,— но ввязываться в это сами они не хотят. А может, нарочно притворяются, будто им все равно, чтоб сбить цену.

— Не похоже, чтобы это было правительство,— продолжал размышлять Берт.— Скорее какая-то фирма... На бланках сверху напечатано Drachenflieger. Drachenballons. Ballonstoffe. Kugellballons[1]. Для меня все это китайская грамота.

— Но ведь он пытался продать свой драгоценный секрет за границу. Это ясно как день! Черт подери! Вот он, секрет-то!

Берт вскочил как ужаленный, открыл ящик, вытащил портфель и отпер его на раскладном столике. Портфель был набит чертежами, с условными цветовыми обозначениями. Кроме того, в нем оказалось несколько недодержанных, несомненно, любительских фотографий машины Баттериджа, очевидно, сделанных с близкого расстояния в ангаре около Хрустального Дворца. Дрожь волнения охватила Берта.

— Бог ты мой! А я-то лечу на такой немыслимой высотище, с этим чертовым секретом!

— А ну-ка посмотрим! — Он принялся изучать чертежи и сравнивать их с фотографиями. И стал в тупик. По-

[1] Воздушный змей. Змей-шар. Материал для шаров. Шары.

видимому, части их не хватало. Он попытался представить себе, как должны выглядеть чертежи все вместе, но это оказалось ему не под силу.

— До чего же сложно,— сказал он.— Эх, не обучили меня инженерному делу! Если б я только мог разобраться в этих чертежах!

Он подошел к борту корзины и долго смотрел невидящим взором на скопление пышных облаков, которые медленно таяли, словно подсвеченные снизу солнцем горные вершины. Вдруг он заметил скользившее по облакам странное черное пятно. Берт встревожился. Там, далеко внизу, темное пятно неутомимо следовало за ним по облачным горам. Почему эта штука гонится за ним? И что это может быть?

Тут его осенило.

— Ах ты черт! — воскликнул он. Это была тень от шара. И все же Берт еще некоторое время с сомнением посматривал на нее. Потом он вернулся к разложенным на столе чертежам.

Весь день Берт то пытался разобраться в них, то погружался в задумчивость. И еще он придумал целую речь на поразительном французском языке. Voici Mossoo! Je suis un inveuteur Anglais. Mon nom est Butteridge. Beh. oo. teh. teh. ch. arr. e. deh. ghe. eh. J'avais ici pour vendre le secret de le *flying-machine*. Comprenez? Vendre pour l'argent tout suite, l'argent en main. Comprenez? C'est le machine, à jouer dans l'air. Comprenez? C'est le machine á fair l'oiseau. Comprenez? Balancer? Oui exactement! Battir l'oiseau en fait, à son propre jeu. Je désire de vendre ceci à votre government national. Voulez vous me directer la? [1].

— С грамматикой тут, надо думать, не все ладно, но смысл-то они поймут как миленькие.

— А если меня попросят растолковать эти чертовы чертежи? — И удрученный Берт опять склонился над чертежами.— Нет, тут чего-то не хватает! — сказал он.

---

[1] Эй, мусью! Я английский изобретатель. Меня зовут Баттеридж. Б-а-т-т-е-р-и-д-ж. Я здесь, чтобы продать секрет летательной машины. Понимаете? Продать, чтобы получить деньги, сейчас же, деньги в руки. Понимаете? Машина, чтобы изображать птицу. Понятно? Балансирует. Да, именно так! Бьет птицу в ее стихии. Я хочу продать это вашему национальному правительству. Скажите, как туда пройти *(ломаный франц.)*.

И, паря над облаками, он мучительно раздумывал, как же ему лучше распорядиться своей удивительной находкой. Ведь в любой момент он может приземлиться и оказаться среди неведомо каких иностранцев.

— Такой счастливый случай выпадает раз в жизни! — воскликнул Берт, но ему становилось все яснее, что это вовсе не так.

— Едва я спущусь, об этом сразу же телеграфируют, напишут в газетах. Баттеридж мигом узнает и кинется за мной в погоню.

Такой преследователь мог напугать кого угодно. Берт вспомнил черные усищи, грозный нос, свирепый взгляд и зычный голос. И чудные мечты, овладевшие им — как он присвоит и продаст великий секрет Баттериджа,— поблекли, растаяли, исчезли. Он вернулся к трезвой действительности.

— Ничего не выйдет. Что толку ломать над этим голову?

Медленно и неохотно Берт разложил все бумаги Баттериджа по отделениям портфеля в прежнем порядке.

Тут он заметил разлившийся над воздушным шаром сияющий золотой свет и ощутил в синем своде небес непривычную теплоту. Он встал, и его взору представилось солнце, громадный шар слепящего золота, опускавшийся в бурное море алых, окаймленных золотом облаков, фантастических, волшебных. К востоку синеющая облачная страна уходила в бесконечную даль, и Берту казалось, что его взгляду открылось все полушарие.

А потом в синей дали он увидел три темных продолговатых, похожих на рыб силуэта — словно гнались друг за другом резвившиеся дельфины. У них были хвосты, и они действительно очень напоминали рыб. А может быть, при этом сумеречном освещении зрение обмануло его. Берт зажмурился, посмотрел снова, силуэты исчезли. И еще долго всматривался Берт в синеющую даль, но ничего больше не увидел...

— Верно, все это мне померещилось,— сказал он,— такого в природе не бывает...

Солнце опускалось все ниже и ниже, оно не сразу нырнуло в облака, а скользило, исчезая, к северу, и вдруг свет дня и разлитое вокруг тепло сразу пропали, и стрелка статоскопа задрожала около слова «Descente».

3

— Что же теперь будет? — сказал Берт.

Он увидел, что холодная серая масса облаков медленно и неотвратимо надвигается на него снизу. Когда он погрузился в облака, они уже не походили на покрытые снегом склоны гор, они стали невесомыми, и оказалось, что состоят они из бесчисленных неслышных струй и вихрей. Когда он уже почти погрузился в их темнеющую массу, спуск на какой-то миг прекратился. Но затем купол неба внезапно скрылся, исчезли последние отблески дневного света, и в сумерках он стал быстро падать сквозь вихрь снежинок, которые неслись мимо него к зениту, садились на все вокруг и таяли, касаясь его лица призрачными пальцами. Берт начал дрожать. Изо рта вырывался пар, и все вокруг пропиталось влагой.

Ему показалось сначала, что метель с невероятным, все возрастающим ожесточением устремляется вверх; но потом он сообразил, что сам все быстрее падает вниз.

Постепенно он стал различать какой-то звук. Наступил конец великому безмолвию мира.

Но что означает этот неясный звук?

Берт тревожно вытянул шею и прислушался в полной растерянности.

Сначала он как будто разглядел что-то, но нет. И вдруг отчетливо увидел прямо под собой бегущие волны с пенистыми гребешками, увидел волнующуюся громаду моря. Вдалеке виднелось лоцманское судно с большим парусом, на котором неясно чернели буквы и мерцал крошечный красно-желтый огонек. Оно неслось с волны на волну, гонимое штормовым ветром, а Берту по-прежнему казалось, что воздух вокруг неподвижен. Скоро шум бушующих волн стал громким и близким. Он падает — и падает в море!

Берт лихорадочно принялся за дело.

С криком «балласт» он схватил небольшой мешок и выбросил его за борт. Не дожидаясь результата, выбросил следом за ним и второй. Выглянув из корзины, он успел увидеть средь мутных волн белый всплеск, и снова оказался среди облаков и снега.

Без всякой надобности он выбросил еще два мешка и необычайно обрадовался, когда из сырости и про-

пизывающего холода поднялся в верхние слои чистого, прозрачного воздуха, где еще медлил день.

— Слава богу! — от всего сердца воскликнул он.

Несколько звезд уже пронзили синеву неба, а на востоке ярко сияла сплюснутая луна.

4

После этого стремительного спуска Берту не давала покоя мучительная мысль, что под ним — безбрежное водное пространство. Ночь была летняя, короткая, но Берту она показалась бесконечно долгой. Ему почему-то казалось, что восход солнца должен рассеять его страхи. К тому же он был голоден. Он нащупал в темноте корзину с провизией, угодил рукой прямо в паштет, достал несколько сандвичей и довольно удачно открыл маленькую бутылку шампанского. Еда согрела его и подбодрила, он ругнул Грабба за спички, укрылся потеплее, лежа на скамье, и немного вздремнул. Раза два он вставал, желая убедиться, что все еще находится на безопасной высоте. Залитые лунным светом облака казались белыми и плотными, и тень от шара бежала по ним, как собака за хозяином. Во второй раз Берт заметил, что облака поредели. А потом, когда он опять улегся и уставился на громадный темный шар у себя над головой, он вдруг сделал открытие. Стоило ему поглубже вдохнуть, и его жилет, вернее, жилет мистера Баттериджа, начинал шуршать. Он был набит какими-то бумагами. Но было темно, и как Берт ни старался, ему не удалось их извлечь и рассмотреть.

Проснулся он от петушиного крика, лая собак и птичьего гама. Он медленно и совсем невысоко пролетал над обширной равниной, озаренной золотым сиянием безоблачного дня. Он видел хорошо возделанные, ничем не огороженные поля, исчерченные дорогами, вдоль которых шагали красные телеграфные столбы. Вот внизу проплыла деревня, высокая колокольня, теснятся один к другому белые домики с островерхими, крытыми красной черепицей крышами. Крестьяне, собиравшиеся в поле,— несколько мужчин и женщин, в опрятных блузах и неуклюжих башмаках, смотрели на воздушный шар, который

настолько снизился, что гайдроп уже волочился по земле...

Берт посмотрел на них. «А как все-таки можно спуститься? — подумал он. — Пожалуй, и пора!»

Он увидел, что летит прямо на линию монорельса, и поспешил выбросить несколько горстей песка, чтобы подняться повыше.

— Посмотрим! Можно, конечно, сказать «Prenez!» [1]. Эх, знать бы, как сказать по-французски «хватайте канат!». Ведь это, наверно, французы?

Он еще раз поглядел вниз.

— А может, это Голландия? Или Люксембург? Или Лотарингия? Почем мне знать! А это еще что за штуковина? Вроде бы печи для обжига кирпича... Богатая страна...

Аккуратность пейзажа подала ему благой пример.

— Прежде всего приведем себя в порядок...

Берт решил подняться немного выше, избавиться от парика (голове от него уже стало жарко) и привести себя в порядок. Он выбросил мешок с балластом и, к своему изумлению, стремительно понесся вверх.

— Ах, черт! — вырвалось у мистера Смоллуейза. — Перестарался я с этим балластом. И когда я теперь снова спущусь?.. Завтракать уж, во всяком случае, придется на борту.

Было тепло, и Берт снял шапку, потом парик и недолго думая выбросил его за борт. В ответ стрелка статоскопа резко качнулась к «Montée».

— Эта проклятая штука прыгает вверх, стоит только бросить за борт хоть взгляд! — заметил Берт и решительно взялся за корзинку с провизией. Среди всего прочего он нашел несколько жестянок жидкого какао с подробной инструкцией, как их открывать, и незамедлительно ею воспользовался. В обозначенных местах он проделал в дне банки ключом дырочки, и она сразу стала нагреваться. Вскоре он уже еле держал ее в руках. Тогда он вскрыл банку с другого конца — какао чуть ли не кипело без всякой помощи спичек или огня. Это давнишнее изобре-

---

[1] Возьмите! *(франц.)*

тение было Берту неизвестно. Он достал ветчину, хлеб и мармелад и отлично позавтракал.

Солнце начинало припекать. Берт сбросил пальто и вспомнил, что ночью слышал какое-то шуршание. Он снял жилет и внимательно его осмотрел.

— Если я вспорю его, старина Баттеридж не очень-то обрадуется.

Но после недолгого колебания он все же отпорол подкладку. И обнаружил то, чего недоставало,— чертежи боковых вращающихся плоскостей, от которых зависела устойчивость машины в воздухе.

Какой-нибудь наблюдательный ангел мог заметить, что после своего открытия Берт долго сидел в глубокой задумчивости. Потом, придя к какому-то решению, он встал, взял распоротый, выпотрошенный жилет и швырнул его за борт — жилет стал, кружась, медленно падать и наконец обрел покой, с удовольствием шлепнувшись на физиономию какого-то немецкого туриста, мирно спавшего у обочины дороги близ Вильдбада. Шар благодаря этому поднялся еще выше, нашему воображаемому ангелу наблюдать стало еще удобнее, и он мог бы увидеть, как мистер Смоллуейз распахнул свой пиджак и жилет, расстегнул рубашку, отстегнул воротничок, сунул руку на грудь и вырвал собственное сердце, а если и не сердце, то все равно что-то большое и ярко-красное. И если б наш небесный наблюдатель, переборов дрожь неземного ужаса, получше рассмотрел вблизи красный предмет, то обнаружил бы один из самых заветных секретов Берта, одну из сильнейших его слабостей: то был нагрудник из красной бумазеи, одно из тех мнимоцелебных средств, которые наряду со всякими пилюлями и микстурами заменили протестантам ладанки и изображения святых. Берт всегда носил этот нагрудник, ибо одним из сладостнейших его заблуждений, внушенных ему за шиллинг предсказателем из Маргета, была твердая уверенность, что у него слабая грудь.

Он расстегнул свой талисман, подпорол перочинным ножом шов и засунул обнаруженные чертежи между двумя слоями бумазеи. Потом с торжественным видом человека, сделавшего в жизни решительный шаг, взял зеркальце для бритья и складной полотняный тазик Баттериджа и привел в порядок свой костюм. Засте-

гнул пиджак, забросил на плечо белую простыню дервиша пустыни, ополоснул лицо и руки, побрился, снова надел шапку и пальто и, весьма освеженный всеми упомянутыми процедурами, стал обозревать места, над которыми пролетал.

Зрелище было действительно великолепное. И даже если оно не было таким необычным и величественным, как залитая солнцем облачная панорама, которую Берт видел накануне, то, во всяком случае, казалось несравненно интереснее. Прозрачный воздух, совсем чистое, если не считать нескольких облачков на юге и западе, небо. Местность была холмистая, кое-где виднелись еловые рощицы и голые склоны. Но зато повсюду были разбросаны фермы; холмы прорезали глубокие овраги, где вились речки, перегороженные плотинами электрических станций. Тут и там виднелись веселые деревеньки, и в каждой над островерхими крышами поднималась колокольня, выделявшаяся своей формой, а рядом — шпиль беспроволочного телеграфа. Кое-где виднелись большие замки с парками. Вдоль белых дорог шагали красные и белые телеграфные столбы — самая приметная черта ландшафта. Попадались обнесенные оградой сады, риги, длинные амбары и молочные фермы с электрической дойкой. На склонах холмов паслись многочисленные стада. Кое-где Берт замечал железнодорожные насыпи (по ним теперь шел монорельс), нырявшие в туннели и пересекавшие дамбы, и порой до него доносился гул поездов. Все было крошечное, но вырисовывалось очень отчетливо. Раза два Берт заметил пушки с солдатами и вспомнил военные приготовления, которые он видел в день их загородной прогулки, однако ничего необычного в этих приготовлениях он не усмотрел и не понимал, что означают отдельные пушечные выстрелы, слабые раскаты которых время от времени достигали его слуха.

— Хотел бы я знать, как бы это мне спуститься, — сказал Берт, летевший на высоте десяти тысяч футов, и стал усиленно дергать за красный и белый шнуры, но без результата. Затем он проверил запасы провизии. На большой высоте у него разыгрался зверский аппетит, и он счел разумным разделить провиант на порции. Ведь кто знает, может, ему придется пробыть в воздухе еще с неделю.

Сначала гигантская панорама, развертывавшаяся внизу, была нема, как нарисованная картина. Но по мере того, как угасал день, газ медленно вытекал из шара, и он стал понемногу снижаться. Все более четко вырисовывались предметы, можно было уже разглядеть людей, Берт различал гудки и свистки паровозов и автомобилей, рев скотины, пение горнов и звон литавров и, наконец, человеческие голоса. Гайдроп стал опять волочиться по земле, и Берт решил сделать попытку приземлиться. Когда канат касался проводов, волосы у Берта становились от электричества дыбом, один раз его даже ударило током, и вокруг корзины затрещали искры. Но во время путешествия чего не бывает. Все его мысли были заняты одним—сбросить подвешенный к кольцу железный якорь.

Первая попытка не увенчалась успехом, возможно, потому, что Берт неудачно выбрал место для посадки. Шар должен опускаться на открытом пустом месте, а он выбрал место людное. Берт принял решение внезапно, не обдумав все как следует. Медленно пролетая над долиной, Берт увидел впереди удивительно привлекательный городок — островерхие крыши, высокий церковный шпиль, зелень деревьев, городская стена с красивыми широкими воротами, выходившими на обсаженную деревьями широкую проезжую дорогу. Провода и линии со всей округи устремлялись в городок, словно в гости на угощение. Городок казался необыкновенно мирным, уютным и к тому же весело пестрел множеством флагов. По дороге в город и из него двигались крестьяне — кто в больших двуколках, кто пешком, иногда проносился вагон монорельса, а за пределами городка около станции монорельса бойко торговали палатки небольшой ярмарки. Берту местечко это показалось восхитительным — обжитым, гостеприимным, приветливым. Он летел низко над деревьями, держа наготове якорь и готовясь бросить его в самом людном месте, воображение рисовало ему, как он вот-вот окажется внизу — необычайный, невероятно интересный для всех гость.

Он представлял себе, как будет совершать чудеса, объясняясь с восхищенными поселянами с помощью жестов и произнося наугад иностранные слова...

И вот тут-то начались всяческие злоключения.

Толпа еще не поняла, что над деревьями появился воздушный шар, а гайдроп натворил уже немало бед. Какой-то пожилой и, вероятно, подвыпивший крестьянин в блестящей черной шляпе, с большим красным зонтом в руках, первым увидел волочившийся по земле канат и воспылал буйным желанием уничтожить его. С грозными воплями крестьянин ринулся за врагом. Канат пересек дорогу, окунулся в чан с молоком на каком-то прилавке, потом хлестнул своим молочным хвостом по фабричным работницам, сидевшим в задержавшемся перед городскими воротами грузовике. Они громко завизжали. Прохожие посмотрели вверх и увидели Берта, который, как ему казалось, приветливо с ними раскланивался, но они сочли его жесты оскорбительными — ведь не стали бы работницы вопить просто так. Тут корзина задела крышу сторожки, сломала флагшток, исполнила мелодию на телеграфных проводах, и один из них, оборвавшись, хлестнул по толпе, как бич, что отнюдь не способствовало ее умиротворению. Берт чуть не вывалился вниз головой, но вовремя ухватился за стропы. Два молодых солдата и несколько крестьян, выкрикивая что-то очень нелестное и потрясая кулаками, бросились за ним вдогонку, но тут шар скрылся за городской стеной. Ничего себе восхищенные поселяне!

Воздушный шар сразу как-то легкомысленно подпрыгнул, как случается, когда, коснувшись земли, он утрачивает часть своего веса, и Берт очутился на запруженной крестьянами и солдатами улице, выходившей на рыночную площадь. Волна недоброжелательства катилась за ним следом.

— Якорь! — сказал Берт, а затем с некоторым опозданием крикнул: — Эй вы, têtes! [1] Têtes! Слышите! Черт...

Якорь загремел по крутой крыше, обрушив вниз град разбитой черепицы, качнулся над улицей под общие вопли и крики и с ужасающим звоном разбил зеркальную витрину. Шар перекатывался с боку на бок, и корзину кидало во все стороны, но якорь ни за что не зацепился. Он тут же выскочил из витрины, подцепив одной лапой

[1] Головы! *(франц.)*

детский стульчик с таким видом, будто долго и тщательно выбирал, что взять, а следом выбежал взбешенный продавец. Подняв в воздух свою добычу, якорь под гневный рев толпы медленно раскачивался, будто мучительно соображая, что же делать дальше, и, наконец, словно в порыве вдохновения, ловко сбросил стульчик на голову крестьянке, торговавшей на рынке капустой.

Теперь уже все видели шар. Кто старался увернуться от якоря, кто—поймать гайдроп. Якорь, как маятник, пронесся над толпой, и все бросились врассыпную, а он опять коснулся земли, хотел подцепить какого-то толстяка в синем костюме и соломенной шляпе, но промахнулся; выбил козлы из-под лотка с галантереей; заставил ехавшего на велосипеде солдата подпрыгнуть, как альпийская серна; затем ненадолго пристроился между задними ногами овцы, и она судорожно дергалась, стараясь высвободиться, пока он наконец надежно не зацепился за каменный крест посреди площади и не положил ее у его подножия. Шар дернулся и замер. Через мгновение десятки рук ухватились за канат и стали тянуть его вниз. Тут Берт впервые почувствовал, что над землей дует свежий ветер.

Несколько секунд Берт с трудом сохранял равновесие — корзину страшно качало — и, глядя на разъяренную толпу, старался собраться с мыслями. Неблагоприятный поворот событий чрезвычайно его удивил. Неужели эти люди и в самом деле так разозлились? Все до единого бросали на него гневные взгляды. Его появление, по-видимому, никого не заинтересовало и не обрадовало. Все кричали, словно проклиная его,— волнение походило на мятеж. Какие-то люди в великолепных мундирах и треуголках тщетно старались утихомирить толпу. В воздухе мелькали кулаки и палки. А когда Берт увидел, что какой-то парень бросился к возу с сеном и выхватил оттуда острые вилы, а одетый в синий мундир солдат снял с себя пояс, он окончательно уверился в том, что городок этот не слишком удачное место для приземления.

Он тешил себя мечтой, что его встретят как героя. Теперь он убедился в своей ошибке.

Берта отделяло от толпы всего десять футов, когда он наконец решился. Оцепенение прошло. Он вскочил на скамью и, рискуя свалиться, отвязал от кольца якорь,

а потом отцепил и гайдроп. Увидев, что якорь летит вниз, а шар рванулся ввысь, толпа злобно взревела, и что-то просвистело над ухом Берта — потом он решил, что это была репа. Канат последовал за якорем, и толпа словно провалилась вниз. С невообразимым треском шар налетел на телеграфный столб, и Берт обмер — сейчас провода замкнутся и произойдет взрыв, либо лопнет шелковая оболочка шара, или стрясется то и другое сразу. Но судьба по-прежнему хранила Берта.

Через секунду он сидел, съежившись, на дне корзины, а шар, освободившись от тяжести якоря и двух канатов, снова несся ввысь. Когда же Берт наконец посмотрел вниз, городок уже стал совсем крошечным и вместе с остальной южной Германией непрестанно вращался вокруг корзины, по крайней мере так казалось Берту.

Привыкнув к вращению шара, Берт решил, что это даже весьма удобно: можно было все видеть, не двигаясь с места.

5

Погожий летний день 191... года уже клонился к вечеру (если мне будет позволено прибегнуть к обороту, некогда столь любимому читателями покойного Джорджа Джеймса), когда в небе можно было увидеть одинокого воздухоплавателя, пришедшего на смену одинокому всаднику классических романов, который пересекал Франконию, двигаясь на северо-восток на высоте около одиннадцати тысяч футов и продолжая медленно вращаться. Свесившись через край корзины, воздухоплаватель в страшном смятении обозревал проплывавшую под ним местность, а губы его беззвучно бормотали: «Стрелять в человека... да я бы сам охотно приземлился, если бы знал, как это сделать». С борта корзины свешивалось одеяние «дервиша пустыни» — белый флаг, тщетно просивший о милосердии. Теперь уже воздухоплаватель окончательно убедился, что страну, проплывавшую под ним, населяли совсем не простодушные поселяне, как он воображал утром, дремотно не ведающие о его полете, способные удивиться при его внезапном появлении и встретить его с благоговением. Наоборот, его появление вызвало только злую досаду, а курс, который

он выбрал,— сильнейшее раздражение. Но курс ведь выбирал не он, а владыка неба — ветер. Снизу долетали таинственные голоса, на всевозможных языках выкрикивали через рупоры непонятные слова. Какие-то должностные лица подавали ему сигналы, размахивая руками и флагами. Смысл большинства долетавших до Берта фраз, произносимых на гортанном ломаном английском языке, сводился к одному: «Спускайтесь — не то мы будем стрелять».

— Прекрасно,— сказал Берт,— да только как спуститься?

Затем по нему выстрелили, но промахнулись. Стреляли шесть-семь раз, одна пуля просвистела так, будто треснул разорвавшийся шелк, и Берт уже готов был полететь камнем вниз. Но либо они нарочно стреляли мимо, либо промахнулись — все вокруг было цело, если не считать его разлетевшегося вдребезги мужества.

Теперь, правда, наступила передышка, но Берт понимал, что это в лучшем случае всего лишь антракт, и старался обдумать свое положение.

Между делом он перекусил пирогом, запивая его горячим кофе и все время с тревогой поглядывая вниз. Вначале он приписал все возраставший интерес к его полету неудачной попытке приземлиться в очаровательном городке, но теперь ему становилось ясно, что его появление встревожило отнюдь не гражданское население, а военные власти.

Берт невольно играл мрачную таинственную роль — роль международного шпиона. Он наблюдал совершенно секретные вещи. Он не более, не менее, как нарушил планы могущественной Германской империи, он ворвался в самое сердце «Welt-Politik» [1]; шар, против воли Берта, увлекал его к месту, скрывавшему величайшую тайну Германии,— к секретному парку воздушных кораблей, который с неимоверной быстротой рос во Франконии, где в глубочайшей тайне воплощались в жизнь великие изобретения Ханштедта и Штосселя, чтобы, опередив все другие нации, Германия получила в свое распоряжение колоссальный воздушный флот, а с ним и власть над миром.

---

[1] «Мировая политика» *(нем.)* — название внешней политики, проводившейся Вильгельмом II.

Немного погодя, прежде чем Берта наконец подстрелили, он увидел освещенное неярким вечерним солнцем громадное пространство, где кипела секретная работа и где лежали похожие на пасущихся чудовищ воздушные корабли. На территории парка, тянувшейся на север сколько хватал глаз, в строгом порядке располагались нумерованные ангары, газгольдеры, казармы и склады, соединенные линиями монорельса, но нигде не было видно ни единого провода. Всюду виднелись черно-бело-желтые цвета Германской империи и простирали свои крылья черные орлы. Но и без этого можно было узнать Германию — по необычайной и всепроникающей аккуратности. Внизу виднелось множество солдат — одни, в бело-серой рабочей форме, копошились около воздушных кораблей, другие, в темно-серой форме, занимались учениями; кое-где блестело золото парадных мундиров.

Но Берта больше всего заинтересовали воздушные корабли: он сразу догадался, что накануне вечером видел именно три таких корабля, когда они, воспользовавшись прикрытием облаков, производили учебные полеты.

Они действительно очень походили на рыб. Ибо большие воздушные корабли, которые Германия обрушила на Нью-Йорк во время своей последней отчаянной попытки добиться мирового господства (прежде чем человечеству стало ясно, что господство над миром — лишь несбыточная мечта), были прямыми потомками Цеппелина, пролетевшего в 1906 году над озером Констанс, и дирижаблей Лебоди, совершивших в 1907 и 1908 годах полеты над Парижем.

Каркас немецких воздушных кораблей был сделан из стали и алюминия, а внешняя оболочка — из толстой, жесткой парусины, внутри оболочки помещался резиновый резервуар для газа, разделенный поперечными перегородками на множество отсеков—от пятидесяти до ста. Эти герметические отсеки были наполнены водородом. На нужной высоте корабль удерживался с помощью длинного баллона из крепкого, пропитанного особой смолой шелка, в который по мере надобности нагнетался воздух. Благодаря этому воздушный корабль становился то легче, то тяжелее воздуха, а потеря веса из-за расхода горючего или сброшенных бомб компенсировалась накачиванием воздуха в отсеки с водородом. В конце концов по-

лучалась сильно взрывчатая смесь; но все подобные изобретения всегда связаны с риском, против которого принимаются соответствующие предосторожности. Вдоль всего корпуса проходила стальная ось — становой хребет корабля,— на конце которой находились машина и пропеллер; команда и боеприпасы размещались в широкой головной части. Оттуда же с помощью различных электрических приспособлений осуществлялось и управление необычайно мощной машиной типа Пфорцгейм, величайшим триумфом немецких изобретателей. В остальные части корабля доступа для экипажа не было. Если обнаруживалась какая-либо неполадка, механики пробирались на корму по веревочной лестнице, проходившей под самой осью каркаса, или по проходу через газовые отсеки. Два горизонтальных боковых плавника обеспечивали боковую устойчивость корабля, а повороты осуществлялись с помощью двух вертикальных плавников у носа, которые в обычном положении были прижаты к «голове» и очень походили на жабры. Собственно говоря, эти корабли представляли собой идеальное приспособление рыбообразной формы к требованиям воздухоплавания, только плавательный пузырь, глаза и мозг помещались здесь внизу, а не наверху. Не имел ничего общего с рыбой лишь аппарат беспроволочного телеграфа, свисавший из передней кабины, так сказать, под подбородком рыбы.

Эти летающие чудовища развивали в штиль скорость до девяноста миль в час, так что они были способны продвигаться вперед против любого ветра, кроме сильнейшего урагана. Длиной они были от восьмидесяти до двух тысяч футов и могли поднять в воздух от семидесяти до двухсот тонн. История не зафиксировала, сколько таких чудовищ было в распоряжении Германии, но Берт, пролетая над этими махинами, успел насчитать чуть не восемьдесят штук. Вот на что опиралась Германия, отвергая доктрину Монро и заносчиво требуя своей доли в империи Нового Света. И не только на эти корабли; она имела в своем распоряжении еще предназначенные для бомбометания одноместные летательные аппараты «драхенфлигеры».

Но «драхенфлигеры» находились в другом гигантском воздухоплавательном парке, к востоку от Гамбурга, и Берт Смоллуейз, обозревая с высоты птичьего поле-

та франконский парк, естественно, не мог их видеть. Но тут наконец в его шар попала пуля. Подстрелили его очень искусно, с помощью новой пули со стальным хвостиком, которые Вольф фон Энгельберг изобрел специально для войны в воздухе. Пуля просвистела мимо уха Берта, послышался звук, словно хлопнула пробка от шампанского,— это стальной хвостик распорол шелк. Оболочка зашуршала, съеживаясь, и шар пошел вниз. И когда Берт, растерявшись, выбросил мешок с балластом, немцы очень вежливо, но твердо разрешили его сомнения, еще два раза прострелив шар.

ГЛАВА IV

ГЕРМАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

1

Из всех плодов человеческого воображения, сделавших столь удивительным и непонятным мир, в котором жил мистер Берт Смоллуейз, новейший патриотизм — порождение великодержавной и международной политики — был явлением самым непостижимым, стремительным, соблазнительным и опасным. В душе каждого человека живет симпатия к своим соотечественникам, гордость за свои обычаи, нежность к родному языку и родной стране. До наступления Века Науки это были добрые, благородные чувства, присущие каждому достойному человеку, добрые и благородные, хотя они и порождали уже не столь высокие эмоции: неприязнь к чужеземцам, обычно довольно безобидную, и презрение к другим странам, обычно тоже не очень опасное. Но благодаря стремительному изменению темпов жизни и ее размаха, с появлением новых материалов, открывших перед людьми великие возможности, прежние замкнутость и разобщенность были беспощадно сломлены. Вековые привычки и традиции столкнулись не просто с новыми условиями жизни, а с условиями беспрерывно менявшимися. Они не могли к ним приспособиться, а потому уничтожались или до неузнаваемости менялись и извращались.

Дед Берта Смоллуейза, живший в деревушке Банхилл, где властвовал отец сэра Питера Бона, твердо знал

«свое место» — ломал шапку перед господами и со снисходительным презрением относился к тем, кого считал ниже себя: от колыбели до могилы его воззрения не изменились ни на йоту. Он был англичанином, уроженцем Кента, и его мирок был ограничен сбором хмеля, пивом, цветущим шиповником и ласковым солнцем, какого нет больше нигде на свете. Газеты, политика, поездки в «этот самый Лондон» были не для таких, как он. А потом все изменилось. Первые главы нашего повествования дают некоторое представление о том, что произошло в Банхилле, когда поток всевозможных нововведений обрушился на этот мирный сельский край. Берт Смоллуейз был лишь одним из тех миллионов людей в Европе, Америке и Азии, которые, едва увидев свет, оказались вовлеченными в стремительный водоворот,— они не могли понять, что с ними происходит, и никогда не чувствовали твердой почвы под ногами. Захваченные врасплох привычные идеалы отцов изменились, приняли самые неожиданные, странные формы. Под натиском новых времен особенно преобразился благородный патриотизм былых времен. Дед Берта прочно усвоил вековые предрассудки и не знал более ругательного слова, чем «французишка». Голову же Берта дурманил целый вихрь то и дело менявшихся и только что прямо не призывавших к насилию лозунгов относительно соперничества Германии, «Желтой опасности», «Черной угрозы», «Бремени белого человека»—возмутительных лозунгов, бесстыдно утверждавших за Бертом право еще больше запутывать и без того запутанную политическую жизнь таких же маленьких людишек, как он сам (только с более темной кожей), которые курили папиросы и ездили на велосипедах в Булавайо, в Кингстоне (Ямайка) или Бомбее. Для Берта они были «покоренными расами», и он готов был пожертвовать жизнью (не своей собственной, а жизнью тех, кто вступал в армию), лишь бы не лишиться этого права. Мысль о возможности подобной утраты лишала его сна.

Между тем сущность политики в эпоху, когда жил Берт (эпоху, завершившуюся в результате всех ошибок катастрофой — войной в воздухе), была чрезвычайно проста, если бы только у людей хватило разума взглянуть на вещи просто. Развитие науки изменило масштабы человеческой деятельности. Новые средства сообще-

ния настолько сблизили людей в социальном, экономическом и географическом отношении, что прежнее разделение на нации и государства стало невозможным и новое, более широкое, единение людей превратилось в жизненную необходимость. Как некогда независимые герцогства Франции должны были слиться в единую нацию, так теперь нациям предстояло подготовиться к более широкому объединению, сохранив все ценное и нужное и отбросив устарелое и вредное. Более разумный мир понял бы очевидную необходимость слияния государств, спокойно обсудил бы и осуществил его и продолжал бы создавать великую цивилизацию, что было вполне по силам человечеству. Но мир Берта Смоллуейза не сделал ничего подобного. Правительства разных стран, влиятельные группировки в них не желали видеть очевидности: слишком полны были все взаимного недоверия и не способны благородно мыслить. Государства начали вести себя, как плохо воспитанные люди в переполненном вагоне трамвая: действовать локтями, толкать друг друга, спорить и ссориться. Напрасно было бы объяснять им, что надо только разместиться по-иному и всем станет удобно. Историк, занимаясь началом XX века, отмечает во всем мире одни и те же явления: старые понятия, предрассудки и злобная тупость мешают созданию новых взаимоотношений; перенаселенным государствам тесно на собственных территориях, они наводняют чужие страны своей продукцией, своими эмигрантами, досаждают друг другу тарифами и всевозможными ограничениями в торговле, угрожают друг другу армиями и флотами, которые приобретают все более пугающие размеры.

Сейчас невозможно определить, сколько умственной и физической энергии растранжирило человечество на военные приготовления. на вооружение, но затраты эти были поистине колоссальными. Если бы средства и энергию, израсходованные Великобританией на армию и флот, направить в область физической культуры и образования, англичане стали бы аристократией мира. Правители страны получили бы возможность позволить всем гражданам учиться и развиваться физически до восемнадцати лет, и каждый Берт Смоллуейз мог бы превратиться в атлетически сложенного интеллигентного человека: но для этого надо было тратить средства так, чтобы творить не

оружие, а полноценных людей. А вместо этого Берта до четырнадцати лет учили радостными кликами приветствовать воинственно развевающиеся флаги, а потом выставили его за дверь школы, после чего он вступил на путь частного предпринимательства, подробно описанный нами ранее. Подобная же нелепость происходила во Франции; а в Германии было еще хуже; Россия под бременем все растущих военных расходов шла навстречу банкротству и гибели. Вся Европа была занята производством громадных пушек и несметного множества маленьких Смоллуейзов. Народам Азии в целях самозащиты пришлось обратить новые силы, которые предоставила им развивающаяся наука, на те же цели. Накануне войны в мире существовало шесть великих держав и группа держав малых, вооруженных до зубов и изо всех сил старающихся, обогнав остальные, завладеть самым смертоносным оружием. Среди великих наций первыми надо назвать Соединенные Штаты, нацию торговую, но начавшую вооружаться ввиду поползновений Германии проникнуть в Южную Америку, а также в результате собственной неосторожной аннексии территорий, расположенных совсем под боком у Японии. Соединенные Штаты создали два громадных флота — в Атлантическом и Тихом океанах; внутри же страны разгорелся жестокий конфликт между федеральным правительством и правительствами штатов из-за вопроса о введении обязательной воинской службы в войсках обороны. За Соединенными Штатами следовала Восточно-Азиатская конференция — теснейшее сотрудничество Китая и Японии,— которая с каждым годом занимала в мире все более господствующее положение. Далее шел Германский союз, по-прежнему стремившийся осуществить свою мечту — насильно объединить под эгидой германской империи Европу и ввести повсюду немецкий язык. Это были три самые энергичные и агрессивные силы на мировой арене. Гораздо менее воинственной была Британская империя, разбросанная по всему земному шару и озабоченная мятежными выступлениями в Ирландии и среди покоренных рас. Она подарила этим покоренным расам папиросы, башмаки и котелки, крикет, скачки, дешевые револьверы, керосин, фабричную систему производства, грошовые листки на английском и местных языках, недорогие университетские

дипломы, мотоциклеты и трамваи. А кроме того, она создала целую литературу, проповедовавшую презрение к покоренным расам, и сделала ее вполне доступной для них, и пребывала в уверенности, что все эти стимулы не вызовут никакой реакции, потому что однажды кто-то написал — «дряхлый восток»; и еще потому, что Киплинг вдохновенно сказал:

О, запад есть запад, восток есть восток —
И им не сойтись никогда.

Но вопреки этому в Египте, Индии и других подвластных Британии странах вырастали новые поколения, ненавидевшие угнетение, энергичные, активные, мыслившие по-новому. Правящие классы Великобритании очень медленно усваивали новый взгляд на покоренные расы как на пробуждающиеся народы; их усилиям удержать империю от распада очень мешало необычайное легкомыслие, с каким миллионы Бертов Смоллуейзов отдавали свои голоса на выборах, и то обстоятельство, что темнокожие «собратья» Смоллуейзов в колониях все с меньшим почтением относились к раздражительным чиновникам. Дерзость их превосходила все границы — они больше не выкрикивали угрозы и не швырялись камнями, они цитировали чиновникам Бернса, Милля и Дарвина и брали над ними верх в спорах.

Еще миролюбивее Британской империи была Франция и ее союзники, латино-романские страны; эти государства вооружались, но не хотели войны и в вопросах социальных и политических стояли во главе западной цивилизации. Россия была державой миролюбивой поневоле: раздираемая на части революционерами и реакционерами, из которых никто не был способен провести социальные преобразования, она гибла в хаосе непрерывной политической вендетты. Хрупкая независимость малых государств, стиснутых великими державами, все время висела на волоске, и они вооружались, насколько позволяли им средства и возможности.

В результате в каждой стране все больше энергичных, одаренных людей отдавало свои таланты изобретению средств нападения или защиты, все более совершенствуя механизм войны, пока международная напряженность не достигла критической точки. И каждое го-

сударство старалось сохранить свои приготовления в секрете, иметь в запасе совсем новое оружие и в то же время разведать тайны своих соперников и опередить их. Страх перед новыми открытиями мучил патриотическое воображение народов. То распространялся слух, что англичане обзавелись сверхмощными пушками, то Франция якобы изобрела невидимую винтовку, то у японцев появлялось новое взрывчатое вещество, а у американцев — подводная лодка, против которой бессильны все броненосцы. И каждый раз вспыхивала паника: это война!

Все силы государств, все их помыслы были отданы войне, и в то же время основная масса их граждан слагалась из людей толпы, а более непригодного материала для войны — и в умственном, и в моральном, и в физическом отношении — никогда еще не бывало и, если нам будет позволено предсказать, никогда не будет. В этом и заключался парадокс того времени. История не знала другой такой эпохи. Машина войны, военное искусство менялись буквально с каждым десятилетием и становились все совершеннее, люди все меньше и меньше годились для войны. А ее все не было.

Но наконец она разразилась. Она явилась неожиданностью для всех, ибо истинные причины ее были скрыты. Отношения между Германией и Соединенными Штатами давно уже обострились из-за резких разногласий по вопросу о тарифах и двусмысленной позиции Германии в отношении доктрины Монро, а между Японией и Соединенными Штатами не прекращался конфликт из-за статуса японцев, проживающих в Америке. Но все это были давнишние споры. Как теперь известно, решающим явилось то обстоятельство, что Германия усовершенствовала машину Пфорцгейма и поэтому могла создать быстроходный, хорошо управляемый воздушный корабль. Германия в этот период была наиболее организованной державой мира — лучше остальных приспособленной для быстрых и тайных действий, располагающей средствами самой современной науки, опирающейся на превосходный государственный аппарат. Она знала свои сильные стороны, преувеличивала их и поэтому относилась презрительно к тайным замыслам соседей. Быть может, именно из-за этой самоуверенности

система ее шпионажа несколько ослабела. Кроме того, давняя привычка действовать бесцеремонно, напролом тоже немало способствовала такой ее позиции в международных делах. Появление нового оружия внушало ее правителям твердую уверенность, что пришел ее час — снова наступил в истории прогресса момент, когда Германия держит в руках оружие, которое определит исход битвы. Она нанесет удар и победит, пока остальные еще только занимаются экспериментами в воздухе.

И прежде всего следовало молниеносно ударить по Америке, по наиболее вероятному сопернику. Было известно, что Америка уже располагает довольно надежной летательной машиной, созданной на основе модели братьев Райт, но считалось, что вашингтонское военное министерство еще не приступило всерьез к созданию воздушного флота. И надо было нанести удар, прежде чем оно этим займется. Франция имела довольно много тихоходных воздухоплавательных аппаратов—некоторые были построены еще в 1908 году и, конечно, не могли соперничать с новейшими типами воздушных кораблей. Они предназначались для воздушной разведки на восточной границе, и небольшие размеры не позволяли им поднимать в воздух более двадцати человек без оружия и припасов, а скорость этих машин не превышала сорока миль в час. Великобритания, видимо, все еще торговалась в приступе скупости и не спешила приобрести замечательное изобретение Баттериджа, верного рыцаря ее империи. Значит, и Великобританию еще несколько месяцев по крайней мере можно было не брать в расчет. Азия никак себя не проявляла. Немцы объясняли это тем, что желтая раса вообще не способна что-либо изобрести. А других серьезных соперников не было.

— Теперь или никогда,— заявляли немцы,— теперь или никогда мы можем захватить воздух, как некогда англичане захватили моря! Пока остальные еще только ищут и занимаются опытами.

Немцы готовились энергично, продуманно и тайно, и план у них был превосходный. Насколько им было известно, только Америка представляла для них серьезную опасность; Америка, которая теперь стала главным соперником Германии в торговле и преграждала путь к

расширению ее империи. Следовательно, Америке должен быть незамедлительно нанесен удар. Они перебросят через Атлантический океан по воздуху большие силы и разобьют застигнутую врасплох соперницу.

Если считать, что сведения, которыми располагало германское правительство, были верны, операция эта была хорошо продумана и имела все шансы на успех. Было вполне возможно сохранить все в тайне до последней минуты. Воздушные корабли и летательные машины совсем не то, что броненосцы, для постройки которых требуется года два. Если имеются заводы и квалифицированные рабочие, то за несколько недель можно построить великое множество летательных аппаратов. Если создать необходимые парки и цеха, можно заполнить все небо воздушными кораблями и «драхенфлигерами». И действительно, когда пробил час, они заполонили небо, словно поднявшиеся с нечистот мухи, как едко выразился один французский писатель.

Нападение на Америку было только первым ходом в этой гигантской игре. Сразу же после вылета первого флота воздушные парки должны были приступить к сборке и наполнению газом кораблей второго воздушного флота, с помощью которого предстояло парализовать Европу, многозначительно маневрируя над Лондоном, Парижем, Римом, Санкт-Петербургом и другими столицами, нуждающимися в моральном воздействии. Полнейшая внезапность должна была ошеломить мир и подчинить его Германии. Просто поразительно, до чего близки были к осуществлению эти грандиозные планы, выношенные холодно-романтическими умами.

Роль Мольтке в этой войне в воздухе принадлежала фон Штеренбергу, однако император, пребывавший в нерешительности, принял этот план только под влиянием странного и жестокого романтизма принца Карла Альберта. Главным персонажем этой мировой драмы воистину был принц Карл Альберт — знамя партии Германской империи, воплощение идеалов новой, «рыцарственной», как ее называли, аристократии, которая возникла после низвержения социализма, погубленного внутренними раздорами, недостатком дисциплины и сосредоточением богатств в руках нескольких влиятельных семейств. Подобострастные льстецы сравнивали Аль-

берта с Черным Принцем, с Алкивиадом и молодым Цезарем. Многим он казался воплощением сверхчеловека Ницше — высокий, белокурый, мужественный и великолепный в своем презрении к морали. Первым его подвигом, повергшим в изумление Европу и едва не вызвавшим вторую Троянскую войну, было похищение норвежской принцессы Елены, на которой он затем наотрез отказался жениться. А потом последовала женитьба на Гретхен Красс, швейцарской девушке изумительной красоты. А потом он спас, едва не погибнув сам, трех портных, чья лодка перевернулась близ Гельголанда. За это, а также за победу, одержанную в гонках над американской яхтой «Дефендер», император простил принца и сделал его командующим новыми воздушными силами Германии. Принц с необыкновенной энергией занялся их усовершенствованием, чтобы, как он выразился, дать Германии сушу, море и небо. Национальное стремление к завоеваниям нашло в нем самого ярого сторонника и благодаря ему обрело конкретное воплощение в этой неслыханной войне. Но он был кумиром не одних немцев. Его неукротимая энергия покоряла воображение всего мира, как некогда наполеоновская легенда. Англичане брезгливо сравнивали осторожную, запутанную, осложненную всеми тонкостями дипломатии политику собственного правительства с бескомпромиссной позицией этого властителя умов. Французы поверили в него. В Америке слагались стихи в его честь.

Эта война была его детищем.

Взрыв энергии имперского правительства оказался неожиданным не только для всего мира, но и для большинства немцев, хотя немцы были отчасти подготовлены к такому повороту событий многочисленными книгами о грядущей войне, которые стали появляться с 1906 года, когда Рудольф Мартин создал не только свою блистательную книгу прогнозов, но и пословицу «Будущее Германии — в воздухе».

2

И вот Берт Смоллуейз, не имевший ни малейшего представления об этих всемирных силах и грандиозных замыслах, вдруг оказался в самом их средоточии

и, раскрыв рот, уставился вниз на гигантское стадо воздушных кораблей. Каждый из них длиной был чуть ли не в Стрэнд и огромен, как Трафальгарская площадь. Некоторые достигали в длину трети мили. Никогда прежде не доводилось Берту видеть ничего хоть отдаленно похожего на обширный и безупречно упорядоченный воздухоплавательный парк. Впервые в жизни он узнал об удивительных, чрезвычайно важных вещах, о которых большинство его современников даже не подозревало. До сих пор он упорно считал немцев смешными толстяками, которые курят фарфоровые трубки и обожают философию, конину, кислую капусту и вообще всякие несъедобные вещи.

Однако Берт недолго любовался открывшимся ему зрелищем. После первого выстрела он нырнул на дно корзины, и тотчас его шар начал падать, а Берт — лихорадочно соображать, как ему объяснить, кто он такой, и стоит ли выдавать себя за Баттериджа?

— О господи! — простонал он, не зная, на что и решиться.

Случайно взглянув на свои сандалии, он проникся отвращением к собственной особе.

— Они же решат, что я слабоумный! — воскликнул он и в отчаянии, вскочив на ноги, выбросил за борт мешок с балластом и тем самым навлек на себя еще два выстрела.

Он съежился на дне корзины, и в голове у него промелькнула мысль, что он сможет избежать весьма неприятных и сложных объяснений, если прикинется сумасшедшим.

Больше он ни о чем не успел подумать: воздушные корабли словно ринулись к нему со всех сторон, чтобы получше разглядеть его, корзина стукнулась о землю, подпрыгнула, и он полетел за борт головой вперед...

Очнулся он уже знаменитым и услышал, как кто-то кричит:

— Бутерайдж! Да, да! Герр Бутерайдж! Selbst! [1].

Он лежал на маленькой лужайке около одной из главных магистралей воздухоплавательного парка. Слева по обеим ее сторонам уходили вдаль бесконечные ря-

[1] Сам! (*нем.*)

ды воздушных кораблей, и тупой нос каждого был украшен черным орлом, развернувшим крылья на добрую сотню футов. Справа выстроились газовые генераторы, а между ними повсюду тянулись огромные шланги. Около лужайки Берт увидел свой совсем уже сморщившийся шар и опрокинутую корзину—рядом с гигантским корпусом ближайшего воздушного корабля они казались совсем крошечными, просто-напросто сломанная игрушка. Лежащему Берту этот воздушный корабль представился утесом, склонившимся через дорогу к другому такому же великану, так что они почти смыкались над проходом. Вокруг Берта толпились взволнованные люди — в основном рослые мужчины в узких мундирах. И все говорили, некоторые даже что-то кричали по-немецки, о чем свидетельствовал часто повторявшийся звук «пф», словно шипели перепуганные котята. Разобрать он смог только непрестанно повторявшиеся слова «герр Бутерайдж!».

— Черт возьми! —сказал Берт.— Докопались!

— Besser [1],— сказал кто-то.

Берт заметил поблизости полевой телефон — высокий офицер в синем мундире, очевидно, докладывал о его появлении. Другой офицер стоял рядом и держал в руках портфель с чертежами и фотографиями. Офицеры оглянулись на Берта.

— Ви по-немецки понимайт, герр Бутерайдж?

Берт решил, что в подобной ситуации самое лучшее — показаться оглушенным. И постарался выглядеть как можно более оглушенным.

— Где я? — спросил он.

Последовали длинные и непонятные объяснения. То и дело раздавалось — «der Prinz» [2]. Вдруг где-то вдали прозвучал сигнал горниста, его подхватили другие горны, уже ближе. Офицеры, казалось, заволновались еще больше. Промчался вагон монорельса. Бешено зазвонил телефон, и высокий офицер принялся горячо с кем-то пререкаться. Потом он подошел к тем, кто окружал Берта, и сказал что-то вроде «mitbringen» [3].

---

[1] (Ему) лучше (*нем.*).
[2] Принц (*нем.*).
[3] Взять с собой (*нем.*).

Седоусый, сухой старик с лицом фанатика обратился к Берту:

— Герр Бутерайдж, сэр, мы сей минут отправляемся.

— Где я? — повторил Берт.

Кто-то потряс его за плечо.

— Вы герр Бутерайдж?

— Герр Бутерайдж, мы сей минут отправляемся! — повторил седоусый и беспомощно добавил: — Как бить? Что нам делайт?

Офицер, дежуривший у телефона, повторял свои «der Prinz» и «mitbringen». Человек с седыми усами вытаращил глаза, но через минуту понял, что от него требуется, и принялся энергично действовать: он выпрямился и стал выкрикивать направо и налево распоряжения людям, которых Берт не видел. Посыпались вопросы, и стоявший около Берта доктор отвечал на них: «Ja, ja!» [1] — и добавил еще: «Kopf» [2]. Затем доктор решительно поднял на ноги упиравшегося Берта, к которому тут же подскочили два дюжих солдата и схватили его под руки.

— Эй! — испугался Берт.— Это еще зачем?

— Ничего, ничего,— успокоил его доктор,— они отнесут вас.

— Куда отнесут?

Но вопрос Берта остался без ответа.

— Обхватите руками их шеи, вот так!

— Ладно, только куда вы это меня?

— Держитесь крепче.

Прежде чем Берт решился сказать что-либо еще, солдаты подхватили его и унесли. Сплетя руки, они сделали сиденье, на которое и посадили Берта, вскинув его руки себе на плечи.

— Vorwärts! [3]— Кто-то бежал впереди с портфелем, а Берт быстро следовал за ним по широкой дорожке мимо газовых генераторов и воздушных кораблей. Несли его, в общем, плавно, хотя два раза солдаты, споткнувшись о шланги, едва его не уронили.

На Берте была альпийская шапка мистера Баттериджа, на узкие плечи его была накинута шуба мистера Бат-

---

[1] Да, да! *(нем.)*
[2] Голова *(нем.)*
[3] Вперед! *(нем.)*

териджа, и он отзывался на его имя. На ногах беспомощно болтались сандалии. Фу ты! И чего они все тут так торопятся? Трясясь на руках у солдат, он, вытаращив глаза, озирался по сторонам в надвигавшихся сумерках.

Порядок, царивший на больших удобных площадках, множество деловитых солдат, аккуратные штабеля материалов, вездесущие линии монорельса и лежащие вокруг громады, похожие на корпуса пароходов, напомнили ему доки в Вульвиче, где он как-то побывал еще мальчишкой.

Весь лагерь дышал гигантской мощью создавшей его новейшей науки. Электрические фонари, расположенные внизу, у самой земли, создавали чрезвычайно своеобразный световой эффект — все тени отбрасывались вверх, и тень его, Берта, и тех, кто его нес, скользила по бокам воздушных кораблей, словно горбатое чудовище на хилых ножках. Фонари были установлены очень низко, чтобы столбы и опоры для проводов не мешали кораблям подниматься в воздух.

Сумерки сгустились, настал тихий темно-синий вечер; свет, идущий снизу, словно приподнимал все предметы, и они казались полупрозрачными и удлиненными, внутри воздушных кораблей, просвечивая, точно звезды сквозь туманную дымку, горели маленькие сигнальные лампочки, и казалось, что на землю легли легкие облака. На боках черными буквами по белому полю было написано название корабля, а на носу сидел, раскинув крылья, имперский орел — в сумерках эта птица производила особенно внушительное впечатление. Пели горны, мимо с рокотом скользили вагоны монорельсов с неподвижными солдатами. В носовых кабинах воздушных кораблей зажигался свет, через открытые двери виднелись обитые чем-то мягким проходы. Порой слышался голос, отдававший распоряжения рабочим, как тени, копошившимся внутри.

Берта пронесли мимо часовых по трапу, через длинный, узкий коридор, через сваленный в беспорядке багаж, и, когда его опустили на пол, он увидел, что стоит в дверях просторной каюты — футов десять в длину, столько же в ширину и восемь в высоту, обитой темно-красной материей и отделанной алюминием. Высокий,

белобрысый молодой человек с птичьим лицом, маленькой головой и длинным носом держал в руках ремень для точки бритвы, распорки для сапог, щетки для волос и всякие другие туалетные принадлежности и что-то горячо говорил, пересыпая свою речь словами «Gott», «Donnerwetter» и «Dummer Бутерайдж» [1]. Это, по всей видимости, был изгнанный владелец каюты. Затем он исчез, и Берт уже лежал на диванчике в углу каюты и глядел на закрывшуюся дверь. Он остался один. Все покинули его с невероятной поспешностью.

— Черт! — воскликнул Берт.— Что же дальше?

Он огляделся.

— Баттеридж! Продолжать делать вид, что я Баттеридж, или не стоит?

Он не мог понять, где находится.

— На тюрьму не похоже, да и на лазарет тоже...

Тут в его душе с новой силой вспыхнула старая досада.

— И зачем только я напялил эти дурацкие сандалии?! — злобно крикнул он в пространство.— Они портят мне всю музыку!

3

Дверь каюты распахнулась, на пороге появился плотный молодой человек в мундире. В руках он держал портфель мистера Баттериджа, рюкзак и зеркало для бритья.

— Вот так штука! — сказал он, входя, на чистейшем английском языке. У него были рыжеватые волосы и приветливое лицо.— Да неужто вы и есть Баттеридж?

Он выпустил из рук скромный багаж Берта.

— Еще полчаса, и мы бы уже улетели,— сказал он.— И как только вы не побоялись опоздать!

Он с интересом разглядывал Берта. На какое-то мгновение взгляд его задержался на сандалиях.

— Вам следовало прилететь на вашей машине, мистер Баттеридж.— И продолжал, не дожидаясь ответа:— Принц поручил мне приглядывать за вами. Сей-

---

[1] «Боже», «черт побери» и «дурак...» *(нем.)*.

час он, разумеется, не может вас принять, но он считает ваше прибытие хорошим знаком. Последняя милость небес! Как бы знамение. Что это?

Он умолк и прислушался.

Снаружи послышался торопливый топот, вдали запел горн, и его сигнал повторился уже вблизи. Раздались резкие, отрывистые и, по-видимому, очень важные команды, ответ на которые доносился откуда-то издали. Зазвонил колокол, кто-то прошел по коридору. А потом наступила тишина более пугающая, чем весь этот шум, и словно бы заплескалась, забулькала вода. Молодой человек удивленно поднял брови. Он постоял в нерешительности, а потом выбежал из каюты. Вскоре раздался громкий хлопок, непохожий на предыдущие звуки, и в отдалении послышалось «Ура!». Молодой человек вернулся.

— Уже выкачивают воду из длинного баллона.

— Какую воду? — спросил Берт.

— Да ту, что удерживала нас на земле. Здорово придумано, а?

Берт силился хоть что-нибудь понять.

— Ну да. Вам-то это непонятно,— сказал плотный молодой человек.

Берт почувствовал легкую вибрацию.

— Машина заработала,— с одобрением сказал молодой человек.— Теперь уж скоро.

Он опять долго прислушивался. Каюта покачнулась.

— Ей-богу! Мы уже отправляемся!

— Куда отправляемся? — закричал Берт и привскочил на койке.

Но молодой человек уже снова выбежал из каюты. В проходе раздалась громкая немецкая речь и другие столь же нервирующие шумы.

Качка усилилась. Молодой человек возвратился.

— Отправляемся! Как я и сказал!

— Куда отправляемся? — перебил его Берт.— Да объясните же наконец. Где я? Ничего не понимаю.

— Как! Вы не понимаете?

— Не понимаю. Я ведь стукнулся башкой, и теперь все как в тумане. Где мы? И куда мы отправляемся?

— Вы не знаете, где находитесь? Не понимаете, что сейчас происходит?

— Ничего не знаю и не понимаю. Почему нас качает и что это за шум?

— Великолепно!— воскликнул молодой человек.— Подумать только! Просто великолепно. Да разве вы не знаете? Мы держим курс на Америку, как вы не сообразили? Вы же едва-едва успели. А сейчас вы на нашем флагмане, вместе с принцем. Будете в самой гуще событий. Что бы ни случилось, а уж без «Фатерланда» дело не обойдется, можете не сомневаться.

— Мы в Америку?

— Именно.

— На воздушном корабле?

— А на чем же еще?

— Чтоб я да полетел в Америку?! После этого воздушного шара! Нет уж, не желаю! Хочу погулять на собственных ногах. Выпустите меня отсюда! Я же не понял.

Берт рванулся к двери. Но молодой человек остановил его движением руки, дернул за ремень, и в обитой красным стене поднялась панель и открылось окно.

— Взгляните!— сказал он. Оба припали к окну.

— Фу ты! — вырвалось у Берта.— И верно, поднимаемся.

— Поднимаемся, да еще как! — весело подтвердил молодой человек.

Воздушный корабль поднимался плавно и спокойно, под ритмичное постукивание машины, а внизу развертывалась геометрически правильная панорама воздухоплавательного парка, уже погруженного в сумрак, где светлячками мигали ряды фонарей. Черный провал среди длинного ряда серых округлых спин указывал место, откуда взлетел «Фатерланд». Рядом, освободившись от канатов, медленно поднималось в воздух второе чудовище. За ним, четко соблюдая интервал, взлетел третий корабль и потом четвертый.

— Слишком поздно, мистер Баттеридж!— заметил молодой человек.— Мы уже летим! Для вас это, разумеется, полнейшая неожиданность, но ничего не поделаешь! Принц приказал взять вас на борт.

— Послушайте,— взмолился Берт.— У меня же, ей-богу, в голове помутилось. Что это за штука? Куда мы летим?

— Это, мистер Баттеридж, воздушный корабль,— исчерпывающе объяснил молодой человек.—Флагманский корабль принца Карла Альберта. Мы входим в состав германского воздушного флота и летим в Америку показать этим храбрецам, что к чему. Нас тревожило только ваше изобретение. А тут и вы подоспели!

— Разве вы немец? — спросил Берт.

— Лейтенант Курт. Лейтенант воздушных сил Курт к вашим услугам.

— Да ведь вы же говорите по-английски?

— Моя мать — англичанка, и я учился в английской школе, а потом в Оксфорде, как стипендиат Родса. Тем не менее я немец. А в настоящее время приставлен к вам, мистер Баттеридж. Вы еще не оправились после своего падения. Но это скоро пройдет. Вашу машину и все остальное у вас купят. Ни о чем не волнуйтесь. Скоро вы во всем разберетесь.

4

Берт сел на диванчик и постарался собраться с мыслями, а молодой человек стал рассказывать ему о воздушном корабле. Несомненно, природа наградила его большим тактом.

— Наверно, все это для вас ново,— сказал он,— и совсем не похоже на вашу машину. Каюты здесь недурны.

Он встал и обошел маленькое помещение, показывая, что как устроено.

— Вот кровать.— Он откинул панель с постелью и тут же снова ее захлопнул.— А здесь туалетные принадлежности.— Курт открыл удобный стенной шкафчик.— Вымыться как следует, конечно, нельзя. Воды мало, только для питья. Ванну мы сможем принять лишь в Америке. Обтирайтесь губкой. Для бритья получите кружку горячей воды. И все. В ящике под диванчиком лежат одеяла и пледы. Они вам скоро понадобятся. Говорят, будет холодно. Сам-то я не знаю. Прежде только с планерами имел дело, а там больше вниз летишь, чем вверх. Ну, да больше половины из нас впервые очутились на такой высоте. А тут за дверью складной стол и стул. Каждый сантиметр использован, а?

Он поднял мизинцем стул и покачал его.

— До чего же легкий, верно? Сплав алюминия и марганца, а внутри он полый. А подушки надуты водородом. Хитро! И так устроен весь корабль. И ни один человек во всей флотилии, кроме принца и еще одного-двух, не весит больше семидесяти килограммов. Сами понимаете, принца не заставишь похудеть. Завтра мы с вами все обойдем и осмотрим. Мне очень хочется все вам показать.

Он посмотрел на Берта с сияющей улыбкой.

— А вы выглядите очень молодо. Мне вы всегда рисовались бородатым стариком, этаким философом. Не знаю отчего, но умных людей всегда представляешь себе стариками.

Берт промямлил в ответ что-то невнятное, а затем лейтенант заинтересовался, почему герр Баттеридж не воспользовался собственной летательной машиной.

— Это длинная история,—ответил Берт.—Послушайте,— внезапно сказал он,— одолжите мне, пожалуйста, шлепанцы или что-нибудь еще. Я совсем извелся в этих сандалиях. Проклятые! Надел их, чтобы разносить для своего друга.

— С удовольствием!

Бывший оксфордец мгновенно исчез, чтобы тут же вернуться с целым ворохом всевозможной обуви — тут были лакированные бальные туфли, и туфли для купания, и лиловые туфли, расшитые золотыми подсолнухами, на которые, однако, в последний момент Курт взглянул с сожалением.

— Я их и сам не ношу... Так просто, прихватил в спешке.— Он смущенно усмехнулся.— Мне их вышили в Оксфорде... моя приятельница. Всюду вожу их с собой.

Берт выбрал лакированные туфли.

Лейтенант вдруг расхохотался.

— Вот мы сидим тут и примеряем туфли, а под нами, как панорама, проплывает мир. Забавно, не правда ли? Взгляните!

Берт послушно посмотрел в окно, и светлая теснота пурпурно-серебристой каюты сменилась необъятной чернотой. Внизу, на земле, все, кроме озера, тонуло в темноте, не видно было и остальных кораблей.

— Снаружи видно лучше,— сказал лейтенант.— Пойдемте, там есть галерейка.

По длинному проходу, освещенному единственной электрической лампочкой, где на стенах висели предупреждения на немецком языке, Курт провел Берта на открытый балкон и оттуда по маленькой лесенке вниз, на обнесенную металлической решеткой, повисшую над пустотой галерею. Берт следовал за своим провожатым медленно и осторожно. С галереи ему открылось незабываемое зрелище — летевший сквозь ночь первый воздушный флот. Корабли летели клином, во главе и выше всех «Фатерланд», а последние терялись в неизмеримой дали. Их громадные, темные, рыбообразные корпуса двигались волнообразно под мерный стук машин, который был слышен на галерее очень отчетливо. Армада шла на высоте шести тысяч футов и продолжала подниматься. Внизу в молчании лежала земля, в прозрачной темноте яркими точками светилось пламя доменных печей, кое-где проступали цепочки огней — уличные фонари больших городов. Мир, казалось, лежал в гигантской чаше; нависшая над головой громада корабля закрывала все небо, и они видели только то, что было внизу.

Некоторое время Курт и Берт наблюдали развертывавшуюся под ними панораму.

— А интересно, наверно, изобретать,— внезапно сказал лейтенант.— Каким образом у вас зародилась мысль создать летательную машину?

— Я долго над ней работал,— не сразу ответил Берт.— Пришлось-таки попотеть.

— Наши страшно заинтересованы в вашей машине. Все думали, что англичане договорились с вами. А их это не очень интересовало?

— В некотором роде,— ответил Берт.— Ну, это длинная история.

— А все-таки это замечательно — изобретать. Я бы в жизни ничего не сумел изобрести.

Оба умолкли, вглядываясь в темноту, и каждый думал о своем, пока сигнал горна не пригласил их к позднему обеду. Берт вдруг встревожился.

— К обеду-то, кажется, нужно переодеваться. Я все больше наукой занимался, и мне было не до того.

— О, не беспокойтесь. У нас тут ни у кого нет сменных костюмов. Мы путешествуем налегке. А вот шубу

вам, пожалуй, лучше снять. В каждом углу столовой имеется электрическая печь.

И вскоре Берт уже садился за стол в обществе «Германского Александра», знатного и могущественного принца Карла Альберта, этого бога войны и героя обоих полушарий. Он оказался красивым блондином с глубоко посаженными глазами, курносым носом, закрученными кверху усами и длинными белыми пальцами. Сидел он на возвышении, под сенью черного орла с распростертыми крыльями и флагов Германской империи — словно на троне. Берта поразило, что он глядел не на людей, а поверх их голов, как будто созерцал что-то недоступное взору остальных. Вокруг стола, не считая Берта, стояло более двадцати офицеров различных званий. Очевидно, их всех очень интересовал знаменитый Баттеридж, и, когда он появился, они не могли скрыть своего изумления. Принц величественно кивнул ему, и Берт, по счастливому наитию, ответил глубоким поклоном. Рядом с принцем стоял какой-то человек со смуглым, сморщенным лицом, с пушистыми грязновато-седыми бачками и в очках в серебряной оправе. Он особенно пристально и бесцеремонно разглядывал Берта. После каких-то непонятных Берту церемоний собравшиеся сели. На другом конце стола обедал тот офицер с птичьим лицом, который был вынужден уступить Берту свою каюту. Настроен он был все так же враждебно и что-то шептал своим соседям про Берта. Прислуживали два солдата. Обед был простой — суп, жареная баранина и сыр. Говорили за обедом мало.

Настроение у всех было торжественное и сумрачное. Отчасти это объяснялось усталостью после огромного напряжения последних часов, а отчасти — сознанием всей необычности того, что им предстояло. Принц был погружен в задумчивость, от которой очнулся, чтобы провозгласить тост за здоровье императора, и осушил бокал шампанского; все общество за столом дружно крикнуло «Hoch!» [1], словно прихожане, повторяющие за священником слова молитвы.

Курить не разрешалось, но несколько офицеров вышли на галерею пожевать табаку. Любой огонь был

[1] Ура! (*нем.*).

опасен в этом средоточии взрывчатых и горючих веществ. На Берта вдруг напала зевота, и его стало знобить. В гуще этих стремительных воздушных чудовищ он вдруг почувствовал всю безмерность собственного ничтожества. Жизнь была слишком грандиозна — он в ней терялся.

Он пожаловался Курту на головную боль, прошел через качающуюся галерею, поднялся по крутой лесенке в корабль и бросился в постель, словно она могла укрыть его от всех бед.

5

Берт спал плохо, его мучили кошмары. Необъяснимый ужас гнал его по бесконечным коридорам воздушного корабля, где в полу то чернели караулившие добычу люки, то зияли прорехи разорванной в клочья оболочки.

— Фу ты! — застонал Берт и очнулся, в седьмой раз за ночь проваливаясь в бездну.

Он сел в темноте на постели и стал растирать колени. Воздушный корабль двигался совсем не так плавно, как воздушный шар. Берт чувствовал, как он рывками шел вверх, вверх, вверх, потом вниз, вниз, вниз, как пульсировали и содрогались машины.

На Берта нахлынули воспоминания.

Он вспоминал самые разные события, но сквозь все, как стремящийся преодолеть водоворот пловец, прорывался тревожный вопрос: что ему делать завтра? Курт предупредил его, что завтра к нему придет граф фон Винтерфельд, секретарь принца, поговорить о летательной машине, а потом его примет принц. Надо и дальше выдавать себя за Баттериджа и постараться продать его изобретение. А если они потом разоблачат его? Он представил себе разъяренного Баттериджа... А если он сам во всем признается? Скажет, что они его не поняли. Он стал обдумывать, как бы продать секрет и обезопасить себя от мести Баттериджа.

Сколько запросить? Почему-то ему казалось, что двадцать тысяч фунтов — наиболее подходящая цена.

Уныние, которое подстерегает людей в предрассветные часы, овладело Бертом — он затеял опасную игру, она ему не по плечу...

Воспоминания нарушили его раздумья — где он был в это время прошлой ночью?

Берт стал мучительно вспоминать все подробности минувшего вечера. Он летел высоко над облаками на воздушном шаре Баттериджа. Затем он вспомнил, как начал падать, провалился сквозь облака и увидел совсем близко под собой холодное сумрачное море. Этот неприятный миг припомнился ему с пугающей ясностью. А позапрошлым вечером они с Граббом искали, где бы им подешевле переночевать в Литтлстоуне. Сейчас все это казалось невероятно далеким, будто прошло уже много-много лет. И Берт только сейчас вспомнил своего приятеля, «дервиша пустыни», которого покинул вместе с двумя красными велосипедами на пляже Димчерча.

— Без меня дело у него не пойдет. Ну, да хоть наши финансы — сколько их там ни есть — остались у него в кармане.

А в предыдущий вечер они решили превратиться в бродячих музыкантов, составляли программу, репетировали танцы. До этого же был праздник троицы.

— Господи! Ну и задал же мне жару этот мотоциклет! — воскликнул Берт. Он вспомнил, как хлопала пустая наволочка выпотрошенной подушки, как его охватило чувство бессильного отчаяния, когда пламя вспыхнуло вновь.

Среди сумбурных воспоминаний о трагическом пожаре возникло еще одно мучительно-сладкое — образ малютки Эдны, когда она крикнула из увозившего ее автомобиля: «До завтра, Берт!»

Это воспоминание повлекло за собой много других, и постепенно Берт совсем приободрился и решил: «Нет, я на ней женюсь, пусть побережется!» И его осенило: если он продаст секрет Баттериджа, он сможет жениться! А что, если ему действительно дадут двадцать тысяч фунтов? Платили ведь и побольше! Тогда он сможет купить Эдне и себе дом с садом, и самую дорогую одежду, и автомобиль. Они будут путешествовать, будут наслаждаться всеми благами цивилизации. Конечно, это предприятие было связано с известным риском. «Баттеридж наверняка будет меня преследовать!»

Берт начал обдумывать эту перспективу и снова впал в уныние. Все, что было,— это только начало авантю-

ры. Предстоит еще продать товар и получить деньги. А до этого... Летит-то он сейчас никак не домой. Он летит в Америку, чтобы там воевать... «Правда, много воевать вряд ли придется,— размышлял он,— все будет, как мы сами захотим». Однако, если шальной снаряд угодит в «Фатерланд»...

— Надо бы мне составить завещание.

Берт прилег и стал обдумывать разные варианты завещания — Эдна фигурировала в них в качестве главного наследника. Он уже решил, что потребует двадцать тысяч фунтов. Кое-что он оставил и другим. Завещания становились все более запутанными и щедрыми.

Он проснулся, когда в восьмой раз полетел во сне в бездну, и сказал:

— От этих полетов расстраиваются нервы.

Он чувствовал, как корабль пошел вниз, вниз, вниз, потом начал медленно взбираться вверх, вверх, вверх: тук-тук-тук — не умолкала машина.

Затем он встал, закутался в шубу мистера Баттериджа и во все одеяла — было очень холодно. Потом выглянул в окно: сквозь облака пробивался серый рассвет. Берт зажег лампу, запер дверь, присел к столу и извлек свой нагрудник.

Он разгладил ладонью смявшиеся чертежи и стал их внимательно рассматривать. Потом вынул из портфеля другие схемы. Двадцать тысяч фунтов, если он сумеет разыграть свои карты! Во всяком случае, попробовать стоит.

И он открыл ящик, в который Курт положил бумагу и письменные принадлежности.

Берт Смоллуейз отнюдь не был глуп и получил сравнительно неплохое образование. В школе его научили немного чертить, делать расчеты и читать чертежи. И, право же, не его вина, что обществу, в котором он жил, надоело с ним возиться и оно, сделав из него недоучку, поставило его перед необходимостью кое-как зарабатывать себе на жизнь в царстве рекламы и индивидуальной предприимчивости. Берт был таким, каким его сотворило Государство, и, если он был всего лишь детищем городских окраин, читатель не должен делать вывод, что идея летательной машины Баттериджа была совершенно недоступна его пониманию. Конечно, Берту пришлось

немало поломать над ней голову, но опыт работы в мастерской Грабба и навыки «механического вычерчивания», полученные в школе, помогли ему прочитать чертежи, тем более что чертежник — кто бы он ни был — постарался изобразить все как можно нагляднее. Берт скопировал эскизы, списал пояснения, снял вполне приличные копии с самых важных чертежей и сделал эскизы и со всех остальных. Потом глубоко задумался.

Наконец он со вздохом встал, сложил чертежи, которые прятал раньше в нагруднике, и сунул их во внутренний карман пиджака, а копии чертежей тщательно запрятал все в тот же нагрудник. Он и сам не знал, зачем это сделал, но совсем расстаться со своим секретом у него не было сил. После долгих раздумий он начал клевать носом, потушил свет, снова лег и, обдумывая новые хитроумные планы, быстро уснул.

6

В эту ночь hochgeborene[1] граф фон Винтерфельд тоже спал плохо. Правда, он был из тех людей, кто вообще спит мало и для развлечения решает в уме шахматные задачи, а этой ночью ему предстояло решить задачу особой сложности.

Он явился к Берту, когда тот был еще в постели и, купаясь в лучах яркого солнечного света, отраженного водами Северного моря, вкушал принесенные солдатом кофе с булочкой. Под мышкой граф держал портфель. При утреннем освещении его пушистые седые баки и очки в серебряной оправе придавали ему почти благожелательный вид. Говорил он по-английски бегло, но с сильным немецким акцентом, вместо «б» произносил «п», и смягчая согласные на концах слов. Берта он называл «Путерэйдж». Граф поклонился Берту, произнес несколько любезных слов, достал из-за двери складной стол и стул, поставил стол между собой и Бертом, уселся на стул, сухо кашлянул и открыл свой портфель. Потом, положив на стол локти, прижал указательными пальцами нижнюю губу и устремил на Берта сверлящий взгляд холод-

---

[1] Высокородный *(нем.)*.

ных глаз, которые за стеклами очков казались огромными.

— Ви прибыли к нам, герр Путерэйдж, не по своей воле,— наконец заявил он.

— С чего это вы взяли?— спросил после короткой паузы пораженный Берт.

— Я это заклюшаю по найденным в корзине картам. Это карты Англии. И еще провизий. Такой провизий берут на пикник. И ваши стропы перепутались. Ви их тергали, тергали — все зря. Ви шаром сами не управляль, это слючилось не по вашей воли, что ви к нам прилеталь, не так ли?

Берт молчал, обдумывая услышанное.

— И еще: что сталось с вашей тамой?

— А? С какой дамой?

— Ви поднялись в воздух с тамой. Это ошевидно. Ви отправились на прогулку — на маленький пикник. Шеловек с вашим темпераментом — ну, конечно же, он прихватит с собой таму. А когда ви прибыль в Дорнгоф, тамы уже не било. Бил лишь ее накидка! Это, конечно, дело ваше. Все ше таки мне интересно знать.

Подумав, Берт спросил:

— Откуда вам это известно?

— Я это заклюшаю из того, какой ви взяли провизий. Я не могу сказать, герр Путерэйдж, что ви сделали с тамой. Я не могу объяснить и то, пошему на вас бил эти сандалии и такой дешевый синий костюм. Это меня не касается. Это мелоши. Официально мне до них нет дела. Тамы пояфляются, и потом они исчезают — я немало повидал на своем веку. Я знавал ошень умных лютей, которые носили сандалии и даже были вегетарианцами. И я знавал несколько шеловек — точнее сказать, химиков,— которые не курили. Ви, разумеется, опустили где-то эту таму на землю. Что ж. Займемся делом. Высшая сила,— голос графа зазвучал по-новому, и увеличенные стеклами очков глаза стали еще больше,— доставила вас и ваш секрет прямо к нам в руки. So![1] — Он склонил голову.— Значит, бить по сему! Таков звезда Германии, звезда моего принца. Насколько мне известно, свой секрет ви всегда носите при себе. Ви поитесь

[1] Так! (*нем.*)

грапителей и шпионов. Следовательно, вместе с вами попал к нам и этот секрет. Германия его купит, герр Путерэйдж.

— Купит?

— Да,— сказал секретарь принца, рассматривая валявшиеся около койки сандалии. Он тряхнул головой и заглянул в свои бумаги. Берт со страхом и надеждой вглядывался в его смуглое морщинистое лицо.

— Я уполномочен объявить вам, что Германия всегда хотела купить ваш секрет,— сказал секретарь, не подымая глаз от разложенных на столе бумаг.— Мы весьма хотели этого, весьма. И только опасение, что ви из патриотических побуждений действуете по инструкции британского военного министерства, помешало нам, пока переговоры шли через посредника, назвать сумму, которую мы готовы уплатить за ваше исключительное изобретение. Но теперь эти соображения отпали, и я уполномошен заявить, что мы принимаем ваши условия и даем вам сто тысятш фунтов.

— Черт возьми! — вырвалось у Берта.

— Прошу прощения?

— Ничего, так, в затылке стрельнуло.— Берт потрогал свою забинтованную голову.

— А! Мне такше порушено передать вам в отношении этой благородной, незаслуженно оскорбленной тамы, которую ви столь мушественно защищали от пританского лицемерия и шерствости, что все рыцарство Германии приняло ее сторону.

— Тамы? — неуверенно повторил Берт, но тут же вспомнил историю великой любви Баттериджа. Наверное, старый плут прочел и ее письма. И теперь считает его завзятым сердцеедом...

— Это хорошо,— пробормотал Берт.— Насчет этого я не сомневался. Я...

Он умолк под беспощадным взглядом секретаря. Казалось, прошли века, прежде чем немец опустил глаза.

— Ну, тама—это как вам угодно. Я только выполнил инструкции. И титул парона пудете полушать. Это все можно, герр Путерэйдж.— С минуту он барабанил пальцами по столу, а затем продолжал: — Я должен сказать вам, что ви приплыли к нам в момент острого кризиса в Welt-Politik. Сейтшас я могу без всякого ущерба посвятить

вас в наши планы. Прежде шем ви покинете этот корабль, о них узнает фесь мир. Война, возможно, уже объявлена. Мы летим... в Америку. Наш флот ринется с воздуха на Соединенные Штаты — страна эта к войне совершенно не подготовлена, совершенно. Американцы всегда полагали, что их пудет защищать Атлантический океан. И военно-морской флот. Мы наметили определенный пункт — пока что это секрет нашего командования,— пункт, который мы захватим и превратим в базу, в своего рода сухопутный Гибралтар. Это пудет — как бы это полутше выразиться — орлиное гнездо. Там будут собираться и ремонтироваться наши корабли, оттуда они станут летать над всеми Соединенными Штатами, держать в страхе их города, терроризировать Вашингтон и забирать в качестве контрибуции все нам необходимое — пока не будут приняты наши условия. Ви понимаете меня?

— А дальше что? — произнес Берт.

— Разумеется, мы могли бы осуществить все это с помощью наших Luftschiffe[1] и «драхенфлигеров», но приобретение вашей машины ошень карашо дополняет наши планы. В нашем распоряшении окажется не только более усовершенствованный «драхенфлигер» — нам, кроме того, больше не нужно будет опасаться Великопритании. Без вас, сэр, эта страна, которую ви так много люпили и которая опошлась с вами так дурно, эта страна фарисеев и ядовитых змей, нитшего не сможет сделать — нитшего! Как видите, я с вами вполне откровенен. Мне поручено передать вам, что Германия все это понимает и шелает иметь вас в своем распоряшении. Мы предлагаем вам пост главного иншенера нашего воздушного флота. Пусть под вашим руководством пудет построен целый рой таких шершней. Вы пудете управлять этой силой. Мы хотим, штобы вы рапотали на нашей базе в Америке. Поэтому мы, не колеблясь, принимаем предложенные вами ранее условия — сто тысятш фунтов наличными, три тысятши фунтов в год шалованья, пенсия — тысятша фунтов в год и титул парона, как вы желали. Все это мне порутшили вам передать.

И он снова испытующе уставился на Берта.

— Это, конечно, хорошо,— сказал Берт, исполнен-

[1] Воздушные корабли (*нем.*).

ный решимости и спокойствия вопреки волнению, сдавившему его горло. Он почувствовал, что настало время осуществить план, который он обдумывал ночью.

Секретарь пристально рассматривал воротничок Берта и лишь один раз мельком взглянул на сандалии.

— Мне надо подумать,— сказал Берт, которого чрезвычайно смущал взгляд графа.— Вот что,— сообщил он неопровержимую истину: — секрет ведь в моих руках!

— Да.

— Но я не хочу, чтобы упоминалось имя Баттериджа. Есть некоторые соображения.

— Известная деликатность?

— Вот, вот. Вы купите секрет — или я вам его вручаю — у предъявителя. Понятно?

Голос Берта дрогнул, и граф продолжал сверлить его взглядом.

— Я хочу действовать анонимно. Понимаете?

Взгляд не смягчился, и Берта понесло, как пловца, подхваченного течением.

— Дело в том, что я хочу принять фамилию Смоллуейз. Баронский титул мне не нужен, я передумал. А с деньгами таким образом. Я передам вам чертежи, и вы сразу же внесете тридцать тысяч из ста в отделение Лондонского банка в Банхилле, графство Кент, двадцать тысяч — в Английский банк, а остальное поровну в какой-нибудь хороший французский банк и в Германский Национальный банк. Это вы сделаете сразу же. И кладите не на имя Баттериджа, а на имя Альберта Питера Смоллуейза — я принимаю эту фамилию. Таково мое первое условие.

— Продолшайте,— сказал секретарь.

— А следующее условие такое,— продолжал Берт,— вы не станете требовать у меня документов на право владения. Вам нет дела, как да почему. Понятно? Я передаю вам товар, и дело в шляпе. Есть наглецы, которые говорят, что это не мое изобретение. Понятно? Ну, так оно — мое, можете не беспокоиться, но я не желаю, чтобы в этом копались. Так что оговорите это. Понятно?

Последнее «понятно?» повисло в ледяном молчании. Наконец секретарь вздохнул, откинулся на спинку стула, извлек зубочистку и стал с ее помощью обдумывать предложение Берта.

— Какое вы назвали имя? — спросил он наконец, пряча зубочистку.— Мне надо его записать.

— Альберт Питер Смоллуейз,— кротко подсказал Берт.

Секретарь записал — не без некоторого труда.

— Ну, а теперь, мистер Шмаллвейс,— произнес секретарь, откинувшись на стуле и снова пронзая Берта взглядом,—расскажите мне, каким опразом вы завладели воздушным шаром мистера Путерэйджа?

7

Когда граф фон Винтерфельд наконец покинул Берта, последний чувствовал себя, словно выжатый лимон, и вся его нехитрая история была уже известна графу.

Берт, как говорится, исповедался начистоту. Его заставили сообщить самые мельчайшие подробности. Объяснить, почему на нем синий костюм и сандалии, кто такие «дервиши пустыни» и вообще все.

Вопрос о чертежах повис на время в воздухе, ибо секретаря охватил жар подлинного исследователя. Он даже начал строить всякие предположения относительно первых пассажиров злосчастного воздушного шара.

— Наверно, эта тама была та самая тама,— заметил он.— Впрочем, нас это не касается. Все это весьма интересно и даже запавно, но я опасаюсь, что принц может разгневаться. Он действоваль с большой решимостью. Он всегда действует так решительно. Как Наполеон. Лишь только ему долошили, что ви приземлились в Дорнхофе, как он тут же распорядился: «Доставить его сюда! Сюда ко мне! Это моя звезда». Он подразумеваль—звезда его судьбы! Понимаете? Принц будет разочарован. Он приказал, чтобы ви биль герр Путерэйдж, а ви не смогли. Ви делаль все, но это получилось плохо. Принц имеет о людях суждения ошень верные и справедливые, и для самих людей лучше, когда они оправдывают сущдения принца. Особенно сейтшас. Как раз сейтшас.

Секретарь опять прихватил указательными пальцами нижнюю губу и заговорил почти доверительно:

— Это будет очень нелегко. Я уже пробоваль высказать сомнение, но тщетно. Принц ничего не шелает слушать. Польшая высота действует ему на нерфы. Он

мошет подумайт, что его звезда над ним пошутиль. Он мошет подумайт, что я над ним пошутиль.

Секретарь наморщил лоб и пожевал губами.

— Но ведь чертежи-то у меня,— сказал Берт.

— Да, это так. Конешно. Но, видите ли, герр Путерэйдж был интересен принцу и своей романтической личностью. Герр Путерэйдж бил би... э... гораздо уместнее. Боюсь, ви не сможете, как желал бы принц, руководить постройкой летательных машин в нашем воздухоплавательном парке. Принц расшитываль... Ну и потом — престиш, это есть ошень большой престиш: Путерэйдж с нами! Ну что ж, посмотрим, что мошно будет сделать. Давайте мне чертежи.— И он протянул руку.

Отчаянная дрожь потрясла все существо мистера Смоллуейза. До конца своих дней он так и не знал, заплакал он в тот момент или нет, но в голосе его явно дрожали слезы, когда он попробовал возразить:

— Да как же так? Это что ж — выходит, я за них ничего не получу?

Секретарь ласково посмотрел на него и сказал:

— Но ведь ви нитшего и не заслужили!

— Я мог их порвать.

— Но они же не ваши! Они не принатлешат вам!

— А ему, что ли? Как бы не так!

— Платить тут не за что.

Берт, казалось, был готов на самый отчаянный шаг. Он стиснул свой пиджак.

— Ладно! Так-таки и не за что?

— Шпокойно! — сказал секретарь.— Слушайте меня. Вы пудете полушать пятьсот фунтов. Даю вам слово. Это все, что я для вас могу сделать. Мошете мне поверить. Назовите мне ваш банк. Запишите название. So! Помните: с принцем шутки плохи. По-моему, вчера вечером ви не произвели на него хорошее впечатление. Я не уверен, как он мошет поступать. Ему был нушен Путерэйдж, а вы все испортиль. Принц сейшас сам не свой, не понимаю даше, в чем дело. Началось осуществление его замысла, полет на такой польшой высоте. Невосмошно предугадать, как он поступит. Но если все сойдет благополушно, вы пудете полушать пятьсот фунтов — я это сделаю. Это вас устраивает? В таком слушае давайте чертежи!

— Ну и типчик! — воскликнул Берт, когда дверь захлопнулась.— Фу ты! Ему пальца в рот не клади!

Он уселся на складной стул и стал тихонько насвистывать.

— Разорвать бы эти чертежи — хорошую свинью я б ему подложил! А ведь мог!

Он задумчиво потер переносицу.

— Сам себя выдал: дернуло же меня сказать, что я хочу остаться инкогнито... Эх! Поторопился ты, Берт, поторопился и натворил глупостей... Так бы и дал себе, дураку, по шее... Да я б все равно потом сорвался... В конце концов все не так-то уж плохо... Как-никак пятьсот фунтов... Секрет-то ведь не мой. Вроде как нашел деньги на дороге. Пятьсот фунтов! Интересно, сколько стоит добраться из Америки до дому?

8

И в тот же день насмерть перепуганный и совсем растерявшийся Берт Смоллуейз предстал перед принцем Карлом Альбертом.

Беседа шла на немецком языке. Принц находился в собственной каюте. Крайняя в ряду других каюта была очень уютна — плетеная мебель, большое, во всю стену, окно, позволяющее смотреть вперед. Принц сидел за покрытым зеленым сукном складным столом, в обществе фон Винтерфельда и двух других офицеров. Перед ними в беспорядке лежали карты Америки, письма мистера Баттериджа, его портфель и еще какие-то бумаги. Берту сесть не предложили, до конца беседы он стоял. Фон Винтерфельд рассказывал его историю — несколько раз он уловил слова «воздушный шар» и «Путерэйдж». Лицо принца сохраняло суровое, зловещее выражение, и оба офицера осторожно наблюдали за ним, изредка поглядывая на Берта. Было что-то странное в том, как они следили за принцем — с любопытством и страхом. Но вот принцу пришла в голову какая-то мысль, и они стали обсуждать чертежи. Затем принц резко спросил Берта по-английски:

— Ви видеть этот аппарат в воздухе?

Берт вздрогнул.

— Да, ваше высочество, я видел его в Банхилле.

Фон Винтерфельд что-то пояснил принцу.

— С какой скоростью он летать?

— Я не знаю, ваше высочество. Но газеты,— во всяком случае, «Дейли курьер» — писали, что он делал восемьдесят миль в час.

Ответ Берта обсудили по-немецки.

— А держаться неподвижно он может? Висеть в воздух? Вот что я хотеть знать.

— Он может парить, ваше высочество, как оса.

— Viel besser, niht wahr? [1] — обратился принц к фон Винтерфельду и продолжал говорить по-немецки.

Когда обсуждение закончилось, офицеры посмотрели на Берта. Один из них позвонил в колокольчик; пришел адъютант и унес портфель.

После этого они занялись Бертом. Принц, по всей видимости, был склонен применить самые суровые меры, но фон Винтерфельд возражал ему, по-видимому, были затронуты какие-то богословские соображения,— несколько раз упоминалось слово «Gott». Наконец решение было принято, и фон Винтерфельду поручили сообщить его Берту.

— Мистер Шмоллвейз, ви проникли в этот воздушный корабль с помощью хитрой и систематической лжи.

— Какой же систематической,— возразил Берт,— когда я...

Нетерпеливый жест принца заставил его умолкнуть.

— И во власти его высошества поступить с вами, как со шпионом.

— Да что вы, я же хотел продать...

— Ш-ш! — зашипел на Берта один из офицеров.

— Но, принимая во внимание, что по счастливой случайности господь испрал вас своим орудием и летательная машина Путерэйджа попала в руки его высочества, ви помилованы. Ибо ви оказались вестником удачи. Вам разрешено остаться на порту корапля до тех пор, пока мы не сможем спустить вас на землю. Понимаете?

— Мы брать его с собой,— сказал принц и зло добавил, метнув свирепый взгляд: — Als Ballast [2].

---

[1] Это уже гораздо лучше, не так ли? *(нем.)*

[2] В качестве балласта (*нем.*).

— Ви отправитесь с нами в качестве палласт,— сказал Винтерфельд.— Понимаете?

Берт открыл было рот, чтобы спросить про пятьсот фунтов, но вовремя спохватился и промолчал. Он взглянул на фон Винтерфельда, и ему показалось, что секретарь незаметно кивнул ему.

— Ступайте! — сказал принц, указывая на дверь.

Берт исчез за ней, как гонимый бурей лист.

9

Однако между разговором с графом фон Винтерфельдом и грозным совещанием в каюте принца Берт успел подробно осмотреть весь «Фатерланд». Как его ни тревожила собственная участь, он все-таки был заинтересован. До своего назначения на флагманский корабль Курт, как и большинство офицеров германской воздушной флотилии, почти ничего не знал о воздухоплавании. Но он был увлечен этим новым чудесным орудием, которым так неожиданно быстро обзавелась Германия. Он исполнял свою роль гида с чисто мальчишеской восторженностью, словно сам еще раз рассматривал новую игрушку.

— Давайте обойдем весь корабль,— с жаром предложил он.

Его особенно восхищала удивительная легкость большинства предметов на корабле: он без устали указывал на полые алюминиевые трубки, на упругие подушки, наполненные сжатым водородом, на перегородки, представлявшие собой баллоны с водородом, обтянутые легкой искусственной кожей. Даже посуда, глазированная в вакууме, почти ничего не весила. Там, где требовалась большая прочность, применялся новый шарлоттенбургский сплав, или так называемая германская сталь,— самый стойкий и прочный в мире металл.

Внутри корабля было просторно — ведь пустое пространство ничего не весило, и его в отличие от груза не нужно было ограничивать. Жилая часть корабля имела в длину двести пятьдесят футов, комнаты были расположены в два этажа, а над ними находились специальные башенки из белого металла, с большими окнами и герметическими двойными дверьми; из этих башен

можно было обозревать внутренность громадных газовых отсеков. Это зрелище поразило Берта. Он воображал, что воздушный корабль — это просто громадный, наполненный газом мешок. Теперь же он увидел хребет летательной машины, ее гигантские ребра.

— Они похожи на нервные волокна и кровеносные сосуды,— сказал Курт, немного занимавшийся биологией.

— И то,— любезно согласился Берт, хотя не имел ни малейшего представления, что означали слова Курта.

Ночью в случае какой-либо неисправности газовые отсеки освещались маленькими электрическими лампочками. У стен были установлены лестницы.

— Как же по ним ходить? Задохнешься от газа,— заметил Берт.

Лейтенант открыл дверцу шкафа и достал костюм, похожий на водолазный, но сделанный из промасленного шелка. Баллон для сжатого воздуха и шлем были изготовлены из сплава алюминия и еще какого-то легкого металла.

— В них мы можем добраться куда нужно по внутренней сетке — заделать пробитые пулями отверстия и исправить другие повреждения,— пояснил Курт.— Корабль внутри и снаружи обтянут сеткой. Наружное покрытие представляет собой как бы сплошную веревочную лестницу.

За жилой частью на корме находился склад боеприпасов. Он занимал половину корабля. Тут помещались всевозможные бомбы; по большей части в стеклянных корпусах. Пушек на немецких воздушных кораблях не было — только на передней галерее, под щитом, закрывавшим сердце орла, пряталась маленькая пушка «пом-пом» (так еще в Бурскую войну прозвали эти пушки англичане). Подвешенная под газовыми отсеками крытая парусиновая галерея с алюминиевыми планками в полу и веревочными перилами вела из склада в расположенное на корме машинное отделение; но Берт по ней не пошел и так никогда и не увидел машины корабля. Зато он поднялся по другой лестнице, навстречу струе воздуха, бившей из вентилятора; эта лестница была заключена в своего рода газонепроницаемую огнеупорную трубу и, проходя через громадную, расположенную впе-

реди воздушную камеру, выводила на небольшую галерею, где находился наблюдательный пункт, стоял телефон, маленькая «пом-пом» из немецкой стали и ящик со снарядами. Галерея была целиком сделана из сплава алюминия и магния. Сверху и снизу, как два утеса, выступала мощная грудь корабля, спереди простирал свои гигантские крылья черный орел, но их концы заслоняла туго надутая оболочка.

А далеко внизу, под парящими орлами, лежала Англия; до нее было, наверно, четыре тысячи футов, и, освещенная утренним солнцем, она казалась маленькой и беззащитной.

Сообразив, что он летит над Англией, Берт вдруг неожиданно почувствовал приступ патриотических угрызений совести. Ему в голову пришла совсем новая мысль. Он же мог разорвать и выбросить эти чертежи. И немцы ничего бы не смогли ему сделать. А если б даже и сделали? Разве не долг каждого англичанина отдать жизнь за родину? До сих пор эту мысль заслоняли заботы обитателя цивилизованного мира, где все основано на конкуренции. Но теперь Берт впал в уныние. Ему следовало бы подумать об этом раньше, твердил он себе. И почему он только не сообразил?

Значит, он что-то вроде изменника?..

Курт сказал, что они летят сейчас где-то между Манчестером и Ливерпулем. Вот блеснула полоска соединяющего их канала, а эта извилистая лужица с корабликами — устье реки Мерсей? Берт родился на юге Англии, он никогда не бывал на севере страны, и его поразило великое множество фабрик и труб, большинство которых, правда, уже не дымило: их заменили огромные электрические станции, поглощавшие собственный дым. Берт видел старые железнодорожные виадуки, сплетение линий монорельса, обширные склады, множество убогих домишек, беспорядочно разбегавшиеся улочки. Там и сям виднелись поля и огороды, словно попавшие в сеть. Этот край был обиталищем серых людей. Там, конечно, были музеи, ратуши и даже кое-какие соборы, знаменующие центры административной и религиозной жизни общины, но Берт не мог их разглядеть: они терялись в беспорядочном скоплении фабрик, заводов, домов, где жили рабочие, лавок, уродливых церквей и ча-

совен. И над этой панорамой промышленной цивилизации, точно стая хищных рыб, проплывали тени германских воздушных кораблей...

Курт и Берт заговорили о тактике воздухоплавания и вскоре спустились на нижнюю галерею, чтобы Берт мог взглянуть на «драхенфлигеров», которых вели за собой на буксире воздушные корабли правого фланга. Каждый корабль тащил три-четыре «драхенфлигера». Они напоминали громадных коробчатых змеев, паривших на невидимых веревках. Носовая часть их была длинной и прямоугольной, а хвост — плоский с горизонтальным пропеллером.

— Требуется большое мастерство, чтобы летать на таких аппаратах. Очень большое!

— Еще бы!

Они помолчали.

— А ваша машина, мистер Баттеридж, похожа на них?

— Совсем не похожа,— ответил Берт.— Она больше напоминает насекомое, чем птицу. И потом она жужжит и меньше вихляет в воздухе. А на что они годятся?

Курт и сам толком не знал, однако принялся что-то объяснять, но тут Берта позвали к принцу, а что было дальше, мы уже рассказали...

После аудиенции у принца Берт распростился с ореолом, которым окружало его имя Баттериджа, и для всех на корабле стал просто Смоллуейзом. Солдаты больше не отдавали ему честь, а офицеры, за исключением Курта, совсем перестали его замечать. Берта выдворили из прекрасной каюты и поместили со всем его имуществом в кабину лейтенанта Курта, который, на свое несчастье, был младше всех чином. А офицер с птичьей физиономией, все так же чертыхаясь себе под нос, вновь занял свою каюту, держа в охапке ремень для правки бритвы, алюминиевые распорки для сапог, невесомые щетки для волос, ручные зеркальца и помаду. Берта поместили вместе с Куртом, потому что на переполненном корабле не нашлось другого места, где бы он мог приклонить свою забинтованную голову. Ему сказали, что есть он будет за солдатским столом.

Курт вошел в каюту и, расставив ноги, некоторое время смотрел на Берта, уныло сидевшего в углу.

— Так как же ваше настоящее имя? — спросил Курт, еще не вполне осведомленный о новом положении дел.

— Смоллуейз.

— Вы мне сразу показались обманщиком, еще когда я принимал вас за Баттериджа. Ваше счастье, что принц отнесся к этому легко. В гневе он беспощаден. Он, не задумываясь, вышвырнул бы вас за борт, если б нашел нужным. Н-да! Мне навязали ваше общество, но не забывайте, что это моя каюта.

— Не забуду,— сказал Берт.

Курт ушел, а Берт стал осматриваться и прежде всего увидел на стене репродукцию с известной картины Зигфрида Шмальца: грозный Бог Войны, в багровом плаще и шлеме викинга, с мечом в руках попирающий развалины, был необыкновенно похож на принца Карла Альберта, по заказу которого была написана эта картина.

ГЛАВА V

СРАЖЕНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

1

Принц Карл Альберт произвел на Берта сильнейшее впечатление. Никогда прежде не встречал Берт такого страшного человека. Он наполнил душу Смоллуейза жгучим страхом и отвращением. Берт долгое время сидел в каюте Курта, ничем не занимаясь, не рискуя даже открыть дверь: ему хотелось быть как можно дальше от грозной персоны принца.

Вот почему он последним на корабле узнал новость, которую принес беспроволочный телеграф,— о бое, завязавшемся посреди Атлантического океана.

Берт узнал об этом от Курта.

Курт вошел в каюту, что-то бормоча себе под нос и делая вид, что не замечает Берта, однако бормотал он по-английски. «Это потрясающе»,— разобрал Берт.

— Ну-ка,— сказал Курт потом,— слезьте с диванчика.

Он достал из ящика две книги и футляр с картами. Карты он разложил на столе и принялся их рассматривать. Некоторое время немецкая дисциплинированность

боролась в душе Курта с английской простотой, природным добродушием и болтливостью и в конце концов сдалась.

— Началось, Смоллуейз,— сказал Курт.

— Что началось, сэр? — почтительно спросил Берт, чей дух был сломлен.

— Сражение! Почти весь наш морской флот бьется с североатлантической эскадрой американцев. Наш «Айзерн Крейц» сильно поврежден и тонет, а один из самых больших их кораблей, «Майлз Стэндиш», пошел ко дну со всем экипажем. Наверное, обменялись торпедами. Он был побольше «Карла дер Гроссе», но построили его лет на пять раньше... Черт побери! Хотел бы я посмотреть на это, Смоллуейз! Битва в открытом море, грохочут орудия, и суда идут полным ходом!

Он не мог молчать и, водя пальцем по карте, прочел Берту целую лекцию о сражающихся эскадрах.

— Это происходит вот тут, 30° 50′ северной широты, 30°50′ западной долготы. Во всяком случае, от нас это целый день пути, а обе эскадры полным ходом идут на юго-запад. Как ни жаль, а мы ничего не увидим. Такое уж наше везенье!

2

К этому времени в северной части Атлантического океана сложилась совершенно особенная обстановка. На море Соединенные Штаты были гораздо сильнее Германии, но основные силы американского флота находились по-прежнему в Тихом океане. Соединенные Штаты опасались военного нападения прежде всего со стороны Азии, потому что отношения между азиатскими народами и белыми крайне обострились и японское правительство проявляло беспримерную несговорчивость. В момент нападения немцев половина американского флота находилась близ Манилы, а так называемый Второй флот растянулся от своей азиатской базы до Сан-Франциско, поддерживая связь между кораблями по беспроволочному телеграфу; у восточного побережья Америки осталась только североатлантическая эскадра; она возвращалась после дружеского визита во Францию и Испанию и на-

ходилась посреди океана; суда эскадры — в большинстве имевшие паровые машины—занимались перекачкой нефти с танкеров, когда международная обстановка резко обострилась. Американская эскадра состояла из четырех броненосцев и пяти броненосных крейсеров — все они были построены уже после 1913 года. Американцы настолько привыкли к тому, что в Атлантическом океане мир охраняют англичане, что даже в мыслях не допускали возможности нападения на их восточное побережье. Но еще задолго до объявления войны, а именно в понедельник после троицы, весь германский флот в составе восемнадцати броненосцев, целой флотилии танкеров и транспортных судов прошел через Дуврский пролив и смело направился к Нью-Йорку, для поддержки германского воздушного флота. Немецкие броненосцы не только в два раза превосходили американские численностью, но они к тому же были гораздо новее и лучше вооружены. По крайней мере семь из них имели двигатели внутреннего сгорания из шарлоттенбургской стали и пушки из той же стали.

Эскадры встретились в среду, еще до официального объявления войны. Согласно требованиям современной тактики, американские корабли выстроились в линию с интервалом в тридцать миль и держали полный пар, чтобы не пропустить немцев к восточным штатам или к Панаме. Ведь как ни важно было защитить приморские города и особенно Нью-Йорк, еще важнее было не дать немцам захватить канал и помешать основным силам американского флота вернуться из Тихого океана в Атлантику.

— Они, конечно, сейчас мчатся через океан,— заметил Курт,— если только японцы не задумали то же, что и мы.

Американская североатлантическая эскадра, разумеется, не могла рассчитывать на победу над немецким флотом, но в случае удачи она могла задержать его, нанести ему большой урон и тем самым значительно ослабить атаку немцев на береговые укрепления. Ей предстояло самое суровое испытание — не победить, а пожертвовать собой. Тем временем срочно приводились в порядок подводные заграждения Нью-Йорка, Панамы и других важнейших стратегических пунктов.

Такова была ситуация на море, и до самой среды американцы ничего, кроме этого, не знали. Только в среду они впервые услышали о подлинных размерах дорнфордского воздухоплавательного парка и о возможности нападения не только с моря, но и с воздуха. Однако к этому времени газеты настолько утратили доверие читателей, что, например, в Нью-Йорке почти никто не принял всерьез очень подробное и точное описание германского воздушного флота, пока он не появился над городом.

Курт говорил наполовину сам с собой. Склонившись над меркаторской картой, покачиваясь в такт покачиванию пола, он указывал вооружение и тоннаж броненосцев, год их постройки, мощность машин и скорость, перечислял стратегически важные пункты и районы возможных операций. Застенчивость, которая за офицерским столом сковывала язык Курта, сейчас не имела над ним власти.

Берт стоял рядом с ним, но почти все время молчал и только следил за двигавшимся по карте пальцем лейтенанта.

— В газетах об этом уже давным-давно пишут,— заметил он наконец.— Только подумать, что так это и вышло на самом деле!

Все данные «Майлза Стэндиша» Курт знал назубок.

— На этом корабле были первоклассные артиллеристы — рекордное число попаданий. Интересно, удалось ли нам их перекрыть или просто повезло! Эх, был бы я там! Какой же из наших кораблей пустил его ко дну? Может, снаряд попал в машинное отделение? Ведь они идут полным ходом! Интересно, как там «Барбаросса»? — продолжал он.— Я ведь служил на нем раньше. Корабль не из самых лучших, но надежный. Держу пари, что он уже раза два угодил в цель, если старина Шнейдер сегодня в форме. Подумать только! Вот они сейчас палят друг в друга, бьют орудия, рвутся снаряды, взлетают на воздух бомбовые погреба, осколки брони разлетаются, как солома в бурю,— столько лет мы все мечтали об этом! Наш флот, наверное, полетит прямо на Нью-Йорк, словно ничего не происходит. Наверное, принц решит, что наша помощь там не нужна. Ведь эта битва как раз и прикрывает наш маневр. Все наши танкеры и тран-

спортные суда идут курсом вест-зюйд-вест на Нью-Йорк. Это будет наша плавучая база. Понимаете? Мы находимся вот тут,— ткнул он пальцем в карту.— Караван наших транспортов идет сюда, а броненосцы отгоняют американцев от нашего пути.

Когда вечером Берт отправился в солдатскую столовую ужинать, на него никто не обратил внимания, лишь двое-трое поглядели в его сторону. Все говорили о битве в океане, спорили, высказывали всевозможные предположения, и шум стоял такой, что время от времени кому-либо из унтер-офицеров приходилось наводить порядок. С поля боя был получен новый бюллетень, но Берт понял только, что речь шла о «Барбароссе». Тут на Берта начали оглядываться, послышалось знакомое слово «Буттерайдж», но никто его не трогал, и, когда подошла его очередь, он без всяких осложнений получил свой суп и хлеб. Он боялся, что ему вообще не полагается никакой порции, и тут бы уж он просто не знал, что ему делать.

Попозже он решился выйти на висячую галерею, где стоял одинокий часовой. Погода все еще была хорошая, но ветер крепчал, и качка усилилась. Берт ухватился за перила и почувствовал сильное головокружение. Земля скрылась из виду, и под ним простирался безбрежный простор океана, по которому катились огромные валы. Среди них ныряла старая бригантина под британским флагом, а больше нигде не было видно ни единого судна.

3

К вечеру ветер задул с такой силой, что корабль, пробиваясь вперед, переваливался с боку на бок, как дельфин. Курт сказал, что нескольких солдат уже свалила морская болезнь, но Берт, как ни странно, не страдал от качки, поскольку его желудок обладал теми таинственными свойствами, которые делают из человека хорошего моряка. Спал он крепко, но под утро проснулся от того, что Курт включил свет и, с трудом сохраняя равновесие, что-то разыскивал. Наконец он нашел в ящике компас, положил его на ладонь и сверился с картой.

— Мы изменили курс,— сказал он,— и пошли прямо по ветру. Не пойму, в чем дело. Так мы оставим Нью-

Йорк гораздо севернее. Похоже, что мы собираемся вмешаться...

Он еще довольно долго продолжал разговаривать сам с собой.

Настал день, сырой и ветреный. Капли влаги покрыли снаружи оконное стекло, и Курт с Бертом не могли ничего разглядеть. Было так свежо, что Берт решил не вылезать из-под одеяла, пока не прозвучит сигнал, призывающий к завтраку. После еды он вышел на галерею, но смог разглядеть лишь стремительно мчавшиеся тучи и смутные очертания ближних кораблей. Только изредка сквозь разрывы в тучах ему удавалось увидеть свинцовое море.

Немного позже «Фатерланд» стал набирать высоту и внезапно оказался среди чистого неба. Курт сказал, что они идут на высоте в тринадцать тысяч футов.

Берт в этот момент находился у себя в каюте и, заметив, что капли влаги испарились со стекла, выглянул в окно и снова, как тогда из корзины воздушного шара, увидел залитую солнцем облачную равнину, из которой один за другим выныривали воздушные корабли, словно рыбы, поднимающиеся из глубины. Он не стал медлить и бросился на галерею, чтобы получше рассмотреть эту удивительную картину. Внизу клубились облака и бушевал шторм, гнавший тучи к северо-востоку, а вокруг него, если не считать двух-трех снежинок, воздух был прозрачен и почти неподвижен — ледяной ветер был здесь еле заметен. В тишине отчетливо раздавался стук машин. Громадный отряд воздушных кораблей, возникавших один за другим из облаков, казался стадом зловещих чудовищ, ворвавшихся в неведомый им мир.

Либо новых известий о морском сражении не поступало, либо принц не пожелал их никому сообщать. Но часам к двум известия посыпались одно за другим, и лейтенант невероятно разволновался.

— «Барбаросса» выведен из строя и идет ко дну! — крикнул он.— Gott im Himmel! Der alte Barbarossa! Aber welch ein braver Krieger! [1].

---

[1] Силы небесные. Старина Барбаросса! Но какой храбрый вояка! (*нем.*)

Курт шагал по качающейся каюте, на какой-то миг превратившись в чистокровного немца.

Потом опять стал англичанином.

— Только подумать, Смоллуейз! Наш кораблик, который мы содержали в такой чистоте, в таком порядке! Разбит вдребезги, только осколки железа летят во все стороны — и еще люди, твои приятели... Gott! Струи пара, пламя и рев орудий — когда они бьют совсем рядом, то глохнешь! Словно весь мир разлетается вдребезги. И чем ни затыкай уши, не помогает. А я сижу здесь, так близко и так далеко от него! Der alte Barbarossa!

— А еще какие-нибудь корабли потоплены? — спросил наконец Смоллуейз.

— Gott! Да! Мы потеряли «Карла дер Гроссе», наш лучший и самый большой броненосец. Его протаранил ночью английский пассажирский пароход, который, стараясь уйти от боя, ворвался в самую его гущу. Там ведь бушует шторм. А у пассажирского парохода срезан нос, и он дрейфует, постепенно погружаясь в воду. Такого сражения еще не видел свет! И у нас и у них прекрасные корабли и прекрасные матросы! Шторм, ночь, рассвет... И все это в открытом океане, на полном ходу. Ни торпед, ни подводных лодок! Только бьют орудия. С половиной наших кораблей мы уже потеряли связь: у них сбиты мачты. 30°30′ северной широты, 40°31′ западной долготы, где же это?

Он снова развернул карту и уставился на нее невидящим взором.

— Der alte Barbarossa! Ничего не могу с собой поделать! Все вижу эту жуткую картину: в машинном отделении взрываются снаряды, из топок вырывается пламя, умирают обожженные паром кочегары и механики! И мои товарищи, Смоллуейз, мои друзья! Вот и пришел для них долгожданный день. Только счастье улыбнулось не им. Корабль выведен из строя и тонет! Конечно, кто-то же должен гибнуть в сражении. Бедняга Шнейдер! Бьюсь об заклад, он им чем-нибудь тоже ответил!

Сообщения продолжали поступать. Американцы потеряли второй корабль, название его неизвестно. «Герман» прикрывал «Барбароссу» и получил повреждения... Курт

метался по кораблю, как посаженный в клетку зверь, и то бросался на носовую галерею под орлом, то мчался на нижнюю висячую галерею, то припадал к картам. Он заразил своим волнением и Берта, и тот переживал вместе с ним все перипетии битвы, кипевшей совсем недалеко, сразу за линией горизонта. Но когда Берт вышел на висячую галерею, в мире вокруг было пусто и тихо: чистое темно-синее небо над головой, внизу тонкая дымка освещенных солнцем перистых облаков, сквозь которую виднелись быстро мчавшиеся черные тучи, совсем заслонившие море. Тук-тук-тук — стучали машины, и большой ныряющий косяк воздушных кораблей спешил за своим флагманом, как стая лебедей за своим вожаком.

Если б не постукивание машин, все походило бы на сон. А там, внизу, среди дождя и урагана, грохотали орудия, рвались снаряды, и, как исстари заведено, люди выполняли свои обязанности и умирали.

4

К вечеру ветер внизу немного утих, а в разрывах между тучами вновь можно было увидеть море. Воздушный флот медленно спустился ниже, и на закате далеко к востоку показался разбитый «Барбаросса». Смоллуейз услышал в коридоре топот бегущих ног и вместе с другими очутился на галерее, где несколько офицеров рассматривали в полевые бинокли жалкие остатки броненосца. Рядом виднелось еще два судна — высоко поднимался над водой корпус израсходовавшего всю нефть танкера, и дрейфовал приспособленный под транспорт пассажирский пароход. Курт стоял в углу, в стороне от других.

— Gott! — наконец произнес он, опуская бинокль.— Словно видишь, как старому другу отрезали нос и вот-вот прикончат его! «Барбаросса»!

Повинуясь внезапному порыву, он передал свой бинокль Берту, которого все игнорировали и который, разглядывая корабли из-под ладони, мог различить на море лишь три темные полоски.

Никогда в жизни не видел Берт ничего подобного той чуть смутной картине, которая возникла в окулярах бинокля. Это был не просто поврежденный, беспомощ-

но качавшийся на волнах броненосец. Это был разнесенный вдребезги броненосец — казалось чудом, что он еще держится на воде. Погубили «Барбароссу» его мощные машины. Ночью, преследуя врагов, он опередил остальные немецкие корабли и вклинился между «Саскуиханной» и «Канзас Сити». Американские броненосцы, увидав поблизости «Барбароссу», сбавили ход, так что немецкий броненосец почти поравнялся с «Канзас Сити», а потом вызвали на помощь «Теодора Рузвельта» и маленький «Монитор». На рассвете немецкое судно обнаружило, что оно окружено. Через пять минут после начала боя на востоке появился «Герман», а на западе сразу же показался «Фюрст Бисмарк», и это заставило американские корабли отступить, но они уже успели разнести броненосец. Американцы выместили на «Барбароссе» все, что накопилось у них за тягостный день отступления. Берт увидел фантастическое нагромождение искореженных, перекрученных полос и кусков металла. Только по их расположению он мог догадаться, чем они были еще недавно.

— Gott!—пробормотал Курт, поднося к глазам отданный Бертом бинокль.— Gott! Ведь там Альбрехт, добряк Альбрехт, и старина Циммерман, и фон Розен!

Сумерки и расстояние давно уже поглотили «Барбароссу», а Курт все еще стоял на галерее и, не опуская бинокля, пристально вглядывался вдаль, а когда вернулся в каюту, то еще долго оставался непривычно молчаливым и задумчивым.

— Страшная это игра, Смоллуейз,— наконец произнес он.— Война — это страшная игра! После такого вот многое видишь по-другому. Сколько людей трудилось, чтобы построить «Барбароссу», и служили на нем люди, каких не часто встретишь. Альбрехт хотя бы, был там один, его звали Альбрехт,— он играл на цитре и импровизировал. Что теперь с ним сталось? Мы с ним... были друзьями, как могут быть друзьями только немцы.

5

Смоллуейз проснулся ночью; в темной каюте гулял ветер, и Курт разговаривал сам с собой по-немецки. Берт с трудом различал у окна фигуру лейтенанта — он отвинтил болты, распахнул окно и выглядывал наружу.

На лицо Курта падал холодный, прозрачный, рассеянный свет, который отбрасывает чернильные тени и предвещает на большой высоте зарю.

— Что стряслось? — спросил Берт.

— Молчите! Неужели не слышите?

В тишине раз, другой раздался грохот орудийного выстрела и после короткого перерыва еще три удара, один за другим.

— Фу ты! Это ж пушки! — вскричал Берт и сразу очутился рядом с лейтенантом.

«Фатерланд» все еще летел очень высоко, и тонкая дымка облаков скрывала море. Ветер стих, и, проследив за пальцем Курта, Берт увидел сквозь бесцветную дымку красный отсвет, потом ярко-красную вспышку и немного в стороне — другую. Вспышки казались беззвучными, и только через несколько секунд, когда уже никто ничего не ждал, до них донеслись два раската. Курт очень быстро заговорил по-немецки.

За стенкой горнист проиграл какой-то сигнал.

Курт вздрогнул, взволнованно сказал что-то снова по-немецки и бросился к выходу.

— Послушайте! Что происходит? — завопил Берт.— Что случилось?

Лейтенант на минуту задержался в дверях — темный силуэт на фоне освещенного прохода.

— Оставайтесь тут, Смоллуейз. Сидите и ничего не делайте. Мы вступаем в бой. — И Курт исчез.

Сердце Берта тревожно забилось. Ему показалось, что «Фатерланд» замер над кораблями, которые вели бой там, далеко внизу. Может быть, он сейчас ринется на них, как ястреб на пичужку?

— Фу ты! — в ужасе прошептал он.

— Бах!.. Бах!..— Берт увидел красную вспышку и вдали еще одну. Он ощутил какую-то перемену на «Фатерланде», но только несколько минут спустя понял, в чем дело: стук машины вдруг стал почти беззвучным. Берт высунулся из окна и увидел в унылом сумраке другие воздушные корабли — они тоже сбавили ход и еле двигались.

Прозвучал второй сигнал и был негромко повторен на других кораблях. Огни разом потухли, и воздушный флот превратился в смутные темные пятна на фоне густой си-

невы неба, где еще мерцали редкие звездочки. Долгое время корабли оставались неподвижны, и Берту казалось, что этому конца не будет, но потом он услышал, что в баллоны начали накачивать воздух, и «Фатерланд» стал медленно погружаться в облака.

Берт изо всех сил вытягивал шею, но никак не мог разглядеть, следуют ли за ними остальные корабли,— мешал выпуклый бок газового отсека. Это бесшумное хищное скольжение вниз произвело на Берта зловещее впечатление.

Мрак сгустился, последняя робкая звездочка на горизонте исчезла, и Берт почувствовал холодное дыхание облаков. Внезапно зарево под ними приняло определенные очертания, превратилось в пламя, и «Фатерланд», перестав снижаться, замер под облачным слоем в тысяче футов над сражающимися кораблями — никем не замечаемый наблюдатель.

За ночь обстановка морского боя изменилась. Американцы сумели быстро и точно стянуть корабли и выстроить их в кильватерную колонну довольно далеко к югу от германской эскадры, которая преследовала их, развернувшись веером. Незадолго до рассвета они сомкнулись и полным ходом пошли на север, надеясь проскочить сквозь линию противника и настичь немецкие суда, которые двигались к Нью-Йорку, чтобы поддержать германский воздушный флот. С момента первого столкновения эскадр многое изменилось. Американский адмирал О'Коннор был к этому времени полностью осведомлен относительно германского воздушного флота и гораздо меньше беспокоился за Панамский канал, так как туда из Ки-Уэста прибыла флотилия подводных лодок, а два мощных наиновейших корабля, «Делавэр» и «Авраам Линкольн», находились уже в Рио Гранде у тихоокеанского входа в канал. Но О'Коннор не смог сразу выполнить задуманный маневр: на «Саскуиханне» взорвался котел, а на рассвете этот броненосец оказался так близко от «Бремена» и «Веймара», что они сразу же его атаковали. Оставалось либо покинуть горящую «Саскуиханну», либо атаковать немецкую эскадру. Адмирал выбрал последнее. И в этой схватке у американцев были шансы на успех. Немецкие корабли превосходили американцев численностью и боевой мощью, но строй их рас-

тянулся больше чем на сорок пять миль, и было весьма вероятно, что прежде, чем они соберут силы для удара, колонна американских судов из семи кораблей нанесет им большой урон.

Наступило хмурое туманное утро, и только тут «Бремен» и «Веймар» обнаружили, что им придется иметь дело не с одной «Саскуиханной». Внезапно из-за американского броненосца, не далее как в миле от него, возникла вся вражеская колонна и обрушилась на них. Так обстояло дело, когда в небе появился «Фатерланд». Пламя, которое увидел сквозь облака Берт, бушевало на злополучной «Саскуиханне». Она находилась как раз под «Фатерландом». Огонь охватил корму и нос броненосца, но он продолжал медленно двигаться к югу и все еще стрелял из двух орудий. В «Бремен» и «Веймар» попало несколько снарядов, и они уходили от «Саскуиханны» на юго-запад. Американская эскадра, возглавляемая «Теодором Рузвельтом», гналась за немцами, обстреливая то один, то другой корабль и стараясь отрезать их от мощного «Фюрста Бисмарка», который подходил к месту боя с запада.

Берту, однако, названия этих кораблей не были известны, и он довольно долго принимал американцев за немцев и немцев за американцев, сбитый с толку направлением, в каком передвигались сражавшиеся суда. Он решил, что колонна из шести броненосцев преследует трех своих противников, на помощь которым спешит четвертый. Только увидев, что «Бремен» и «Веймар» обстреливают «Саскуиханну», он понял, что ошибся. Некоторое время после этого он совсем уж ничего не мог разобрать. Кроме того, его смущал звук канонады — орудийные раскаты сменились оглушительным треском, и после каждой вспышки сердце Берта замирало в ожидании сокрушительного удара. Кроме того, он видел броненосцы не в профиль, как привык видеть их на картинках, а сверху, и поэтому они казались непривычно короткими. На палубах было почти пусто, и только небольшие кучки людей укрывались за стальными фальшбортами. С высоты птичьего полета Берту прежде всего бросились в глаза длинные танцующие дула орудий большого калибра, которые выбрасывали неяркое прозрачное пламя, и частые вспышки бортовых скорострельных ору-

дий. Американские корабли с паровыми турбинами имели от двух до четырех труб. Немецкие броненосцы казались более низкими, так как вместо паровых машин они были снабжены двигателями внутреннего сгорания, которые теперь работали с каким-то непонятным грохотом. Из-за паровых машин американские корабли были больше и выглядели изящнее. В холодном свете утренней зари Берт видел, что эти укороченные, непрерывно стреляющие корабли качает сильная зыбь. Из-за ритмичного волнообразного движения «Фатерланда» зрелище боя то приближалось, то удалялось.

Сначала над сражающимися кораблями появился один только «Фатерланд». Он следовал в вышине над идущим полным ходом «Теодором Рузвельтом» и не отставал от него. Сквозь бегущие облака «Фатерланд» был, наверно, временами виден с «Теодора Рузвельта». Остальные корабли германского воздушного флота, поддерживая связь с флагманом посредством беспроволочного телеграфа, остались на высоте шести-семи тысяч футов за облаками, чтобы не подвергаться риску артиллерийского обстрела.

Неизвестно, когда именно несчастные американцы обнаружили появление новых врагов. Об этом до нас не дошло никаких сведений. Можно только представить себе, что почувствовали измученные моряки, когда, взглянув на небо, увидели вдруг над головой безмолвное чудовище, размерами превосходящее самый большой броненосец, с огромным германским флагом на хвосте. По мере того, как облака рассеивались, в синеве неба появлялись все новые, презрительно не обремененные ни пушками, ни броней, воздушные корабли, летевшие со скоростью, которая позволяла им легко догонять сражавшиеся на полном ходу броненосцы.

Ни одно орудие ни разу не ударило по «Фатерланду», в него лишь несколько раз стреляли из винтовок. И только по чистой случайности один человек на флагмане был убит. «Фатерланд» до самого конца не принимал непосредственного участия в бою. Он летел над обреченной американской эскадрой, и принц отдавал приказания другим кораблям по беспроволочному телеграфу. Тем временем «Фогельштерн» и «Пруссия», буксируя по полдюжине «драхенфлигеров», полным ходом нес-

лись вперед, а затем, миль на пять опередив американские корабли, начали резко снижаться и вышли из облаков; «Теодор Рузвельт» тут же стал стрелять по ним из мощных носовых орудий, но снаряды рвались гораздо ниже «Фогельштерна», от которого уже отделилось и ринулось на врага больше десятка «драхенфлигеров».

Высунувшись из своего окна, Берт видел с начала до конца это первое столкновение аэроплана с броненосцем. Он видел, как гротескные «драхенфлигеры» с широкими плоскими крыльями, коробчатой носовой частью и колесами по бокам, между которыми сидел авиатор, стремительно падали вниз, словно стая птиц.

— Вот черт! — вырвалось у Берта.

Один из аэропланов, справа, вдруг стал неестественно быстро падать, подпрыгнул, с громким треском взорвался и, охваченный пламенем, упал в море; другой ткнулся носом в воду и, едва коснувшись волны, разлетелся на куски. Берт видел, как суетились на палубе «Теодора Рузвельта» укороченные человечки — только голова да ноги,— готовясь стрелять по другим аэропланам. Потом передний «драхенфлигер» промчался между Бертом и палубой броненосца, раздался грохот взорвавшейся бомбы, точно сброшенной на носовую башню, и ответный слабый треск винтовок. Трах-трах-трах—били скорострельные орудия американцев, в ответ прогремел сокрушительный залп с «Фюрста Бисмарка». Еще два аэроплана пролетели мимо Берта и сбросили на американский броненосец бомбы; авиатора четвертого ранило пулей, и его «драхенфлигер» рухнул на палубу броненосца и, взорвавшись, опрокинул корабельные трубы. Одно мгновение Берт видел крошечную черную фигурку, она спрыгнула с исковерканного аэроплана, ударилась о трубу и еще падала безжизненно вниз, когда пламя страшного взрыва подхватило ее и увлекло в небытие.

На носу корабля раздался оглушительный взрыв, громадный кусок металла отделился от броненосца и рухнул в пучину, увлекая вместе с собой людей и обнажая брешь, в которую проворный «драхенфлигер» бросил зажигательную бомбу. В безжалостном свете занимавшегося дня Берт ясно увидел, как, борясь за жизнь, судо-

рожно барахтались в пенном водовороте за кормой «Теодора Рузвельта» крошечные существа. То не могли быть люди, нет! Эти тонувшие изуродованные крошечные существа сжимали своими скрюченными пальцами сердце Берта.

— Господи, господи! — почти рыдал Берт.

Он снова посмотрел вниз: живые точки исчезли, а поглотившую их пучину рассекал на две симметричные волны черный корпус «Эндрю Джексона», слегка поврежденного последним выстрелом тонувшего «Бремена». Нестерпимый ужас охватил Берта, и на несколько минут он словно ослеп.

Находившаяся милях в трех к востоку «Саскуиханна» вдруг взорвалась со страшным грохотом, словно сложившимся из массы мелких взрывов послабее, и в мгновение ока исчезла в кипящем водовороте. Несколько секунд на этом месте кипели волны, а потом глубина с громким бульканьем стала изрыгать пар, воздух, нефть, обломки, людей...

После этого наступило затишье. Берту оно показалось бесконечным. Он начал высматривать, куда девались остальные аэропланы. Сплющенные останки одного плавали около «Монитора», остальные устремились за американскими кораблями и засыпали их бомбами; несколько «драхенфлигеров» колыхалось на волнах, повидимому, не получив серьезных повреждений, а три или четыре, описывая широкую дугу, возвращались к своим воздушным кораблям. Строй американских броненосцев рассыпался: сильно поврежденный «Теодор Рузвельт» повернул на юго-восток, «Эндрю Джексон», потрепанный, но по-прежнему боеспособный, шел между «Теодором Рузвельтом» и грозным, полным сил «Фюрстом Бисмарком», прикрывая своего флагмана от огня последнего. Далеко на западе показались готовые вступить в бой «Герман» и «Германик».

Когда после гибели «Саскуиханны» наступила минута затишья, Берт расслышал какой-то звук, совсем не похожий на шум боя. Словно скрипела косо повешенная на несмазанных петлях дверь. Это кричала «hoch» команда на «Фюрсте Бисмарке».

И в эту минуту, когда залпы вдруг прекратились, взошло солнце,— темные воды стали ослепительно си-

ними, и потоки золотого света залили мир. Словно улыбка озарила картину ужаса и ненависти. Облачная дымка исчезла как по волшебству, и взгляду открылись все бесчисленные корабли германского воздушного флота, готовые ринуться вниз на свою добычу.

— Бах-бабах! Бах-бабах! — снова заговорили орудия броненосцев, но они не были приспособлены для стрельбы по воздушным целям, и висевшие в вышине чудовища остались целыми, если не считать нескольких случайно попавших в них пуль. Американская эскадра сильно пострадала: «Саскуиханна» погибла; «Теодор Рузвельт» отстал — носовые орудия его вышли из строя, палуба была завалена обломками; «Монитор» тоже получил тяжелые повреждения. Два этих корабля совершенно прекратили стрельбу, как и «Бремен» с «Веймаром». Между четырьмя броненосцами, находившимися на расстоянии выстрела друг от друга, словно установилось вынужденное перемирие. На юго-восток теперь двигалось только четыре американских корабля с «Эндрю Джексоном» в качестве головного. А «Фюрст Бисмарк», «Герман» и «Германик» шли параллельным курсом и продолжали вести непрерывный огонь. «Фатерланд» медленно взмыл вверх, готовясь к заключительному акту этой трагедии.

Больше десятка воздушных кораблей один за другим быстро устремились вниз в погоню за остатками американской эскадры. Они держались на высоте двух тысяч футов, пока не настигли и немного не обогнали последний из американских броненосцев; тогда они быстро снизились среди фонтана пуль и, двигаясь чуть быстрее броненосца, забросали его плохо защищенные палубы бомбами, превратив их в полотнища пламени. Так они пролетали над американскими броненосцами, которые пытались продолжать бой с «Фюрстом Бисмарком», «Германом» и «Германиком», и каждый воздушный корабль вносил свою долю в общий хаос. Орудия американцев смолкли, раздалось еще только несколько героических выстрелов, но остатки эскадры продолжали идти вперед — искалеченные, окровавленные, они упорно не желали сдаваться и гневно сопротивлялись, обстреливая из винтовок воздушные корабли под градом снарядов с немецких броненосцев. Но теперь атакующие воздушные

корабли то и дело заслоняли картину боя, и Берт видел остальное лишь урывками.

Внезапно Берт заметил, что картина боя уменьшается и звуки его становятся все глуше. «Фатерланд» спокойно и бесшумно поднимался в небо, и орудийные залпы уже не били в самое сердце, а только тупо отдавались в ушах. И вот четыре умолкнувших броненосца уже превратились в крошечные полоски, да только было ли их четыре? Смотря против солнца, Берт видел, что на воде держатся лишь три почерневшие, дымящиеся груды обломков. Однако «Бремен» уже спустил на воду две шлюпки, спускал шлюпки и «Теодор Рузвельт», и они направились туда, где горсточка крошечных существ все еще отчаянно боролась за жизнь, качаясь на громадных океанских волнах... «Фатерланд» больше не следовал за сражавшимися эскадрами. Бурлящее месиво отодвигалось к юго-востоку, становилось все меньше и беззвучнее. Один из воздушных кораблей упал в море и горел, выбрасывая чудовищный и уже такой крохотный огненный фонтан, а далеко на юго-западе показались сначала один, а потом еще три германских броненосца, спешивших на помощь своим...

6

«Фатерланд» поднимался все выше и выше в сопровождении всего косяка воздушных кораблей, а потом взял курс на Нью-Йорк, и скоро сражение отступило на задний план, стало чем-то далеким и маленьким, коротким эпизодом перед завтраком. От него осталась лишь ниточка крошечных темных силуэтов да дымное желтое зарево, которое вскоре превратилось в расплывчатое желтое пятно на горизонте и, наконец вовсе исчезло в ярком свете нового дня...

Вот так Берт Смоллуейз увидел первую битву воздушных кораблей и последний бой броненосцев — самых странных в истории войн боевых средств, возникших из плавучих батарей, примененных в Крымскую войну императором Наполеоном III и поглотивших за семьдесят лет своего существования невероятное количество человеческой энергии и средств. За это время было построено более двенадцати тысяч этих немыслимых чудо-

вищ, разных типов и видов, и каждый новый броненосец был более мощным и более смертоносным, чем предыдущий. Каждый новый корабль объявлялся самым последним достижением науки, и большинство из них в конце концов продавали на слом. Не больше пяти процентов всех броненосцев участвовало в боях. Некоторые пошли ко дну, других выбросило на берег, многие погибли, случайно столкнувшись друг с другом. Жизни бесконечного множества людей были отданы служению броненосцам, таланты и терпение не одной тысячи инженеров и изобретателей, неисчислимое количество материалов и денежные средства ушли на их создание; из-за них не были использованы бесчисленные возможности сделать жизнь легче и лучше; из-за них миллионам детей приходилось преждевременно начинать работать; из-за них люди на суше влачили полуголодное, нищенское существование. На их постройку и содержание деньги надо было добывать любой ценой — таков был закон бытия наций в те непостижимые времена. Во всей истории изобретений нет ничего более пагубного и дорогостоящего, чем эти чудовищные мегатерии.

А потом дешевые изделия, для изготовления которых требовались только прутья и газ, раз и навсегда покончили с броненосцами, обрушившись на них с неба...

Никогда прежде не доводилось Берту видеть такого всесокрушающего уничтожения, никогда прежде не понимал он, сколько горя и ущерба приносит война. Его потрясенный ум постиг истину: и это тоже часть жизни. Из безжалостного клубка страшных впечатлений в памяти всплывало одно и заслоняло все остальное; матросы с «Теодора Рузвельта», отчаянно борющиеся за жизнь среди океанских волн, после того как первая бомба обрушилась на броненосец.

— Черт! — сказал он, вспоминая про это.— Так ведь могло случиться и со мной и с Граббом!.. Барахтаешься, а вода заливает тебе рот. Хорошо хоть недолго, наверно.

Берту хотелось узнать, как все это подействовало на Курта. И еще он почувствовал голод. Он нерешительно подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Там, около трапа, ведущего в солдатскую сто-

ловую, стояло несколько матросов из экипажа корабля; они, наклонившись, рассматривали что-то лежавшее в нише. На одном из стоявших там был легкий водолазный костюм, какие Берт уже видел в башенках газовых камер. Берту захотелось подойти поближе и получше рассмотреть шлем, который матрос держал под мышкой. Но, подойдя к нише, Берт забыл про шлем: на полу лежал мертвый юнга — его убила пуля, посланная с «Теодора Рузвельта».

Берт не заметил, как пули попадали в «Фатерланд», и даже не подозревал, что находился под обстрелом. Он сразу даже и не сообразил, отчего погиб юнга, и никто ему этого не объяснил.

Юноша лежал, как повалился, сраженный пулей; куртка на нем была разорвана и опалена, раздробленную лопатку почти вырвало из тела, вся левая часть груди была страшно изуродована. На полу краснела лужа крови. Матросы слушали человека со шлемом, который что-то объяснял им, указывая на круглое отверстие от пули в полу и на вмятину в панели коридора, докуда, очевидно, еще смогла долететь смертоносная пуля. Лица у всех были серьезны и суровы; этих рассудительных, светловолосых и голубоглазых людей, привыкших к порядку и дисциплине, вид растерзанных, окровавленных останков того, кто был их товарищем, ошеломил не меньше, чем Берта.

В дальнем конце коридора, там, где находилась галерея, внезапно раздался буйный взрыв хохота, и кто-то возбужденно заговорил, почти закричал по-немецки.

Отвечали другие голоса, почтительно и спокойно.

— Принц,— шепнул кто-то, и все застыли в напряжении.

В конце коридора показалась группа людей. Первым с бумагами в руке шел лейтенант Курт.

Увидев в нише убитого, он замер на месте, и его румяное лицо побелело.

— So! — изумленно воскликнул он.

Принц шел за Куртом, разговаривая через плечо с фон Винтерфельдом и капитаном корабля.

— Что такое? — бросил он Курту, не докончив фразы, и посмотрел, куда указывал лейтенант. Он уста-

вился на изуродованный труп в нише и, казалось, на мгновение задумался. Затем, небрежно махнув рукой в сторону убитого, повернулся к капитану.

— Уберите это! — крикнул он по-немецки и, прошествовав дальше, прежним веселым тоном закончил обращенную к фон Винтерфельду фразу.

7

Страшное воспоминание о том, как тонули в океане во время сражения беспомощные люди, раз и навсегда слилось у Берта с воспоминанием о надменной фигуре принца Карла Альберта, небрежным жестом отметающего с пути тело убитого юнги. Раньше война представлялась Берту этакой веселой, шумной, волнующей эскападой, чем-то вроде праздничной шутки, только в большем масштабе и в общем делом радостным и приятным. Теперь он узнал войну немного лучше.

На следующий день иллюзиям Берта был нанесен еще один — третий по счету — удар. Случай сам по себе был незначительный и неизбежный для военного времени, однако он невероятно удручающе подействовал на воображение Берта — городского жителя. В те времена не в пример предыдущим столетиям в густонаселенных городах господствовали довольно мягкие нравы; жители их никогда не видели, как убивают. И только в смягченном виде через книги и картины познавали ту истину, что жизнь — это беспощадная борьба. На своем веку Берт трижды — всего лишь трижды — видел мертвецов и никогда не присутствовал при убийстве живого существа, превосходящего размерами новорожденного котенка.

Новое душевное потрясение Берт испытал, когда на воздушном корабле «Адлер» казнили матроса, у которого обнаружили спички. Это было грубейшим нарушением дисциплины — перед отлетом этот человек просто забыл, что у него в кармане лежат спички. Все команды неоднократно предупреждали, что приносить на корабль спички строжайшим образом запрещено, об этом же гласили развешанные повсюду предостережения. В свое оправдание матрос говорил, что он был так занят своим делом и так привык к этим предупреждениям, что



«ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»



«ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»

как-то упустил, что они относятся и к нему самому. Однако тем самым он признавал себя виновным в другом не менее серьезном воинском преступлении — в небрежности. Капитан «Адлера» вынес приговор, принц утвердил его по беспроволочному телеграфу, и казнь решено было сделать уроком для всего личного состава флота.

— Немцы,— заявил принц,— пересекли Атлантический океан не для того, чтобы считать ворон.

Чтобы все видели, как караются недисциплинированность и неповиновение, преступника решили не умертвить электрическим током и не сбросить в пучину, а повесить.

И вот все корабли собрались вокруг флагмана, как карпы в пруду в часы кормежки. «Адлер» находился в самой середине, непосредственно рядом с «Фатерландом». Весь экипаж «Фатерланда» выстроился на висячей галерее, команды других кораблей разместились на воздушных камерах, взобравшись туда по наружной сетке, а офицеры вышли на площадку, где стояли пулеметы. На Берта, созерцавшего это зрелище сверху, оно произвело ошеломляющее впечатление. Далеко-далеко внизу, на рябой синеве океана, два крошечных парохода — один британский, другой под американским флагом — подчеркивали его масштабы. Берт вышел на галерею посмотреть казнь, но ему было не по себе: шагах в десяти от него стоял грозный светловолосый принц, сверкая глазами, скрестив руки на груди, по-военному сомкнув каблуки.

Так был повешен матрос с «Адлера». Веревку взяли длинную, в шестьдесят футов, чтобы все злоумышленники, прячущие спички или замыслившие какое-нибудь иное нарушение дисциплины, хорошенько рассмотрели, как он будет корчиться в петле. Всего в сотне ярдов от Берта на нижней галерее «Адлера» стоял живой, не готовый умереть человек — в глубине души он, наверное, боялся и негодовал, но внешне держался спокойно и покорно. А потом его столкнули за борт...

Он летел вниз, растопырив руки и ноги, пока, дернувшись, не повис на конце веревки. Тут ему следовало умереть, корчась всем в назидание, но то, что произошло, было еще ужаснее: голова оторвалась, и туловище,

уродливое и нелепое, кружась, кануло в море, а голова летела рядом с ним.

— Ох! — вырвалось у Берта, и он судорожно вцепился в поручни.

За спиной у него ахнуло еще несколько человек.

— So,— бросил принц, обвел всех взглядом, еще более надменным и непреклонным, чем всегда, затем повернулся к трапу и скрылся внутри корабля.

Привалившись к поручням, Берт еще долго оставался на галерее. К горлу у него подступила тошнота — такой ужас внушил ему этот мимолетный эпизод. Он показался ему гораздо более отвратительным, чем морское сражение. Да и чего было ждать от этого выродившегося, изнеженного цивилизацией, не ко времени мягкотелого горожанина!

Когда много позже Курт зашел в каюту, Берт, бледный и несчастный, лежал, скорчившись на своем диванчике. Но и щеки Курта тоже утратили свой свежий румянец.

— Морская болезнь мучит? — спросил он.

— Нет.

— Сегодня вечером мы доберемся до Нью-Йорка. Нас подгоняет попутный ветер. Там уж будет на что посмотреть.

Берт ничего не ответил.

Разложив складной стол и стул, Курт некоторое время шуршал картами. Потом о чем-то угрюмо задумался. Но вскоре очнулся и посмотрел на Берта.

— В чем дело?

— Ни в чем.

— В чем дело? — повторил Курт, угрожающе взглянув на Берта.

— Я видел, как убили этого парня. Видел, как авиатор насмерть разбился о трубу броненосца. Видел убитого в коридоре. Слишком много смерти и крови для одного дня! Вот в чем дело! Мне это не по нутру. Я не думал, что война такая. Я человек штатский. Она мне не по нутру.

— Мне все это тоже не нравится,— сказал Курт.— Да, не нравится!

— Я много читал про войну. Но когда увидишь собственными глазами... У меня голова кругом идет. Одно

дело — полетать на воздушном шаре, а смотреть вниз и видеть, как все крошат, как убивают людей,— я не вытерплю. Понимаете?

— Ничего, придется привыкнуть.— Курт задумался.— Не вы один. Всем не по себе. Летать — это просто. Ну, покружится голова и перестанет. Что же касается крови и смерти, то нам всем надо привыкать к ним. Мы мягкие, культурные люди. И нам пора принять боевое крещение. На всем корабле и десятка людей не найдется, кто видел настоящее кровопролитие. До сих пор все они были добропорядочными, спокойными, законопослушными немцами... А теперь им предстоит вот это. Вначале они ежатся, но погодите, они еще войдут во вкус.— И, поразмыслив, Курт добавил: — Нервы у всех понемногу сдают.

Он вернулся к своим картам. Скорчившись в своем углу, Берт, казалось, забыл о нем. Некоторое время оба молчали.

— И на кой черт принцу понадобилось вешать этого парня? — внезапно спросил Берт.

— Так было нужно,— ответил Курт.— И это правильно. Приказ совершенно ясен, а этот болван разгуливал со спичками в кармане...

— Черт побери! Мне этого долго не забыть,— не слушая, сказал Берт.

Но Курт ничего не ответил. Он определял расстояние до Нью-Йорка и предавался своим размышлениям.

— Вот посмотрим, какие у американцев аэропланы. Похожи они на наших «драхенфлигеров» или нет?.. Завтра в это время мы уже узнаем... Да, только что? Хотел бы я знать... А если они все-таки станут сопротивляться? Странный это будет бой!

Тихонько свистнув, Курт опять умолк. Через несколько минут он вышел из каюты; в сумерках Берт встретился с ним на висячей галерее — он стоял, устремив взор вперед, и размышлял о том, что ожидает их завтра. Тучи снова закрыли море, и громадный неровный косяк воздушных кораблей, волнообразно нырявших при полете, казался теперь стаей диковинных существ, рожденных в царстве хаоса, где нет ни суши, ни воды, а лишь туман и небо.

ГЛАВА VI

КАК ВОЙНА ПРИШЛА В НЬЮ-ЙОРК

1

Нью-Йорк в год нападения Германии был величайшим, богатейшим, во многих отношениях великолепнейшим, а в некоторых — наипорочнейшим городом, какой когда-либо знал мир. Это был подлинный «Город Научно-торгашеского века», со всем его величием и мощью, неукротимой жаждой наживы и социальным хаосом. Он давно успел затмить Лондон и отнять у него гордое наименование «Современный Вавилон», стал финансовым центром мира, центром торговли, центром увеселений, и его сравнивали с апокалипсическими городами древних пророков. Он поглощал богатства своего континента, как поглощал когда-то Рим богатства Средиземноморья, как Вавилон — богатства Востока. На его улицах можно было встретить разительные контрасты роскоши и крайней нищеты, цивилизации и варварства. В одном квартале мраморные дворцы, залитые светом, в ожерелье электрических огней, утопающие в цветах, уходили ввысь, растворяясь в его изумительных сумерках, в другом — в уму непостижимой тесноте, в темных подвалах, о которых правительство ничего не желало знать, ютилась многоязыкая чернь — зловещая и отчаявшаяся. Его пороки и преступления, как и его законы, были порождены неистовой энергией, и, как в великих городах средневековой Италии, в нем шла непрерывная темная вражда.

Особенности формы острова Манхаттан, стиснутого двумя проливами, узость пригодной для застройки полоски земли к северу, которые препятствовали городу расти естественно, толкнули нью-йоркских архитекторов строить не вширь, а ввысь. У них всего было вдоволь; денег, строительных материалов, рабочей силы,— и только места было мало. Сперва они строили ввысь в силу необходимости. Но, раз начав, они открыли целый новый мир архитектурной красоты, изысканных, устремленных

в небо линий, и еще долго после того, как со скученностью в центре было покончено при помощи подводных туннелей, четырех колоссальных мостов, перекинутых через Ист-Ривер, и сети монорельсовых дорог, разбегающихся в восточном и западном направлениях, город продолжал расти вверх. Во многих отношениях Нью-Йорк, где правила могучая плутократия, напоминал Венецию: например, великолепием архитектуры, живописи, чугунного литья, скульптуры, а также своим беспощадным властолюбием, господством на море и привилегированным положением в торговле. Однако ни одно из существовавших ранее государств не напоминал он беспорядочностью внутреннего своего управления и бездеятельностью властей, в результате которой огромные районы вовсе не признавали власти закона — порой целые улицы оказывались отрезанными, пока между отдельными кварталами шла междоусобная война; и преступники безнаказанно разгуливали по улицам, куда не ступала нога полиции. Это был водоворот всех рас. Флаги всех наций вились в его гавани, и в пору наивысшего расцвета годовая цифра прибывающих и отъезжающих за океан переваливала за два миллиона. Для Европы он олицетворял Америку, для Америки—ворота в мир. Но история Нью-Йорка—это, собственно, социальная история всего мира. Чтобы создать его, потребовалось перемешать в одном котле святых и мучеников, негодяев и мечтателей, традиции тысячи народов и тысячу религиозных верований, и теперь всё это бурлило и клокотало на его улицах. И над всем этим буйным хаосом людей и стремлений реял странный флаг — звезды на полосатом поле,— олицетворяющий одновременно и нечто самое благородное и нечто ничего общего с благородством не имеющее: то есть свободу, с одной стороны, а с другой — подлую, глухую ненависть своекорыстных душ к общенациональной цели.

На протяжении жизни многих поколений Нью-Йорк думал о войне только как о чем-то очень далеком, отражавшемся на ценах и снабжающем газеты сенсационными заголовками и снимками. Ньюйоркцы, пожалуй, даже в большей мере, чем англичане, были убеждены, что на их земле война невозможна. Тут они разделяли заблуждение своей Северной Америки. Они были так же

спокойны за себя, как зрители на бое быков: быть может, они ставили деньги на его исход, но этим риск исчерпывался. А свои представления о войне средний американец заимствовал из описаний войны прошлого как увлекательного и романтического приключения. Он видел войну так же, как историю: сквозь радужную дымку — продезинфицированной и даже надушенной, предупредительно очищенной от всей своей непременной мерзости. Он даже сожалел о невозможности испытать ее облагораживающее влияние и вздыхал, что уж ему-то не придется ее увидеть. Он с интересом, чтобы не сказать с жадностью, читал о своих новых орудиях, о своих громадных — на смену которым приходили еще более громадные — броненосцах, о своих неслыханных — на смену которым приходили еще более неслыханные — взрывчатых веществах, но над тем, в какой мере эти страшные орудия разрушения касаются его лично, он не задумывался вовсе. Насколько можно судить по литературе того времени, американцы считали, что лично их все это просто не касается. Им казалось, что среди всего этого бешеного накопления взрывчатых веществ Америке не грозит ничто. Они по привычке и по традиции восторженно приветствовали свой флаг; они смотрели сверху вниз на другие нации, и при первых признаках международных осложнений становились пламенными патриотами, то есть бурно порицали любого из своих политических деятелей, который не грозил противнику суровыми мерами и не приводил этих мер в исполнение. Они надменно вели себя с Азией, с Германией, так надменно держались с Великобританией, что на карикатурах того времени бывшая метрополия обычно фигурировала не иначе, как заклеванный супруг, великая же ее дщерь — как молоденькая вздорная жена. Что касается остального, то они продолжали развлекаться и заниматься своими делами, как будто война отошла в область предания вместе с бронтозаврами...

И вдруг в мир, безмятежно занимавшийся производством оружия и усовершенствованием взрывчатых веществ, ворвалась война — и все внезапно поняли, что пушки уже заговорили, что груды горючих веществ во всех концах света вдруг разом вспыхнули.

2

На первых порах грянувшая война никак не отразилась на Нью-Йорке, он только стал еще неистовее.

Газеты и журналы, питавшие американский интеллект (книги на этом вечно спешащем континенте давно уже стали всего лишь объектом приложения энергии коллекционеров), моментально превратились в калейдоскоп военных снимков и заголовков, которые взлетали ракетами и рвались шрапнелью. К обычному лихорадочному напряжению нью-йоркских улиц добавились симптомы военной горячки. Огромные толпы собирались (преимущественно в часы обеденного перерыва) на Мэдисон-сквер, у памятника Фаррагату послушать патриотические речи и покричать «ура», и среди проворных молодых людей, которые неиссякаемым потоком вливались в Нью-Йорк по утрам на автомобилях, в вагонах монорельса, метро и поездов, чтобы, проработав положенные часы, снова схлынуть по домам между пятью и семью, началось повальное увлечение значками и флажками. Не носить военного значка становилось очень опасно. Роскошные мюзик-холлы того времени любой сюжет преподносили под патриотическим соусом, вызывая бешеный энтузиазм у зрителей; сильные мужчины рыдали, когда кордебалет развертывал национальное знамя во всю ширь сцены, а иллюминации и игра прожекторов поражали даже ангелов в небесах. Церкви вторили национальному подъему, но в более строгом ключе и замедленном темпе, а приготовления воздушных и морских сил на Ист-Ривер сильно страдали от массы сновавших вокруг экскурсионных пароходов, с которых доносились подбадривающие вопли. Торговля ручным огнестрельным оружием небывало оживилась, и многие изнемогавшие под наплывом чувств ньюйоркцы отводили душу, устраивая прямо на людной улице фейерверк более или менее героического, опасного и национального характера. Детские воздушные шарики новейших моделей становились серьезной помехой для пешеходов в Центральном парке. И вот среди всеобщего неописуемого восторга генеральная ассамблея штата в Олбани, отменив множество правил и процедур, провела

через обе палаты вызывавший раньше столько разногласий закон о всеобщей воинской повинности в штате Нью-Йорк.

Люди, относящиеся скептически к национальному американскому характеру, склонны считать, что, лишь подвергнувшись немецкому нападению, жители Нью-Йорка наконец перестали относиться к войне как к простой политической демонстрации. Они утверждают, что ношение значков, размахивание флагами, пускание фейерверка и распевание песен не нанесло никакого практического ущерба немецким и японским силам. Они забывают, что в век науки война обрела такие формы, что гражданское население вообще не могло причинять врагу какой-нибудь ощутимый вред, а в таком случае ношение значков и прочее ничему не мешало. Военная мощь снова начинала опираться не на многих, а на единицы, не на пехоту, а на специалистов. Дни, когда один героический пехотинец мог решить исход битвы, канули в вечность. Теперь все решали машины, специальные знания и навыки. Война утратила свои, так сказать, демократические черты. Но как бы ни оценивать значение народного подъема, нельзя отрицать, что располагающее очень небольшим аппаратом правительство Соединенных Штатов в критический момент внезапного вооруженного вторжения из Европы действовало энергично, умело и с большой находчивостью. Оно было застигнуто врасплох; кроме того, находившиеся в его распоряжении заводы для строительства воздушных кораблей и аэропланов не шли ни в какое сравнение с немецкими парками. И тем не менее оно тут же взялось за дело, доказав миру, что еще не угас дух, создавший «Монитор» и подводные лодки южан в 1864 году. Начальник школы аэронавтов вблизи Вест Пойнта Кабот Синклер позволил себе всего лишь один афоризм, из тех, что были очень в моде в те демократические времена.

— Мы уже подобрали себе эпитафию,— сказал он репортеру.— Вот такую: «Они сделали все, что было в их силах». А теперь марш отсюда!

Самое странное то, что все они (исключений не было) действительно сделали все, что было в их силах. Их единственным недостатком был недостаток хорошего вкуса.

С исторической точки зрения одним из наиболее поразительных фактов этой войны — и притом выявившим с совершенной очевидностью несовместимость подготовки к войне и соблюдение демократических процедур — представляется тот факт, что вашингтонские власти сумели сохранить в тайне свои воздушные корабли. Они предпочли не доводить до сведения широкой публики ни единой подробности относительно ведущихся приготовлений. Они даже не сочли нужным доложить о них Конгрессу. Они препятствовали каким бы то ни было сенатским расследованиям. Война велась президентом и министрами, самовластно взявшими на себя всю полноту ответственности. Если они и допускали какую-то гласность, то только для того, чтобы предупредить нежелательное брожение умов и в чем-то настоять на своем. Они отдавали себе отчет, что в условиях воздушной войны может возникнуть весьма серьезная угроза, если легко поддающаяся панике просвещенная публика начнет требовать выделения воздушных кораблей и аэропланов для местной обороны. Это при имевшихся в наличии ресурсах могло привести лишь к роковому расчленению и распылению национальных воздушных сил. Особенно же они опасались, что их могут вынудить к преждевременному выступлению ради спасения Нью-Йорка. Они с пророческой ясностью понимали, что немцы рассчитывают именно на это. Поэтому они всячески старались занять внимание населения идеей артиллерийской обороны и отвлечь его от мыслей о воздушных боях. Свои истинные приготовления они маскировали показными. В Вашингтоне хранился большой резерв морских орудий, и их начали поспешно и с большой помпой распределять среди восточных городов, о чем кричали все газеты. Их размещали на горах и возвышенностях вокруг городов, которым угрожала опасность. Их устанавливали на спешно приспособленных для этого тумбах Доуна, которые в то время обеспечивали дальнобойным орудиям наибольший угол прицела. Однако, когда немецкий воздушный флот достиг Нью-Йорка, большая часть этой артиллерии не была еще установлена и почти все орудия стояли без прикрытия. И когда это произошло, там внизу, на забитых народом улицах, читатели нью-йоркских газет упивались замечательными и прекрасно

иллюстрированными сообщениями, вроде следующего:

ТАЙНА МОЛНИИ

СЕДОВЛАСЫЙ УЧЕНЫЙ
СОВЕРШЕНСТВУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПУШКУ

ОДНИМ УДАРОМ МОЛНИИ СНИЗУ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ
ВЕСЬ ЭКИПАЖ ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЯ

ВАШИНГТОН ЗАКАЗАЛ ПЯТЬСОТ ШТУК

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ЛОДЖ В ВОСТОРГЕ ГОВОРИТ:
«ЭТО СПУСТИТ НЕМЦЕВ С ОБЛАКОВ НА ЗЕМЛЮ»

ПРЕЗИДЕНТ ПУБЛИЧНО РУКОПЛЕЩЕТ ВЕСЕЛОМУ КАЛАМБУРУ

3

Немецкий флот достиг Нью-Йорка прежде, чем весть о разгроме американцев на море. Он достиг Нью-Йорка к вечеру, и первыми его заметили наблюдатели в Ошен Грове и Лонг Бранче. Воздушные корабли, двигаясь с большой скоростью, появились вдруг над морем с юга и быстро скрылись в северо-западном направлении. Флагман прошел почти прямо над наблюдательным постом в Санди Хук, одновременно быстро набирая высоту, и уже через несколько минут после этого Нью-Йорк сотрясался от грома орудий, расставленных на острове Статен. Некоторые из этих орудий, в особенности два — установленные в Гифферде и на холме Бикон над Матаваном,— били особенно метко. Первое из них с расстояния в пять миль послало снаряд, который разорвался так близко от «Фатерланда», шедшего на высоте шести тысяч футов, что переднее стекло в кабине принца разлетелось вдребезги. Неожиданный взрыв заставил Берта втянуть голову в плечи с поспешностью испуганной черепахи. Весь флот немедленно начал резкий подъем и без всяких злоключений прошел на высоте двенадцати тысяч футов над теперь уже безвредными орудиями. Воздушные корабли, не снижая скорости, построились журавлиным клином, вершиной в сторону города, с флагманом во главе. Левое крыло клина прошло над Пламфильдом, а правое — над бухтой Джамейка, и принц, взяв чуть восточнее Нарроус, пролетел над Верхней Бухтой и повис в воздухе над Джерси-Сити, господствуя над всей нижней

частью Нью-Йорка. В вечернем освещении эти огромные и удивительные чудовища висели в воздухе, не обращая никакого внимания ни на ракеты, ни на ослепительные разрывы снарядов далеко внизу.

Это был антракт, во время которого обе стороны могли спокойно рассматривать друг друга. На какой-то миг наивное человечество совершенно забыло про правила военной игры; и миллионы, находившиеся внизу, так же как и тысячи, находившиеся наверху, дали волю своему любопытству. Вечер был неожиданно хорош, только несколько легких облачных гряд на высоте семи или восьми тысяч футов нарушали его сияющую прозрачность. Ветер утих. Мир и покой царили повсюду. Тяжелые раскаты далеких орудий и безобидные упражнения в пиротехнике в заоблачной высоте имели, казалось, так же мало общего с убийством и насилием, с ужасом и позором поражения, как салют во время морского парада. Внизу все удобные для наблюдения места были усеяны зеваками. На крышах высоких зданий, на больших площадях, на паромах, на любом удобном перекрестке — всюду стояли толпы: все речные пристани были забиты народом. Парк Баттери был черен от рабочего люда, и на каждом удобном пункте в Центральном парке и вдоль Риверсайд-Драйв собиралась своя особая публика, стекавшаяся из прилегающих улиц. Тротуары на огромных мостах через Ист-Ривер тоже были плотно забиты. Лавочники покинули свои лавки, мужчины — работу, а женщины и дети—дома, и все высыпали на улицу, чтобы поглазеть на чудо.

— До этого и газеты не додумались,— заключили они.

А сверху с тем же любопытством смотрели команды воздушных кораблей. Ни один город в мире не мог сравниться с Нью-Йорком красотой местоположения, ни у одного города не было такой рамки из моря, утесов и реки, таких восхитительно устремленных ввысь домов, таких громадных мостов, такой сети монорельса и других чудес строительной техники. Лондон, Париж, Берлин рядом с ним показались бы бесформенными, придавленными к земле нагромождениями. Порт Нью-Йорка, подобно порту Венеции, вел прямо в его сердце, и, подобно Венеции, он был великолепен, романтичен и горд.

Сверху было видно, что по его улицам льется непрерывный поток поездов и автомобилей, и тысячи мерцающих огоньков уже загорались во всех его концах. Нью-Йорк в тот вечер был прекрасен, прекрасен, как никогда.

— Фу ты! Эх и местечко! — сказал Берт.

Он был так огромен, таким мирным величием веяло от него, что обрушиться на него войной казалось чем-то столь же нелепым, как начать осаду Национальной галереи или, нарядившись в кольчугу, с секирой в руке, напасть на почтенную публику в ресторане гостиницы. Взятый вместе, он был столь велик, столь сложен, столь грациозно огромен, что начать против него военные действия было все равно, что ударить ломом по часовому механизму. И столь же далекими от злобной, тупой ярости войны казались и рыбоподобные воздушные корабли, косяком повисшие в небе,— невесомые и залитые солнцем. Курт, Смоллуейз и не знаю еще сколько людей, находившиеся на воздушных кораблях, вдруг ясно почувствовали несовместимость всего этого. Но романтические бредни туманили сознание принца Карла Альберта: он был завоевателем, и перед ним лежал неприятельский город; чем больше город, тем величественнее победа. Несомненно, в тот вечер он пережил момент великого торжества и ощутил всю сладость власти, как ее еще не ощущал никто.

И вот наступил конец антракта. Переговоры по беспроволочному телеграфу ни к чему не привели; и тут флот и город вспомнили, что они враги.

— Смотрите! — закричали в толпе.— Смотрите!

— Что это они делают?

— Что?..

Вниз, сквозь сумерки, нырнули пять атакующих кораблей — один к военной верфи, расположенной на Ист-Ривер, один к ратуше, два к небоскребам Уолл-стрита и Бродвея, один к Бруклинскому мосту. Отделившись от своих собратьев, они быстро и плавно миновали опасную зону обстрела и оказались под защитой городских зданий. При виде этого все автомобили на улицах остановились, как по мановению волшебной палочки, и огни города, которые начали было загораться, снова потухли. Это муниципалитет вернулся к жизни, соединился по телефону с Федеральным командованием и принимал меры к

обороне. Муниципалитет требовал воздушные корабли: вопреки совету Вашингтона он отказывался сдаваться, и ратуша быстро становилась средоточием напряженной и лихорадочной деятельности. Повсюду полицейские начали поспешно разгонять толпы:

— Расходитесь по домам!

В толпе зашептали:

— Дело скверно.

Холодок предчувствия пробежал по городу, и жители, спешившие в непривычной темноте через Муниципальный парк и Юнион-сквер, видели неясные тени солдат и пушек. Их останавливали часовые и отсылали назад. За какие-нибудь полчаса Нью-Йорк перешел от безмятежного заката и простодушного восхищения к тревожным и грозным сумеркам.

Первые человеческие жертвы были результатом паники и давки на Бруклинском мосту, возникших при приближении воздушного корабля.

После того, как движение на улицах прекратилось, на Нью-Йорк сошла необычная тишина, зловещие залпы бесполезных орудий, расставленных на прилегающих холмах, стали доноситься все ясней и ясней. Наконец смолкли и они. Это вновь начались переговоры. Люди сидели в темноте и тщетно крутили ручки онемевших телефонов. Потом в настороженной тишине раздался оглушительный грохот — это рухнул Бруклинский мост. Затрещали винтовки у военной верфи, заухали взрывы бомб на Уолл-стрите и около ратуши. Нью-Йорк не знал, что предпринять, он ничего не понимал. Нью-Йорк напрягал глаза в темноте и прислушивался к этим дальним звукам, пока они, наконец, не смолкли так же неожиданно, как возникли.

— Что происходит? — тщетно вопрошали люди.

Непонятное затишье тянулось довольно долго, и ньюйоркцы, выглядывавшие из окон верхних этажей, вдруг увидели, что темные громады немецких воздушных кораблей проплывают медленно и бесшумно совсем рядом с ними. Затем вновь зажглись электрические огни и на улицах раздались крики продавцов вечерних газет.

Огромное и пестрое население покупало эти газеты и узнало, что произошло: был бой, и Нью-Йорк поднял белый флаг...

4

Теперь, оглядываясь назад, мы видим, что прискорбные события, последовавшие за сдачей Нью-Йорка, были совершенно неизбежны — их породили, с одной стороны, противоречия между современной техникой и социальными условиями, сложившимися в эту научную эпоху, и традициями примитивного романтического патриотизма — с другой. Сначала ньюйоркцы восприняли факт капитуляции со спокойствием людей, от которых не зависит тот или иной поворот событий, совершенно так же восприняли бы они непредвиденную остановку своего поезда или возведение какого-нибудь памятника в родном городе.

— Мы сдались. Вот как! Да неужели? — Приблизительно такова была их реакция на первые сообщения.

Снова, как и при появлении воздушного флота, они чувствовали себя скорее зрителями. Только постепенно до их сознания дошло, что значит слово «капитуляция», и в них пробудился патриотизм. Только поразмыслив хорошенько, они поняли, что это касается лично их.

— *Мы* сдались,— можно было услышать немного погодя.— В нашем лице побеждена Америка.— И тут в их душах начал разгораться гнев и стыд.

В газетах, вышедших около часа ночи, не было никаких подробностей относительно условий сдачи Нью-Йорка, не давалось в них никаких сведений и относительно короткой стычки, предшествовавшей капитуляции. Последующие выпуски восполнили этот пробел. В них был напечатан подробный отчет об обязательстве снабжать немецкие воздушные корабли провиантом, восполнить запасы взрывчатых веществ, затраченных в нью-йоркском бою и при разгроме Северо-Атлантического флота, уплатить колоссальную контрибуцию в размере сорока миллионов долларов и передать немцам весь флот, находившийся в Ист-Ривер. Появлялись также все более и более подробные описания того, как были разгромлены с воздуха ратуша и военные верфи, и постепенно ньюйоркцы поняли, что означали те короткие минуты оглушительных взрывов. Они читали о жертвах, разорванных на куски, о верных долгу солдатах, которые сражались в этой краткой битве без всякой надежды на успех, среди

неописуемого разрушения, о флагах, спущенных плачущими людьми. В этих странных ночных выпусках появились также первые короткие телеграммы из Европы, сообщавшие о гибели флота—того самого Северо-Атлантического флота, которым Нью-Йорк всегда так гордился, о котором так заботился. Медленно, час за часом просыпалось общественное сознание, и вот постепенно чувство оскорбленной гордости и недоумения захлестнуло всех. Америка стояла перед лицом катастрофы. С неизъяснимым гневом, пришедшим на смену недоумению, Нью-Йорк сделал открытие: он был побежденным городом, где полновластно распоряжается победитель.

Нужно было только, чтобы люди поняли это, и тотчас же возмущение и протест, как пламя, охватили всех. «Нет! — воскликнул Нью-Йорк, пробуждаясь на рассвете.— Нет, меня не покорили. Это сон, и ничего больше!» Американцы никогда не отличались терпением, и не успел заняться день, как весь город пылал гневом, заразившим все миллионы его жителей. Гнев этот еще не успел вылиться в определенную форму, не успел воплотиться в дела, а на воздушных кораблях уже ощутили, как вздымается его волна,— так, по поверью, чувствуют домашние животные и дикие звери приближающееся землетрясение. Газеты синдиката Найпа первые облекли общие чувства словами, нашли нужную формулу. «Мы не согласны,— только и сказали они.— Нас предали!» Люди подхватывали эти слова, они передавались из уст в уста; на каждом перекрестке под фонарями, потускневшими в свете зари, беспрепятственно говорили речи ораторы, призывавшие дух Америки восстать, заставлявшие каждого осознать, что позор родного города — это его позор. Берту, находившемуся на высоте пятьсот футов, казалось, что город, из которого сначала доносился только беспорядочный шум, гудит теперь, как пчелиный улей — разъяренный улей.

После того как немцы разрушили ратушу и центральный почтамт, на башне старого здания Парк Роу был выброшен белый флаг, и туда направился мэр О'Хаген, подгоняемый обезумевшими от страха домовладельцами богатейшей части Нью-Йорка, чтобы договориться с фон Винтерфельдтом о капитуляции. «Фатерланд», спустив секретаря вниз по веревочной лестнице, не стал наби-

рать высоту и медленно кружил над огромными — старыми и новыми — зданиями, которые теснились вокруг Муниципального парка; «Гельмгольц» же, который вел здесь бой, поднялся тысячи на две футов. Вот почему Берт мог с близкого расстояния наблюдать все, что происходило в центре города. Ратуша, здание суда, почтамт и многие дома в западной части Бродвея были сильно повреждены, причем первые три обратились просто в груду обуглившихся развалин. Что касается ратуши и здания суда, то тут человеческих жертв почти не было; однако под развалинами почтамта оказалась погребенной целая армия рабочих, среди которых было много женщин и девушек, и небольшой отряд добровольцев с белыми повязками, явившийся вслед за пожарными, вытаскивал трупы, а нередко и раненых — в большинстве случаев до неузнаваемости обгоревших — и переносил их в соседнее здание. Повсюду деловитые пожарные направляли играющие на солнце струи воды на тлеющие развалины; их шланги были протянуты через всю площадь, и длинные цепи полицейских сдерживали темные толпы людей, преимущественно с окраин, не допуская их в центр города.

С этой картиной разрушения резко контрастировали здания на соседней Парк Роу, где расположились редакции газет. Все они были ярко освещены, и работа там кипела. Они не опустели даже во время бомбардировки, и теперь и весь штат и машины бешено работали, печатая подробности — страшные, невероятные подробности событий этой ночи, которые требовали отмщения, пробуждали сопротивление, и все это — на виду у воздушных кораблей. Долгое время Берт никак не мог сообразить, что это за бездушные учреждения, которые даже в такую минуту не прекращают работы; потом он узнал стук печатных машин и произнес свое обычное «Фу ты».

Позади зданий, занятых редакциями газет, укрытая сводами старой нью-йоркской надземки (которую уже давным-давно приспособили под монорельс), еще одна полицейская цепь охраняла скопление карет «Скорой помощи», где доктора хлопотали вокруг убитых и раненых,— это были жертвы паники на Бруклинском мосту. С высоты птичьего полета Берту представлялось, что все это про-

исходит в огромном, неправильной формы колодце, зажатом между громадами высоких зданий. К северу тянулся похожий на глубокое ущелье Бродвей, на всем протяжении его вокруг возбужденных ораторов стояли толпы. Когда же он посмотрел прямо перед собой, его взору представились дымовые трубы, телеграфные вышки, крыши Нью-Йорка, и всюду—и на крышах, и на вышках, и на трубах — виднелись кучки людей, наблюдающих, спорящих... Людей не было только там, где бушевали пожары и били струи воды. И ни на одном флагштоке в городе не было флагов. Только над зданиями Парк Роу то бессильно с никало, то полоскалось на ветру и снова сникало одно-единственное белое полотнище. И над всей этой как из сна вырванной сценой, с ее зловещим заревом и черными тенями, с копошащимися людьми, вставал холодный, равнодушный рассвет.

Берт Смоллуейз видел все это в рамке открытого иллюминатора. За пределами темной осязаемой рамки лежал бледный, смутный мир. Всю ночь он цеплялся за эту раму, подпрыгивал и ежился при взрывах и наблюдал призрачные события. То он взлетал высоко, то опускался низко, то ему почти ничего не было слышно, то грохот, и крики, и вопли раздавались почти рядом. Он видел, как воздушные корабли стремительно пролетали почти над самыми затемненными, стонавшими улицами, как огромные дома, вспыхнув вдруг красным огнем, выступали из темноты и рассыпались под разрушительными ударами бомб, и впервые в жизни узнал, как быстро и нелепо начинается всепожирающий пожар. И все это казалось далеким, не имеющим к нему никакого отношения. «Фатерланд» не сбросил ни одной бомбы — он только следил за боем и командовал. Потом они наконец приблизились к земле, чтобы повиснуть над Муниципальным парком, и тут он понял с жуткой, леденящей душу ясностью, что все эти ярко освещенные черные громады не что иное, как охваченные огнем огромные деловые здания, и что мелькающие взад-вперед крошечные, едва различимые серо-белые тени уносят с поля смерти раненых и убитых. По мере того как становилось светлей, он понимал все более и более отчетливо, что означали неподвижные черные комочки...

Час за часом наблюдал он с тех пор, как из синего марева на горизонте встал Нью-Йорк. С наступлением дня он почувствовал невыносимое утомление.

Он устало посмотрел на зарумянившееся небо, отчаянно зевнул и, бормоча что-то под нос, потащился к диванчику и не столько лег, сколько рухнул на него и тут же заснул.

Таким через много часов его увидел Курт. Он крепко спал, неуклюже раскинувшись,— живое воплощение демократического сознания, столкнувшегося с проблемами слишком сложного века. Лицо его было бледно и равнодушно, рот разинут, и он храпел — храпел безобразно.

Курт посмотрел на него с легким омерзением. Потом пнул в щиколотку.

— Просыпайтесь! — сказал он в ответ на бессмысленный взгляд Смоллуейза.— И лягте поприличней.

Берт сел и потер глаза.

— Опять был бой? — спросил он.

— Нет,— сказал Курт и устало сел.— Gott! — воскликнул он тут же и потер лицо руками.— Холодную ванну бы сейчас! Я всю ночь выискивал случайные пулевые пробоины в воздушных камерах. Только сию минуту сменился.— Он зевнул.— Мне нужно поспать. Убирайтесь-ка отсюда, Смоллуейз. Сегодня я вас что-то плохо переношу. Очень уж вы безобразны и никчемны. Вы получили свой рацион? Нет! Ну так идите и получите и не возвращайтесь сюда. Побудьте на галерее.

5

И вот Берт, слегка освеженный кофе и сном, вернулся к своему прежнему занятию — невольному участию в войне в воздухе. Как приказал лейтенант, он спустился на маленькую галерею и встал у поручней, в дальнем ее конце, за спиной у дозорного, втянув голову в плечи и стараясь стать как можно незаметнее. С юго-востока подул довольно сильный ветер, вынуждая «Фатерланд» выгребать ему навстречу и сильно его раскачивая, пока корабль медленно бороздил небо над Манхаттаном. Вдали, на северо-западе, собирались тучи. Неторопливое постукивание пропеллера было сейчас куда более ощутимо, чем при полете на полной скорости, и ветер, пробегая по дну газовой камеры, поднимал на нем частую рябь с

шелестом, похожим на плеск волн о борт лодки, только послабее. Корабль висел над одним из зданий Парк Роу, временным помещением муниципалитета, и время от времени снижался, чтобы вступить в переговоры с мэром и с Вашингтоном. Но возбуждение, снедавшее принца, не позволяло ему долго оставаться на одном месте. Он то начинал кружить над Гудзоном и над Ист-Ривер, то взвивался ввысь, словно за тем, чтобы вглядеться в синие дали. Раз он загнал корабль так высоко и на такой скорости, что весь экипаж, не исключая его самого, заболел морской болезнью, и пришлось поспешно спускаться; боролся с тошнотой и головокружением и Берт.

Раскачивающаяся панорама внизу менялась в зависимости от высоты, на которой они находились. Если они спускались низко, то он различал окна, двери, вывески и световые рекламы и людей — все непривычно скошенное и укороченное,— наблюдал загадочное поведение горожан, собиравшихся в кучки на улицах и облепивших крыши. Потом, по мере того, как они поднимались все выше, подробности стирались, стороны улиц смыкались, горизонт расширялся, а люди утрачивали всякую значительность. С самой высокой точки все это выглядело, как вогнутая рельефная карта; Берт всюду видел темную, густозастроенную землю, изрезанную сверкающими полосками воды; Гудзон казался сверху серебряным копьем, а Нижняя бухта — щитом. Даже Берт, с его отнюдь не философским складом ума, заметил главное различие между городом внизу и воздушным флотом вверху—различие между дерзкой американской предприимчивостью и немецкой педантичностью и дисциплиной. Внизу он видел громадные прекрасные здания, которые при всем своем великолепии казались деревьями-исполинами джунглей, обреченными на вечную борьбу за жизнь; их живописность была хаотической живописностью диких горных ущелий, а клубы дыма и сумятица бушующих пожаров только усиливали это впечатление случайности и беспорядочности. В небе же реяли немецкие воздушные корабли, словно существа из совершенно иного, несравненно более организованного мира, все повернутые в одну сторону, совершенно одинаковые по форме и размерам, устремленные к одной цели, словно волчья стая, где каждый волк точно знает свое место.

Тут Берт сообразил, что над городом кружит едва ли треть флота. Остальные же корабли давно скрылись за пределами горизонта, повинуясь неведомым ему распоряжениям. Его разбирало любопытство, но спросить было не у кого. Позднее десять кораблей снова появились с востока, очевидно, навестив транспорты и пополнив запасы; они тащили за собой на буксире несколько «драхенфлигеров». К вечеру погода стала портиться; по небу быстро бежали тучи, сгущаясь прямо на глазах; ветер крепчал и к ночи перешел в шторм — он швырял воздушные корабли из стороны в сторону, и, чтобы удержаться на месте, они были вынуждены давать чуть ли не полный ход.

Весь день принц вел переговоры с Вашингтоном, в то время как его воздушные разведчики рыскали над Восточными штатами, высматривая воздухоплавательные парки. Отряд из двадцати кораблей, откомандированный еще накануне вечером, атаковал с воздуха Ниагару и овладел городом и электрической станцией.

Тем временем возмущение в городе-гиганте неудержимо росло и ширилось. Несмотря на пять огромных пожаров, охвативших уже целые кварталы и упорно распространявшихся все дальше и дальше, Нью-Йорк все еще не смирился со своим поражением.

Сперва эта ярость проявлялась в отдельных выкриках, в уличном красноречии и в газетных намеках; но утром над громадами зданий кое-где уже развевались американские флаги, и число их все росло. Вполне возможно, что во многих случаях вызов, который бросал врагу уже сложивший оружие город, порождался всего лишь американским своеволием. Однако нельзя отрицать и того, что чаще это был признак «народного гнева».

Немецкое уважение к рутине и традициям было глубоко оскорблено этими выходками. Граф Винтерфельд немедленно снесся с мэром и указал ему на это нарушение правил, после чего наблюдателям на пожарных каланчах были даны соответствующие указания. Скоро нью-йоркской полиции пришлось взяться за дело серьезно, и завязалась нелепая игра между негодующими патриотами, твердо решившими не спускать флагов, и раздраженными, задерганными полицейскими, которым было приказано эти флаги снимать.

В конце концов на одной из улиц, прилегающих к Колумбийскому университету, события приняли серьезный оборот. Капитан воздушного корабля, назначенного наблюдать за этим районом, снизился, по-видимому, затем, чтобы зацепить веревочной петлей и сорвать флаг, развевавшийся над Морган Холлом. Но в этот момент из верхних окон большого многоквартирного дома, стоявшего между университетом и Риверсайд-драйв, раздались винтовочные и револьверные выстрелы.

Большинство стрелков промахнулись, однако две или три пули все-таки пробили газовые отсеки, а одна даже раздробила руку находившемуся на передней площадке солдату. Часовой, стоявший на нижней галерее, немедленно открыл ответный огонь, а пулемет, помещенный на щите орла, дал очередь, после чего дальнейших выстрелов уже не последовало. Корабль поднялся и сигнализировал флагману и муниципалитету, на место происшествия были немедленно откомандированы отряды полиции и народной милиции, и инцидент был таким образом исчерпан.

Но сразу же за этим последовала отчаянная выходка компании молодых нью-йоркских кутил, которые в порыве безрассудного патриотизма проскочили незамеченными на нескольких автомобилях на Бикон Хилл и дружно принялись за сооружение импровизированного форта вокруг установленного там ранее дальнобойного орудия. Его расчет оставался на своих местах, но сразу же после капитуляции получил приказ прекратить огонь и теперь только бессильно возмущался — конечно, появление нежданных союзников обрадовало артиллеристов. По их словам, орудию не дали толком показать себя, и они горели желанием доказать свои слова делом. Под руководством новоприбывших они вырыли вокруг орудия траншею, насыпали бруствер и соорудили довольно ненадежное укрытие из кровельного железа.

Они уже заряжали свое орудие, когда их заметили с воздушного корабля «Прейссен», и снаряд, который они успели выпустить, прежде чем сброшенные с корабля бомбы разнесли их вместе с их импровизированным фортом в клочки, разорвался в центральном газовом отсеке корабля «Бинген», вывел его из строя и заставил опуститься на острове Статен. Потеря газа оказалась весь-

ма значительной, и корабль рухнул на деревья, накрыв их, как балдахином, своей опустевшей оболочкой. Пожар, однако, не вспыхнул, и экипаж поспешно занялся ремонтом. Немцы вели себя с уверенностью, граничившей с беспечностью. Большинство принялись чинить разрывы оболочки, а несколько человек пошли в сторону дороги в поисках газопровода и вскоре были схвачены враждебно настроенной толпой. Поблизости стояло несколько домов, обитатели которых очень скоро перешли от недружелюбного любопытства к враждебным действиям. В эту эпоху полицейский надзор за многочисленным и многоязыким населением острова Статен был весьма небрежен, и буквально в каждом жилище имелось огнестрельное оружие. Теперь оно было пущено в ход, и после двух-трех промахов один из занятых починкой солдат получил пулю в ногу. После этого немцы бросили чинить оболочку и, укрывшись за деревьями, стали отстреливаться.

На звук перестрелки немедленно явились «Прейссен» и «Киль» и с помощью нескольких ручных гранат быстро уничтожили все дома на милю вокруг. Было убито довольно много мирных американцев — мужчин, женщин и детей, нападавшие же отступили. Некоторое время под прикрытием двух кораблей починка шла спокойно. Но стоило им вернуться на свои посты, как вокруг поверженного «Бингена» снова завязалась перестрелка, продолжавшаяся весь день и к вечеру наконец вылившаяся в настоящее сражение.

Около восьми часов на «Бинген» напала вооруженная толпа и после отчаянной, беспорядочной схватки перебила всю его команду.

В обоих этих случаях трудное положение немцев объяснялось тем, что они не в состоянии были высадить с воздушных кораблей на землю достаточные силы; собственно говоря, они вообще не могли высадить никаких сил. Воздушные корабли совершенно не годились для переброски десантных отрядов, а их экипажа только-только хватало для того, чтобы маневрировать в воздухе и вести оттуда боевые действия. Они могли причинять неизмеримый ущерб; они могли в кратчайший срок добиться капитуляции от любого организованного правительства, но они не были в состоянии разоружать и тем

более оккупировать сдавшиеся территории. Они могли грозить возобновлением бомбардировок, чтобы заставить власти, распоряжающиеся на земле, выполнять их требования, и все. Несомненно, что при наличии хорошо налаженного и сохранившегося в целости государственного аппарата и дисциплинированного, единого народа этого было бы вполне достаточно для поддержания мира и спокойствия. Но в Америке все сложилось иначе. Во-первых, нью-йоркский муниципалитет не обладал ни большой властью, ни достаточными полицейскими силами, и, во-вторых, разрушение ратуши, почтамта и других центральных нервных узлов города безнадежно нарушило взаимодействие отдельных частей правительственного аппарата. Трамваи и поезда встали, телефонная связь разладилась и работала лишь по временам. Немцы нанесли удар по голове, и голова, оглушенная, подчинилась им, зато тело перестало ее слушаться. Нью-Йорк превратился в безголовое чудовище, которое разучилось повиноваться. Повсюду оно давало почувствовать свою ярость; повсюду местные власти и должностные лица, предоставленные самим себе, тоже брались за оружие и, поддавшись общему настроению, начинали вместе со всеми вывешивать флаги.

6

Шаткое перемирие пришло к концу после убийства—ибо иначе этого никак не назовешь—«Веттерхорна» над Юнион-сквером вблизи развалин ратуши — этого символического предупреждения всем непокорным. «Веттерхорн» погиб между пятью и шестью часами вечера. Погода уже сильно изменилась к худшему, и операции воздушных кораблей были затруднены тем, что им приходилось все время выгребать против ветра. С юга и юго-востока один за другим налетали шквалы с молниями и градом, и для того, чтобы избежать их, воздушным кораблям пришлось опуститься к самым крышам домов, сократив таким образом радиус своих наблюдений и подставляя себя под ружейный огонь.

Накануне вечером на Юнион-сквер была доставлена пушка. Ни установить ее, ни тем более стрелять из нее так и не успели, и ночью, после капитуляции, ее решили убрать с дороги и вместе с зарядными ящиками

поставили под аркой громадного здания. Здесь часов в одиннадцать утра ее и заметила группа патриотов. Они втащили ее в дом и установили на одном из верхних этажей. Опустив плотные шторы, они устроили замаскированную батарею в одной из контор и довольно долго сидели там в засаде, как дети, радуясь своей затее, пока наконец в поле их зрения не показался нос злосчастного «Веттерхорна» — его сильно трепало, и, с трудом преодолевая ветер, он медленно плыл над недавно сооруженными шпилями Тиффани. Немедленно состоявшая из одного орудия батарея размаскировалась. Дозорный воздушного корабля, возможно, успел увидеть, как вся передняя стена десятого этажа огромного здания зашаталась и рухнула вниз на мостовую, обнаружив черное жерло, выглянувшее вдруг из темноты. Затем, по всей вероятности, его задело снарядом.

Орудие успело выпустить два снаряда, прежде чем рухнуло все здание, и каждый из этих снарядов прошил «Веттерхорн» насквозь от носа до кормы, разнес его вдребезги. Он сплющился, как жестяная банка, под тяжелым сапогом. Его передняя часть отвалилась и упала прямо на площадь, весь же остальной корпус под треск ломающегося каркаса лег поперек Таммани Холл и улиц, ведущих ко Второй авеню. Газ смешался с окружающим воздухом, воздух же из прорванного воздушного баллона хлынул в опорожняющиеся газовые отсеки, и корабль с невероятным грохотом взорвался...

«Фатерланд» в это время боролся со штормом к югу от ратуши над развалинами Бруклинского моста, и орудийные выстрелы, за которыми последовал грохот рушащегося здания, заставили Курта и Смоллуейза кинуться к иллюминатору каюты. Они успели увидеть вспышку выстрела, и тут их прижала к окну взрывная волна, а затем они полетели кувырком через всю каюту. «Фатерланд» запрыгал, как футбольный мяч, и когда они снова выглянули в окно, то Юнион-сквер показался им маленьким, далеким и расплющенным, словно по нему прокатился какой-то сказочный великан. Здания к востоку от площади, усыпанные пылающими обломками воздушного корабля, горели уже во многих местах, а все стены и крыши были как-то нелепо перекошены и прямо на глазах разваливались.

— Фу-ты,— сказал Берт.— Что это случилось? Вы посмотрите, люди-то!

Но прежде чем Курт успел высказать какое-нибудь мнение, колокол пронзительно прозвонил сбор, и ему пришлось уйти. Берт, помешкав, в задумчивости вышел в коридор, все продолжая оглядываться на окно, и был немедленно сбит с ног принцем, который стремительно бежал к центральному бомбохранилищу.

Падая, Берт успел разглядеть огромную фигуру принца, его побелевшее, перекошенное от непомерного гнева лицо, поднятый кулак. «Blut und Eisen!» [1] — воскликнул принц, и Берт сразу понял, что он выругался.— «Oh, Blut und Eisen!»

Тут кто-то свалился поверх Берта — по тому, как он падал, Берт заключил, что это был фон Винтерфельд,— и кто-то еще, задержавшись на секунду, пнул его в бок рассчитанно и больно. Потом он сидел в коридоре, потирая свежий синяк на щеке и поправляя бинт, которым все еще была обвязана его голова.

— Чтоб ему, этому принцу,— сказал Берт, возмущенный выше всякой меры,— свинья он, а не принц!

Он встал, задержался на минуту, собираясь с мыслями, а затем пошел потихоньку к трапу, ведущему на маленькую галерею, но по дороге услышал шум и решил, что это возвращается принц. И действительно, вся компания шла назад. Он только успел юркнуть, как кролик в нору, к себе в каюту, счастливо избежав новой встречи с этим разъяренным громовержцем.

Берт притворил дверь, подождал, чтобы в коридоре стихло, и тогда подошел к окну и выглянул. Сквозь тучи улицы и площади виднелись смутно, и от качки казалось, что они мерно поднимаются и опускаются. Они были совсем пустынны, и лишь несколько человек металось среди этой пустоты. Вдруг улицы словно раздались вширь, прояснились, а маленькие крапинки-люди стали крупнее — это «Фатерланд» начал спускаться. Вскоре корабль уже плыл, покачиваясь, над нижней частью Бродвея. Крапинки внизу больше не бегали — они стояли и смотрели вверх. И вдруг они кинулись врассыпную.

---

[1] Кровь и железо *(немецкое ругательство)*.

Что-то упало с аэроплана, что-то крошечное и ничтожное. Оно шлепнулось на мостовую неподалеку от большой арки, прямо под Бертом. В нескольких ярдах оттуда по тротуару стремглав несся маленький человечек. Еще двое или трое и женщина бежали через дорогу, странные крошечные фигурки с малюсенькими головенками, отчаянно работающие локтями и ногами. Было забавно смотреть, как они семенят ножками. Приплюснутое человечество достоинством не отличается. Крохотный человечек на тротуаре сделал комичный пируэт — от страха, конечно,— когда бомба упала рядом с ним.

Затем ударили во все стороны ослепительные струи огня, и человек, который только что подскакивал в воздух, вспыхнул на миг ярким пламенем и исчез — исчез, будто его и не было. Люди, перебегавшие дорогу, делали какие-то неуклюжие скачки, потом упали и застыли в неподвижности; их изодранная тлеющая одежда постепенно разгоралась огнем. Затем от арки стали отваливаться куски, и нижний этаж провалился, громыхая, как ссыпаемый в подвал уголь. Отголоски отдельных воплей достигли ушей Берта, и затем толпа людей выбежала на улицу, и какой-то человек все припадал на одну ногу и нелепо жестикулировал. Потом он остановился и пошел назад, но тут на него обрушился водопад обломков, и он застыл жалким комочком там, куда его отбросило. Пыль и черный дым повалили на улицу, и скоро сквозь них начало пробиваться багровое пламя...

Так началось уничтожение Нью-Йорка. Он первым из крупнейших городов Научного века пострадал от чудовищной по силе и нелепейшей по ограниченности своих возможностей войны в воздухе. Он был разрушен дотла по той же причине, по какой в предшествующем столетии сметались артиллерийским огнем с лица земли бесчисленные азиатские и африканские города,— потому что он был одновременно и слишком могуч, чтобы его можно было покорить, и слишком необуздан и горд, чтобы сдаться и таким путем избежать разрушения. При создавшемся положении это было неминуемо. Принцу нельзя было остановиться и признать себя побежденным, а город нельзя было покорить, не разрушив его до основания. Катастрофа была логическим результатом приложения науки к войне. Большие города были заранее обре-

чены. Как ни бесило принца затруднительное положение, в которое он попал, он все же попытался, начиная бойню, проявить умеренность. Он хотел дать суровый урок, губя как можно меньше жизней и затрачивая как можно меньше бомб. На эту ночь он решил ограничиться разрушением только Бродвея. Он повел воздушную флотилию цепью, сбрасывая бомбы над всем протяжением этой магистрали. Вот так наш Берт Смоллуейз стал участником одного из самых хладнокровных массовых истреблений в истории человечества. Принимавшие в нем участие люди отнюдь не были возбуждены, и жизни их, кроме разве шальной пули, ничто не грозило, но они обрушивали смерть и гибель на жилища людей и на толпы внизу.

Воздушный корабль кидало из стороны в сторону, и Берт, вцепившись в раму иллюминатора, сквозь тонкую, подгоняемую ветром пелену дождя разглядывал объятые сумерками улицы внизу, смотрел, как люди выбегают из домов, как валятся здания и вспыхивают пожары. Продвигаясь вперед, воздушные корабли сокрушали город с той же легкостью, с какой ребенок рассыпает карточные домики и сложенные из кубиков города. Позади оставались руины и пылающие пожары, наваленные грудами и разбросанные мертвые тела. Мужчины, женщины и дети валялись вперемежку, как какие-нибудь арабы, или зулусы, или китайцы. Центральная часть Нью-Йорка вскоре превратилась в огромный костер, спасения из которого не было. Автомобили, поезда, паромы — все встало, и в этой сумрачной неразберихе ни одного путеводного огонька не встречали на своем пути обезумевшие беглецы, кроме огня пожаров. На миг Берт ясно представил себе, каково быть там, внизу, но только на миг. И вдруг он сделал невероятное, фантастическое открытие: ведь такие бедствия возможны не только сейчас, тут, в этом непонятном, гигантском чужом Нью-Йорке, но и в Лондоне и даже в Банхилле! Он понял, что маленькому острову среди серебристых волн недолго осталось радоваться своей недосягаемости, что в мире больше нет такого места, где какой-нибудь Смоллуейз мог бы, гордо подняв голову, проголосовать за войну и за твердую внешнюю политику и не испытать подобные ужасы на самом себе.

ГЛАВА VII

«ФАТЕРЛАНД» ВЫВЕДЕН ИЗ СТРОЯ

1

И тут над горящим Манхаттаном разыгрался бой, первый бой в воздухе. Американцы наконец поняли, во что может обойтись их выжидательная политика, и бросили на немецкий флот все имевшиеся у них воздушные силы в надежде отстоять Нью-Йорк от этого бешеного принца Железа и Крови, спасти его от пожаров и гибели.

Они обрушились на немцев в сумерки, прилетев на крыльях разыгравшейся бури, сквозь грозу и ливень. Они прилетели с авиационных верфей Вашингтона и Филадельфии на предельной скорости двумя отрядами, и если бы не дозорный воздушный корабль неподалеку от Трентона, то они захватили бы противника врасплох.

Усталые, пресытившиеся разрушением немцы, истратившие добрую половину своих боеприпасов, боролись с бурей, когда была получена весть о приближении врага. Нью-Йорк остался позади — к юго-востоку — затемненный город, пересеченный страшным багровым шрамом огня. Корабли швыряло и мотало; шквалы с градом то и дело сносили их вниз, и им снова приходилось пробиваться вверх. Воздух стал ледяным. Принц как раз хотел отдать приказ снижаться и выбрасывать медные цепи, служившие громоотводами, когда ему донесли о воздушном нападении. Он повернул свой флот к югу, выстроив корабли в одну линию, распорядился, чтобы авиаторы «драхенфлигеров» заняли свои места и были готовы встретить врага, и затем приказал подниматься в морозную заоблачную высь.

Берт не сразу сообразил, чем это чревато. Был час ужина, и он находился в солдатской столовой. На нем снова была шуба и перчатки Баттериджа, и, кроме того, он кутался в свое одеяло. Макая хлеб в суп, он запихивал в рот большие куски. Он стоял, широко расставив ноги и прислонившись к переборке, чтобы не потерять равновесия. Солдаты, стоявшие вокруг него, выглядели устало и подавленно; кое-кто разговаривал, но большинство угрюмо молчало, а двоим или троим стало плохо от

высоты и качки. Их всех, казалось, томило чувство странной отверженности, пришедшее после страшного кровопролития этого вечера,— чувство, что земля и возмущенное человечество отныне еще враждебней им, чем море.

И сообщение о приближении врага заставило их встрепенуться. Краснолицый широкоплечий солдат с белесыми ресницами и шрамом появился в дверях и что-то прокричал по-немецки, всполошив остальных. Берт почувствовал, как резко изменилось настроение окружающих, хотя не понял ни слова. Последовала пауза, а потом градом посыпались вопросы и предположения. Даже те, кому было плохо, встрепенулись и вступили в разговор. На несколько минут столовая превратилась в настоящий бедлам, а потом, подтверждая сказанное, пронзительно зазвонили колокола, рассылая солдат по местам.

Неожиданно, как в пантомиме, Берт оказался один.

— Что ж еще случилось? — сказал он, хотя отчасти уже догадался.

Он задержался ровно настолько, чтобы проглотить остатки супа, и бросился бежать по качающемуся проходу, а потом, крепко цепляясь за поручни, вниз по трапу на галерею. Тут его обдало холодным ветром, будто ледяной водой из шланга. Корабль в это время принимал и отражал удары бури, как воздушный боксер. Берт плотнее закутался в одеяло, не отрывая одной руки от поручней. Он несся куда-то сквозь мокрый сумрак, еле удерживаясь на ногах, ничего не различая в льющемся по сторонам тумане. У него над головой тепло светились огни воздушного корабля и слышался топот солдат, разбегавшихся по своим постам. И вдруг огни погасли, и «Фатерланд», как-то странно подскакивая, вздрагивая и бросаясь из стороны в сторону, пошел вверх.

Когда «Фатерланд» сильно накренился, Берт на какой-то миг увидел высокие здания, горевшие внизу совсем недалеко под ними,— огромный трепещущий тюльпан из пламени, а в следующий миг он различил сквозь пелену проливного дождя неясные очертания еще одного воздушного корабля, который переваливался с боку на бок, как дельфин, и тоже упорно старался подняться выше. Облака на время скрыли его, но немного погодя он

снова вынырнул среди дождевых туч, темный, похожий на кита, чудовищный. Ветер доносил звуки ударов, свист, глухие, отрывистые возгласы, еще какие-то шумы; ветер сбивал с ног и путал мысли; мозг то и дело цепенел, и Берт только судорожно цеплялся за поручни, стараясь сохранить равновесие, ничего не видя и ничего не слыша.

— Ух!

Что-то, вырвавшись из необъятной тьмы наверху, пролетело мимо него и, камнем падая вниз, затерялось в общей неразберихе. Это был немецкий «драхенфлигер». Он промелькнул с такой быстротой, что Берт только на один миг различил темную съежившуюся фигуру авиатора, припавшего к рулю. Может, это был маневр, но, скорее это была катастрофа.

— Фу ты! — сказал Берт.

«Ба-бах!» — загремело орудие где-то в кромешной тьме впереди, и вдруг «Фатерланд» грозно накренился, и Берт с часовым повисли на поручнях над бездной. «Бах!» — словно раскололось небо. Корабль снова страшно качнуло, и сразу же багрово и зловеще вспыхнули взъерошенные тучи, отражая скрытые от глаз вспышки, и стали видны зияющие пропасти вокруг. Поручни оказались над Бертом, и он повис в пустоте.

Некоторое время все силы Берта, духовные и физические, были сосредоточены на одном: не разжать рук.

— Пойду-ка я в каюту,— сказал он, когда воздушный корабль выровнялся и пол галереи снова оказался у него под ногами, и он начал осторожно пробираться к трапу.

— Ой-ей-ей-ей-ей! — взвыл он, потому что галерея вдруг взвилась на дыбы, как взбесившаяся лошадь, и потом рванулась вниз.

«Трах! Бах! Бах! Бах!» Сразу же вслед за треском выстрелов и грохотом бомб прекрасная и грозная, окутавшая его белым, неровным пламенем, в котором потонуло все остальное, вспыхнула молния, и тут грянул страшный гром, подобный взрыву целой вселенной.

На один короткий миг, предшествовавший громовому удару, мир словно замер в яростном сверкании, в котором не было места тени.

В этот-то миг Берт и увидел американский аэроплан. В ослепительной вспышке он казался совершенно неподвижным. Даже пропеллер его будто застыл на месте, и команда казалась неподвижными куклами (аэроплан находился так близко, что людей Берт видел вполне отчетливо). Корма у него наклонилась, и корабль почти стоял дыбом. Это была машина типа «Кольт-Кобурн-Лангли», с двойными скошенными кверху крыльями и пропеллером впереди; команда находилась в корпусе, напоминавшем формой лодку и прихваченном сеткой. Из этого длинного, очень легкого корпуса с обоих концов торчали стволы магазинных винтовок. И особенно удивило и потрясло Берта в этот миг то обстоятельство, что левое верхнее крыло горело красноватым дымным огнем, пламенем вниз. Хотя и это было еще не самым поразительным в этом странном видении. Самым поразительным было то, что оно и какой-то немецкий воздушный корабль, находившийся ярдов на пятьсот ниже, были словно нанизаны на змейку молнии, изменившей ради них свой путь, и со всех уголков и выступов его огромных крыльев, повсюду кустиками терновника вставали зигзаги молнии.

Все это Берт увидел как на картине, на картине, слегка смазанной обрывками тумана.

Гром ударил почти одновременно со вспышкой молнии и словно слился с ней, так что трудно сказать, был ли Берт в этот момент больше оглушен или ослеплен.

А затем темнота, темнота абсолютная, и грохот пушечного выстрела, и приглушенные жалобные крики, замирающие где-то внизу, в бездонной пропасти.

2

После этого началась жестокая качка, и Берт, прилагая неимоверные усилия, попробовал пробраться внутрь корабля. Он промок до нитки, замерз и изнемог от страха, а кроме того, его не на шутку тошнило. Ему казалось, что руки и ноги у него стали ватные, а башмаки превратились в ледышки и отчаянно скользят по металлическому полу. На самом же деле это галерея покрылась тонкой коркой льда.

Для него так навсегда и осталось тайной, сколько времени поднимался он по трапу обратно на воздушный корабль; однако впоследствии, в снах, это тянулось часами. Внизу, сверху, кругом, со всех сторон разверзались черные провалы, где выл ветер и кружили темные снежные хлопья, а он был защищен от них всего лишь низенькой металлической решеткой да поручнем — решеткой и поручнем, который, словно взбесившись, изо всех сил старался вырваться у него из рук и скинуть его в мятущееся пространство.

Раз ему почудилось, что над ухом у него просвистела пуля и что тучи и снежные хлопья осветились вдруг короткой вспышкой, но он даже головы не повернул, чтобы посмотреть, какой новый враг пронесся мимо них в пустоте. Он хотел вернуться внутрь корабля. Он хотел вернуться! Выдержит ли рука, которой он цепляется, или ослабнет и сорвется? Горсть градин ударила ему в лицо так, что у него дух захватило, и он чуть не потерял сознание. Держись, Берт! Он стал карабкаться дальше.

Наконец, чувствуя неизъяснимое блаженство, всем своим существом ощущая тепло, Берт оказался в коридоре. Однако коридор повел себя, как стаканчик для игры в кости,— он явно собирался встряхнуть Берта как следует и потом выбросить вон. Берт инстинктивно, что было силы, вцепился во что-то, дожидаясь, чтобы пол наклонился вперед. Тогда он сделает перебежку к своей каюте и успеет ухватиться за дверь, прежде чем корма снова встанет на дыбы.

И вот он в каюте!

Берт захлопнул дверь и на некоторое время из человека превратился в тяжелый случай заболевания морской болезнью. Ему хотелось залезть куда-нибудь, где бы его не мотало, где бы можно было не цепляться. Он откинул сиденье диванчика, залез внутрь и беспомощно растянулся среди набросанных вещей, стукаясь время от времени головой то об одну стенку, то об другую. Сиденье захлопнулось. Теперь он мог не заботиться о том, что творилось вокруг. Какое ему дело, кто с кем воюет, кто стреляет, чьи снаряды рвутся? Пусть его сейчас убьет пулей или разорвет на части, ему все равно!



«ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»



«ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»

Его душили бессильная ярость и отчаяние. «Дурь одна!» — произнес он, вложив в эти два слова все свое отношение к человеческим дерзаниям, к жажде приключений, к войне и цепи непредвиденных обстоятельств, опутавших его. «Дурь одна! Тьфу!» — Эта всеобъемлющая инвектива включала и все мироздание. «Умереть бы и то лучше».

Берт не увидел ни звездного неба, когда «Фатерланд» наконец вырвался из объятий бури, царившей ниже, ни боя, который он вел один против двух круживших вокруг него аэропланов, ни того, как они прострелили его кормовые отсеки и как он отбился от них разрывными пулями и тут же сам обратился в бегство.

Стремительная атака этих удивительных ночных птиц осталась неизвестной Берту, он не видел, как, жертвуя собой, они рвались к «Фатерланду». Немецкий флагман был протаранен, и несколько секунд казалось, что ему пришел конец. Он начал быстро падать; на его погнутом пропеллере повис американский аэроплан, и авиаторы пытались перебраться на борт вражеского корабля. Берт даже не подозревал об этих событиях, он воспринял их только как усиление качки. Дурь одна! Когда американский воздушный мститель наконец отцепился после того, как большая часть его экипажа была перебита или свалилась за борт, Берт в своем ящике заметил только, что «Фатерланд» вдруг отвратительно дернулся и рванулся вверх.

Однако вслед за этим пришло чудесное облегчение, невообразимое, блаженное облегчение. Качка бортовая и килевая, всякое сопротивление ветру — все это кончилось, прекратилось раз и навсегда. «Фатерланд» больше не выгребал против бури; его искалеченные и взорванные машины больше не стучали; он потерял управление, и ветер уносил его плавно, как воздушный шар, — огромные разметанные ветром лохмотья — останки воздушного крушения.

Для Берта все это означало лишь конец целого ряда неприятных ощущений. Его нисколько не интересовало ни состояние корабля, ни исход боя. Долгое время он лежал в страхе, ожидая, что вот-вот качка возвратится, а с ней тошнота, и, лежа так внутри диванчика, наконец уснул.

3

Пробуждение его было бы вполне безмятежным, если бы не духота и не холод; к тому же он никак не мог сообразить, где он. Голова у него болела, дышать было трудно. В сумбурном сне мешались Эдна и «дервиши пустыни», и весьма рискованное путешествие на велосипеде по воздуху среди ракет и бенгальских огней — к великому неудовольствию какой-то собирательной личности — помеси принца с мистером Баттериджем. Потом, неизвестно почему, они с Эдной начали оплакивать друг друга. И тут он проснулся с мокрыми ресницами, чтобы снова оказаться в темном, душном ящике. Никогда он больше не увидит Эдну, никогда не увидит он Эдну!

Он решил, что лежит у себя в комнатке позади велосипедной мастерской в Бан-хилле и был в полной уверенности, что привидевшееся ему разрушение великолепного города, разбитого бомбами, невообразимо прекрасного и огромного города, было всего лишь необычайно ясным сновидением.

— Грабб! — позвал он, сгорая от нетерпения рассказать приятелю этот сон.

Последовавшее глухое безмолвие, звук его голоса, захлебнувшийся в стенках ящика, а главное, тяжелый, удушливый воздух навели его на новую мысль. Он вскинул руки и ноги, и они уперлись во что-то твердое. Значит, он лежит в гробу! Его похоронили заживо! Он потерял голову от страха.

— Помогите! — завопил он.— Помогите! — И заколотил ногами, забрыкался, забарахтался.— Выпустите! Выпустите меня!

Несколько секунд он барахтался, охваченный паникой, затем стенка его воображаемого гроба подалась, и он вывалился на божий свет. В следующий момент он покатился по обитому чем-то мягким полу — так, по крайней мере, ему показалось — в обнимку с Куртом, который молотил его кулаками и отчаянно ругал.

Он сел. Бинт на голове ослабел и сполз на один глаз, и Берт с досадой сорвал его. Курт сидел в двух футах от него — как всегда розовый, укутанный в пледы, с алюминиевым водолазным шлемом на колене — и строго смотрел на него, потирая заросший пушком

подбородок. Оба они сидели на наклонном полу с темно-красной обивкой, а над ними виднелось отверстие, похожее на узкий длинный лаз в погреб. Берт с трудом сообразил, что это переместившаяся дверь их каюты. Каюта лежала на боку.

— Это что еще за шутки, Смоллуейз? — сказал Курт.— Почему вы выпрыгиваете из ящика, когда я был уверен, что вы давно уже вылетели за борт со всеми остальными? Где вы были?

— Мы, что, летим?

— Преимущественно вверх тормашками. Зато не вниз, как другие.

— Был бой, что ли?

— Был.

— Ну и кто кого?

— Я еще не видел газет, Смоллуейз. Мы удалились, не дожидаясь конца. Нас подбили, и мы потеряли управление, а нашим коллегам, то бишь кораблям, которые должны были нас прикрывать, было не до нас, и ветром нас понесло... Черт его знает, куда ветер несет нас сейчас... Он умчал нас с поля брани со скоростью восьмидесяти миль в час или что-то около этого. Gott! Ну и ураган! Ну и бой! И вот мы здесь.

— Где?

— В воздухе, Смоллуейз. В воздухе! И, пожалуй, когда мы вновь попадем на землю, окажется, что мы разучились ходить.

— А что под нами?

— Канада, насколько я понимаю,— весьма унылая, пустынная и неприветливая страна, если судить по виду.

— А чего ж мы выше не подымемся?

Курт промолчал.

— Последней я видел какую-то летательную машину, а тут молния полыхнула, и мне память как отшибло,— продолжал Берт.— Вот страху-то было! Пушки палят! Все кругом рвется! Тучи! Град! Во все стороны мотает. И натерпелся же я страху. Ну, думаю, конец; а тут еще полоскать меня начало... А все-таки чем бой-то кончился?

— Понятия не имею. Я и мои люди в водолазных костюмах сидели внутри газовых отсеков с шелковыми

полосками, чтобы заклеивать пробоины. Нам ничего не было видно, кроме вспышек молнии. Я не видел ни одного американского аэроплана. Только вдруг пули начали дырявить отсеки, и я посылал солдат чинить прорехи. Один раз мы было загорелись, правда, не очень сильно. Мы были насквозь мокрые, так что огонь сам погас, а то бы нам несдобровать. А потом одна из их проклятых машин свалилась прямо на нас и протаранила. Это-то вы почувствовали?

— Я все чувствовал,— сказал Берт.— Но какого-нибудь особенно сильного удара я не заметил.

— Это они с отчаяния, если, конечно, все произошло не случайно. Как ножом нас вспороли; взрезали задний газовый отсек, будто селедку выпотрошили; разбили машины и пропеллер. Когда американцы наконец отцепились, часть машин полетела с ними за борт, а то бы мы хлопнулись на землю; но одна-две еще кое-как болтаются. В результате мы лишь задрали нос к небу да так и остались. Одиннадцать человек слетело за борт, да еще бедняга Винтерфельд провалился сквозь дверь из каюты принца прямо в рубку и сломал ногу. Кроме того, электрическую установку не то сбило, не то снесло — никто толком не знает. Таково положение, Смоллуейз. Сейчас мы движемся по воздуху, как обыкновенный аэростат, по воле стихии, почти прямо на север, может быть, на Северный полюс. Мы не знаем, какими аэропланами располагают американцы, да вообще ничего про это не знаем. Вполне возможно, что мы их все уничтожили. Один столкнулся с нами, в один ударила молния, а третий, по словам солдат, взял и перевернулся, по-видимому, для собственного удовольствия. Ну, да это их дело. Зато мы потеряли почти всех своих «драхенфлигеров» — исчезли во тьме, и дело с концом. Неустойчивые аппараты, ничего не скажешь! Вот и все. Мы не знаем, выиграли ли мы бой или проиграли. Мы не знаем, воюем мы с Британской империей или еще нет. Следовательно, мы не смеем спуститься на землю. Мы не знаем, что нас ждет и что нам следует делать. Наш Наполеон пребывает в одиночестве и, я полагаю, перестраивает свои планы. Был ли Нью-Йорк нашей Москвой — покажет будущее. Развлеклись мы на славу и перебили уйму народа. Война! Благородная война! Я сыт

ею по горло. Я люблю сидеть в комнате, как подобает, а не на каких-то покатых перегородках. Я человек цивилизованный. Я все время думаю об Альбрехте и о «Барбароссе»... Как мне не хватает хорошей ванны, ласковых слов и тихого семейного уюта! Глядя на вас, я убеждаюсь, что мне необходимо умыться.

— Gott! — Он подавил отчаянный зевок.— Ну и вид же у вас: хулиган — гроза лондонских окраин.

— А еда-то осталась? — спросил Берт.

— Бог его знает,— сказал Курт.

Некоторое время он задумчиво рассматривал Берта.

— Насколько я могу судить, Смоллуейз,— сказал он,— принц, вероятно, пожелает выкинуть вас за борт, как только он о вас вспомнит. Непременно выкинет, если вы попадетесь ему на глаза... В конце концов не забывайте: вы ведь летели «als Ballast». А нам придется как следует облегчить корабль и притом довольно скоро. Если только я не ошибаюсь, принц вот-вот придет в себя и с неуемной энергией возьмется за дело. А вы мне почему-то симпатичны. Английская кровь, по-видимому, заговорила. Вы забавный человечек, и мне будет неприятно видеть, как вы полетите вниз... Так что беритесь-ка лучше поскорее за работу, Смоллуейз. Пожалуй, я мобилизую вас в свой отряд. Вам придется забыть про лень и стать проворным и очень-очень умным. И придется немного повисеть в воздухе вниз головой. Все же это из всех зол меньшее. У меня есть подозрение, что скоро у нас на борту пассажиров не останется. Балласт пойдет за борт, если мы не захотим опуститься на землю в самом ближайшем будущем и попасть в плен. Этого принц, во всяком случае, не допустит. Он до последнего вздоха не склонит головы.

4

Воспользовавшись складным стулом, который все еще находился на своем месте за дверью, они добрались до окна и стали смотреть в него по очереди вниз, на поросшую жиденьким лесом местность, не пересеченную ни шоссейными, ни железными дорогами и почти без признаков жилья. Потом раздался звук горна, и Курт истолковал это как сигнал к обеду. Они вылезли за дверь и ста-

ли карабкаться по почти отвесному коридору, отчаянно цепляясь руками и ногами за вентиляционные отверстия, проделанные в полу. Повара обнаружили, что самосогревающиеся плитки целы, и приготовили горячее какао офицерам и суп солдатам.

Берту все происходящее казалось настолько нереальным, что он забыл всякий страх. Любопытство превозмогло опасение. Очевидно, прошедшей ночью он уже испил до дна чашу страха и одиночества. Он начинал привыкать к мысли, что его, вероятно, вот-вот убьют, что это странное путешествие по воздуху должно завершиться его смертью. Нет человека, который был бы способен бояться до бесконечности: страх в конце концов уходит в дальние закоулки души, пережитый, спрятанный и забытый. Он сидел на корточках над тарелкой супа, макая в него хлеб, и рассматривал своих товарищей. Все они были изрядно желты и грязны и обросли четырехдневной щетиной; расселись они как попало, усталые и равнодушные, как люди, потерпевшие кораблекрушение. Разговаривали мало. Они были настолько растеряны, что не находили, о чем говорить. Трое расшиблись во время качки, а один получил пулевое ранение и сидел весь забинтованный. Трудно было поверить, что эта маленькая кучка людей была повинна в убийствах и массовом истреблении себе подобных в масштабах, доселе невиданных. Сейчас, когда они сидели вот так, примостившись на корточках, на покатой переборке с мисками супа в руках, казалось, что никто из них не может быть причастен к чему-либо подобному, казалось, что ни один из них не способен обидеть зря даже собаку. Все они совершенно очевидно были созданы для уютных сельских домиков, стоящих на твердой земле, для заботливо возделанных полей, для белокурых подруг жизни, для бесхитростного веселья. Краснолицый, широкоплечий солдат с белесыми ресницами, который первый принес в солдатскую столовую весть о начавшемся воздушном бое, доел свой суп и теперь с материнской нежностью перебинтовывал совсем еще желторотому пареньку вывихнутую руку.

Берт крошил остатки хлеба в остатки супа, стараясь растянуть удовольствие, как вдруг он заметил, что все остальные уставились на пару ног, болтавшихся в прое-

ме перевернутой двери. Вслед за ногами появился Курт и примостился на корточках на дверной раме. Неведомо как он умудрился побриться и пригладить свои золотистые волосы и был очень похож на херувима.

— Der Prinz,— объявил он.

Появилась новая пара сапог. Сапоги делали широкие, царственные движения, стараясь нащупать дверную раму, пока Курт не помог им найти точку опоры, и тогда принц, выбритый и причесанный, нафабренный и умытый, огромный и страшный, предстал перед ними собственной персоной и уселся верхом на раму. Все солдаты, и Берт с ними, поднялись и отдали честь.

Принц, приосанившись, как кавалерист на коне, обвел их взглядом. Сбоку выглянула голова капитана.

И тут Берт пережил страшную минуту. Голубые глаза принца опалили его, и в него ткнул августейший палец. Последовал какой-то вопрос. Курт поспешил что-то объяснить. «So»,— сказал принц, и после этого о Берте больше не вспоминали.

Затем принц обратился к солдатам. Он обратился к ним с несколькими короткими героическими афоризмами, одной рукой держась за раму, а другой выразительно жестикулируя. Что он говорил, Берт не понял, но он заметил, что мало-помалу настроение солдат изменилось, их спины выпрямились. Речь принца не раз прерывалась возгласами одобрения. Под конец их вождь затянул песню, и солдаты дружно подхватили «Ein feste Burg ist unser Gott!» [1] — с огромным воодушевлением выводили их басистые голоса. Это звучало более чем неуместно на поврежденном, перевернутом на бок и беспомощно снижающемся воздушном корабле, который был выведен из строя и ветром вынесен из боя, после того как осуществил жесточайшую в истории человечества бомбардировку, но тем не менее впечатление было весьма внушительное. Берт был тронут до глубины души. Правда, он не знал слов этого замечательного лютеровского песнопения, но, несмотря на это, раскрывал рот и издавал громкие низкие звуки, причем не всегда фальшивил...

---

[1] «Бог наш оплот» (*нем.*).

Это дружное пение донеслось до стоянки лесорубов — обращенных в христианство метисов. Лесорубы как раз завтракали, но они с радостью высыпали из своих шалашей в чаянии Второго пришествия и в немом изумлении созерцали разбитый, перекореженный, гонимый ветром «Фатерланд». Во многих отношениях он вполне соответствовал их представлению о Втором пришествии, но во многих других отношениях не соответствовал. Они провожали его глазами, сбитые с толку и онемевшие от страха. Песнопение оборвалось. Потом, после долгой паузы, с неба донесся голос:

— Как это место себя насыфайт, как?

Они не ответили. Да они и не поняли, хотя вопрос был повторен.

Наконец чудовище скрылось за вершинами высоких елей на севере, и начался жаркий, бесконечный спор.

Песнопение кончилось. Ноги принца, поболтавшись в проеме двери, снова исчезли, и все приготовились к героическим усилиям и славным делам.

— Смоллуейз, — крикнул Курт, — подите сюда!

5

И вот Берт под руководством Курта впервые испытал, что значит быть воздушным матросом.

Непосредственная задача, стоявшая перед капитаном «Фатерланда», была очень проста: нужно было продолжать держаться в воздухе. Хотя ветер и утратил прежнюю ярость, он был все же достаточно силен, чтобы сделать посадку столь неуклюжей громадины крайне опасной, даже если бы принц и был склонен снизиться в обитаемой местности с риском быть взятым в плен. Необходимо было продержаться в воздухе, пока ветер не спадет, и тогда попытаться сесть в каком-нибудь пустынном районе Аляски, где можно было бы произвести необходимую починку или дождаться, чтобы какой-нибудь воздушный корабль из их отряда пришел к ним на выручку. Для этого нужно было облегчить корабль, и Курт получил приказ взять десяток солдат и спуститься вниз, туда, где находились исковерканные, расплющенные воздушные отсеки, и срезать их, секция за секцией, по мере того, как «Фатерланд» будет терять высоту. Не успел

Берт оглянуться, как уже оказалось, что он, вооружившись острым тесаком, ползает взад-вперед по сетке на высоте четырех тысяч футов над землей, изо всех сил стараясь понять Курта, когда тот говорил по-английски, и призывая на помощь всю свою догадливость, когда тот переходил на немецкий.

От такой работы голова, конечно, кружилась, но не так уж сильно, как может показаться изнеженному читателю, сидящему в теплой комнате. Берт без всякого страха посматривал вниз на расстилавшийся там субарктический ландшафт, теперь уже окончательно лишенный каких бы то ни было признаков жилья,— на край скалистых гор и водопадов, широких, бурных, угрюмых рек и лесов, становившихся чем дальше все более чахлыми и низкорослыми. Там и сям на склонах холмов и в седловинах белели пятна снега. А он спокойно работал в вышине, откромсывая куски прочного, скользкого, промасленного шелка, уверенно держась за сетку. Скоро они отодрали и сбросили на землю клубок погнутых стальных прутьев и проволоки от каркаса и большое полотнище шелковой оболочки. Это оказалось самым неприятным. Избавившись от ненужного груза, воздушный корабль сразу же взлетел. Можно было подумать, что они скинули за борт всю Канаду. Срезанное полотнище плавно развернулось во всю ширину, медленно опустилось и, зацепившись за скалу, обмоталось вокруг нее. Берт, как замерзшая мартышка, приник к веревочной сетке и минут пять не мог шевельнуть ни одним мускулом.

Но было в этой опасной работе что-то бодрящее, а главное — с ней исчезла его обособленность. Теперь он уже не был недоверчивым чужаком; теперь у него была общая со всеми цель, он работал, дружески соревнуясь с остальными в скорости и ловкости. И еще в нем проснулось до сих пор дремавшее под спудом чувство глубокого уважения и привязанности к Курту. Курт, когда он руководил работой, был безупречен: находчивый, внимательный, быстрый и всегда готовый помочь. Он был вездесущ. Его розовые щечки, беспечная шутливость невольно забывались. Если у кого-нибудь что-то не ладилось, он был тут как тут, с разумным и надежным советом.

Он держался со своими подчиненными, как старший брат.

В конце концов они очистили три секции, и Берт был рад забраться обратно в каюту, уступив место следующему взводу. Он и его товарищи получили горячий кофе — ведь все замерзли, хотя и работали в перчатках. Они сидели, попивая кофе, и довольно поглядывали друг на друга. Один солдат дружелюбно заговорил с Бертом по-немецки, и Берт улыбнулся и закивал. С помощью Курта Берт, чуть не отморозивший щиколотки, раздобыл у одного из раненых пару резиновых сапог.

Во второй половине дня ветер утих и в воздухе закружились редкие снежинки. Внизу теперь тоже было гораздо больше снега; деревья почти исчезли, и только сосновые да еловые перелески еще виднелись в низинах. Курт с тремя солдатами забрался в уцелевшие газовые отсеки, выпустил некоторое количество газа и подготовил разрывные полотнища, так что корабль можно было теперь посадить в любую минуту. Кроме того, остатки бомб и взрывчатых веществ были выброшены за борт, и лежащая внизу пустыня гулким эхом отозвалась на взрывы. И вот часа в четыре газовые отсеки «Фатерланда» были вспороты, и он сел на широкой каменистой равнине вблизи от покрытых снегом утесов.

Это была очень трудная и опасная задача, так как «Фатерланд» не имел приспособлений, обычных для воздушного шара. Капитан вспорол первый отсек слишком рано, а с остальными, наоборот, запоздал. Корабль рухнул вниз, неуклюже подскочил, так что висячая галерея вдавилась в носовую каюту,—при этом был смертельно ранен фон Винтерфельд,—и, протащившись несколько секунд по земле, застыл бесформенной грудой. Передний щит с укрепленным на нем пулеметом сорвался вниз. Два солдата сильно пострадали: одному перебило ногу, другой получил внутренние повреждения, а Берта прижало бортом. Когда он наконец высвободился и мог осмотреться, оказалось, что огромный черный орел, столь торжественно вылетевший из Франконии шесть дней тому назад, лежит теперь обвисший, как мокрая тряпка, покрывая собой каюты воздушного корабля и заиндевелые скалы вокруг, и выглядит весьма плачевно, как будто кто-то изловил его, свернул ему шею и отшвырнул в сторону.

Несколько членов экипажа стояли в глубоком молчании, созерцая обломки корабля и голую унылую пустыню, в которую их занесло. Другие хлопотали в импровизированной палатке, сооруженной из пустых газовых отсеков. Принц отошел в сторону и разглядывал в бинокль дальние холмы. Формой своей они напоминали выветренные морские утесы. Тут и там торчали купы хвойных деревьев, и в двух местах с большой высоты низвергались водопады. Земля вокруг была усеяна обледеневшими валунами, между которыми виднелась чахлая, льнущая к земле трава и цветы без стебля. Нигде не было видно рек, но воздух был наполнен бормотанием стремительного потока, находящегося где-то поблизости. Дул холодный, пронизывающий ветер. Все чаще в воздухе проплывали снежинки. Твердая, промерзшая земля под ногами показалась Берту после пружинистого, качающегося пола «Фатерланда» странно неподвижной и жесткой.

6

Вот как случилось, что знатный и могущественный принц Карл Альберт оказался на время в стороне от грандиозного столкновения, первый толчок к которому дал он сам. Превратности боя и ненастная погода, словно сговорившись, забросили его на Лабрадор, где он и просидел вне себя от ярости шесть долгих дней, в то время как война захлестнула потрясенный мир. Нация восставала на нацию, и воздушный флот схватывался с флотом противника, города пылали, и миллионы людей гибли, но здесь, на Лабрадоре, можно было подумать, что в мире царит покой, не нарушаемый ничем, кроме легкого постукивания молотка.

Здесь они расположились лагерем; издали каюты, покрытые сверху куском шелковой оболочки, напоминали цыганский шатер неправдоподобной величины, и все, кто мог работать, трудились над постройкой из обломков каркаса стальной мачты, на которой электрики «Фатерланда» могли бы укрепить усы беспроволочного телеграфа, вновь связав принца с внешним миром. Временами казалось, что им никогда не соорудить этой мачты. С самого начала они терпели лишения. Запасы провизии были невелики, и рационы были ограничены; к тому же, несмотря на теплую одежду, они были плохо

защищены от пронизывающего ветра и свирепой непогоды этого дикого края. Первую ночь они провели впотьмах, не зажигая костров. Электрические установки на борту были разбиты и выброшены где-то далеко к югу, спичек же ни у кого при себе не было. Ведь коробочка спичек означала смертную казнь. Все взрывчатые вещества были выкинуты, и только к утру человек с птичьим лицом, чью каюту сначала занял Берт, признался, что у него есть пара дуэльных пистолетов и патроны, при помощи которых можно добыть огонь. Позднее нашлось несколько пулеметных лент с патронами.

Первая ночь была очень тяжелой, и казалось, ей не будет конца. Почти никто не спал. Среди команды было семь человек раненых, а у фон Винтерфельда оказалось сотрясение мозга; он дрожал, бредил и вырывался из рук ухаживавшего за ним денщика и выкрикивал что-то несуразное о сожжении Нью-Йорка. Солдаты жались в темной столовой, кутаясь во что попало, пили какао из самосогревающихся жестянок и прислушивались к его крикам. Утром принц произнес им речь о своей звезде и вере отцов и о том, как приятно и почетно положить жизнь за его династию, и высказал еще ряд подобных соображений, о которых иначе могли бы и забыть в этой унылой пустыне. Солдаты без особого подъема прокричали ура, и где-то вдали завыл волк.

Затем они принялись за работу и целую неделю трудились, сооружая стальную мачту и навешивая на нее сеть из медной проволоки длиной в двести футов и шириной в двенадцать. Лейтмотивом этих дней была работа — работа непрерывная, требующая невероятных усилий, изнурительная — и еще лишения и опасности. И больше ничего, кроме, пожалуй, великолепия восходов и закатов, бурных потоков и нескончаемых ветров и величия дикой пустыни вокруг. Они разожгли и непрерывно поддерживали кольцо костров — отрядам, ходившим за хворостом, не раз встречались волки — и раненых вместе с койками перенесли к огню и устроили под навесами. Тут старый фон Винтерфельд метался в бреду, тут он затих и наконец умер, а трое других раненых, тогда как их товарищи поправлялись, хирели на глазах, потому что их нельзя было как следует кормить. Однако все это происходило, так сказать, между прочим;

главное же, что неотступно занимало мысли Берта, была, во-первых, нескончаемая работа, заключавшаяся в том, что он должен был постоянно что-то поддерживать, что-то поднимать, волочить тяжелые и неуклюжие предметы, до изнеможения подпиливать и скручивать проволоку; и, во-вторых, принц — нетерпеливый и грозный, который всегда был тут как тут, стоило кому-нибудь замешкаться. Не спуская с них глаз, он указывал пальцем на юг, в бесстрастное небо.

— Мир, лежащий там,— говорил он по-немецки,— ждет вас! История пятидесяти веков близится к завершению!

Слов Берт не понимал, но жест был достаточно выразителен. Несколько раз принц приходил в ярость: то его вывел из себя солдат, который работал слишком медленно, то солдат, укравший чужой рацион. Первого он выругал и отправил на более трудную работу; второму дал пощечину и избил. Сам он не работал. У костров была расчищена площадка, и там он шагал взад-вперед иногда по нескольку часов кряду, скрестив на груди руки и бормоча себе под нос что-то о терпении и о своей звезде. Иногда это бормотание переходило в пламенные речи, с возгласами и бурной жестикуляцией; работавшие солдаты останавливались и, как зачарованные, смотрели на него, пока не замечали, что его голубые глаза мечут молнии, а рука, которой он размахивает, как всегда, указует на горы, лежащие к югу. В воскресенье работа была прекращена на полчаса, и принц прочел им проповедь о вере и о том, как господь возлюбил Давида, после чего все спели «Ein'feste Burg ist unser Gott!».

В наскоро сколоченном шалаше лежал фон Винтерфельд. Как-то все утро он бредил величием Германии. «Blut und Eisen!» — выкрикивал он и потом, словно насмехаясь: «Welt-Politik — ха-ха!» Затем заговорщическим шепотом он принимался разъяснять воображаемым слушателям сложные вопросы государственного устройства. Остальные раненые лежали тихо, слушая его. Но стоило Берту отвлечься от работы, как его тут же возвращал на землю Курт.

— Ну-ка, Смоллуейз, возьмите за тот конец. Вот так!

Медленно, с трудом огромная мачта была фут за футом собрана и установлена. Электрики тем временем

соорудили плотину и запрудили бурную речку, пробегавшую неподалеку, и установили колесо: дело в том, что небольшое динамо системы Мюльхаузена с турбинной спиралью, которым прежде пользовались телеграфисты, можно было приводить в движение потоком воды; и вот на шестой день вечером аппарат заработал, и принц обратился — правда, еле слышно, но тем не менее обратился — через огромное пространство к своему воздушному флоту. Какое-то время призыв его оставался без ответа.

Впечатлениям этого вечера суждено было надолго остаться в памяти Берта. Багровый костер трещал, вскидывая языки пламени неподалеку от занятых своей работой электриков, и багровые отблески взбегали по стальной мачте и медным проволокам вверх, к зениту. Принц сидел на камне тут же, подперев рукой подбородок, и ждал. Дальше, к северу от них, высилась сложенная из камней и увенчанная стальным крестом пирамида, под которой покоился фон Винтерфельд, а вдали, среди разбросанных валунов, красным огнем поблескивали волчьи глаза. С другой стороны лежали обломки огромного воздушного корабля и ужинала у второго костра его команда. Все они сидели притихшие; будто приготовились слушать. Далеко-далеко, за безлюдными просторами, в сотнях миль от них, другие мачты беспроволочного телеграфа, должно быть, сейчас гудят, и сухо пощелкивают, и оживают в ответной вибрации. А может быть, и нет. Может быть, эта дрожь в эфире теряется зря, не привлекая внимания мира. Если солдаты заговаривали между собой, то только приглушенными голосами. Время от времени где-то вдали вскрикивала птица, и раз завыл волк. А вокруг лежала бескрайняя холодная пустыня.

7

Берт узнал новости последним — сообщил их ему на ломаном английском один из его товарищей. Только глубокой ночью измученный телеграфист получил наконец ответ на свои сигналы, но потом сообщения стали поступать бесперебойно и четко. И какие сообщения!

— Послушай,— сказал Берт, сидя за завтраком среди невообразимого гама,— рассказал бы ты мне хоть самую малость.

— Фесь мир фоюйт,— сказал знаток английского, размахивая для пущей наглядности кружкой какао.— Фесь мир фоюйт!

Берт удивленно уставился на юг, где уже брезжил рассвет. В это трудно было поверить.

— Фесь мир фоюйт! Сшигаль Берлин, сшигаль Лондон; сшигаль Гамбург и Париж. Япониш сшигаль Сан-Франциско. Ми делаль лагер в Ниагара. Фот што они соопшайт нам. Ф Китай есть драхенфлигер и фоздушний корабль столько, што нельзя сошитайт. Фесь мир фоюйт!

— Фу ты,— сказал Берт.

— Та,— сказал лингвист и отхлебнул какао.

— Лондон, говоришь, сожгли? Вроде как мы Нью-Йорк?

— Это биль один бомбардирофка.

— А насчет Клафема, часом, не говорили? Или насчет Банхилла?

— Нитшефо не слыхаль,— сказал лингвист.

Вот и все, чего Берт смог пока добиться. Но возбуждение солдат передалось и ему. Наконец он увидел Курта, который стоял в одиночестве, заложив руки за спину, и очень пристально всматривался в один из дальних водопадов. Берт подошел к нему и отдал честь по-солдатски.

— Прошу прощения, лейтенант,— сказал он.

Курт повернулся к нему. В это утро выражение его лица было необычно серьезно.

— А я как раз думал, как бы мне посмотреть этот водопад вблизи,— сказал он.— Он мне напоминает... Ну что вам?

— Не понимаю я, что они там лопочут, сэр. Не понимаю, и только! Может, хоть вы бы мне новости рассказали.

— К черту новости! — сказал Курт.— Еще наслушаешься новостей до конца дня. Это конец света. За нами посылают «Графа Цеппелина». К утру он будет здесь, и мы должны попасть в Ниагару — или в преисподнюю — через сорок восемь часов... Я хочу посмотреть этот водопад. Вы пойдете со мной. Вы уже позавтракали?

— Так точно, сэр.

— Вот и отлично. Идемте.

И Курт в глубоком раздумье зашагал по направле-

нию к далекому водопаду. Некоторое время Берт шел сзади, как подобает сопровождающему, но лишь только они вышли за пределы лагеря, Курт замедлил шаг, и они пошли рядом.

— Через два дня мы опять будем там,— сказал он.— В этом аду! Вот и все новости! Мир сошел с ума. Наши воздушные корабли разгромили американцев в ту ночь, когда мы потеряли управление. Это ясно. Мы лишились одиннадцати своих кораблей — во всяком случае, не меньше одиннадцати,— а они — всех своих аэропланов до последнего. Одному богу известно, сколько их мы уничтожили и сколько человек мы убили. Но это было только начало. Мы будто пороховой склад подожгли. Нет такой страны, которая не строила бы тайком летательных машин. Сейчас над всей Европой, над всем миром идет воздушная война. Японцы и китайцы тоже воюют. Это самый важный факт. Самый важный! Они вмешались в нашу домашнюю ссору! Желтая опасность оказалась-таки опасностью! У них тысячи воздушных кораблей. Они повсюду. Мы бомбардировали Лондон и Париж, французы и англичане разрушили Берлин. А теперь Азия взялась за нас за всех, и она сильнее нас всех... Это же безумие. Китай сильнее всех! И они не знают, когда остановиться. Предела нет. Это завершающий хаос. Они бомбардируют столицы, разбивают заводы и верфи, шахты и флоты.

— А Лондон они сильно попортили, сэр? — спросил Берт.

— Не знаю...— Некоторое время Курт молчал.

— Этот Лабрадор — спокойное местечко,— опять заговорил он.— И я бы, кажется, не прочь тут остаться. Но что говорить о невозможном. Нет! Я должен пройти через все это. Я должен пройти через все это. И вы должны. Все... Но почему? Почему? Да потому, что весь наш мир пошел прахом. Для нас нет выхода, нет пути назад. Вот в чем дело. Мы как мыши в горящем доме. Мы как скот, застигнутый наводнением. Вскоре за нами прилетят, и мы отправимся назад, воевать. В лучшем случае будем снова убивать и громить. На этот раз мы встретимся с японо-китайским флотом, и все шансы против нас. Настанет и наш черед. Что случится с вами, не знаю; ну, а я... меня убьют.

— Да не убьют,— сказал Берт после неловкой паузы.

— Нет! — сказал Курт.— Меня убьют. Раньше я не знал, но сегодня утром, на рассвете, я это понял, словно меня предупредили.

— Как это так?

— Вы же слышали: я знаю.

— Откуда же вы можете знать?

— Знаю.

— Будто вас предупредили?

— Будто знаю сам. Знаю,— повторил он еще раз, и некоторое время они молча шагали по направлению к водопаду.

Курт, погруженный в свои мысли, шел, не разбирая дороги, и немного погодя разразился новой тирадой:

— Раньше я всегда чувствовал себя молодым, Смоллуейз, а сегодня чувствую себя старым-старым. Таким старым! Ближе к смерти, чем чувствуют себя настоящие старики. А я всегда думал, что жизнь — чудесная штука. И ошибся... Все это, конечно, не ново: и войны и землетрясения, разом уничтожающие все, ради чего стоит жить. Это только я будто впервые сегодня прозрел и увидел все в первый раз. Каждую ночь, с тех пор как мы расправились с Нью-Йорком, я вижу во сне все, что произошло... А ведь так было всегда — так уж устроена жизнь. Людей отрывают от тех, кого они любят; дома разоряют; существа, полные жизни и воспоминаний, со всеми их склонностями и талантами, сжигают, и давят, и рвут на куски, морят голодом, развращают! Лондон! Берлин! Сан-Франциско! Подумайте только, на скольких человеческих судьбах мы поставили точку в Нью-Йорке!.. А другие опять продолжают жить, будто этого ничего не было и быть не могло. Так и я жил... Как животные! Тупые животные!

Долгое время он молчал и вдруг сказал отрывисто:

— Принц — сумасшедший!

Так они добрались до крутого обрыва, поднялись на него и оказались у торфяного болота, тянувшегося вдоль ручья. Берт загляделся на нежные цветы, розовевшие там повсюду.

— Фу ты! — сказал он и нагнулся, чтобы сорвать цветок.— И ведь где выросли!

Курт остановился, отвернув голову. Лицо его исказилось.

— Никогда я таких цветов не видал,— сказал Берт.— Ишь какие нежные!

— Нарвите еще, если вам нравится,— сказал Курт.

Берт так и сделал, а Курт стоял и смотрел на него.

— И отчего это цветы всегда рвать хочется? — заметил Берт.

Курт ничего не ответил, и они долго шли молча.

Наконец они пришли к каменистому холму, откуда открывался вид на водопад. Тут Курт остановился и сел на камень.

— Вот и все, что я хотел увидеть,— пояснил он.— Не совсем то, но все-таки похоже.

— На что?

— На другой водопад, который я видел когда-то давно.

Ни с того, ни с сего он вдруг спросил:

— Есть у вас любимая девушка, Смоллуейз?

— Чудно, право,— сказал Берт.— Цветы это, что ли... я как раз о ней думал.

— И я тоже.

— Ну-у? Об Эдне?

— Нет. Я думал о своей Эдне. У всех у нас, верно, есть Эдны, чтобы пофантазировать немножко. Так, девушка одна. Только все это было и навсегда прошло. Как горько, что я не могу ее увидеть хоть на миг, чтобы шепнуть ей, что я думаю о ней...

— И шепнете,— заметил Берт.— Вы еще с ней увидитесь.

— Нет,— сказал Курт голосом, не допускающим возражений,— я знаю... А встретился я с ней,— продолжал он,— в местечке вроде этого, в Альпах... Там есть водопад, похожий на этот, большой водопад над Иннерткирхеном. Потому-то я сюда сегодня и пришел. Мы с ней убежали раз потихоньку и просидели около него полдня. И цветы рвали. Такие же цветы, как вы только что нарвали. Точно такие же, кажется мне. И еще эдельвейсы.

— Знаю,— сказал Берт.— Я да Эдна — мы тоже вот так... Цветы. Всякая такая штука. Теперь посмотришь, так будто целые годы прошли.

— Она была прекрасна, и смела, и робка. Mein Gott! Мне страшно подумать, что перед смертью я так и не увижу ее, не услышу ее голос. Где она сейчас?.. Слушайте, Смоллуейз, я напишу ей письмо; письмо не письмо, а так, записочку. И вот ее портрет.— Он коснулся нагрудного кармана.

— Да будет вам! Еще увидитесь с ней,—сказал Берт.

— Нет! Я ее никогда больше не увижу... И зачем только люди встречаются, если их потом снова разлучают? Но я знаю: мы никогда больше с ней не встретимся. Это я знаю так же точно, как то, что солнце будет по-прежнему всходить и этот водопад будет все так же сверкать между скал и после того, как я умру и от меня ничего не останется. О боже! Что за глупость, что за недомыслие, и жестокость, и тупость, и слепая ненависть, и ложная гордость — все то, что испокон веков совершали люди и будут совершать! Gott! Смоллуейз, вы только подумайте, что представляет и всегда представляла собой жизнь на земле: сплошная путаница и неразбериха. Войны, и резня, и всяческие катастрофы, и ненависть, и убийства, и порабощение, и самосуды, и ложь... Мне так скверно сегодня. Можно подумать, что я только сейчас обо всем этом догадался. Собственно, так оно и есть. Когда человек устает от жизни, ему, по всей вероятности, пора умирать. Я пал духом, и смерть уже близка. Смерть совсем рядом, и я знаю, что не могу жить. А ведь еще совсем недавно я был полон надежд, жил в предчувствии того прекрасного, что ждет меня впереди,— вы только подумайте об этом!.. И все это был обман. Впереди не было ничего... Все мы просто муравьи в городах-муравейниках, в мире, который существует просто так, который вертится, чтобы в один прекрасный день превратиться в ничто. Нью-Йорк, даже Нью-Йорк не кажется мне чем-то ужасным. Нью-Йорк был всего лишь муравьиной кучей, растоптанной дураком! Вы только подумайте, Смоллуейз: война везде! Они сокрушают свою цивилизацию, не успев ее создать. То, что англичане проделывали в Александрии, японцы—в Порт-Артуре, французы—в Касабланке, теперь творится везде. Везде! Даже в Южной Америке все дерутся. Теперь не найти безопасного места — места, где был бы мир. Нет такого места, где мать с дочерью могли бы спрятать-

ся и почувствовать себя в безопасности. Война приходит по воздуху, по ночам с неба валятся бомбы. Мирные люди выходят по утрам из дому и видят у себя над головой воздушный флот, а корабли летят, расплескивая смерть, расплескивая смерть!

ГЛАВА VIII

ВОЮЮЩИЙ МИР

1

Только постепенно Берт понял, что воюет весь мир, и представил себе ужас и растерянность, которые обуяли густонаселенные страны к югу от этого арктического безмолвия, когда невиданные воздушные эскадры закрыли небо над их головой. Он не привык думать о мире как о чем-то едином — в его представлении это было что-то далекое, не имевшее к нему никакого отношения, какие бы события там ни происходили. Раньше он считал, что война — это нечто служащее источником новостей и поводом для волнений и ограниченное пространством, которое называется «театром военных действий». Но теперь в театр военных действий превратился самый воздух, а каждая страна — в арену боев. Все страны двигались вперед по пути исследований и изобретений приблизительно с одинаковой скоростью, и все их планы и достижения, хотя и сохранялись в глубокой тайне, развивались почти параллельно — в результате через несколько часов после того, как первый флот поднялся в воздух во Франконии, азиатская армада уже ринулась на запад, на большой высоте пролетев над долиной Ганга на глазах у миллионов ее потрясенных обитателей. Но Восточно-Азиатская конфедерация подготовилась к войне с поистине грандиозным размахом, оставив Германию далеко позади.

— Сделав этот шаг,— сказал Тан Тин-сян,— мы догоним и перегоним Запад. Мы восстановим на земле мир, который уничтожили эти варвары.

Умением хранить тайну, быстротой и изобретательностью они намного превосходили немцев, а кроме того, на

каждых сто рабочих-немцев у азиатов приходилось десять тысяч. Поезда монорельса, которым теперь была опутана вся территория Китая, доставляли к огромным воздухоплавательным паркам в Шансифу и Цинане несчетное количество квалифицированных, прилежных рабочих, производительность труда которых была гораздо выше европейской. Сообщение о выступлении Германии лишь заставило их ускорить собственное выступление. В момент разгрома Нью-Йорка у немцев в общей сложности не набралось бы трехсот воздушных кораблей; десятки же азиатских эскадр, летевших на восток и на запад, на Америку и на Европу, по всей вероятности, насчитывали их несколько тысяч. Кроме того, у азиатов была настоящая боевая летательная машина, так называемая «Ньяо»,— легкий, но весьма эффективный аппарат, во всех отношениях превосходивший немецкий «драхенфлигер». Это тоже была машина, рассчитанная на одного человека, но удивительно легкая, построенная из стали, бамбука и искусственного шелка, с поперечным мотором и складными крыльями. Авиатор был вооружен винтовкой, стреляющей разрывными кислородными пулями, и — по древней японской традиции — мечом. Все авиаторы были японцы, и, характерно, с самого начала было предусмотрено, что авиатор должен владеть мечом. Спереди крылья этих летательных аппаратов были, подобно крыльям летучей мыши, снабжены острым когтем, с помощью которого авиатор мог зацепиться за газовую камеру противника и взять его на абордаж. Эти легкие летательные аппараты буксировались воздушными кораблями, кроме того, их можно было отправить на фронт вместе с авиаторами сушей или морем. В зависимости от ветра они могли пролететь за один раз от двухсот до пятисот миль.

Итак, не успел взлететь первый немецкий воздушный флот, как эти азиатские орды устремились в небо. И немедленно все правительства всех цивилизованных стран бросились лихорадочно строить воздушные корабли и любые подобия летательных машин, какие были созданы к тому времени их изобретателями. На дипломатические процедуры не осталось времени. Предупреждения и ультиматумы передавались по телеграфу со всех сторон, и через несколько часов весь обезумевший

от страха мир был уже в состоянии войны, причем войны крайне запутанной. Дело в том, что Англия, Франция и Италия объявили войну Германии и грубо нарушили нейтралитет Швейцарии; в Индии появление азиатских воздушных кораблей немедленно вызвало мятежи: в Бенгалии восстали индусы, а в северо-западных областях — мусульмане, настроенные по отношению к индусам резко враждебно; причем восстание мусульман распространилось с неслыханной быстротой от пустыни Гоби до Золотого Берега. А Восточно-Азиатская конфедерация захватила нефтяные промыслы в Бирме и напала и на Америку и на Германию, не делая между ними никакого различия. Не прошло и недели, а воздушные корабли начали строить уже и в Дамаске, и в Каире, и в Иоганнесбурге; Австралия и Новая Зеландия отчаянно вооружались. Самым страшным оказалось то, что эти чудовища можно было строить с невероятной быстротой. На постройку броненосца затрачивалось от двух до четырех лет; воздушный же корабль можно было собрать в такое же число недель. Мало того, даже по сравнению с миноносцами постройка воздушного корабля была на редкость проста: при наличии воздухонепроницаемого материала, машин, газового завода и чертежей это было ничуть не сложнее, и даже легче, чем сто лет тому назад построить простую деревянную лодку. А ведь теперь от Мыса Горн до Новой Земли, от Кантона и до Кантона — всюду имелись заводы, мастерские и промышленные ресурсы.

Не успели немецкие воздушные корабли достичь Атлантического океана, а азиатский флот — Верхней Бирмы, как причудливая ткань кредитов и финансов, на протяжении столетия связывавшая весь мир экономически, уже начала трещать и вскоре лопнула. Торнадо реализации ценных бумаг сокрушило все биржи мира; банки прекратили платежи, деловая жизнь замерла, заводы в силу инерции проработали еще день-два, выполняя заказы обанкротившихся, прекративших существование клиентов, а потом закрылись. Нью-Йорк, когда его увидел Берт Смоллуейз, несмотря на сверкающие огни и оживленное уличное движение, уже претерпел невиданный в истории финансовый крах. Снабжение продовольствием уже было слегка ограничено. И не прошло

и двух недель с начала всемирной войны, иными словами, в Лабрадоре только-только успели воздвигнуть стальную мачту, а уже нигде в мире, за исключением Китая, не осталось города, пусть даже расположенного в стороне от центров разрушения, где бы полиции и правительству не приходилось прибегать к чрезвычайным мерам для борьбы с голодом и безработицей.

Особенности войны в воздухе были таковы, что, раз начавшись, она почти неизбежно приводила к полной дезорганизации общества. С первой ее особенностью столкнулись немцы во время нападения на Нью-Йорк. Она заключалась в том, что, обладая огромной разрушительной мощью, воздушный корабль в то же время не давал возможности надолго оккупировать вражеский город, то есть закрепить свою победу. В результате начинались опасные вооруженные столкновения с гражданским населением, доведенным до отчаяния воцарившимся экономическим хаосом, негодующим и голодным; даже в тех случаях, когда воздушный флот ограничивался тем, что кружил в высоте, внизу обязательно начинались мятежи и беспорядки. История войн еще не знала ничего подобного, если не считать тех случаев, когда в девятнадцатом веке военный корабль расстреливал поселения дикарей или крепость какого-нибудь восточного монарха, да еще бомбардировок европейских городов, не слишком украшающих историю Великобритании второй половины восемнадцатого века. Жестокость и бессмысленное разрушение, неотъемлемые от подобных операций, в какой-то мере предвещали ужасы воздушной войны. Что же касается реакции современного городского населения, непосредственно столкнувшегося с тяготами войны, то до двадцатого века история знала лишь один такой пример, причем не очень характерный: восстание парижских коммунаров в 1871 году.

Второй — и тоже немало способствовавшей крушению общества — особенностью войны в воздухе на первых ее этапах оказалась неприспособленность первых воздушных кораблей к сражению с равным противником. Они могли забросать бомбами и уничтожить все, что находилось на земле, — крепости, корабли и города были в полной их власти, но друг другу они почти не могли причинить вреда, разве что ценой собст-

венной гибели. Вооружение немецких воздушных кораблей, размерами не уступавших самым большим пассажирским пароходам, ограничивалось одной-единственной скорострельной пушкой, которую без труда можно было бы погрузить на двух мулов. Кроме того, когда стало ясно, что за обладание воздухом надо бороться, командам раздали винтовки с разрывными пулями, и все же любой воздушный корабль был вооружен хуже самой захудалой канонерки. Поэтому, когда эти чудовища встречались в бою, они или начинали маневрировать, стараясь занять позицию выше противника, или же сходились вплотную, как китайские джонки, после чего с обеих сторон летели гранаты и завязывался рукопашный бой во вполне средневековом стиле. Поскольку они были равно уязвимы, то и шансы на победу и поражение были равны. Вот почему после первого же боевого крещения адмиралы воздушных флотов стали избегать боев в воздухе, компенсируя это моральным эффектом страшных разрушений городов и селений.

Но если воздушные корабли были малопригодны для боев, то и ранние «драхенфлигеры» были или недостаточно устойчивы, как, например, немецкие, или же слишком легки, как японские, чтобы сыграть в этих боях решающую роль. Правда, позднее бразильцы выпустили летательную машину такой конструкции и размеров, что она могла справиться с воздушным кораблем, но таких машин успели построить всего три-четыре, пользовались ими только в Южной Америке, и они исчезли без следа, когда всемирный финансовый крах положил конец дальнейшему техническому производству мало-мальски широкого масштаба.

Третья особенность войны в воздухе заключалась в том, что, причиняя колоссальные разрушения, никаких определенных результатов она не приносила. Ведь ни одна из сторон не была застрахована от ответного нападения. Прежде, где бы ни велась война, на суше или на море, терпящая поражение сторона очень скоро теряла возможность нападать на территорию и коммуникационные линии противника. Военные действия шли на «фронте» и за линией этого «фронта» — ни запасам, ни ресурсам противника, ни его городам, ни заводам, ни столице, ни благоденствию его страны ничто не угрожало. Ес-

ли война велась на море, флот противника уничтожался, его порты блокировались и угольные базы захватывались, после чего оставалось только вылавливать рейдеров, которые могли бы нанести ущерб торговому флоту победителя. Но блокировать побережье страны — это одно, а блокировать всю ее территорию — это совсем другое. К тому же линейные корабли и каперские суда скоро не построишь, их не упакуешь, не спрячешь незаметно, с места на место не перевезешь. В воздушной же войне более сильная страна, даже если бы ей удалось уничтожить воздушный флот врага, была бы вынуждена либо непрерывно следить за всеми пунктами, где можно было бы создать новый, неизвестный прежде и, возможно, еще более смертоносный тип летательных аппаратов, либо заранее стирать такие пункты с лица земли. Но для этого потребовалось бы занять своим флотом все небо над побежденной страной, то есть построить десятки тысяч воздушных кораблей и подготовить сотни тысяч авиаторов. Небольшой, еще не надутый воздушный корабль можно было спрятать в железнодорожном депо, в деревне, в лесу, а для летательной машины места нужно было и того меньше!

Кроме того, в воздухе нет дорог, нет рек, нет такого пункта, о котором можно было бы сказать: «Если враг захочет напасть на мою столицу, ему обязательно придется пройти здесь». В воздухе любой путь приведет к любой цели.

Следовательно, ни один из прежних способов окончания войны здесь не годился. А, располагая большим количеством воздушных кораблей, чем Б, и захватив Б врасплох, держит над его столицей тысячи кораблей и угрожает подвергнуть ее бомбардировке в случае, если Б не сдастся. Б отвечает по беспроволочному телеграфу, что три его воздушных рейдера как раз сейчас бомбардируют главный промышленный центр А. А объявляет это пиратскими действиями и так далее, бомбардирует столицу Б и кидается в погоню за его воздушными кораблями. Тут Б в благородном негодовании с героическим упорством приступает среди своих развалин к постройке новых воздушных кораблей и производству взрывчатых веществ на радость А. Война волей-неволей становится партизанской войной, которая затрагивает все

население, весь механизм общественной жизни и даже семейные очаги.

Такой поворот войны в воздухе застал мир врасплох. Этих последствий не предвидел никто. Иначе всеобщая мирная конференция была бы созвана еще в 1900 году. Но технический прогресс опередил интеллектуальное и социальное развитие общества, и мир, со своими нелепыми обветшалыми знаменами, со своим убогим национализмом, грошовой прессой и еще более грошовыми страстями и империалистическими замашками, со своими низменными, торгашескими расчетами, расовыми распрями, привычным лицемерием и пошлостью, был застигнут врасплох. Стоило войне начаться — и остановить ее уже было невозможно. Непрочная ткань кредитов, растянувшаяся до совершенно непредвиденных размеров и густо опутавшая все эти сотни миллионов, так что они оказались в экономической зависимости друг от друга, сущность которой не мог понять до конца ни один человек, расползлась в наступившей панике. Повсюду в небе сновали воздушные корабли, сбрасывавшие бомбы, уничтожавшие всякую надежду на возможность восстановления порядка, а на земле разразились финансовые катастрофы, голодали потерявшие работу люди, вспыхивали мятежи и рушились устои общества. Созидательный разум, в какой-то мере руководивший нациями, не устоял перед натиском событий. Газеты, документы и исторические очерки, сохранившиеся от того периода, все говорят об одном и том же: о городах с нарушенным снабжением, с улицами, запруженными голодающими безработными, о правительственных кризисах и осадном положении, о временных правительствах, советах обороны и (в Индии и Египте) повстанческих комитетах, которые вооружали население, руководили постройкой батарей и орудийных окопов и налаживали спешное производство воздушных кораблей и летательных машин.

Все это нам известно лишь отрывочно, через отдельные яркие эпизоды, словно это время окутано пеленой туч с редкими просветами между ними. Это был конец эпохи, это было крушение цивилизации, которая доверилась машине и была погублена машинами. Но если крушение прежней великой цивилизации — то есть рим-

ской — длилось столетия, приближаясь постепенно, фаза за фазой, как одряхление и смерть человека, то крах этой цивилизации скорее можно сравнить с гибелью человека под колесами автомобиля или поезда: один молниеносный удар — и конец.

2

Первые сражения войны в воздухе, без сомнения, представляли собой попытку применить проверенный военно-морской принцип — определить нахождение вражеского флота, а затем уничтожить его. Первым из таких сражений была битва над Бернским плоскогорьем, когда на итальянские и французские корабли, подбиравшиеся с фланга к воздухоплавательному парку во Франконии, обрушилась швейцарская экспериментальная эскадра, на подмогу которой позднее прилетели немецкие воздушные корабли; за этим последовала стычка английских аэропланов типа «Уинтерхауз-Данн» с тремя немецкими кораблями.

Затем можно назвать сражение над Северной Индией, когда весь состав англо-индийского воздушного флота был полностью уничтожен после трехдневного неравного боя.

Одновременно с этим началось длительное сражение немцев и азиатов, вошедшее в историю под названием «Ниагарской битвы», так как азиаты стремились овладеть Ниагарой. Но постепенно сражение перешло в отдельные стычки чуть ли не над всем американским континентом. Те немецкие воздушные корабли, которым удалось выйти из битвы невредимыми, спустились на землю и сдались американцам, после чего на них был сменен экипаж, так что под конец сражались уже только американцы, исполненные яростной решимости уничтожить своих врагов, и укрепившаяся на тихоокеанском побережье азиатская армия вторжения, непрестанно пополнявшаяся и поддерживаемая могучим морским флотом. С самого начала война в Америке велась беспощадно: в плен не сдавались и пленных не брали. С бешеной, достойной восхищения энергией американцы строили и посылали в воздух корабль за кораблем, чтобы они гибли в боях против азиатских орд. Все остальные занятия были

подчинены этой войне, все население жило и умирало во имя ее. И вот наконец (о чем я расскажу позднее) американцы нашли средство борьбы с летательными машинами азиатских меченосцев. Это была машина Баттериджа.

Азиатское вторжение в Америку совершенно заслонило американо-германский конфликт. Он был сразу исчерпан. Сперва он, казалось, обещал стать величайшей трагедией: ведь начало его было ознаменовано страшной бойней. После разрушения центра Нью-Йорка вся Америка поднялась как один человек, решив, что лучше тысячу раз умереть, чем сдаться немцам. Немцы по-прежнему упорно стремились сломить американцев и заставить их сдаться и, следуя плану, разработанному принцем, захватили Ниагару, чтобы воспользоваться ее мощнейшей электростанцией, выслали всех жителей и опустошили все вокруг до самого Буффало. Кроме того, не успели Англия и Франция объявить им войну, как они превратили в пустыню пограничную территорию Канады миль на десять в глубь страны. Их воздушные корабли, словно пчелы, сновали между Ниагарой и побережьем, доставляя в лагерь солдат и снаряжение с транспортных судов. Но тут появились азиатские воздушные силы и обрушились на немецкую базу у Ниагары; так впервые встретились воздушные флоты Востока и Запада, и второстепенные конфликты уступили место главному.

Одна из особенностей первых воздушных боев была результатом сугубой секретности, которой обставлялась постройка воздушных кораблей. Все державы лишь весьма смутно догадывались о замыслах своих соперников и в то же время были вынуждены ограничивать испытания новейших изобретений из боязни, что они станут известны другим. Никто из творцов воздушных кораблей и аэропланов не представлял себе ясно, с чем придется встретиться в воздухе их детищам; большинство считало, что там им не грозят никакие опасности и их следует готовить исключительно для сбрасывания бомб. Именно такого мнения придерживались немцы. Единственным оружием на случай встречи с неприятельским воздушным кораблем, предусмотренным для судов Франконского флота, была скорострельная пушка

на носу воздушного гиганта. Только после боя над Нью-Йорком солдатам раздали короткоствольные винтовки с разрывными пулями. Теоретически сражаться в воздухе должны были «драхенфлигеры». Их окрестили воздушными миноносцами, и предполагалось, что авиатор, проскочив прямо над противником, будет забрасывать его бомбами. Практически же эта машина оказалась на редкость ненадежной. После каждого сражения к буксирующим кораблям возвращалось меньше трети «драхенфлигеров», остальные были либо уничтожены в воздухе, либо вынуждены спуститься на землю.

Объединенный японо-китайский флот, так же как и немецкий, состоял из воздушных кораблей и летательных машин, более тяжелых, чем воздух. Однако и те и другие резко отличались от западных моделей и до мельчайших деталей были изобретением инженеров-азиатов, что неопровержимо доказывает, что эти великие народы не только поспешили изучить европейские методы научных исследований, но и усовершенствовали их. Стоит упомянуть, что наиболее талантливым из этих инженеров был некто Мохини Чаттерджи, политический эмигрант, ранее служивший в англо-индийском воздухоплавательном парке в Лахоре.

Немецкий воздушный корабль напоминал по форме тупоносую рыбу; азиатский воздушный корабль тоже напоминал рыбу, но не треску или бычка, а скорее ската или камбалу: у него было широкое плоское днище, без окон или каких-либо других отверстий, помимо люков в средней части. Каюты были расположены по оси, над ними проходила узкая и длинная палуба, напоминавшая капитанский мостик, а газовые отсеки придавали всему этому сооружению вид сплющенного шатра. Немецкий воздушный корабль был, в сущности, управляемым воздушным шаром значительно легче воздуха; азиатский же весил почти столько же, сколько воздух, и мог развивать значительно большую скорость, хотя и обладал заметно меньшей устойчивостью. На носу и на корме азиатских воздушных кораблей были установлены пушки (причем та, которая находилась сзади, была значительно больше), которые стреляли зажигательными снарядами; кроме того, как в верхней, так и в нижней части корабля имелись гнезда для стрелков. Хотя такое воору-

жение показалось бы ничтожным даже для канонерки, азиатские корабли были не только быстрее немецких, но и значительно боеспособнее их. Во время сражения они старались занять позицию над немецким кораблем или сзади него; иногда они даже ныряли под корабль, избегая, однако, проходить непосредственно под складом боеприпасов, и, слегка его опередив, открывали огонь из своего кормового орудия, стараясь послать зажигательный или кислородный снаряд в газовые отсеки противника.

Но, как я уже сказал, сила азиатов заключалась не в воздушных кораблях, а в собственно летательных аппаратах. Если не считать машины Баттериджа, их летательные машины, несомненно, были самыми совершенными из существовавших тогда. Они были изобретены японским художником и разительно отличались от похожего на коробчатого змея немецкого «драхенфлигера». У них были причудливой формы гибкие крылья, больше всего напоминавшие выгнутые крылья бабочки, сделанные из чего-то вроде целлулоида и яркого шелка, а также длинный, как у колибри, хвост. На переднем углу крыла был укреплен крюк, напоминавший коготь летучей мыши,— с его помощью машина могла прицепиться к газовому отсеку воздушного корабля, повиснуть на нем и вспороть его. Авиатор помещался между крыльями в седле, укрепленном на поперечно установленном моторе, мало чем отличавшемся от моторов небольших мотоциклетов той эпохи. Внизу находилось одно большое колесо. Авиатор сидел в седле верхом, как и в машине Баттериджа, и был вооружен большим обоюдоострым мечом и, кроме, того, винтовкой с зарядом разрывных пуль.

3

Сейчас мы имеем возможность сравнивать относительные достоинства американских и немецких аэропланов и воздухоплавательных аппаратов, но участники чудовищного хаотического сражения, разыгравшегося над американскими Великими озерами, имели обо всем этом лишь самое смутное представление.

Каждая сторона вступала в сражение, не зная, с чем ей придется столкнуться, имея в своем распоряжении

аппараты, которые и до встречи с противником были способны преподнести неприятный сюрприз. Все попытки действовать по заранее намеченному плану и осуществлять тактические маневры неизменно терпели провал, стоило лишь начать сражение, так же как это было во время первых боев броненосцев в прошлом веке. Капитанам приходилось полагаться только на себя и на свою собственную находчивость, и то, в чем один усматривал залог победы, другого могло привести в отчаяние и обратить в бегство. Ниагарская битва, подобно Лисской битве, представляет собой не единое сражение, а просто ряд беспорядочных стычек.

Берт, наблюдавший ее с земли, видел лишь хаос отдельных эпизодов, то значительных, то пустяковых, но в целом совершенно бессмысленных. Ни разу он не заметил, чтобы за действиями противников стояла какая-нибудь заранее обдуманная цель, чтобы они стремились к чему-то определенному, пусть даже терпя поражение. Он видел невероятные вещи — и в конце концов привычный мир распался и погиб.

Он наблюдал битву из Проспект-парка и с Козьего острова, где позднее спрятался.

Но тут нужно объяснить, каким образом он очутился на земле.

Еще задолго до того, как «Цеппелин» добрался до Лабрадорского лагеря, принц уже снова командовал своим флотом, отдавая приказания по беспроволочному телеграфу. По его распоряжению немецкий воздушный флот, чьи разведчики уже имели стычки с японцами над Скалистыми горами, в ожидании прибытия своего командира сосредоточился у Ниагары. Принц прибыл туда утром двенадцатого, и на заре этого дня Берт впервые увидел Ниагарское ущелье с сетки среднего газового отсека, где проводились учения. «Цеппелин» летел очень высоко, и вот далеко внизу Берт увидел на дне ущелья воду с разводами пены, а подальше к западу — гигантский серп канадского водопада, который сверкал, искрился и пенился в косых солнечных лучах и посылал к небу глухой неумолчный рокот. Немецкий флот висел в воздухе огромным полумесяцем, рогами своими обращенным на юго-запад; хвосты блестящих чудовищ мерно вращались, под брюхом, ближе к корме, за усами

беспроволочного телеграфа развевалось полотнище германского флага.

Город Ниагара еще почти не был разрушен, хотя на его улицах не замечалось никаких признаков жизни. Его мосты не были повреждены, его гостиницы все еще пестрели флагами и соблазнительными рекламами, его электрическая станция работала. Зато дальше всю местность по обе стороны ущелья словно вымели исполинской метлой. Все, что могло служить хоть каким-то укрытием для нападения на немецкие позиции у Ниагары, сровняли с землей, сровняли с беспощадностью, на какую только способны машины и взрывчатые вещества: дома были взорваны и спалены дотла, леса выжжены, ограды и хлеба уничтожены. Полотно монорельса было разворочено, и вдоль шоссейных дорог не осталось ни ограды, ни даже кустика. Сверху зрелище этих разрушений производило весьма странное впечатление. По лесным посадкам прошлись драгами, и загубленные деревца, сломанные или просто вывороченные с корнем, лежали рядами, как сжатая пшеница. Дома казались сплющенными, словно их прижали к земле гигантским пальцем. Еще далеко не все пожары погасли, и целые огромные площади превратились в тлеющие, а кое-где и в полыхающие пустоши. Там и сям валялись обломки повозок, лошадиные трупы и мертвые тела — все, что осталось от застигнутых вражескими воздушными кораблями беженцев,— а около домов с водопроводом стояли озерца и растекались ручейки из поврежденных труб. На уцелевших лугах продолжали мирно пастись лошади и домашний скот. Но даже там, где разоренная область кончалась, людей почти не было видно: все бежали. Страшные пожары бушевали в Буффало, однако никаких признаков борьбы с огнем заметно не было.

Город Ниагара спешно превращался в военный лагерь. С морских баз сюда уже доставили много опытных инженеров, и они были заняты тем, что приспосабливали город к нуждам воздухоплавательного парка. Рядом с американским водопадом, возле фуникулера, они уже построили газовую станцию для зарядки кораблей, и теперь с той же целью расчищали место в южной части города, выше по течению. Над электрическими станциями, гостиницами и вообще над всеми высокими

или имеющими общественное назначение зданиями развевался немецкий флаг.

«Цеппелин» не спеша сделал над городом два круга, пока принц обозревал панораму с висячей галереи, затем приблизился к центру полумесяца, и принц со всей свитой, включая и Курта, перешел на борт «Гогенцоллерна», который решено было сделать флагманом. Их переправляли по короткому канату с носовой галереи, и все это время команда «Цеппелина» в полном составе стояла, вытянувшись, на наружной сетке. После этого «Цеппелин» сделал еще несколько кругов и спустился в Проспект-парке, чтобы выгрузить раненых и взять боеприпасы, так как на Лабрадор, не зная, какой груз ему придется поднять, он отправился с пустыми складами. Кроме того, он подкачал водорода в один из своих носовых отсеков, где была обнаружена течь.

Берт был назначен санитаром и помогал переносить раненых в большую гостиницу, выходившую фасадом на реку. Гостиница была совершенно пуста, если не считать двух американок — опытных сестер милосердия и швейцара-негра, а также трех или четырех немцев, ожидавших их прибытия. Берт отправился с судовым врачом «Цеппелина» на главную улицу, где они взломали дверь какой-то аптеки и взяли все необходимые медикаменты. На обратном пути они встретили офицера с двумя солдатами, которые составляли приблизительные списки товаров, обнаруженных в разных магазинах. Кроме них, на широкой магистрали не было видно ни одной живой души: населению было предложено за три часа очистить город, и никто, по-видимому, не заставил просить себя вторично. На углу у стены лежал труп — здесь кого-то расстреляли. Лишь две-три собаки бродили вдали, однако на другом конце улицы, ближе к реке, тишину и безмолвие нарушал грохот вагонов монорельса. Целый состав их, груженный шлангами, направлялся туда, где множество рабочих уже трудились над превращением Проспект-парка в верфь для постройки воздушных кораблей.

Ящик с медикаментами Берт установил на сиденье велосипеда, взятого в соседнем магазине, и, придерживая одной рукой, отвез его в гостиницу, и тут же его послали грузить бомбы на «Цеппелин», что требовало

большой осторожности. Но его вскоре позвал капитан «Цеппелина» и отправил с запиской к офицеру, в чьем ведении находилась Англо-американская электрическая компания, так как полевой телефон все еще не был налажен. Берт выслушал приказ, о содержании которого он только догадывался, и, не желая признаваться, что не знает немецкого, отдал честь и взял записку. Он пустился в путь с бодрым видом, говорившим, что дорога ему известна, повернул раз, повернул еще раз, и только в душу ему начало закрадываться подозрение, что он не знает, куда идти, как вдруг он задрал голову и уставился в небо, откуда донесся пушечный выстрел (стрелял «Гогенцоллерн») и громкие торжествующие крики.

Однако высокие дома заслоняли почти все небо, и Берт после некоторого колебания не выдержал: любопытство погнало его обратно на берег. Здесь он не мог ничего толком рассмотреть из-за деревьев и даже вздрогнул от неожиданности, увидев вдруг, что «Цеппелин» который, как он знал, далеко еще не закончил погрузку, подымается над Козьим островом — поднимается почти без бомб и снарядов. Ему пришло в голову, что про него забыли. В страхе, как бы капитан «Цеппелина» не спохватился, он юркнул в кусты и просидел там, пока не почувствовал, что корабль должен быть уже далеко. Ему нестерпимо захотелось узнать, что грозит немецкому флоту. Любопытство в конце концов привело его на середину моста, соединявшего Козий остров с берегом. С этого места ему открывалось небо почти от горизонта до горизонта, и оттуда он впервые увидел азиатские воздушные корабли, низко нависшие над сверкающим хаосом Верхних порогов.

Они производили далеко не такое внушительное впечатление, как немецкие корабли. Расстояние определить он не мог, к тому же они летели прямо на него, и ему трудно было судить об их истинных размерах.

Берт стоял посредине моста, который, безусловно, запомнился большинству видевших Ниагару людей как очень людное место, неизменно кишевшее туристами и экскурсантами, и, кроме него, там не было ни души. Над его головой высоко-высоко в небе перестраивались,

готовясь к бою, два воздушных флота, под ним вспенившаяся река рвалась к американскому водопаду. Одет он был весьма странно: дешевые брюки из синей саржи были заправлены в резиновые сапоги немецкого аэронавта, а на голову была нахлобучена белая фуражка, немного ему великоватая. Он сдвинул ее на затылок, открыв удивленное лицо хилого жителя лондонских окраин, с еще не зажившим рубцом на лбу.

— Фу ты,— пробормотал он.

Он таращил глаза. Он размахивал руками, а раздругой даже закричал и захлопал в ладоши. Потом его обуял страх, и он бросился бежать в сторону Козьего острова.

4

Некоторое время оба флота не делали никаких попыток завязать бой. У немцев было шестьдесят семь огромных кораблей, и они сохраняли серповидный строй, находясь на высоте четырех тысяч футов; интервал между соседними кораблями составлял полтора корпуса, так что между рогами полумесяца было приблизительно миль тридцать. Корабли, находившиеся с края, вели за собой на коротком буксире штук тридцать «драхенфлигеров» в полной боевой готовности, но последние были слишком малы и находились слишком далеко, так что разглядеть их Берт не мог.

Сначала он увидел лишь так называемый южный флот азиатов. Он состоял из сорока воздушных кораблей, которых в общей сложности сопровождало чуть ли не четыреста летательных машин; какое-то время он медленно летел на восток, вдоль немецкого строя, не подходя ближе, чем на десять миль. Сперва Берт разглядел только силуэты больших кораблей, но немного погодя заметил и летательные машины, которые роились вокруг них, словно пылинки на солнце.

Второго азиатского флота Берт еще не видел, хотя, по всей вероятности, немцы как раз в это время заметили его на северо-западе.

Воздух был очень тих, небо безоблачно, немецкий флот поднялся на такую высоту, что воздушные корабли уже не казались огромными. Оба рога полумесяца четко вырисовывались в небе. Двигаясь на юг, они заслоняли

от Берта солнце, превращаясь в черные силуэты. Тут, наконец, он различил и «драхенфлигеры» — темные соринки на флангах этой воздушной армады.

Ни тот, ни другой флот, по-видимому, не спешил завязывать бой. Азиаты проследовали далеко на восток, все ускоряя ход и набирая высоту, затем выстроились в растянутую колонну, повернули назад и устремились к левому флангу немцев. Отряды, находившиеся на этом фланге, повернулись, встречая противника, и по слабым вспышкам и легкому потрескиванию стало ясно, что они открыли огонь. Некоторое время Берту казалось, что все остается как было. Затем, словно горстка снежных хлопьев, «драхенфлигеры» ринулись в атаку, и им навстречу сразу же понесся вихрь красных песчинок. Берт как-то не ощущал, что эти далекие движущиеся точки имеют отношение к людям. Всего лишь четыре часа назад он сам находился на одном из этих воздушных кораблей, а сейчас они представлялись ему не газовыми мешками, несшими на себе людей, а какими-то неведомыми существами, которые могли двигаться и действовать по своей воле. Азиатские и немецкие летательные машины встретились в воздухе, стали опускаться, словно горсть лепестков белой и красной роз, брошенных из окна, становились все больше и больше, пока наконец Берт не различил перевернутые аппараты, стремительно падавшие на землю и вскоре скрывшиеся за огромными клубами черного дыма над Буффало. Несколько минут их не было видно, но затем две-три белых и довольно много красных машин снова взмыли к небу, как рой крупных бабочек, закружились там в бою, а потом опять скрылись из вида, уходя на восток.

Оглушительный взрыв заставил Берта вновь обратить взгляд к зениту, и тут он увидел, что огромный полумесяц смят и превратился в беспорядочную клубящуюся тучу воздушных кораблей. Один корабль уже горел и быстро приближался к земле, пылая с обоих концов; он перевернулся на глазах у Берта и, кувыркаясь, скрылся в дыму Буффало.

Берт раскрыл рот, снова закрыл и крепче вцепился в перила моста. Прошло несколько секунд — секунд, показавшихся вечностью,— в течение которых в небе не произошло ничего нового. Оба флота сближались под

косым углом, и Берт расслышал какие-то слабые хлопки, которые на самом деле были громовыми залпами. И вдруг с обеих сторон из строя начали выпадать воздушные корабли, задетые снарядами, которых Берт не мог ни различить, ни проследить. Цепь азиатских кораблей развернулась и не то сбоку, не то сверху — с земли трудно было определить, как именно, — врезалась в смятый строй немцев, которые словно расступились и пропустили их. Затем некоторое время корабли маневрировали, но с какой целью, Берт так и не понял. На левом фланге корабли закружились в беспорядочном танце. На несколько минут противники настолько сблизились, что казалось, будто в небе завязался рукопашный бой. Затем они распались на сражающиеся кучки и пары. Все больше и больше немецких кораблей уходило вниз. Один из них запылал и исчез где-то далеко на севере, еще два стремительно падали, судорожно и нелепо дергаясь. Затем откуда-то из-под самого небесного купола, сражаясь, появились два азиата и один немец, смешались с другой такой же группой и все вместе понеслись на восток, увлекая за собой все новые и новые немецкие корабли. Один азиат не то протаранил огромный немецкий корабль, не то столкнулся с ним, и оба они вместе кувырком полетели вниз, к гибели. Берт не заметил, когда в бой вступил азиатский флот, налетевший с севера,— просто кораблей в небе вдруг стало намного больше. Очень скоро бой превратился в полный хаос, постепенно перемещаясь против ветра к юго-западу. Теперь это была уже не общая битва, а отдельные стычки. Тут огромный немецкий корабль летел, объятый пламенем, к земле, а преследующий его десяток плоскодонных азиатских кораблей отрезал ему всякую возможность к спасению. Там висел в воздухе другой, а его экипаж отбивался от тучи налетевших на летательных машинах меченосцев. А там камнем летел вниз азиатский корабль, пылая с обоих концов. Берт смотрел на эти схватки, разыгравшиеся в безоблачном просторе неба; они запечатлевались у него в памяти, но он долго не мог уловить связи между всеми этими ошеломившими его картинами гибели.

Однако основная масса воздушных кораблей, круживших где-то высоко в небе, не принимала в бою ника-

кого участия. Большинство из них описывало в воздухе широкие круги, по-видимому, полным ходом набирая высоту, и мимоходом обменивалось довольно безрезультатными выстрелами. Почти никто не шел на таран после того случая, когда оба — и нападающий и жертва—столь трагически погибли, а если и делались какие-то попытки взять врага на абордаж, то Берт не мог их увидеть. И все же можно было подметить, что обе стороны старались отрезать вражеские корабли по одному, чтобы заставить снизиться,— вот почему косяки чудовищ и сновали взад-вперед, то смешиваясь, то снова распадаясь. Благодаря численному превосходству азиатских кораблей и их быстроходности создавалось впечатление, что они непрестанно атакуют немцев. Прямо над головой Берта, плотно сомкнув строй, повис отряд немецких кораблей, прилагавший, очевидно, все усилия, чтобы не потерять связь с Ниагарской электрической станцией, а азиаты изо всех сил старались сломить их строй. Берту вдруг вспомнились карпы в пруду, дерущиеся из-за хлебных крошек. Он видел жиденькие дымки и вспышки рвущихся снарядов, но до него не доносилось ни звука...

Хлопающая крыльями тень на миг закрыла от Берта солнце, за ней последовала другая. Постукивание моторов — и странные звуки: клик-клок, клик-клок — внезапно оглушили его, и он сразу же забыл о поднебесной выси.

С юга над самой водой мчались азиатские меченосцы, словно валькирии, восседая на странных конях, полученных от скрещения инженерного искусства Европы с артистическим вдохновением Японии. Отрывисто захлопали крылья, застучал мотор: клик-клок, клик-клок,— машины взмыли вверх; затем крылья, распростершись, замерли, и машины стали плавно опускаться; так они и летели, то набирая высоту, то снижаясь. Они прошли над самой головой Берта, и он слышал, как перекликались между собой авиаторы, а потом весь отряд скользнул к городу Ниагара, и аппараты один за другим опустились на ровном месте перед гостиницей. Но Берт не стал дожидаться, пока они сядут: когда они пролетали мимо, к нему повернулось желтое лицо, и на мгновение он встретил взгляд загадочных глаз...

И вот тут-то Берту и пришла в голову мысль, что середина моста не слишком укромный приют, и он бросился бежать к Козьему острову. Прячась там среди деревьев (вероятно, эта предосторожность была излишней), он продолжал наблюдать за сражением до самого его конца.

5

Когда первый страх прошел и Берт снова принялся следить за происходящим, он обнаружил, что между азиатскими авиаторами и немецкими инженерами завязался бой за обладание городом Ниагарой. Впервые за всю войну он увидел нечто похожее на сражение, какими их изображали иллюстрированные журналы времен его юности. Ему даже показалось было, что все становится на свои места. Он видел солдат с винтовками, которые ложились, делали быстрые перебежки, рассыпавшись, атаковали неприятеля. Первый отряд авиаторов был, вероятно, под впечатлением, что город пуст. Они опустились на открытом месте, недалеко от Проспект-парка, и успели приблизиться к домам возле электрической станции, когда внезапный залп разрушил эту иллюзию. Они врассыпную бросились назад, укрылись за насыпью берега — бежать к машинам было слишком далеко — и стали стрелять по тем, кто засел в гостиницах и складах, стоявших вблизи электрической станции.

Потом на подмогу им с востока явилась новая цепочка красных летательных машин. Они возникли из марева, нависшего над домами, и описали большую дугу, словно выясняя, что происходит внизу. Немцы усилили стрельбу, и одна из повисших в воздухе машин резко дернулась назад и рухнула вниз, исчезнув среди домов. Остальные плавно опустились, совсем как стая птиц, на крышу электрической станции. Там они закрепились, и из каждой машины выскочила юркая маленькая фигурка и кинулась бегом к парапету.

Тем временем подоспели новые хлопающие крыльями птицы, но откуда они взялись, Берт не видел. До него донесся треск перестрелки, воскресив в его памяти армейские маневры и газетные описания боев — все то, что совпадало с его представлениями о войне. Он увидел целую толпу немцев, которые бежали из расположенных в отдалении домов к электрической станции. Двое

упали. Один сразу застыл в неподвижности, но другой сначала еще корчился и даже силился встать. Над гостиницей, в которой устроили госпиталь и куда он утром помогал переносить раненых с «Цеппелина», вдруг заколыхался флаг с красным крестом. В городе, который еще недавно казался таким безлюдным, очевидно, находилось немало немцев, и теперь они сбегались отовсюду к электрической станции, чтобы попытаться удержать ее в своих руках. Берт подумал, что патронов у них должно быть маловато. Все больше и больше азиатских летательных машин собиралось у электрической станции. Они расправились со злополучным «драхенфлигером» и намеревались захватить строящийся воздухоплавательный парк, электрические газогенераторы и ремонтные мастерские, составлявшие немецкую базу. Некоторые спустились на землю, и авиаторы тут же превратились в отличных пехотинцев. Другие парили в воздухе над сражающимися, и авиаторы открывали огонь, стоило противнику выглянуть из укрытия. Стрельба велась припадками: то наступало напряженное затишье, то слышалась частая дробь выстрелов, сливавшаяся в сплошной грохот. Раза два летательные машины, настороженно кружившие в воздухе, прошли прямо над головой Берта, и некоторое время он думал только о том, как бы получше спрятаться.

Время от времени ружейную трескотню заглушали громовые раскаты, и он вспомнил, что высоко в небе сражаются воздушные корабли, однако его внимание было приковано к бою на берегу.

Внезапно что-то свалилось из заоблачных высот, что-то похожее на бочонок или огромный футбольный мяч.

Трах! Оно взорвалось со страшным грохотом. Оно упало среди азиатских аэропланов, оставленных неподалеку от реки, среди клумб и газонов. Аэропланы разлетелись в щепки, газон, деревья и песок взметнулись в воздух и рухнули; авиаторов, залегших у берега, раскидало, как мешки, вода покрылась пеной. Все окна обращенной в госпиталь гостиницы, которые за минуту до этого отражали сияющее голубое небо и воздушные корабли, теперь зияли черными провалами.

Ба-бах! За первым взрывом последовал второй. Берт взглянул наверх: ему почудилось, что вниз устреми-

лось несметное количество чудовищ, похожих на стаю выгнувшихся под ветром одеял, на вереницу крышек от суповых мисок... Клубок воздушного сражения катился вниз, словно и воздушные гиганты решили вступить в бой за электрическую станцию. Теперь Берт вдруг как-то по-другому увидел воздушные корабли: что-то необъятное падало на него сверху, с каждой секундой разрастаясь все больше и подавляя все вокруг, пока наконец городские дома не стали казаться крошечными, американский рукав реки — совсем узеньким, мост — игрушечным, солдаты — микроскопическими. Приблизившись к земле, чудовища обрели и голос — сливавшийся воедино хаос звуков, крики, и треск, и стоны, и удары, и хлопанье, и вопли, и выстрелы. Кургузые черные орлы на носу немецких кораблей словно дрались не на жизнь, а на смерть — от них как будто даже летели перья.

Некоторые из сражающихся кораблей приблизились к земле футов на пятьсот. Берту видны были стрелки на нижних галереях немецких кораблей, видны были азиаты, цеплявшиеся за снасти; он видел, как солдат, сверкнув на солнце алюминиевым водолазным шлемом, полетел вниз головой и исчез в воде выше Козьего острова. Впервые он мог разглядеть с близкого расстояния азиатские воздушные корабли; отсюда они больше всего напоминали гигантские охотничьи лыжи; их украшал странный черно-белый узор, напоминавший Берту крышки штампованных часов. Висячих галерей у них не было, но из люков, расположенных по продольной полосе на дне, выглядывали солдаты и торчали стволы винтовок. То поднимаясь, то опускаясь по спирали, эти чудовища вели отчаянный бой. Можно было подумать, что это сражаются между собой облака, что это пудинги пытаются истребить друг друга. Они вились и кружили друг вокруг друга, и на некоторое время Козий остров и Ниагара погрузились в дымный полумрак, сквозь который прорывались пучки солнечных лучей. Они расходились и сближались, расходились и смыкались вплотную и кружили над порогами, и заходили мили на две в глубь Канады, и снова возвращались к водопаду. Один немецкий корабль загорелся, и вся стая кинулась от него врассыпную и взвилась над ним, а он ударился о канадский берег и взорвался. Затем под все воз-

растающий грохот остальные вновь сблизились. Раз из города Ниагары, где продолжали драться солдаты, донеслись торжествующие вопли, словно победный писк комара. Еще один немецкий корабль загорелся, а другой, продырявленный носом противника, быстро теряя газ, ушел на юг.

Становилось все ясней, что немцы проигрывают этот неравный бой. Все очевидней было, что их теснят. И уже трудно было сомневаться, что дерутся они только в надежде спастись бегством. Азиаты летали рядом с ними и над ними, вспарывая их газовые отсеки, поджигали их, расстреливали смутно различимых солдат в водолазных костюмах, которые, сидя на внутренней сетке, при помощи огнетушителей тушили пожары и заклеивали прорехи шелковыми лентами. А выстрелы немцев не достигали цели. Теперь битва снова кипела прямо над Ниагарой. А потом немцы вдруг, как по команде, рассыпались и разлетелись в разные стороны — на восток, на запад, на север и на юг; это было откровенное, беспорядочное бегство. Едва только азиаты поняли это, они взмыли в небо и кинулись вдогонку. Только маленький кубок из четырех немецких кораблей и около десятка азиатских остался драться вокруг «Гогенцоллерна», на борту которого находился принц, все еще не отказавшийся от мысли отстоять Ниагару.

Снова метнулись они над канадским водопадом, над водным простором, почти исчезли вдали, а потом повернули и понеслись, спускаясь все ниже и ниже, прямо к своему единственному остолбеневшему зрителю.

Ни на минуту не прекращая боя, они неслись назад, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах — черная бесформенная масса на фоне заходящего солнца и слепящего хаоса Верхних порогов. Она быстро росла, словно грозовая туча, пока наконец снова не закрыла все небо. Плоскодонные азиатские корабли держались выше немецких и несколько позади них, безнаказанно посылая пули в их газовые отсеки, обстреливая их с флангов. Летательные машины кружились, гнались за ними, как рой разъяренных пчел. И все это надвигалось, близилось, повисало над самой головой. Два немецких корабля нырнули и снова взвились кверху, но «Гогенцоллерну»

это было уже не под силу. Он сделал попытку взлететь, резко повернул, словно хотел выйти из боя, вспыхнул сразу с двух концов, метнулся к реке, косо врезался в воду, перевернулся раз, другой и понесся вниз по течению, стукаясь, и кувыркаясь, и корчась, как живой, задерживаясь и снова пускаясь в путь, а тем временем его поломанный и погнутый пропеллер продолжал работать. Из облаков пара вновь вырвались языки пламени. Размеры корабля превратили его гибель в катастрофу. Он лег поперек стремнины, как остров, как нагромождение утесов, но утесов, которые ворочались, и дымились, и оседали, и рушились, толчками надвигаясь на Берта. Один азиатский воздушный корабль — снизу он показался Берту куском мостовой ярдов триста длины — повернул назад и сделал два-три круга над поверженным гигантом, да с полдюжины пунцовых летательных машин с минуту поплясали в воздухе, как мошкара на солнце, прежде чем умчаться вслед за своими товарищами. Бой уже перекинулся на другую сторону острова, и оттуда, исступленно нарастая, доносились выстрелы, вопли, невообразимый грохот. Из-за деревьев Берт не видел, как разворачивается битва, и почти забыл о ней, поглощенный зрелищем надвигающейся громады. За спиной у него что-то ударилось о деревья, раздался треск ломающихся веток, но он даже не обернулся.

Некоторое время казалось, что «Гогенцоллерн» переломится пополам, ударившись о мыс, но его пропеллер бил по воде, взбивая пену, и расплющенная, изуродованная груда обломков двигалась к американскому берегу. Тут ее подхватил поток, который, пенясь, рвался к американскому водопаду, и не прошло и минуты, как огромная, поникшая развалина, успевшая загореться в трех новых местах, налетела с треском на мост, который соединял Козий остров с городом Ниагара, и словно длинная рука вошла под центральный пролет. Тут средние отсеки с грохотом взорвались, а в следующий момент мост рухнул, и громоздкий остов воздушного корабля, похожий на горбуна в отрепьях, размахивающего факелом, двинулся к водопаду, чуть задержался в нерешительности и разом покончил расчеты с жизнью, бросившись в пучину.

Его отломившаяся носовая часть застряла на Зеленом острове — так прежде называли островок между берегом и поросшим деревьями Козьим островом.

Берт следовал по берегу за гибнувшим кораблем от мыса и до моста. Затем, забыв об осторожности, забыв об азиатском воздушном корабле, застывшем над мостом, как громадный навес без подпорок, он помчался к северной оконечности острова и в первый раз выбежал на плоскую скалу возле острова Луны, нависающую над самым американским водопадом. Там он остановился среди извечного беснования звуков, задыхаясь и вытаращив глаза. Далеко внизу, в глубине ущелья, поток уносил со страшной быстротой нечто, напоминавшее огромный пустой мешок. Для Берта он олицетворял... да чего только он не олицетворял! — немецкий воздушный флот, Курта, принца, Европу — все, что было на свете незыблемого и привычного, силы, занесшие его сюда, силы, казавшиеся еще совсем недавно неоспоримо победоносными... И вот он несся по быстринам, несся, как пустой мешок, оставив весь зримый мир азиатам, желтолицым народам, обитавшим вне христианского мира, воплощению всего враждебного и страшного.

Воздушные корабли — и преследователи и преследуемые — уже превратились в темные точки над просторами Канады, и вскоре он окончательно потерял их из вида...

ГЛАВА IX

НА КОЗЬЕМ ОСТРОВЕ

1

Пуля, щелкнувшая рядом о камень, напомнила ему, что он не невидимка и что на нем, хоть и далеко не полная, форма немецкого солдата. Это соображение снова погнало его под деревья, и некоторое время он прятался между ними, приникал к земле и забирался в кусты, как птенец, укрывающийся в камышах от воображаемого ястреба.

— Побили, — шептал он. — Побили и прикончили... Китайцы! Желтолицые им всыпали.

Наконец он устроился среди кустов неподалеку от запертого павильона, откуда был виден американский берег. Это было надежное пристанище — кусты плотно смыкались над его головой. Он посмотрел за реку, но стрельба прекратилась, и все словно замерло. Азиатский воздушный корабль висел теперь не над мостом, а над самым городом, отбрасывая черную тень на весь район электрической станции, где недавно шел бой. Во всем облике чудовища чувствовалась спокойная уверенность в своем могуществе, а за его кормой безмятежно струился по ветру красно-черно-желтый флаг — символ великого союза Восходящего Солнца и Дракона. Дальше к востоку и на гораздо большей высоте висел второй корабль, а когда Берт, набравшись наконец храбрости, высунулся из своего убежища и осмотрелся, то к югу от себя он увидел еще один корабль, неподвижно висевший на фоне закатного неба.

— Фу ты,— сказал он.— Расколошматили и прогнали! Вот же черт!

Сперва ему показалось, что бой в городе совсем закончился, хотя над одним разбитым зданием все еще вился немецкий флаг. Над электрической станцией была поднята белая простыня; она так и висела там, пока разворачивались последующие события. Внезапно затрещали выстрелы, и Берт увидел бегущих немецких солдат. Они скрылись среди домов, но тут на сцене появились два инженера в синих рубашках и брюках, преследуемые по пятам тремя японскими меченосцами. Один из инженеров был хорошо сложен, и бежал он легко и быстро. Второй был невысокий толстяк. Он бежал забавно, отчаянно семеня ногами, прижав к бокам пухлые руки и закинув назад голову. Преследователи были в мундирах и темных шлемах из кожи с металлическими пластинками. Толстяк споткнулся, и Берт ахнул, осознав вдруг еще одну страшную сторону войны.

Бежавший впереди других меченосец выиграл благодаря этому три шага — достаточно для того, чтобы занести меч, когда он вскочит, и, не рассчитав удара, промахнуться.

Еще с десяток ярдов пробежали они, и снова японец взмахнул мечом, и в тот момент, когда толстяк падал головой вперед, до Берта донесся по воде звук, похо-

жий на мычание крошечной коровы. Японец еще и еще раз взмахнул мечом, нанося удар за ударом по тому, что валялось на земле, беспомощно закрываясь руками.

— Ох, не могу! — воскликнул Берт, почти рыдая, не в силах отвести глаз.

Японец нанес четвертый удар и вместе с подбежавшими товарищами кинулся догонять более прыткого бегуна. Тот, что бежал сзади, остановился и посмотрел назад. Возможно, он заметил какое-то движение; во всяком случае, он стал энергично рубить поверженное тело.

— О-о-о! — стенал Берт при каждом взмахе меча, а потом забился подальше в кусты и замер.

Немного погодя из города донеслись выстрелы, и все затихло — все, даже госпиталь.

Вскоре он увидел, как несколько маленьких фигурок, вкладывая мечи в ножны, вышли из домов и пошли к обломкам летательных машин, разбитых бомбой. Другие катили, словно велосипеды, неповрежденные аэропланы, вскакивали в седло и взлетали в воздух. Далеко на востоке показались три воздушных корабля и устремились к зениту. Корабль, который висел над самым городом, опустился еще ниже и сбросил веревочную лестницу, чтобы забрать солдат с электрической станции.

Долго наблюдал Берт за тем, что творилось в городе, словно кролик за охотниками. Он видел, как солдаты ходили от дома к дому и поджигали их, слышал глухие взрывы, доносившиеся из турбинного зала электрической станции. То же самое происходило и на канадском берегу. Тем временем к городу слеталось все больше и больше воздушных кораблей и еще больше аэропланов, и Берт решил, что тут находится не меньше трети азиатского флота. Он наблюдал за ними из своих кустов, боясь шевельнуться, хотя ноги у него отчаянно затекли, и видел, как собирались корабли, как выстраивались, и подавали сигналы, и подбирали солдат, пока наконец не уплыли в сторону пылающего заката, спеша на большой сбор азиатских воздушных эскадр над нефтяными промыслами Кливленда. Постепенно уменьшаясь, они наконец пропали из вида, и он остался один-единственный, насколько он мог судить, живой человек

в мире развалин и опустошения. Он следил, как азиатский флот исчезает за горизонтом. Он стоял и смотрел ему вслед, разинув рот.

— Фу ты! — сказал он наконец, как человек, очнувшийся от забытья.

И не только сознание своего одиночества, своей личной беды нагнало на него такую безысходную тоску — ему показалось, что наступил закат его расы.

2

Сначала он серьезно не задумывался над тем тяжелым положением, в котором очутился. За последнее время с ним столько случалось всякого, а от его собственной воли зависело так мало, что в конце концов он отдался на волю судьбы и не строил никаких планов. В последний раз он пытался проявить инициативу, когда в качестве «дервиша пустыни» предполагал объехать все английское побережье, развлекая ближних изысканным представлением. Судьба не пожелала этого. Судьба сочла более целесообразным уготовить ему другой удел. Она гоняла его с места на место и в конце концов забросила на этот каменистый островок, затерянный между двумя водопадами. Он не сразу сообразил, что теперь пришел его черед действовать. У него было странное чувство, что все это должно кончиться, как кончается сон, что он вот-вот окажется в привычном мире Грабба, Эдны и Банхилла, что этот несусветный грохот, это ослепительное соседство неиссякаемой воды можно будет отодвинуть в сторону, как отодвигают занавес после того, как в праздничный вечер потухнет волшебный фонарь, и жизнь снова войдет в свою старую, знакомую, привычную колею. Интересно будет потом рассказывать, как он повидал Ниагару. И тут он вспомнил слова Курта: «Людей отрывают от тех, кого они любят, дома разоряют, живые существа, полные жизни и воспоминаний, со всеми их склонностями и талантами, рвут на куски, морят голодом, развращают...»

«Неужто правда?» — подумал он с некоторым сомнением. Поверить в это было трудно. Неужели где-то там, далеко, Тому и Джессике тоже приходится плохо? Неужели зеленная лавочка закрылась и Джессика больше почтительно не отвешивает товары покупателям, не пилит

Тома в свободные минуты, не отсылает заказы в точно обещанное время?

Он попробовал было сообразить, какой это был день недели, и убедился, что потерял счет времени. Может, воскресенье. Если так, то пошли ли они в церковь или, может, прячутся в кустах? Что сталось с их домохозяином мясником, с Баттериджем, с людьми, которых он видел на пляже в Димчерче? Что сталось с Лондоном, он знал: его бомбардировали. Но кто? Может, за Томом и Джессикой тоже гоняются неведомые смуглолицые люди с длинными мечами наголо и со злыми глазами?

Он стал думать о том, какие именно невзгоды сулит им эта катастрофа, но постепенно все его мысли сосредоточились на одном. Хватает ли им еды? Его мозг сверлил мучительный вопрос: если человеку нечего есть, будет ли он есть крыс?

И вдруг он понял, что странная печаль, томившая его, вызвана не столько страхом перед будущим или патриотической тревогой, сколько голодом. Конечно же, он голоден!

Поразмыслив, он направился к павильону у разрушенного моста. Там что-нибудь да найдется...

Он раз-другой обошел его, а затем, вооружившись перочинным ножиком, к которому скоро прибавился еще и деревянный кол, как нельзя кстати оказавшийся под рукой, принялся взламывать ставни. Наконец одна ставня подалась, он рванул ее на себя и просунул голову внутрь.

— Какая-никакая, а все еда,— заметил он и, дотянувшись до шпингалета, скоро получил возможность беспрепятственно обследовать все заведение.

Он нашел несколько запечатанных бутылок пастеризованного молока, большое количество минеральной воды, две коробки сухарей и вазу с совершенно черствыми пирожными, папиросы (в большом количестве, но пересохшие), несколько уже сильно сморщившихся апельсинов, орехи, мясные консервы и консервированные фрукты и, наконец, тарелки, ножи, вилки и стаканы, которых хватило бы на несколько десятков посетителей. Затем он обнаружил оцинкованный ящик, но не сумел справиться с его замком.

— С голоду не пропаду,— сказал Берт,— временно хотя бы...

Он устроился у стойки и начал грызть сухари, запивая их молоком, и на какое-то время почувствовал полное удовлетворение.

— Спокойное местечко,— бормотал он, жуя и беспокойно озираясь по сторонам,— после всего, что мне довелось пережить.

— Вот же черт! Ну и денек! О-ох! Ну и денек же!

Теперь им овладело изумление.

— Фу ты!— восклицал он.— Ну и бой же был! Как их, бедняг, разгвоздали. В два счета! А корабли и летательные машины! Интересно, что сталось с «Цеппелином»?.. И Курт... интересно, что с ним? Хороший он был человек, Курт этот.

Внезапно он почувствовал тревогу за судьбы империи.

— Индия,— пробормотал он, но тут же его внимание отвлек более насущный вопрос: чем бы откупорить эти консервы?

3

Насытившись, Берт закурил папиросу и предался размышлениям.

— Интересно знать, где сейчас Грабб,— сказал он.— Нет, правда! А из них-то, интересно, хоть кто-нибудь обо мне вспоминает?

Затем он снова задумался над собственным положением.

— Не иначе как мне на этом острове придется до времени задержаться.

Он старался настроить себя на беспечный лад, но в конце концов в нем проснулось смутное беспокойство стадного животного, вдруг оказавшегося в одиночестве. Он стал ловить себя на том, что ему все время хочется оглянуться, и в качестве воспитательной меры заставил себя пойти и обследовать остров.

Он далеко не сразу осознал всю сложность своего положения и понял, что после того, как был разрушен мост между Зеленым островом и берегом, он оказался отрезанным от всего мира. Собственно, он сообразил это,

лишь когда вернулся к тому месту, где застрял, как севший на мель пароход, нос «Гогенцоллерна», и начал рассматривать разбитый мост. Но даже тогда он отнесся к этому факту вполне спокойно, воспринял его как еще один необычайный и ни в какой мере от него не зависящий случай. Он долго рассматривал разбитые каюты «Гогенцоллерна» с его вдовьим покрывалом из рваного шелка, даже не думая, что там может оказаться кто-то живой: до того изуродован и изломан был корабль, лежавший к тому же вверх дном. Потом он перевел взгляд на вечернее небо. Сейчас оно подернулось дымкой облаков и в нем не было видно ни одного воздушного корабля. Пролетела ласточка и схватила какую-то невидимую жертву.

— Прямо будто во сне,— повторил он.

Потом на некоторое время его вниманием завладел водопад.

— Грохочет. Все грохочет и плещет, грохочет и плещет. Всегда...

Наконец он вновь занялся собственной особой.

— А мне что же теперь делать?

Подумал.

— *Ума не приложу*,— сказал он.

Больше всего его занимала мысль, что всего лишь две недели тому назад он был в Банхилле и не помышлял ни о каких путешествиях, а вот теперь находится на островке между двух водопадов, среди развалин и опустошения, оставленных величайшей в мире воздушной битвой, успев в промежутке побывать над Францией, Бельгией, Германией, Англией, Ирландией и еще многими странами. Мысль была интересная, и об этом стоило бы с кем-нибудь поговорить, но практической ценности она не представляла.

— Интересно бы знать, как я отсюда выберусь? — сказал он.— Интересно бы знать, можно отсюда выбраться-то? Если нет... М-да!

Дальнейшие размышления привели к следующему:

— Черт меня дернул пойти на этот мост! Вот и влип теперь...

— Зато хоть япошкам под руку не попался. Уж мне-то они горло перерезали бы почем зря. Да. А все-таки...

Он решил вернуться к острову Луны. Долго стоял он, не шелохнувшись, на мысу, разглядывая канадский берег, и развалины гостиниц и домов, и поваленные деревья в Виктория-парке, порозовевшие теперь в лучах заката. Во всем этом разрушенном дотла городе не было видно ни одной живой души. Затем Берт вернулся на американский берег острова, перешел по мосту мимо сплющенных алюминиевых останков «Гогенцоллерна» на Зеленый остров и начал внимательно рассматривать пролом и кипящую в нем воду. Со стороны Буффало все еще валил густой дым, а впереди, там, где находился Ниагарский вокзал, бушевал пожар. Все теперь было пусто, все было тихо. Один маленький, забытый предмет валялся на дорожке, ведущей от города к шоссе,— скомканный ворох одежды, из которого торчали руки и ноги.

— Надо бы обследовать, что тут и как,— сказал Берт и отправился по дорожке, проходившей через середину острова.

Вскоре он обнаружил останки двух азиатских аэропланов, разбившихся во время боя, когда погиб «Гогенцоллерн».

Рядом с первым он нашел и останки авиатора.

Машина падала, по-видимому, вертикально и, врезавшись в деревья, сильно пострадала от сучьев. Погнутые и разодранные крылья и исковерканные опоры валялись среди обломанных, еще не успевших засохнуть веток, а нос зарылся в землю. Авиатор зловеще свисал вниз головой среди ветвей, в нескольких ярдах от машины. Берт обнаружил его, только когда отвернулся от аэроплана. В вечернем сумраке и тишине — потому что солнце тем временем село и ветер совершенно стих — это перевернутое желтое лицо, к тому же возникшее внезапно на расстоянии двух ярдов, подействовало на него отнюдь не успокоительно. Обломанный сук пронзил насквозь грудную клетку авиатора, и он висел, как приколотый, беспомощно и нелепо, еще сжимая в окоченевшей руке короткоствольную легкую винтовку.

Некоторое время Берт, застыв на месте, рассматривал труп.

Потом он пошел прочь, поминутно оглядываясь.

Наконец, дойдя до широкой прогалины, остановился.

— Фу ты! — прошептал он.— Не люблю я мертвяков. Уж лучше бы его живым встретить.

Он не захотел идти дальше по тропинке, поперек которой висел китаец. Ему что-то больше не хотелось оставаться в чаще, его манил дружеский рев и грохот водопада.

На второй аэроплан он набрел на лужайке, у самой воды, и ему показалось, что машина совсем цела. Можно было подумать, что она плавно опустилась на землю, чтобы передохнуть. Она лежала на боку, задрав одно крыло кверху. Авиатора рядом не было — ни живого, ни мертвого. Так вот она и лежала, брошенная, и вода лизала ее длинный хвост.

Берт долго не решался приблизиться к ней и не переставал вглядываться в сгущающиеся между деревьев тени, ожидая появления еще одного китайца — быть может, живого, а быть может, и мертвого. Затем очень осторожно он подошел к машине и стал рассматривать ее распростертые крылья, ее большое рулевое колесо и пустое седло. Потрогать ее он не рискнул.

— Хорошо б этого... там... не было,— сказал он.— Эх, если б только его там не было!

Тут он заметил, что в нескольких ярдах от него в водовороте под скалистым выступом что-то мелькает. Делая круг за кругом, непонятный предмет, казалось, гипнотизировал Берта, притягивал его к себе...

— Что это может быть?— сказал Берт.— Еще один!

Он не мог оторвать от него глаз. Он убеждал себя, что это второй авиатор, подстреленный в бою и свалившийся с седла при попытке сесть на землю. Он уже хотел было уйти, но потом ему пришло в голову, что можно взять сук или еще что-нибудь и оттолкнуть вращающийся предмет от берега, чтобы его унесло течением. Тогда у него на руках останется всего один покойник. С одним он еще, может, как-нибудь поладит. Он постоял в нерешительности, а потом, не без некоторой внутренней борьбы, заставил себя взяться за дело. Он пошел в кусты, срезал палку, вернулся на берег и забрался на камень, отделявший водоворот от быстрины. К тому времени закат догорел, в воздухе носились летучие мыши, а он был насквозь мокр от пота.

Берт отпихнул палкой этот непонятный предмет в синем, но неудачно; выждал, чтобы тот вновь приблизился к нему, и предпринял еще одну попытку — на этот раз увенчавшуюся успехом. Но когда предмет был подхвачен течением, он перевернулся, последний отблеск заката скользнул по золотистым волосам и... это был Курт!

Да, это был Курт, бледный, мертвый, исполненный глубокого покоя. Ошибки быть не могло: еще не совсем стемнело. Поток понес мертвеца, и он, казалось, отдался его стремительным объятиям, словно собираясь уснуть. Он был теперь бледен, от прежнего румянца не осталось и следа.

Берт смотрел, как труп уносило к водопаду, и безграничное отчаяние сдавило ему сердце.

— Курт! — *крикнул он.* — Курт! *Я ж не знал!* Курт! Не оставляй меня одного! Не оставляй!

Волна тоски и ужаса захлестнула его. Он не выдержал. Он стоял на скале в густеющем сумраке, и обливался слезами, и безудержно всхлипывал, как ребенок. Словно какое-то звено, соединявшее его с тем, что было кругом, вдруг сломалось и пропало навеки. Ему было страшно, как ребенку в пустой комнате, и он не стыдился своего страха.

Приближалась ночь. Среди деревьев зашевелились таинственные тени. Все кругом стало таинственным, незнакомым и каким-то странно непривычным — так чаще всего воспринимаешь в сновидениях обычную действительность.

— О господи, не могу я больше! — сказал он, пошатываясь, сошел с камней на лужайку и, съежившись, приник к земле. Но тут — и в этом было его спасение — он испытал прилив страшного горя, потому что не стало больше Курта, храброго Курта, доброго Курта. Он перестал всхлипывать и разрыдался. Он уже не сжимался в комок; он вытянулся на траве во всю длину и стиснул в бессильной злобе кулак.

— Эта война! — выкрикивал он. — Эта дурацкая война! Курт, Курт! Лейтенант Курт!

Хватит с меня, — продолжал он. — Хватит. Я сыт по горло. Не мир, а гниль какая-то, и нет в нем никакого смысла. Скоро ночь... А что, если он за мной придет? Не

может он за мной прийти, не может! Если он за мной придет, я в воду кинусь...

Вскоре он снова забормотал:

— Да нечего тут бояться! Одно воображение. Бедный Курт! Ведь знал он, что этим кончится. Будто предчувствовал. Так он и не дал мне того письма и, кто она, тоже не сказал. Как он сказал-то: «Людей отрывают от всего, на чем они выросли — повсюду». Так оно и есть... Вот меня взять: сижу здесь за тысячу миль от Эдны и Граббa, от всех моих, как растение, выдранное с корнем... И все войны такими были, только у меня ума не хватало понять. Всегда. И где только солдаты не умирали! А у людей не хватало ума понять, не хватало ума почувствовать и сказать: хватит. Думали: война — это очень даже здорово. О господи!...

Эх, Эдна, Эдна! Какая она была хорошая. Тот раз, когда мы в Кингстоне на лодке катались...

Я еще ее увижу, будьте уверены. Уж я постараюсь!

4

Совсем было приняв это героическое решение, Берт вдруг оцепенел от страха. Что-то подкрадывалось к нему по траве. Проползет немного, и притаится, и опять ползет к нему в смутной, темной траве. Ночь была наэлектризована ужасом. На минуту все стихло. Берт перестал дышать. Может быть, это... Нет, что-то слишком уж маленькое!

Вдруг «оно» прыгнуло прямо на него, еле слышно мяукая и задрав хвост. Потерлось об него головой и замурлыкало. «Оно» оказалось крошечным тощим котенком.

— Фу ты, киса, до чего ж ты меня напугала! — сказал Берт, смахнув со лба капли пота.

5

Всю эту ночь он просидел, прислонившись к пню и прижимая к себе котенка. Мозг его был переутомлен, и он больше не мог ни говорить, ни мыслить вразумительно. К рассвету он вздремнул.

Проснувшись, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но на душе у него стало легче: за пазухой спал котенок, согревая и успокаивая. Страхи, таившиеся между деревьями, куда-то исчезли.

Он погладил котенка, и маленький зверек, проснувшись, громко замурлыкал и начал тереться об его руку.

— Молочка б тебе,— сказал Берт.— Вот что тебе надо. Да и я бы не отказался от завтрака.

Он зевнул, поднялся на ноги, посадил котенка на плечо и осмотрелся, припоминая все обстоятельства прошедшего дня — мрачные, огромные события.

— Надо браться за дело,— сказал он.

Он вошел в рощицу и вскоре уже снова стоял возле мертвого аэронавта. Он прижался к котенку щекой — все-таки он был не один. Труп был ужасен, но далеко не так, как накануне в сумерках. К тому же окоченение прошло, винтовка вывалилась из рук на землю и теперь лежала наполовину скрытая травой.

— Надо бы нам его похоронить, киса,— сказал Берт и беспомощно оглядел каменистую землю вокруг.— Нам ведь с ним на острове жить придется.

Прошло некоторое время, прежде чем он смог заставить себя отвернуться и пойти к павильону.

— Прежде всего позавтракать. Так или иначе...— сказал он, поглаживая котенка у себя на плече.

Котенок нежно терся пушистой мордочкой об его щеку и наконец стал лизать ему ухо.

— Молочка хочется? — сказал Берт и повернулся спиной к мертвецу, словно ему до него и дела никакого не было.

Он с удивлением заметил, что дверь павильона открыта, хотя накануне он закрыл ее и тщательно запер на задвижку. А на прилавке стояли грязные тарелки — вечером он их не заметил. Затем он обнаружил, что петли крышек оцинкованного ящика отвинчены и что его можно открыть. Вчера он этого тоже не заметил.

— Что ж это я? — сказал Берт.— Замок пробовал сбивать, а толком не посмотрел.

Ящик, вероятно, служил ледником, но теперь он содержал лишь остовы десятка вареных куриц и какую-то странную субстанцию, возможно, в далеком прошлом бывшую маслом; кроме того, из ящика на редкость не-

аппетитно пахло. Берт поспешил тщательно закрыть крышку.

Он налил котенку молока в грязную тарелку и сидел, наблюдая, как тот старательно работает язычком. Затем решил обревизовать запасы продовольствия. В наличии оказалось шесть бутылок молока неоткупоренных и одна откупоренная, шестьдесят бутылок минеральной воды и большой запас всевозможных сиропов, около двух тысяч штук папирос и больше сотни сигар, девять апельсинов, две неоткупоренные банки мясных консервов и одна начатая, две коробки сухариков и одиннадцать штук черствых пирожных, несколько горстей орехов и пять больших банок калифорнийских персиков. Он составил список.

— Маловато существенного,— сказал он.— Но все-таки... недели на две хватит. А за две недели всякое может случиться.

Он подлил котенку молока, дал еще кусочек мяса и затем отправился посмотреть на останки «Гогенцоллерна»; котенок бежал за ним, весело задрав хвост. За ночь нос воздушного корабля несколько переместился и, по-видимому, еще прочнее сел на мель у Зеленого острова. Берт перевел взгляд на разбитый мост, а затем на безмолвную пустыню города. Тишину и мертвенность нарушала только стая ворон. Они кружили над инженером, который был убит накануне на его глазах. Собак он не видел, хотя издали доносился собачий вой.

— Надо как-то отсюда выбираться, киса,— сказал он,— молока нам надолго не хватит при твоем-то аппетите.

Он посмотрел на стремительный поток, мчавшийся перед ним.

— Воды тут порядочно,— сказал он.— Чего-чего, а этого нам хватит.

Он решил тщательно исследовать остров. В скором времени он набрел на запертую калитку, на которой висела табличка «Лестница Бидла», перелез через нее и обнаружил крутую деревянную лестницу с покосившимися ступенями. Лестница лепилась по скале и уводила вниз под невероятный и все нарастающий грохот воды. Он оставил котенка наверху, спустился и обнаружил

с искрой надежды тропинку, извивавшуюся между скал вдоль стремнины центрального водопада. В его сердце вспыхнула надежда: быть может, она выведет его из этой западни!

Тропинка привела его лишь в душную и гремящую западню Пещеры Ветров, где, простояв четверть часа в оцепенении между непроницаемой скалой и почти столь же непроницаемой стеной воды, он наконец пришел к выводу, что этот путь вряд ли приведет в Канаду, и пошел назад. Поднимаясь по «Лестнице Бидла», он услышал звук шагов по усыпанной гравием дорожке, но заключил, что это могло быть только эхо. Когда он выбрался наверх, на скалы, кругом все было пусто, как прежде.

Затем в сопровождении резвящегося котенка Берт спустился по лестнице, которая вела к наклонной скале, сторожившей изумрудное великолепие водопада Подкова. Некоторое время он молча стоял там.

— Кто бы мог подумать,— сказал он наконец,— что бывает столько воды... Этот грохот и плеск любого в конце концов доконают... Будто кто-то разговаривает... Будто кто-то ходит... Да мало ли что еще может послышаться!

Он снова поднялся наверх.

— Видно, так я и буду кружить по этому проклятому острову, — сказал он уныло. — Все кругом и кругом.

Вскоре он снова очутился возле менее поврежденного азиатского аэроплана. Берт уставился на него, а кошка его понюхала.

— Поломан! — сказал он.

Он поднял глаза и подпрыгнул от неожиданности.

Из рощицы на него медленно надвигались две длинные тощие фигуры. Они были черны от копоти и забинтованы. Задний припадал на одну ногу, и его голова была замотана белым. Но тот, что шел впереди, все еще держался как принц, несмотря на то, что левая его рука лежала в лубке и одну половину лица покрывал багровый ожог. Это был принц Карл Альберт, бог войны, «Германский Александр», а сзади него ковылял офицер с птичьим лицом, который однажды лишился из-за Берта своей каюты.

6

С этого момента началась новая фаза злоключений Берта на Козьем острове. Он перестал быть единственным представителем человечества в бескрайней, бурной и непонятной вселенной и снова превратился в социальное существо, в человека в мире ему подобных. На миг при виде этой пары он пришел в ужас, потом они показались ему любимыми братьями. У них была общая с ним беда: они тоже очутились на необитаемом острове, растерянные и испуганные. Ему ужасно захотелось узнать подробности всего, что с ними произошло. Его не смущало, что один из них принц и оба они иностранные солдаты, почти не говорящие на его родном языке. В нем вновь проснулась развязность обитателя английских городских окраин, не склонного к чинопочитанию, и подобные мелочи не могли его остановить, да и азиатский флот навсегда покончил со всеми этими нелепыми различиями.

— Здорово,— сказал он.— Как это вы сюда угодили?

— Это англичанин, который привез нам машину Баттериджа,— сказал офицер с птичьим лицом по-немецки и, увидев, что Берт продолжает приближаться, в ужасе воскликнул: — Честь! — И еще раз громче: — Отдай честь!

— Фу ты,— сказал Берт и остановился, договаривая остальное себе под нос. Он вытаращил глаза и неловко козырнул и тут же снова превратился в настороженное, замкнувшееся в себе существо, на которое нельзя положиться.

Некоторое время эти два образчика современных аристократов рассматривали нелегкую проблему, именовавшуюся англосаксонским гражданином,— этим ненадежным гражданином, который, подчиняясь какому-то загадочному велению крови, не желал ни поддаваться муштре, ни стать демократом. Берт отнюдь не был приятным предметом для созерцания, но каким-то необъяснимым образом он производил впечатление стойкости. На нем был дешевый саржевый костюм, сильно поношенный, но благодаря свободному покрою пиджака плечи Берта казались шире, чем были на самом деле; его невыразительная физиономия выглядывала из-под белой немецкой

фуражки, которая была ему явно велика, штаны, заправленные в высокие резиновые сапоги покойного немецкого солдата, напоминали мехи гармошки. Он выглядел простолюдином, но отнюдь не смиренным простолюдином, и инстинктивно они почувствовали к нему ненависть.

Принц указал на летательную машину и сказал что-то на ломаном английском, который Берт принял за немецкий и не понял. О чем и поставил их в известность.

— Dummer Kerl![1] — прошипел офицер с птичьим лицом откуда-то из-под своих бинтов.

Принц снова указал пальцем неповрежденной руки.

— Этот «драхенфлигер» ви понимайт?

Берт начал уяснять себе положение. Он оглядел азиатскую машину. Банхилловские навыки вернулись к нему.

— Иностранная марка,— сказал он уклончиво.

Немцы посоветовались.

— Ви спесьялист? — сказал принц.

— Отчего ж, починить мы починим,— сказал Берт, точно копируя Грабба.

Принц порылся в своем словарном запасе.

— Он хорошо, чтоб летайт? — спросил он.

Берт задумался и неторопливо почесал подбородок.

— Дайте-ка мне на него толком взглянуть,— ответил он.— Вон как его покорябало.

Он поцокал языком — прием, тоже позаимствованный у Грабба,— засунул руки в карманы и не спеша пошел к машине. Обычно Грабб при этом еще жевал что-нибудь, но жевать Берт мог только в воображении.

— Работы на три дня,— процедил он.

Впервые его осенило, что эта машина может на что-нибудь пригодиться. Крыло, прижатое к земле, было, несомненно, сломано. Все три его опоры сломались о скалу, и трудно было надеяться, что мотор совсем не пострадал. Крюк на этом крыле надломился, но это вряд ли могло влиять на полет. Других серьезных повреждений Берт не заметил. Берт снова почесал подбородок и в раздумье уставился на озаренный солнцем разлив у Верхних порогов.

---

[1] Болван! *(нем.)*.

— Может, у нас кое-что и получится... Положитесь на меня.

Он снова тщательно обследовал машину, а принц с офицером наблюдали за ним. В Банхилле Берт с Граббом до тонкости разработали метод починки прокатных велосипедов путем замены поломанных частей частями, снятыми с других машин. Велосипед, безнадежно и слишком уж очевидно покалеченный даже для того, чтобы давать его на прокат, тем не менее представлял известную материальную ценность. Он превращался в своего рода шахту для добычи болтов, винтов, спиц, перекладин, цепей и так далее — в рудник плохо пригоняющихся «частей» для исправления изъянов машин, все еще находящихся в обращении. А ведь в рощице был еще один азиатский аэроплан.

Забытый котенок терся о сапоги Берта.

— Тшините этот «драхенфлигер»,— сказал принц.

— Ну, хорошо, я его починю,— сказал Берт, которого осенила новая мысль.— А кто ж из нас сможет полететь на нем?

— Я буду на нем летайт,— сказал принц.

— И сломаете шею,— заметил Берт после паузы.

Принц его не понял и не обратил внимания на его слова. Он ткнул рукой, обтянутой перчаткой, в сторону машины и повернулся к офицеру с птичьим лицом с каким-то замечанием на немецком языке. Офицер ответил, и принц величественным жестом указал на небо. Затем он заговорил, по-видимому, очень красноречиво. Берт внимательно смотрел на него и догадался, о чем шла речь.

— Навряд ли,— заметил он.— Скорее шею сломаете. Ну да ладно, за работу!

Он заглянул под седло летательной машины и в мотор, ища инструменты. Кроме того, ему необходимо было вымазать лицо и руки машинным маслом, так как в понимании фирмы Грабба и Смоллуейза искусство ремонта прежде всего требовало, чтобы лицо и руки были покрыты толстым слоем масла и копоти. И еще он скинул пиджак и жилет и аккуратно сдвинул фуражку на затылок, чтобы легче было почесывать голову.

Принц с офицером, по-видимому, намеревались наблюдать за его работой, но он сумел объяснить им, что это

будет мешать ему и что, прежде чем браться за дело, он должен «пораскинуть немного мозгами». Они было постояли в нерешительности, но Берт за годы работы в мастерской научился внушать заказчикам почтение к себе. И в конце концов они ушли, а Берт немедленно бросился ко второму аэроплану, взял винтовку авиатора и патроны и спрятал их поблизости в зарослях крапивы.

— Так оно будет вернее,— сказал он и принялся тщательно изучать обломки крыльев, застрявшие между ветками. Затем вернулся к первому аэроплану, чтобы сравнить тот и другой, и решил, что банхилловский метод можно пустить в ход и тут, при условии, конечно, что мотор не окажется слишком сложным или безнадежно сломанным.

Когда немного погодя немцы вернулись, он уже был весь перемазан и по очереди пробовал кнопки, рычаги и лопасти с чрезвычайно деловитым видом. Когда офицер с птичьим лицом обратился к нему с каким-то замечанием, он отмахнулся от него со словами:

— Не компрене! [1] Лучше помолчите. Толку все равно не будет.

Потом ему пришла в голову блестящая мысль.

— Покойника там похоронить надо,— сказал он, ткнув большим пальцем через плечо.

7

С появлением этих двух людей мир Берта опять претерпел изменение. Кончилось безграничное и ужасающее одиночество, так подавлявшее его. Он находился в мире, населенном тремя людьми, и хотя это было весьма миниатюрное человеческое общество, тем не менее его мозг был переполнен предположениями, расчетами и хитрыми планами. Что у них на уме? Что они про него думают? Что замышляют? Сотни замыслов роились в его уме, в то время как он прилежно трудился над азиатским аэропланом. Новые идеи возникали, как пузырьки в содовой воде.

— Фу ты,—сказал он вдруг, осознав со всей ясностью как одно из проявлений безрассудной несправедливости

[1] Не понимаю! *(ломаный франц.)*.

судьбы тот факт, что эти двое людей остались в живых, а Курт погиб. Весь экипаж «Гогенцоллерна» был перебит, или сгорел заживо, или разбился насмерть, или потонул, а эти двое, притаившись в носовой каюте с мягкой обивкой, спаслись.

— А еще воображает, верно, проклятый, что так ему, значит, на роду написано,— пробормотал он и почувствовал отчаянную злость.

Он встал и повернулся к ним. Они стояли бок о бок, наблюдая за ним.

— Хватит на меня глазеть,— сказал он.— Мешаете только.— И затем, увидев, что они не понимают, пошел на них с гаечным ключом в руке. Тут он вдруг заметил, что принц очень широк в плечах и, по-видимому, весьма силен и что-то очень уж невозмутим Но тем не менее он сказал, тыча пальцем в сторону рощицы:

— Покойник!

Офицер с птичьим лицом сделал ему резкое замечание по-немецки.

— Покойник,— повторил Берт, обращаясь к нему.— Там вон.

Ему стоило больших трудов склонить немцев пойти за ним, но наконец он все же отвел их в рощу. Тогда они дали понять, что ему, как человеку простого звания, не имеющему офицерского чина, принадлежит бесспорная привилегия разделаться с трупом, оттащив его к воде. Некоторое время все они возбужденно жестикулировали, и в конце концов офицер с птичьим лицом снизошел до того, чтобы помочь ему. Вдвоем они поволокли обмякшее, успевшее раздуться тело через рощу и после двух-трех передышек — груз был отнюдь не легкий — столкнули его в стремнину с западной стороны острова. В конце концов Берт, у которого теперь ломило руки и спину, а душу переполняло злобное возмущение, снова приступил к детальному обследованию летательной машины.

— Наглость какая! — сказал он.— Да что я, немец, что ли, чтобы ему прислуживать! Ощипанный гусак!

И затем принялся размышлять над тем, что произойдет, когда он починит летательную машину, если ее удастся починить. Оба немца опять ушли, и, поразмыслив не-

много, Берт отвернул несколько гаек, надел пиджак и жилет, рассовал по карманам выкрученные гайки и свои инструменты, а набор инструментов, взятый со второго аэроплана, спрятал в дупле.

— Так оно надежней будет,— сказал он, спрыгивая с дерева, после того как была принята эта последняя мера предосторожности. Не успел он вернуться к машине, стоявшей на берегу, как снова появились принц и его адъютант. Некоторое время принц наблюдал за ходом работы, а потом направился к мысу, где река разделялась на два рукава, и встал там, скрестив руки на груди, погруженный в глубокое раздумье. Офицер с птичьим лицом подошел к Берту и с трудом выпалил по-английски.

— Идите,— сказал он, помогая себе жестами,— ешьте.

Войдя в павильон, Берт обнаружил, что весь запас еды, за исключением порции мясных консервов и трех сухарей, исчез. Глаза у него полезли на лоб, рот раскрылся. Из-под прилавка вылез котенок, заискивающе мурлыча.

— Ну, конечно! — сказал Берт.— А где твое молоко?

Он подождал, чтобы гнев его достиг предела, схватил тарелку в одну руку, сухари — в другую и пошел на поиски принца, изрыгая хулу, в которой фигурировало слово «харч» и упоминались кое-какие внутренности. Он подошел к принцу, не отдав чести.

— Эй! — сказал он грозно.— Это что еще за штучки?

Последовало совершенно безрезультатное препирательство. Берт развивал на английском языке банхиллскую теорию о соотношении харчей и производительности труда, а адъютант возражал ему по-немецки, упирая на судьбы наций и дисциплину. Принц, оценив на глаз физические возможности Берта, внезапно решил напомнить ему, с кем он имеет дело. Он схватил Берта за плечо и тряхнул так, что инструменты в карманах его загремели, грозно прикрикнул на него и отшвырнул. Он ударил его, словно какого-нибудь немецкого солдата. Берт отлетел, бледный и перепуганный, но тем не менее готовый выполнить то, что от него требовал банхиллский кодекс чести, а именно «дать сдачи» принцу

— Фу ты! — выдохнул он, застегивая пуговицы.

— Ну! — воскликнул принц.— Уходить! — Но, заметив героический блеск в глазах Берта, выхватил саблю.

Но тут вмешался офицер с птичьим лицом; он сказал что-то по-немецки, указывая на небо.

Вдали, на юго-западе, появился японский воздушный корабль, быстро приближавшийся к ним. Его появление положило конец конфликту. Принц первый оценил ситуацию и возглавил отступление. Все трое, как зайцы, бросились в кусты и заметались в поисках убежища, пока не нашли овражка, заросшего высокой травой. Там они уселись рядом на корточки и долго сидели по шею в траве, высматривая воздушный корабль сквозь ветви деревьев. Берт растерял почти все мясо, но сухари попрежнему были зажаты у него в руке, и он потихоньку их съел. Чудовище проплыло прямо над ними, ушло в сторону города и опустилось на землю за электрической станцией. Пока оно было близко, все трое молчали, но потом вступили в спор, который не кончился рукоприкладством, пожалуй, только потому, что они не понимали друг друга.

Первым заговорил Берт и продолжал говорить, мало заботясь о том, понимают его или нет. Однако голос, несомненно, выдавал его злостные намерения.

— Машину вам нужно,— говорил он,— так вы лучше рукам волю не давайте!

Они не обратили внимания на его слова, и он снова их повторил. Потом он начал развивать свою мысль и увлекся:

— Думаете: заполучили прислужника, которого можно пинать и толкать, как своего солдата? Ошибаетесь! Понятно? Хватит с меня вас и ваших штучек! Я тут все думал про вас, и про вашу войну, и про вашу империю, и всю эту дрянь. Дрянь, она и есть дрянь. Это вы, немцы, заводили все свары в Европе от первой до последней. А что толку? Так, только хвост распускаете, потому что военные мундиры и флаги вам девать некуда. Ну вот я, скажем. Я вас и знать не хотел. И думать о вас не думал. Так нет, сцапали меня, украли, можно сказать,— и вот я теперь сижу за тысячи миль от родного дома, от всего своего, а флот-то весь ваш дурацкий в лепешку разбит. А вам и теперь хвост распускать охота! Не выйдет!

Вы посмотрите, чего вы наделали. Посмотрите, как вы Нью-Йорк искорежили, сколько людей перебили, сколько добра зря извели! Пора бы научиться кое-чему.

— Dummer Kerl! — сказал вдруг адъютант злобным голосом, свирепо сверкнув глазами из-под своих бинтов.— Esel!

— То есть, по-вашему, осел значит! Знаю. Только кто осел-то — он или я? Когда я мальчишкой был, я тоже, помню, книжками зачитывался про всякие там приключения и про великих полководцев, разной такой дрянью. Я это из головы выкинул, а вот чем у него башка набита? Дребеденью про Наполеона, дребеденью про Александра, дребеденью про его славный род, и про бога, и про Давида, и всяким таким прочим. Так ведь каждый, если только он человек, а не какой-то принц расфуфыренный, давно бы уже понял, чем это кончится. Все мы там у себя в Европе ошалели со своими дурацкими флагами, а наши дурацкие газеты, знай, науськивали нас друг на друга! А тем временем Китай не зевал — эти их миллионы миллионов только подучить надо было, и стали они не хуже нас. Вы думали, им до вас не добраться. А они летательную машину построили. Трах! И сидим мы тут. А ведь когда у них ни пушек, ни армий не было, мы к ним все лезли да лезли, пока они за ум не взялись. И побили нас, потому что мы сами напрашивались. Успокоиться не могли, пока своего не добились. Ну вот теперь, как я говорю, и сидим мы здесь.

Офицер с птичьим лицом крикнул, чтобы он замолчал, а сам заговорил с принцем.

— Я британский гражданин,— заявил Берт.— Не хотите, не слушайте, а и я молчать не обязан.

Некоторое время он еще продолжал философствовать на тему об империях, милитаризме и международной политике. Но они разговаривали, не обращая на него внимания, и это сильно его обескураживало, так что некоторое время он не скупился на бранные выражения, вроде «павлин бесхвостый» и тому подобное—как вышедшие из употребления, так и вполне современные.

Потом он вдруг вспомнил свою главную обиду.

— Да слушайте, слушайте-ка! Я ведь о чем говорил: куда вся еда подевалась? Вот что меня интересует. Куда вы ее спрятали?

Он умолк. Они продолжали разговаривать по-немецки. Он повторил свой вопрос. Они продолжали его игнорировать. Он еще раз повторил свой вопрос в крайне вызывающей форме.

Наступило напряженное молчание. Несколько секунд все трое смотрели друг на друга. Берт не выдержал сверлящего взгляда принца и отвел глаза. Принц неторопливо поднялся, и офицер с птичьим лицом вскочил, как на пружине. Берт остался сидеть на корточках.

— Ви самолтшишь,— сказал принц.

Берт сообразил, что сейчас не время блистать красноречием.

Двое немцев взирали на его съежившуюся фигуру.

Ему показалось, что на него упала тень смерти.

Потом принц отвернулся, и они оба зашагали к летательной машине.

— Фу ты! — прошептал Берт и пробормотал себе под нос одно-единственное ругательство. Минуты три, не меньше, просидел он, скорчившись, потом вскочил и пошел за винтовкой китайского авиатора, спрятанной в крапиве.

8

С этого момента никто уже не делал вида, будто Берт подчиняется принцу и будет ремонтировать летательную машину. Машиной завладели немцы и уже возились с ней. Берт, забрав свое новое оружие, отправился к скале Черепах, чтобы на свободе как следует рассмотреть его. Это оказалась короткоствольная крупнокалиберная винтовка с почти полным магазином. Он осторожно вынул патроны, подергал затвор и после нескольких таких манипуляций решил, что сумеет ею воспользоваться. После чего он осторожно зарядил ее снова. Потом вспомнил, что голоден, и пошел с винтовкой под мышкой поискать еды в павильоне или около него. У него хватило ума сообразить, что не стоит попадаться на глаза принцу и его адъютанту с винтовкой в руках. Пока они считают его безоружным, они не станут его трогать. Но если этот полководец с наполеоновскими замашками увидит в его руках винтовку, неизвестно, что он выкинет. Кроме того, он опасался приблизиться к ним и потому, что у него

в душе клокотала злоба и страх и ему очень хотелось застрелить эту пару. Да, ему хотелось застрелить их, и в то же время он считал, что это было бы гнусным преступлением. Вот так в его душе вели борьбу две стороны его непоследовательной цивилизации.

Когда он приблизился к павильону, к нему присоединился котенок, очевидно, считавший, что настало время пить молоко. При виде его Берт почувствовал, что просто изнемогает от голода. Он занялся поисками, бормоча себе под нос, и вскоре уже выкрикивал оскорбления, забыв обо всем. Он упоминал войну, спесь и гнилые империи.

— Всякий другой принц погиб бы со своими солдатами и своим кораблем! — кричал он.

Немцы у летательной машины услышали его голос, прорывавшийся время от времени сквозь шум воды. Глаза их встретились, и они обменялись едва заметной улыбкой.

Сначала он решил было дождаться их в павильоне, но потом сообразил, что таким образом они оба окажутся слишком близко от него. В конце концов он ушел в сторону острова Луны, чтобы там на мысе как следует обдумать создавшееся положение.

Сначала все казалось сравнительно просто, но чем дальше он обдумывал положение, тем сложнее оно ему представлялось. У них у обоих были сабли, но могли быть еще и револьверы.

К тому же, если он застрелит обоих, сумеет ли он отыскать еду?

До сих пор он разгуливал с винтовкой под мышкой, гордо чувствуя себя в полной безопасности. Но что, если они увидят винтовку и устроят засаду? На Козьем острове устроить засаду ничего не стоит — везде деревья, скалы, кусты, неровности почвы.

А отчего бы не убить их обоих сейчас?

«Не могу я,— сразу же отказался Берт от этой мысли.— Для этого мне надо сначала распалиться».

Однако он сделал ошибку, потеряв их из виду. Внезапно он отчетливо это понял. Он должен не спускать с них глаз, должен выслеживать их. Тогда он сможет выяснить, чем они занимаются, есть ли у них револьверы, где они спрятали еду. Тогда ему легче бу-

дет установить, что они замышляют против него. Если он не станет выслеживать их, очень скоро они начнут выслеживать его. Это рассуждение показалось настолько логичным, что он тотчас же перешел к делу. Он осмотрел свой наряд и решительно закинул воротничок и предательскую белую фуражку подальше в воду. Поднял воротник пиджака, чтобы нигде не проглядывала белая (правда, уже сильно посеревшая) рубашка. Инструменты и гайки в его карманах весело побрякивали при ходьбе, и он обернул их письмами и носовым платком. После этого стал осторожно и бесшумно красться между деревьями, прислушиваясь и озираясь на каждом шагу. Вскоре скрип и покряхтывание указали ему, где находятся его враги. Они возились с машиной, и со стороны могло показаться, что они изучают на ней приемы французской борьбы. Мундиры они сняли, сабли отложили в сторону и трудились в поте лица. Очевидно, они хотели повернуть машину, и застрявший между деревьями длинный хвост причинял им немало хлопот. Завидев их, Берт бросился плашмя на землю, заполз в ложбину и принялся наблюдать за их стараниями. Порой, чтобы скоротать время, он начинал целиться то в одного, то в другого.

Он следил за их стараниями с большим интересом и до того увлекся, что еле удерживался от того, чтобы не подать им какой-нибудь совет. Он сообразил, что когда они повернут машину, им понадобятся гайки и инструменты, лежавшие у него в карманах. И они начнут его разыскивать. Они, конечно, сразу догадаются, что инструменты у него или что он их спрятал. Может быть, спрятать винтовку и попытаться выменять их на еду? Но он чувствовал, что не сможет расстаться с винтовкой: слишком надежной была она спутницей. Тут его разыскал котенок, и радостно бросился к нему, и стал лизать и покусывать ему ухо.

Солнце уже приближалось к зениту — в течение утра Берт заметил то, чего не видели немцы,— азиатский воздушный корабль далеко на юге, быстро летевший на восток.

Наконец летательную машину удалось повернуть. Теперь она стояла на своем колесе, нацелив крючья на пороги. Немцы вытерли лица, надели мундиры и подо-

брали сабли; держались они и разговаривали как люди, которые с утра хорошо поработали и собой весьма довольны. Потом они — принц впереди — направились бодрым шагом к павильону. Берт последовал за ними, но вынужден был немного отстать, чтобы не выдать своего присутствия, и не сумел узнать, где они спрятали еду. Когда он снова увидел их, они уже сидели, прислонившись к стене павильона. На колене у каждого было по тарелке, на траве между ними стояла банка консервов и полная тарелка сухарей. Они были в очень хорошем настроении, и раз принц даже засмеялся. Это зрелище насыщения нарушило планы Берта. Он забыл обо всем, кроме голода. Он внезапно выскочил ярдах в двадцати от них, целясь из винтовки.

— Руки вверх! — приказал он свирепым голосом.

Принц помедлил, потом две пары рук поднялись вверх. Винтовка оказалась для них полным сюрпризом.

— Встать! — сказал Берт.— Вилку брось!

Они снова повиновались.

«А теперь чего? — спросил себя Берт.— Согнать их отсюда, что ли?..»

— Туда,— приказал он.— Марш!

Принц повиновался с поразительной готовностью. Дойдя до конца поляны, он быстро сказал что-то офицеру с птичьим лицом, и оба они, совершенно забыв о своем достоинстве, пустились бежать.

Тут Берту с досадным опозданием пришла в голову отличная мысль.

— Вот же черт! — воскликнул он со злостью.— И как это я? Надо же было отобрать у них сабли! Эй!

Но немцы уже скрылись из глаз и, несомненно, прятались где-то среди деревьев. Берт еще почертыхался, а потом пошел к павильону, весьма поверхностно проверил возможность нападения с фланга, положил винтовку рядом и занялся мясом, оставшимся на тарелке принца, напряженно прислушиваясь каждый раз, перед тем как снова набить рот. Разделавшись с этой тарелкой, он предоставил котенку вылизывать ее, а сам хотел было приняться за вторую, как она развалилась на куски прямо у него в руке! Он вытаращил глаза, постепенно соображая, что за мгновение до этого слышал в кустах какой-

то треск. Тут он вскочил на ноги, схватил винтовку в одну руку, консервы в другую и помчался вокруг павильона, на другой конец поляны. В это время в кустах снова раздался треск и что-то просвистело у него над ухом.

Он бежал, не останавливаясь, пока не достиг надежного — на его взгляд — укрытия вблизи острова Луны. Он занял оборонительную позицию и припал к земле, с трудом переводя дух.

— Значит, у них все-таки есть револьвер! — выговорил он.— Может, два? Если два, тогда мне крышка! А котенок куда девался? Доедает, верно, мясо. Негодник этакий!..

9

Вот так на Козьем острове началась война. Длилась она один день и одну ночь — самый долгий день и самую долгую ночь в жизни Берта. Ему приходилось прятаться, и прислушиваться, и быть начеку. И еще ему приходилось обдумывать план действий. Теперь было совершенно очевидно, что ему необходимо убить этих двух людей (если он сможет), иначе же они (если смогут) обязательно убьют его. Победителю доставалась еда и летательная машина, а также сомнительная привилегия попытаться улететь на ней. Неудача означала смерть, удача — возможность выбраться в неизвестное. Берт попробовал было представить себе, что происходит «там». Он перебирал в уме все возможности: пустыни, разъяренные американцы, японцы, китайцы, может, индейцы? (А есть ли они еще, индейцы-то?)

— Будь что будет,— сказал Берт.— Все одно, никуда не денешься!

Что это — голоса? Он поймал себя на том, что стал невнимателен. На некоторое время он весь обратился в слух. Грохот водопада заглушал все, а к тому же в нем слышались самые разнообразные звуки: то шаги, то голоса, то крики и вопли.

— Вот же дурацкий водопад,— сказал Берт.— Все падает и падает, а что толку-то?.. Ну ладно, теперь не до этого. Знать бы, чем немцы занимаются. Вернулись ли они к летательной машине? Но сделать с ней они ничего не смогут: ведь гайки, и болты, и гаечный ключ, и другие инструменты лежат у него в кармане. А если они

найдут запасные инструменты, которые он спрятал на дереве? Правда, спрятал он их хорошо, но ведь могут же они найти их. Тут не угадаешь. Никак не угадаешь. Он попробовал вспомнить, как именно он их спрятал, попробовал убедить себя, что спрятаны они надежно, но тут его память вдруг вышла из повиновения. А вдруг и правда ручка гаечного ключа торчит из дупла и сверкает на солнце?..

Ш-ш! Что это? Кто-то шевельнулся в кустах? Винтовка взметнулась к плечу. Нет! Котенок? Нет! Даже не котенок, просто воображение.

Немцы, конечно, хватятся инструментов, и гаек, и болтов, которые лежат у него в кармане, и начнут их искать. Это ясно. Потом догадаются, что он их взял, и начнут разыскивать его. Значит, если он будет сидеть тихо в своем убежище, он сумеет их подстрелить. Все как будто бы очень складно. Или нет?.. А вдруг они снимут с машины еще какие-нибудь части и устроят засаду? Нет, этого они не сделают, потому что их двое против одного; они могут не бояться, что он захватит летательную машину, им и в голову не придет, что он может решиться подойти к ней, и они не станут ее портить. Это, решил он, во всяком случае, ясно. Да, а что, если они устроят ему засаду около того места, где спрятана еда? Нет, этого они, пожалуй, не станут делать: знают же они, что он унес банку консервов; ее хватит на несколько дней, если не слишком роскошествовать. Конечно, они могут попробовать взять его измором, вместо того чтобы нападать на него...

Он вздрогнул и очнулся от дремоты. Только теперь он осознал, где самое слабое место в его обороне. Он же может уснуть!

Через десять минут после того, как ему в голову пришла эта мысль, он понял, что засыпает.

Он протер глаза и взял в руки винтовку. Никогда прежде он не замечал, как усыпляюще действует американское солнце, американский воздух, дремотный, баюкающий гул Ниагары. До сих пор все это, казалось, скорее располагало к бодрствованию...

Не ел бы он так много да так быстро, не сморило бы его сейчас. А как вегетарианцы—никогда не дремлют даже?

Он снова вздрогнул и проснулся.

Если он чего-нибудь не предпримет, то он уснет, а если он уснет, то можно ставить десять против одного, что они найдут его, пока он тут храпит, и сразу прикончат. Если же он так и будет сидеть, не шелохнувшись, не дыша, он непременно уснет. Лучше уж, решил он, рискнуть самому напасть на них. Он чувствовал, что роковой сон в конце концов одолеет его, обязательно одолеет. Им-то хорошо: один спит, другой караулит. А ведь если вдуматься, они так и будут поступать: один будет делать все, что нужно, а другой — лежать в укрытии поблизости, готовый стрелять. Один может даже изобразить из себя приманку...

Тут он задумался о приманках: ну и дурень же он — ну зачем ему понадобилось выбрасывать свою фуражку! Нацепить бы ее на палку, так ей цены бы не было, особенно ночью.

Он обнаружил, что ему хочется пить. Эту проблему он разрешил, засунув в рот голыш. Но тут к нему опять стал подкрадываться сон.

Он понял, что должен перейти в нападение.

Подобно многим великим полководцам прошлого, он обнаружил, что обоз — иными словами, консервы — очень стеснит его в походе. В конце концов он решил переложить мясо в карманы, а банку бросить. Это, вероятно, был не идеальный выход, но во время кампании приходится идти на некоторые жертвы. Он прополз на животе ярдов десять, но тут мысль о значении происходящего на время парализовала его.

День был тихий. Грохот водопада только подчеркивал эту необъятную тишину. Вот он всячески изыскивает способ, как бы половчее убить двух людей, которые, наверное, лучше его. А они изыскивают способ, как бы половчее убить его. Что делают они под покровом этой тишины?

А что, если он вдруг наткнется на них и выстрелит — и промахнется?

10

Он полз и останавливался, прислушиваясь, и снова полз, пока окончательно не стемнело, и, безусловно, Германский Александр со своим адъютантом занимались

тем же. Если бы на большой карте Козьего острова нанести эти стратегические передвижения красными и синими линиями, то, несомненно, эти линии не раз переплетались бы, и все же на протяжении этого бесконечного дня утомительного бдения ни одна из сторон не смогла выследить другую. Берт не знал, близко ли он от них или далеко. Ночь застала его — уже не сонным, а изнывающим от жажды — недалеко от американского водопада. Его осенила мысль, что противники могут прятаться в обломке «Гогенцоллерна», застрявшем на Зеленом острове. Он вдруг осмелел, перестал прятаться и рысцой побежал через мостик. Он никого не обнаружил. Это было первый раз, что он приблизился к останкам воздушного гиганта и теперь в неясном свете с любопытством обследовал их. Он обнаружил, что передняя каюта почти не пострадала, только дверь оказалась в полу да затопило один угол. Он залез внутрь, напился, а потом ему пришла в голову блестящая идея закрыть дверь и на ней лечь спать.

Но теперь он уже совсем не хотел спать.

Под утро он все же задремал, и когда проснулся, оказалось, что солнце стоит уже высоко. Он позавтракал консервами и водой и долго сидел, наслаждаясь чувством безопасности. Наконец он почувствовал прилив отваги, и его охватила жажда деятельности. Так или иначе, решил он, а надо с этим делом кончать. Хватит шмыгать по кустам. Он вышел в мир, залитый лучами утреннего солнца, держа в руке винтовку и даже не стараясь ступать тихо. Он обошел павильон, не нашел никого, а затем отправился через рощицу к летательной машине. Он наткнулся на офицера с птичьим лицом, который спал, прислонившись спиной к пню и уронив голову на скрещенные руки,— бинт сполз ему на один глаз.

Берт остановился как вкопанный ярдах в пятнадцати и поднял винтовку. А принц где? Потом он увидел, что из-за соседнего дерева торчит плечо. Берт не спеша сделал пять шагов влево. Теперь Германский Александр был перед ним как на ладони: он сидел, прислонившись к стволу, с пистолетом в одной руке, с саблей в другой, и зевал, зевал. Берт вдруг понял, что в зевающих не стреляют. Он пошел на врага, держа винтовку наго-

тове и испытывая нелепое, но нестерпимое желание крикнуть: «Руки вверх!» Принц заметил его; рот его захлопнулся, как капкан, не закончив зевка, и он вскочил. Берт остановился, так ничего и не сказав. Мгновение они смотрели друг на друга.

Будь принц человеком благоразумным, он, я полагаю, спрятался бы за дерево. Вместо этого он что-то крикнул и вскинул сразу саблю и пистолет. Тут Берт совершенно непроизвольно спустил курок.

Он впервые увидел действие кислородной пули. Из груди принца вырвался ослепительный сноп пламени, и тут же раздался грохот, как от пушечного выстрела. Что-то горячее и мокрое ударило Берту в лицо. Затем сквозь смерч слепящего дыма и пара он увидел, как валятся на землю руки, ноги и растерзанное туловище. Берт был до того поражен, что совсем оцепенел; офицер с птичьим лицом мог бы прикончить его, не встретив никакого сопротивления. Но вместо этого офицер бросился наутек, петляя в кустах. Берт очнулся и кинулся было в погоню, но тут же отстал, так как настроение убивать у него окончательно пропало. Он вернулся к обезображенным, разметанным по земле останкам, которые еще так недавно были могущественным принцем Карлом Альбертом. Он осмотрел опаленную и забрызганную траву вокруг. Кое-что он приблизительно опознал. Несмело приблизившись, он подобрал еще горячий револьвер, но обнаружил, что барабан его треснул и перекосился. Тут он ощутил чье-то жизнерадостное и дружелюбное присутствие. В большом расстройстве он подумал, что это ужасное зрелище не для детских глаз.

— Вот что, киса,— сказал он,— тебе тут не место.

Он в три шага пересек выжженный клочок земли, ловко подхватил котенка и пошел к павильону с мурлычущим зверьком на плече.

— А тебе, оказывается, хоть бы что,— сказал он.

Некоторое время он суетился вокруг павильона и в конце концов обнаружил под крышей тайник с провизией.

— Ведь надо же! — сказал он, наливая молоко в блюдечко.— Чтоб три человека, попав в такую ловушку, не смогли поладить! Только он, этот принц, со своими замашками через край хватил.

— Фу ты!— размышлял он, сидя на стойке и завтракая.— И что это за штука — жизнь! Взять, к примеру, меня; я его портреты видел и имя его слышал с тех пор, как под стол пешком ходил. Принц Карл Альберт! Скажи мне кто-нибудь, что я его в клочья раздеру, да я б в жизни не поверил, киса!

— Этот колдун в Маргете должен был бы сказать мне про это. А все, что он мне сказал,— это что у меня грудь слабая.

— Второй немец, он много куролесить не станет. И что мне делать с ним? Ума не приложу.

Он оглядел деревья настороженным голубым глазом и потрогал лежавшую у него на колене винтовку.

— Не нравится мне убивать, киса,—сказал он.—Курт правду говорил насчет того, что к крови и смерти надо привыкать. Только привыкать-то надо смолоду, как я посмотрю... Да если бы этот самый принц пришел ко мне и сказал: «Руку!» —неужели же я б ему руки не протянул!.. А теперь еще этот второй немец по кустам шастает. И так уж у него голова поранена и с ногой что-то неладно. Да еще ожоги. Господи! Ведь и трех недель не прошло с тех пор, как я его в первый раз увидел — весь затянутый, в руках щетки и еще всякая всячина... и ругался же он! Настоящий джентльмен, ничего не скажешь. А теперь? Уж одичал наполовину.

— Что мне с ним делать? Ну что же мне с ним делать-то? Не отдавать же ему летательную машину; это уж многого захотели, а если я его не убью, он так и будет здесь на острове торчать, пока с голоду не пропадет...

— Конечно, у него сабля есть...

Закурив папиросу, он вернулся к своим философским размышлениям.

— Война — это глупая игра, киса. Глупая игра! Мы, простые люди, дураками оказались. Мы-то думали, что те, кто наверху, знают, что делают, а они-то ничегошеньки не знали. Ты посмотри на этого красавца! У него под рукой вся Германия была, а что он с ней сделал? Ему бы все только бить, да путать, да ломать. Ну вот и допрыгался! Только и осталось от него, что сапоги в луже крови. Одна мокрая клякса. Принц Карл Аль-

берт! А солдаты, которых он вел, корабли, и воздушные корабли, и летательные машины — этим он свой путь отметил от Германии до этой вот самой дыры. А бои, а пожары, а убийства, которые он начал, так что теперь идет война без конца во всем мире!

— Верно, придется мне все-таки убить того, второго. Верно, все-таки придется. Только такие дела вовсе не по мне, киса!

Некоторое время он рыскал по острову под грохот водопада в поисках раненого офицера и в конце концов спугнул его из кустов, неподалеку от «Лестницы Бидла». Но при виде сгорбленной, забинтованной фигуры, которая, прихрамывая, бросилась спасаться от него бегством, он почувствовал, что опять не может ничего поделать со своей жалостливостью. Он не в силах был ни выстрелить, ни продолжать погоню.

— Не могу я,— сказал он,— никуда не денешься. Духу не хватает! Ну его!

Он направился к летательной машине...

Больше он не видел ни офицера с птичьим лицом, ни признаков его пребывания на острове. К вечеру он начал опасаться засады и с час энергично обшаривал остров, но безуспешно. На ночлег он устроился в надежном месте, на дальнем конце скалы, над канадским водопадом. Среди ночи он проснулся в паническом страхе и выстрелил. Но тревога оказалась ложной. Больше в ту ночь он не спал. Утром его охватило непонятное беспокойство за исчезнувшего офицера, и он принялся разыскивать его, как разыскивают беспутного брата.

— Эх, знал бы я немного по-немецки!— говорил он.— Я бы хоть покричал ему. А вот не знаю и ничего не могу. Не объяснишь ведь.

Позднее он обнаружил следы попытки переправиться через брешь в разбитом мосту. Веревка с привязанным к ней болтом была перекинута через пролом и зацепилась там за обломки решетчатых перил. Второй конец веревки терялся в кипении струй, несущихся к водопаду.

Но офицер с птичьим лицом уже кружился в хороводе вместе с бесформенной массой, бывшей некогда лейтенантом Куртом, и китайским авиатором, и дохлой ко-

ровой. Да, чего только не было в этой странной компании, носившейся в огромном кольце водоворота, мили на две ниже Козьего острова! Никогда еще в этом месте скопления всякого хлама и отслуживших свое вещей, непрерывно и бесцельно спешащих в никуда, не теснилось столько чужеродных и грустных останков. Неустанно кружились они, и каждый новый день приносил пополнения: злополучную скотину, обломки кораблей и летательных машин, бесчисленных жителей городов по берегам Великих озер. Большую дань прислал Кливленд. Все это скапливалось здесь и кружилось в водовороте свой положенный срок, и что ни день, все большие стаи птиц слетались сюда со всех сторон.

ГЛАВА X

СОКРУШЕННЫЙ МИР

1

Берт провел на Козьем острове еще два дня, и только когда все его припасы, за исключением папирос и минеральной воды, кончились, он наконец собрался с духом испробовать азиатскую летательную машину.

И, собственно говоря, не столько он улетел, сколько был унесен ею. Ему потребовалось не больше часа, чтобы заменить сломанные опоры крыльев целыми, снятыми со второй машины, и поставить на место гайки, которые он сам же открутил. Мотор оказался в порядке, и от мотора современного мотоциклета он отличался только в мелочах, разобраться в которых не составило для Берта большого труда. Остальное время прошло в глубоком раздумье, в колебании и сомнениях. Воображение рисовало ему главным образом следующую картину: он барахтается в бурном, пенящемся потоке, судорожно цепляясь за останки машины, и в конце концов тонет. Но для разнообразия он иногда представлял себе, как беспомощно несется по воздуху и не может спуститься на землю. Эти мысли совсем его поглотили, и он

даже не задумывался над тем, что ждет безвестного обитателя Банхилла, который вдруг опустится на азиатской летательной машине там, за выжженной пустыней, в гуще мирных жителей, доведенных войной до исступления.

Судьба офицера с птичьим лицом продолжала тревожить его. Ему все казалось, что беспомощный, искалеченный офицер лежит на острове в каком-нибудь укромном уголке или овражке. Только после тщательных поисков ему удалось отделаться от этой неприятной мысли. «Ну ладно, а если бы я вдруг нашел его,— успокаивал он себя,— тогда что? Не стрелять же в самом деле в лежачего! А как ему еще поможешь?»

Затем его чуткая гражданская совесть начала страдать из-за котенка. «Если я его брошу здесь, он подохнет с голоду... Пусть мышей ловит... А есть ли здесь мыши-то?.. Птиц?.. Так ведь он маленький еще... Цивилизованный больно, вроде меня».

В конце концов он сунул котенка в боковой карман, и тот, обнаружив там следы пребывания мясных консервов, принялся их уничтожать.

С котенком в кармане Берт уселся в седло летательной машины. До чего же она была велика и неуклюжа — ничуть не похожа на велосипед! Все же управлять ею оказалось сравнительно просто. Надо завести мотор — так! Подпрыгнуть раз-другой, чтобы колесо приняло вертикальное положение,— так! Запустить гироскоп — так! А затем... затем... дернуть этот рычаг — и все...

Рычаг поддавался туго, но вдруг он повернулся...

Огромные изогнутые крылья по бокам машины устрашающе хлопнули, потом еще раз...

Стоп! Машину несло прямо в реку, и колесо уже было в воде. Берт отчаянно застонал и потянул рычаг обратно. Клик-клок, клик-клок — он взлетел! Мокрое колесо поднималось над бурлящим потоком — значит, он летит! Теперь уж не остановишь, да и что толку останавливаться! Еще мгновение — и Берт, судорожно вцепившись в руль, окаменелый, с вытаращенными глазами и лицом, бледным как смерть, уже летел над порогами, судорожно дергаясь при каждом судорожном взмахе крыльев и поднимаясь все выше и выше.

В отношении комфорта и солидности летательная машина не шла ни в какое сравнение с воздушным шаром. Если не считать минут спуска, воздушный шар вел себя с безукоризненной вежливостью; это же была не машина, а гарцующий осел, который к тому же упрямо скакал все только вверх и вверх. Клик-клок, клик-клок — с каждым новым ударом нелепо изогнутых крыльев машина подкидывала Берта и тут же ловко похватывала его в седло. И если на воздушном шаре ветер не ощущается, потому что воздушный шар от ветра неотделим, то летательная машина и сама создает ветер и служит ему игрушкой. А этот ветер всеми силами старался ослепить Берта, заставить его закрыть глаза. В конце концов он догадался сплести ноги под седлом, чтобы прочнее держаться, иначе он, безусловно, очень скоро раскололся бы на две малопривлекательные половинки. А тем временем он подымался все выше — сто ярдов, двести, триста — над несущейся, пенящейся массой воды. Выше, выше, выше! Пока это было не так уж плохо, однако он предпочел бы лететь по горизонтали. Он постарался припомнить, летают ли вообще эти штуки по горизонтали. Нет! Они двигались скачками вверх-вниз, вверх-вниз! Ну что ж! Пока что пусть будет вверх. Слезы ручьем лились у него из глаз. Он вытер их, рискнув на секунду отнять одну руку.

Что лучше: попробовать сесть на землю или на воду, на такую воду?!

Он летел над Верхними порогами по направлению к Буффало. Одно утешение — что водопады и бешеные водовороты остались позади. Он, поднимаясь, летел по прямой. Это он видел очень хорошо. А вот как ее поворачивать?

Скоро он почти успокоился, и глаза его более или менее привыкли к сильному ветру, но к этому времени машина забралась уже на немыслимую высоту. Он вытянул шею и стал, часто моргая, обозревать расстилавшуюся внизу землю. Ему был виден Буффало, пересеченный тремя черными шрамами развалин, и гряды холмов за ним. Интересно, на какой высоте он сейчас находится — с полмили, а может, и того выше? Около домов, возле железнодорожной станции между Ниагарой и Буффало, он увидел людей; дальше были еще

люди. Они копошились, как муравьи, то забегая в дома, то выбегая обратно. По дороге к Ниагаре ехали два автомобиля. Потом на юге в отдалении показался громадный азиатский воздушный корабль, державший курс на восток.

— Вот же черт! — пробормотал Берт, отчаянно, но безуспешно стараясь изменить направление своего полета.

Но воздушный корабль не заинтересовался им, и он продолжал рывками подниматься все выше. Вид, открывавшийся ему внизу, с каждой минутой раздвигался и приобретал все больше сходства с географической картой. Клик-клок, клик-клок. Над самой его головой лежала дымчатая пелена облаков.

Он решил отключить крыльевое сцепление. И отключил. Рычаг некоторое время не поддавался, затем вдруг передвинулся, и сразу же хвост машины задрался кверху, а крылья распростерлись и замерли неподвижно. В ту же секунду движение машины стало плавным, быстрым и беззвучным. Закрыв глаза на три четверти, он со страшной скоростью заскользил вниз навстречу свистящему ветру.

Еще один рычажок, который до тех пор упорно оставался неподвижным, стал вдруг удивительно податлив. Берт осторожно повернул его вправо, и ф-рррр.... Край левого крыла непонятно как слегка приподнялся, и машина, повернув вправо, понеслась вниз, как по огромной спирали. Какой-то миг Берт испытывал все чувства человека, несущегося навстречу гибели. С некоторым усилием он отвел рычажок в среднее положение, и крылья выровнялись.

Тогда он повернул рычажок налево и почувствовал, что его раскручивают в обратную сторону.

— Хорошенького понемножку,— пробормотал он.

Он обнаружил, что несется прямо на железнодорожное полотно и какие-то фабричные здания. Они, казалось, рвались ему навстречу, чтобы скорее пожрать его. Значит, он все это время стремительно падал! На какой-то миг он испытал чувство полной беспомощности, как велосипедист, мчащийся вниз по крутому откосу, когда отказали тормоза. Земля чуть было не захватила его врасплох.

— Но-но! — крикнул он, последним отчаянным усилием включил сцепление, и крылья захлопали снова. Машина по инерции еще скользнула вниз, потом, плавно описав дугу, стала подыматься вверх, и неровный, тряский полет возобновился.

Он долго летел на большой высоте, а затем перед ним открылись живописные горы западной части штата Нью-Йорк, тогда он скользнул по отлогой кривой вниз, снова взлетел и снова спустился. Пролетая на высоте в четверть мили над каким-то селением, он заметил на улицах мечущихся, бегущих людей; по-видимому, причиной их поведения был его ястребиный полет. Ему показалось, что в него стреляли.

— Вверх! — скомандовал он и снова потянул рычаг.

Тот поддался с неожиданной легкостью, и вдруг крылья словно надломились посередине. Но мотор замолк. Он больше не работал. Берт скорее инстинктивно дернул рычаг назад. Что делать?

События разворачивались молниеносно, но и его мысли не отставали от них. Они вихрем проносились в его голове. Подняться кверху он больше не может, он скользит вниз; значит, надо попробовать смягчить неизбежный удар.

Он несся со скоростью примерно тридцати миль в час — и все вниз, вниз, вниз.

Вот эти лиственницы... Пожалуй, мягче не придумаешь — прямо как мох!..

Сумеет ли он добраться до них? Он сосредоточил все внимание на управлении. Вот так — направо... теперь налево!

Ф-рррр... Трах... Теперь он скользил по вершинам деревьев, прокладывая в них широкую борозду, зарывшись в густую колючую хвою и черные сучья. Вдруг что-то щелкнуло, он вылетел из седла... Глухой удар, треск ломающихся сучьев, ветка больно хлестнула его по лицу...

Его зажало между стволом дерева и седлом машины, одна нога перекинулась через рычаг управления, но, насколько он мог судить, он остался цел и невредим. Он попробовал переменить положение и высвободить ногу и вдруг сорвался и полетел вниз сквозь ветви. Ему

удалось ухватиться за сук, и он обнаружил, что до земли уже недалеко и что летательная машина висит прямо над ним. Воздух приятно пахнул смолой. Некоторое время Берт осматривался, а потом начал осторожно спускаться с ветки на ветку и вскоре оказался на мягкой, усыпанной хвоей земле.

— Ловко! — сказал он, поглядывая вверх на погнутые, перекошенные крылья.— Что называется, отделался испугом.

Он в раздумье потер себе подбородок.

— А ведь я везучий, что ни говори,— продолжал он, оглядывая приветливую, всю в солнечных бликах землю под деревьями. И тут почувствовал, что что-то отчаянно барахтается у него под локтем.— Ох,— воскликнул он,— да ты же, наверное, совсем там задохлась! — И вытащил из кармана закутанного в платок котенка, помятого, взъерошенного и невероятно обрадованного новообретенной свободой. Язычок его был чуть высунут. Берт опустил котенка на землю, тот отбежал в сторонку, встряхнулся, выгнул спинку, а затем сел и начал умываться.

— Ну, а дальше что? — сказал Берт, оглядываясь по сторонам, и добавил, сердито махнув рукой: — Тьфу ты! И как же это я винтовку не захватил?

Усаживаясь на летательную машину, он прислонил винтовку к дереву и совсем о ней забыл.

Сначала он никак не мог понять, почему вокруг стоит такая тишина, и только потом сообразил, что больше не слышит грохота водопада.

2

Ясного представления о том, с какими людьми ему придется встретиться в этой стране, у него не было. Он знал, что это Америка. Американцы, насколько ему было известно, являлись гражданами великого и могущественного государства, были люди невозмутимые и насмешливые, имевшие привычку ходить со складными ножами и революьверами и гнусавить, как норфолькцы. Кроме того, все они были богаты, сидели в качалках, клали ноги на стол и с неустанной энергией жевали табак, резинку и неизвестно что еще. Кроме того, среди них встречались

ковбои, индейцы и смешные почтительные негры. Все эти сведения он почерпнул из романов, которые брал в библиотеке. Кроме этого, он ничего об Америке не знал и, повстречав вооруженных людей, ничуть не удивился.

Разбитую летательную машину он решил бросить на произвол судьбы. Проблуждав некоторое время по лесу, он наконец вышел на дорогу, которая, по его городским английским понятиям, была непомерно широка, но «не отделана». От леса ее не отделяла ни живая изгородь, ни канавка, ни пешеходная тропинка; она бежала, извиваясь, легко и свободно, как бегут дороги в странах широких просторов. Ему навстречу шел человек с ружьем под мышкой, в мягкой черной шляпе, синей блузе и черных брюках; на круглом, толстом лице не было и следа козлиной бородки. Он недружелюбно покосился на Берта и вздрогнул, когда тот заговорил.

— Вы не скажете, куда это я попал? — спросил Берт.

Человек разглядывал его и особенно его резиновые сапоги со зловещей подозрительностью. Затем он что-то сказал на непонятном и весьма экзотическом — собственно говоря, это был чешский — языке. При виде озадаченного выражения на лице Берта он внезапно закончил речь коротким:

— По-английски не говору.

— А? — сказал Берт и, постояв в раздумье, пошел дальше.

— Спасибо! — добавил он с опозданием.

Человек еще некоторое время смотрел ему вслед, затем его осенила какая-то мысль, и он поднял руку, но затем вздохнул, отказался от своей мысли и тоже зашагал дальше с удрученным видом.

Вскоре Берт подошел к большому бревенчатому дому, стоявшему прямо среди деревьев. С точки зрения Берта, это был не дом, а какой-то унылый голый ящик. Плющ не обвивал его, вокруг не было ни живой изгороди, ни ограды, ни забора. Берт остановился ярдах в тридцати от крыльца. Дом казался необитаемым. Он уже решил было пойти и постучать в дверь, но внезапно откуда-то сбоку появилась черная собака и стала внимательно смотреть на него. Собака была неизвестной ему породы, громадная и с тяжелой челюстью, в ошейнике с шипа-

ми. Она не залаяла и не бросилась на него, только шерсть на загривке у нее встала дыбом, и она издала звук, похожий на отрывистый, глухой кашель.

Берт постоял в нерешительности и пошел дальше.

Пройдя шагов тридцать, он вдруг остановился и стал всматриваться в лес.

— Как же это я киску-то оставил? — сказал он.

Ему стало очень горько. Черная собака вышла из-за деревьев, чтобы получше рассмотреть его, и еще раз кашлянула, все так же вежливо. Берт снова зашагал по дороге.

— Не пропадет она, — сказал он, — будет ловить...

— Не пропадет, — повторил он без большой, впрочем, уверенности. Он бы вернулся назад, если бы не эта черная собака.

Когда дом и черная собака остались далеко позади, Берт опять свернул в лес по другую сторону дороги и вскоре появился оттуда, строгая на ходу перочинным ножиком внушительную дубинку. Он заметил у дороги заманчивого вида камень и положил его в карман. Вскоре он наткнулся на группу домиков, тоже бревенчатых, со скверно покрашенными белыми верандами и тоже неогороженных. Позади сквозь деревья виднелся хлев и роющаяся под деревом свинья с выводком шустрых, озорных поросят. На ступеньках одного дома сидела угрюмая женщина с глазами-сливами и всклокоченными черными волосами и кормила грудью младенца, но при виде Берта она вскочила и скрылась в доме; он услышал, как лязгнул засов. Потом из-за хлева вышел мальчик, и Берт попробовал заговорить с ним, но тот его не понял.

— Да Америка ли это? — усомнился Берт.

Дома попадались все чаще и чаще, и он встретил еще двух прохожих, чрезвычайно грязных и свирепых на вид, но не стал с ними заговаривать. Один нес ружье, другой — топор, и оба с нескрываемым пренебрежением осмотрели и его самого и его дубинку. Затем он вышел на перекресток. Рядом проходила линия монорельса, и на углу виднелась табличка: «Ждите поезда здесь!»

— Очень приятно! — заметил Берт. — Вот только интересно, сколько пришлось бы ждать.

Он решил, что из-за хаоса, царящего в стране, поезда, наверное, не ходят, а так как ему показалось, что справа домов больше, чем слева, то он повернул направо. Ему встретился старик негр.

— Эй! — сказал Берт.— Доброе утро!

— Доброе утро, сэр! — ответил негр басом совершенно неправдоподобной глубины.

— Как называется это местечко? — спросил Берт.

— Тануда, сэр,— сказал негр.

— Спасибо,— сказал Берт.

— Вам спасибо, сэр,— прогремел негр.

Берт приблизился к новой группе домов, тоже бревенчатых и стоящих на большом расстоянии один от другого и неогороженных, но зато украшенных дощечками с надписями на двух языках — английском и эсперанто. Затем он увидел лавку — как он решил, бакалейную. Это был первый дом с гостеприимно распахнутыми настежь дверьми, а изнутри доносилась странно знакомая мелодия.

— Фу ты! — сказал он, шаря в карманах. — Ведь я три недели обходился без денег. Еще есть ли они у... Ведь почти все осталось у Грабба. Ага! — И он вытащил несколько монеток и стал внимательно рассматривать их: три пенни, шестипенсовик и шиллинг.— Ну все в порядке,— заметил он, совсем забыв об одном весьма существенном обстоятельстве.

Он подошел к двери, но навстречу ему вышел плотный, давно не бритый человек, без пиджака и окинул критическим взглядом и его и его дубинку.

— Доброе утро! — сказал Берт.— Нельзя мне будет поесть и выпить чего-нибудь в этой лавке?

Слава богу, стоявший в дверях человек ответил ему на ясном и понятном американском языке.

— Это, сэр, не лавка, а магазин.

— Да? — сказал Берт и осведомился: — А можно мне будет тут поесть?

— Можно,— ответил американец почти приветливо и первым вошел в дом.

По банхилльским стандартам лавка эта была весьма поместительна, хорошо освещена и не загромождена всяким хламом. Слева тянулся длинный прилавок

с выдвижными ящиками, позади него громоздились разнообразные товары, справа стояли стулья, несколько столиков и две плевательницы; в проходе были расставлены бочки разных размеров, а на них лежали головки сыра и куски копченой грудинки, а еще дальше, за широкой аркой, виднелся второй зал. Вокруг одного из столиков сидело несколько мужчин, да еще за прилавком, опираясь на него локтями, стояла женщина лет тридцати пяти. У всех мужчин были ружья, ствол ружья торчал и из-за прилавка. Все они рассеянно слушали дешевый дребезжащий граммофон, который стоял на столике рядом. Из жестяной глотки граммофона вырывались слова, вызвавшие вдруг у Берта приступ отчаянной тоски по родине, воскресившие в его памяти залитый солнцем пляж, кучку ребятишек, красные велосипеды, Грабба и приближающийся воздушный шар.

Динь-бом, тили бом, бом, бом,
Эти шпильки, расскажите-ка, почем?

Человек с бычьей шеей, в соломенной шляпе, что-то усиленно жевавший, остановил граммофон пальцем, и все глаза обратились к Берту. У всех они были усталые.

— Эй, мать, как у нас, есть чем накормить этого джентльмена? — спросил хозяин.

— Есть,—отозвалась женщина за прилавком, не трогаясь с места.— Чего только захочет, все есть: хоть сухарь, хоть полный обед.— Она с трудом удерживала зевоту, словно не спала всю ночь.

— Мне бы пообедать,— сказал Берт.— Только вот денег у меня не больно много. Мне бы так, чтобы не дороже шиллинга.

— Не дороже *чего?* — резко переспросил его хозяин.

— Шиллинга,— ответил Берт, которого вдруг осенила неприятная догадка.

— Так,— сказал хозяин, от изумления забывший даже привычную любезность.— А что это за штука такая шиллинг, черт бы его подрал?

— Он хочет сказать, четвертак,— самоуверенно

заявил долговязый юнец в гетрах для верховой езды.

Берт, стараясь скрыть свою растерянность, достал из кармана монету.

— Вот он, шиллинг,— сказал он.

— Он называет магазин лавкой,— сказал хозяин,— и хочет пообедать за шиллинг. Прошу прощения, сэр, но из какой части Америки вы изволили прибыть?

Берт сунул шиллинг обратно в карман.

— Из Ниагары,— ответил он.

— И давно ли вы выехали из Ниагары?

— Да с час назад.

— Так, — сказал хозяин и повернулся к остальным с недоумевающей улыбкой.— Говорит, что с час назад!..

На Берта обрушился град вопросов.

Он выбрал для ответа два или три.

— Видите ли, — сказал он, — я сюда прилетел с немцами, на их воздушном корабле... Они меня зацапали — так уж получилось — и притащили сюда с собой.

— Из Англии?

— Да, из Англии. Через Германию. Я был с ними, когда налетели азиаты, видел весь бой... а потом оказался на островке между водопадами.

— На Козьем острове?

— Уж я не знаю, как он там называется. Но только я нашел там летательную машину, кое-как подлатал ее и добрался сюда.

Двое из его слушателей вскочили и смерили его недоверчивым взглядом.

— А где же эта летательная машина,— спросили они в один голос,— за дверью?

— Да нет... в лесу осталась. Отсюда с полмили будет.

— И она в порядке? — спросил толстогубый человек со шрамом.

— Ну, шмякнулся-то я здорово...

Теперь уже встали все и, обступив Берта, говорили, перебивая друг друга. Они требовали, чтобы он тотчас же вел их к машине.

— Я вас отведу,— сказал Берт.— Только вот что... У меня со вчерашнего дня ничего во рту не было... кроме минеральной воды...

Худой человек с военной выправкой, с длинными ногами в гетрах и с патронной лентой через плечо, до той поры хранивший молчание, вступился за него и властно сказал:

— Ладно! Дайте ему поесть, мистер Логан, я плачу. Пусть пока расскажет поподробнее. А потом пойдем посмотрим его машину. На мой взгляд, получилось очень удачно, что этот джентльмен свалился здесь. А летательную машину, если мы ее найдем,— мы реквизируем для нужд местной обороны.

3

Итак, для Берта все опять закончилось благополучно. Он сидел за столом, ел холодное мясо с горчицей и хороший хлеб, запивал все это превосходным пивом и рассказывал нехитрую историю своих приключений, кое о чем умалчивая, кое в чем слегка отклоняясь от истины, что вообще свойственно людям его склада характера. Он рассказал им, как он и «еще один его друг — молодой человек из очень хорошей семьи» отправились на курорт подлечиться и как один «тип» прилетел туда на воздушном шаре и вывалился из корзины как раз в тот момент, когда он, Берт, в нее свалился, как ветер занес его во Франконию, как немцы приняли его за кого-то другого и «взяли в плен» и приволокли с собой в Нью-Йорк; как он побывал на Лабрадоре и вернулся оттуда и как он попал на Козий остров и оказался там в одиночестве. Что касается принца и Баттериджа, то он о них в своем повествовании просто умолчал, и отнюдь не по лживости натуры, а просто не надеялся на силу своего красноречия. Ему хотелось, чтобы его рассказ звучал просто, ясно и достоверно, чтобы его сочли респектабельным англичанином, с которым не произошло ничего из ряда вон выходящего и которому без малейших сомнений или опасений можно оказать гостеприимство.

Когда в своем сбивчивом повествовании он наконец дошел до Нью-Йорка и Ниагарской битвы, они вдруг

схватились за газеты, лежавшие тут же, на столе, и стали забрасывать его вопросами, сверяясь с отчетами об этих бурных событиях. Ему стало ясно, что его появление вновь раздуло пожар бесконечного спора, который пылает уже давно, из-за которого эти вооруженные люди и собрались здесь, хотя, временно исчерпав тему, и занялись граммофоном,— спор о том, о чем говорил сейчас весь мир, забыв обо всем остальном, спор о войне и о том, как следует ее вести. И сразу интерес к нему и к его судьбе угас, он утратил самостоятельное значение и превратился всего лишь в источник сведений. Повседневные заботы: покупка и продажа всего необходимого, полевые работы, уход за скотом — не прекращались в силу привычки,— так идет обычная жизнь в доме, хозяин которого лежит на операционном столе. Но над всем господствовала мысль об огромных азиатских воздушных кораблях, которые бороздили небо с неведомыми целями, и о меченосцах в кроваво-красных одеяниях, которые в любой момент могли спорхнуть с неба вниз и потребовать бензин, или провизию, или сведений. И эти люди в лавке, как и весь континент, спрашивали: «Что нам делать? Что бы предпринять? Как с ними справиться?» И Берт смирился со своей ролью вспомогательного средства и даже в мыслях перестал считать себя важной персоной, представляющей самостоятельный интерес.

После того, как Берт наелся, и напился, и перевел дух, и потянулся, и сказал, что все было удивительно вкусно, он закурил протянутую ему папироску и после некоторых блужданий привел их к тому месту в лесу, где находилась летательная машина. Он скоро понял, что высокий и худой молодой человек — его фамилия была Лорье — был среди них главным и по положению и по природным данным. Он знал имена и характеры всех бывших с ним людей, знал, на что каждый из них способен, и под его руководством они дружно взялись за работу, чтобы получить в свое распоряжение бесценную военную машину. Они спустили ее на землю медленно и осторожно — для этого им пришлось повалить несколько деревьев,— а затем построили широкий навес из бревен и веток, чтобы пролетающие мимо азиаты не заметили случайно их драгоценную находку. Еще задолго до на-

ступления вечера они вызвали механика из соседнего городка, который занялся приведением машины в порядок, а тем временем семнадцать специально отобранных молодых людей уже тянули жребий, кому первому лететь. А еще Берт нашел своего котенка и принес его в лавку Логанов и вручил миссис Логан с горячей просьбой позаботиться о нем. И с радостью понял, что в миссис Логан оба они — и он и котенок — обрели родственную душу.

Лорье был не только волевым человеком и богатым предпринимателем (Берт с почтением узнал, что он директор Танудской консервной корпорации), но и пользовался общей любовью, умея добиваться популярности. В тот же вечер в лавке Логана собралось множество народа потолковать о летательной машине и о войне, раздиравшей мир на части. Вскоре какой-то человек на велосипеде привез скверно отпечатанную газетку в один лист, и, словно пламя в топке, когда туда подбросят угля, разговор вспыхнул с новой силой. Газета содержала почти исключительно американские новости: устаревший кабель уже давно вышел из употребления, а станции беспроволочного телеграфа в океане и вдоль побережья Атлантического океана оказались, по-видимому, особенно заманчивыми объектами для вражеских атак.

Так или иначе это были новости.

Берт скромно сидел в уголке — к тому времени все окончательно утратили к нему интерес, прекрасно разобравшись, что он собой представляет, — и слушал. По мере того, как они говорили, в его потрясенном мозгу вставали устрашающие картины столкновения грозных сил, целых народов, ставших под ружье, завоеванных континентов, невообразимых разрушений и голода. И время от времени, как ни старался он подавить их, в этом сумбуре выплывали вдруг еще и его личные впечатления: отвратительное месиво, оставшееся от разорванного в клочки принца, висящий вверх ногами авиатор-китаец, забинтованный хромой офицер с птичьим лицом, с трудом ковыляющий к лесу в тщетной попытке спастись бегством.

Они говорили о бомбардировках и беспощадных убийствах, о жестокостях и об ответных жестокостях,

о том, как обезумевшие от расовой ненависти люди расправлялись с безобидными азиатами, о гигантских пожарах и разрушенных городах, железнодорожных узлах и мостах, о населении, бегущем куда глаза глядят, скрывающемся в лесах.

— Все их корабли до единого сейчас находятся в Тихом океане! — воскликнул кто-то.— С начала войны они высадили на нашем западном побережье никак не меньше миллиона человек. И уходить из Штатов они не собираются. Они останутся здесь — живые или мертвые.

Постепенно Берт начинал постигать, какая колоссальная трагедия обрушилась на человечество, песчинкой которого он был, сознавать весь неотвратимый ужас наступившей эпохи, понимать, что привычной, налаженной, спокойной жизни пришел конец. Вся планета была охвачена войной и не могла обрести пути обратно к миру. Возможно, что теперь ей придется забыть о мире навсегда.

Прежде он считал, что события, свидетелем которых он оказался, были чем-то исключительным, решающим, что разгром Нью-Йорка и сражение в Атлантическом океане были вехами на границе, разделявшей долгие периоды благоденствия А они оказались всего лишь первыми грозными предвестниками всеобщей катастрофы. С каждым днем множились и бедствия, и разрушения, и ненависть, ширилась пропасть, отделявшая человека от человека, и все в новых местах трещало и рушилось стройное здание цивилизации. На земле армии продолжали расти, а люди гибнуть, в небесах воздушные корабли и аэропланы вели бои и спасались бегством, сея на своем пути смерть.

Читателю, обладающему широким кругозором и аналитическим умом, быть может, трудно представить себе, насколько невероятным казалось крушение научной цивилизации людям, жившим и гибнувшим в те страшные годы. Прогресс победоносно шествовал по земле, словно ничто уже не могло остановить его. Уже больше трехсот лет длилась непрерывная ускоренная диастола европеизированной цивилизации: множились города, увеличивалось население, росло количество материальных ценностей, развивались новые страны, неудержимо рас-

цветали человеческая мысль, литература, знания. И то, что орудия войны становились с каждым годом все более мощными и многочисленными, то, что армии и запасы взрывчатых веществ росли с невероятной быстротой, заслоняя все остальное, казалось, было всего лишь частью этого процесса...

Триста лет диастолы—и внезапно наступила быстрая и неожиданная систола — словно сжали кулак! Они не подумали, что это систола. Им казалось, что это просто перебой, спазма, наглядное доказательство быстроты развития их прогресса. Полный крах, несмотря на то что он наступил повсеместно, по-прежнему казался им чем-то невероятным. Но тут на них обрушивались груды обломков или земля разверзалась у них под ногами. И они умирали, все так же не веря...

Люди в этой лавке были всего лишь ничтожной горсткой, затерявшейся в безбрежном море страшных несчастий. Они замечали и обсуждали лишь какие-то мелкие его грани. Больше всего их занимал вопрос, как обороняться от азиатских авиаторов, которые внезапно падали с неба, чтобы отобрать бензин или уничтожить склады оружия и пути сообщения. В то время повсюду формировались ополчения, чтобы день и ночь охранять железнодорожные пути, в надежде, что удастся скоро восстановить сообщение. Война на земле была пока еще делом далекого будущего. Один из присутствующих, говоривший скучным голосом, был явно человеком сведущим и хорошо во всем разбирающимся. Он уверенно перечислил недостатки немецких «драхенфлигеров» и американских аэропланов и указал, каким преимуществом обладают японские авиаторы. Затем он пустился в романтическое описание машины Баттериджа, и Берт насторожил уши.

— Я ее видел,— начал было он и вдруг умолк, потрясенный какой-то мыслью.

Человек со скучным голосом, не обратив на него никакого внимания, продолжал рассказывать о смерти Баттериджа — настоящей иронии судьбы. Когда Берт услышал об этом, у него радостно екнуло сердце: значит, ему не грозит встреча с Баттериджем! Оказалось, что Баттеридж умер внезапно, неожиданно для всех.

— И вместе с ним, сэр, погиб и его секрет! Когда кинулись искать чертежи и части его машины, их не оказалось. Слишком уж хорошо он сумел их спрятать.

— Почему же он не объяснил, где их искать? — спросил человек в соломенной шляпе. — Он что же, совсем ничего не успел сказать?

— Ничего, сэр! Рассвирепел, и его хватил удар. Случилось это в местечке Димчерч, в Англии.

— Да-да, — заметил Лорье. — В воскресном номере «Америкэн» этому была посвящена целая страница. Тогда еще, помню, писали, что воздушный шар был похищен немецким шпионом.

— Да, сэр, — продолжал человек со скучным голосом, — этот апоплексический удар — худшее несчастье, которое только могло постичь мир. Без всякого сомнения, худшее. Если бы не смерть мистера Баттериджа...

— И его секрет не известен никому?

— Ни одной живой душе! Исчез без следа! По-видимому, его воздушный шар погиб в море со всеми чертежами. Пошел на дно, и они вместе с ним.

Наступило молчание.

— Будь у нас машины вроде его, мы сразу получили бы преимущество перед азиатскими авиаторами. Мы летали бы быстрее этих красных колибри и щелкали бы их, как орехи. Но его секрет потерян, потерян навеки, а у нас нет времени еще раз изобретать что-нибудь подобное. Нам приходится рассчитывать только на то, что у нас есть, а этого мало. Конечно, оружие мы не сложим. Нет! Но когда подумаешь...

Берт дрожал всем телом. Он хрипло откашлялся.

— Дайте мне сказать, — перебил он, — послушайте... я...

На него даже не посмотрели. Человек со скучным голосом уже заговорил о другом.

— Я допускаю... — начал он.

Берт пришел в страшное волнение. Он вскочил на ноги. Он делал хватательные движения.

— Дайте мне сказать! — восклицал он. — Мистер Лорье, послушайте... Я вот что хочу... Насчет этой машины Баттериджа...

Мистер Лорье, сидевший на соседнем столике, великолепным жестом остановил человека со скучным голосом.

— Что он там говорит?..— спросил он.

Тут только присутствующие заметили, что с Бертом творится что-то неладное: он не то задыхался, не то сходил с ума. Он продолжал невнятно лепетать:

— Послушайте! Дайте мне сказать!.. Погодите минутку...— А сам дрожал и судорожно расстегивал пуговицы своего пиджака.

Он рванул воротник, расстегнул жилет и рубашку. Затем решительно запустил руку в свои внутренности, и зрителям на миг показалось, что он извлек наружу свою печень. Однако, пока он бился с пуговицами на плече, им удалось рассмотреть, что этот ужас был всего лишь невероятно грязным бумазейным нагрудником. В следующий миг чрезмерно декольтированный Берт стоял у стола, размахивая пачкой бумаг.

— Вот они!— выпалил он.— Вот они, чертежи! Понимаете? Мистер Баттеридж... его машина... который умер... Это я улетел на его воздушном шаре.

Несколько секунд никто не мог произнести ни слова. Они переводили взгляд с бумаг на побелевшее лицо Берта и его горящие глаза и затем снова на бумаги. Никто не шелохнулся. Первым заговорил человек со скучным голосом.

— Ирония судьбы!—сказал он таким тоном, как будто ему это было даже приятно.— Какая великолепная ирония! *Они нашлись, когда даже думать о постройке слишком поздно.*

4

Всем им, конечно, очень хотелось еще раз выслушать историю Берта, но тут Лорье показал, из какого материала он скроен.

— Ну нет, сэр! — сказал он и соскочил со стола.

Одним решительным движением он сгреб рассыпавшиеся чертежи, не позволив человеку со скучным голосом даже коснуться их своими готовыми все разъяснить пальцами, и возвратил Берту.

— Положите их назад,— сказал он,— на прежнее место. Нам надо собираться в дорогу.

Берт взял планы.

— Куда? — спросил человек в соломенной шляпе.

— Мы, сэр, должны отыскать президента наших Штатов и передать чертежи ему. Я отказываюсь верить, сэр, что мы опоздали.

— А где он, президент? — еле слышно осведомился Берт в наступившем молчании.

— Логан,— сказал Лорье, игнорируя его невнятный вопрос,— вы должны будете помочь нам.

Не прошло и нескольких минут, как Берт, Лорье и хозяин лавки уже осматривали велосипеды, составленные в задней комнате. Ни один из них Берту не понравился. Ободки у колес были деревянные, а он, испытав деревянные ободки в английском климате, навсегда возненавидел их. Однако это возражение против немедленного отъезда, как и некоторые другие, было решительно отклонено Лорье.

— Но где президент-то? — повторил Берт, пока Логан накачивал шину.

Лорье смерил его взглядом.

— Говорят, он находится в окрестностях Олбани — ближе к Беркширским горам. Он все время переезжает с места на место, организуя по мере сил оборону с помощью телеграфа и телефона. Весь азиатский флот его разыскивает. Если им кажется, что они обнаружили местонахождение правительства, они сбрасывают бомбы. Это причиняет ему известные неудобства, но пока что им ни разу не удалось даже близко подобраться к нему. Азиатские воздушные корабли рыщут сейчас над восточными штатами, выискивая и уничтожая газовые заводы и вообще все, что может иметь какое-либо отношение к постройке аэропланов или переброске войск. А что мы можем сделать в ответ? Но с этими машинами... Сэр, наша с вами поездка войдет в историю!

Он едва удержался, чтобы не принять величественную позу.

— Сегодня мы до него не доберемся? — спросил Берт.

— Нет, сэр,— ответил Лорье.— Нам, верно, придется поездить не день и не два.

— А на поезде или еще на чем-нибудь нас не могли бы подвезти?

— Нет, сэр! Вот уже три дня ни один поезд не проходил через Тануду. Ждать не стоит. Нам придется добираться туда своими средствами.

— И прямо сейчас выезжать?

— Прямо сейчас!

— А как насчет?.. Ведь много сегодня мы все равно не проедем...

— Будем ехать, пока не свалимся, а тогда сделаем привал. Сколько бы мы ни проехали — это чистый выигрыш во времени. Мы ведь едем на восток.

— Конечно...— начал было Берт, вспоминая рассвет на Козьем острове, но он так и не сказал того, что хотел. Вместо этого он занялся более продуманной упаковкой своего нагрудника: оказалось, что некоторые чертежи торчат у него из-под жилета.

5

Целую неделю Берт вел жизнь, наполненную самыми разнообразными ощущениями. Над всеми ними преобладало чувство страшной усталости в ногах. Большую часть времени он ехал, не сводя глаз с неумолимой спины маячившего впереди Лорье, ехал по стране, похожей на увеличенную в размерах Англию, где холмы были выше, долины просторнее, поля больше, дороги шире, где было меньше живых изгородей и где стояли бревенчатые дома с широкими верандами. Он только ехал. Лорье наводил справки. Лорье указывал, куда сворачивать. Лорье сомневался. Лорье решал. То они устанавливали связь с президентом по телефону, то опять что-то случалось — и он куда-то исчезал. Но все время они должны были ехать дальше, и все время Берт ехал. Спускала шина. Он продолжал ехать. Он натер на ногах кровавые мозоли. Лорье объявил, что это пустяки. Иногда у них над головой проносились воздушные корабли азиатов, тогда велосипедисты кидались под деревья и смирно сидели там, пока небо не становилось опять чистым. Как-то раз красная летательная машина пустилась за ними в погоню,— она летела так низко, что они видели

лицо авиатора-азиата. Он преследовал их целую милю. То они попадали в область, охваченную паникой, то в область, где все было разрушено. Тут люди дрались из-за куска хлеба, там жизнь катилась по привычной колее, почти ничем не потревоженная. Они провели день в покинутом, разоренном Олбани. Азиаты перерезали там все до единого провода и превратили железнодорожную станцию в груду пепла, и наши путники покатили дальше на восток на своих велосипедах. Сотни маленьких происшествий поджидали их в пути, но они почти не замечали их, и все это время Берт без устали работал ногами, не сводя глаз с неутомимой спины Лорье...

То одно, то другое озадачивало Берта, но он ехал дальше, так и не удовлетворив свое любопытство, и забывал о том, что его удивило.

На каком-то косогоре он видел большой дом, охваченный пламенем. Никто не тушил его и не обращал на пожар никакого внимания...

Они подъехали к узкому железнодорожному мосту, а затем и к монорельсовому поезду, который стоял на полотне с выпущенными педалями. Поезд был поистине роскошен—трансконтинентальный экспресс, построенный по последнему слову техники. Его пассажиры играли в карты, спали, кто готовил еду тут же, на травянистом откосе. Они находились здесь уже седьмой день...

В одном месте на деревьях вдоль дороги висели в ряд десять темнолицых людей. И некоторое время Берт пытался отгадать, что произошло...

В одной мирной на вид деревушке, где они остановились, чтобы починить шину на велосипеде Берта и где нашлось пиво и сухари, к ним подошел невероятно грязный босоногий мальчишка и заявил:

— А у нас в лесу китаёзу повесили.

— Повесили китайца? — спросил Лорье.

— Ага! Он склад станционный грабил, а наши из охраны его и схватили...

— А!

— Они не стали патроны на него тратить — повесили и за ноги дернули. Они всех китаёз вешают, которые им попадаются. А как еще с ними? Всех до одного!

Ни Берт, ни Лорье ничего ему не ответили, и юный джентльмен стал развлекаться тем, что искусно плевал сквозь зубы. Но вскоре заметил на дороге двух своих приятелей и, оглашая воздух дикими воплями, затрусил к ним навстречу.

В тот же день они чуть не наехали на человека, простреленного навылет в живот и уже слегка разложившегося. Он лежал посреди дороги на окраине Олбани, и лежал он тут, по-видимому, уже не первый день.

Миновав Олбани, они увидели на дороге автомобиль с лопнувшей шиной. Рядом с местом шофера сидела молодая женщина, безучастно глядевшая прямо перед собой. Под машиной лежал старик, безуспешно стараясь исправить что-то непоправимое Сзади, прислонившись спиной к кузову автомобиля, сидел молодой человек. На коленях у него лежало ружье, и он внимательно вглядывался в лес. При их приближении старик выполз из-под автомобиля и, все еще стоя на четвереньках, заговорил с ними. Автомобиль их сломался еще накануне вечером. Старик сказал, что никак не может понять, что с ним произошло. Ни сам он, ни его зять ничего не понимают в механике. Их заверили, что эта машина очень прочная и легко чинится. Стоять здесь опасно. На них уже нападали бродяги, так что им пришлось отбиваться. Многим, конечно, известно, что у них есть запас провизии. Он назвал фамилию, широко известную в финансовом мире. Не задержатся ли Лорье и Берт, чтобы помочь ему? Сначала в его голосе звучала надежда, потом мольба, наконец, слезы и страх.

— Нет,— безжалостно ответил Лорье.— Мы должны ехать дальше, мы не можем тратить времени ради спасения одной женщины. Нам предстоит спасти Америку.

Молодая женщина так и не пошевельнулась.

И еще как-то раз им встретился сумасшедший — он громко пел.

Наконец они отыскали президента, который прятался в небольшом ресторанчике на окраине городка Пинкервилл на реке Гудзон, и передали ему планы машины Баттериджа.

ГЛАВА XI

ВЕЛИКИЙ КРАХ

1

Теперь уже все здание цивилизации шаталось, и оседало, и разлеталось на куски, и плавилось в горниле войны.

Отдельные этапы быстрого и повсеместного краха денежно-научной цивилизации, родившейся на заре двадцатого века, следовали друг за другом с невероятной быстротой — с такой быстротой, что сейчас, при общем взгляде издали на эту страницу истории, не всегда можно определить с точностью, где кончается один и начинается другой. Сначала видишь мир, почти достигший вершины изобилия и благосостояния и, во всяком случае, казавшийся людям, жившим тогда, воплощением незыблемости. Сейчас, когда пытливый исследователь обозревает в ретроспекции интеллектуальную атмосферу того времени, когда мы читаем чудом сохранившиеся отрывки литературных произведений и обрывки политических речей той эпохи — немногие тихие голоса, волей судьбы отобранные из миллиардов других, чтобы сказать свое слово грядущим поколениям,— то во всем этом переплетении мудрости и заблуждений прежде всего поражает именно иллюзорная уверенность в незыблемости своего мира. Нам, живущим теперь в едином мировом государстве — упорядоченном, научном и огражденном от всяких случайностей,—трудно представить себе что-либо столь непрочное, столь чреватое возможными опасностями, как социальная система, вполне удовлетворявшая людей начала двадцатого века.

Нам кажется, что все их институты и общественные взаимоотношения были плодом случайностей и традиций, игрушкой обстоятельств, что их законы создавались на каждый частный случай и не предусматривали будущего; что обычаи их были непоследовательны, а образование бесцельно и нерационально; человеку, разбирающемуся в этих вопросах, система их производства представляется самым бессмысленным и нелепым хаосом; их

кредитная и монетная система, строившаяся на отвлеченной вере в непреложную ценность золота, кажется сейчас чем-то неправдоподобно шатким. И они жили в городах, возникавших без всякого плана, по большей части опасно перенаселенных; их железные дороги, шоссейные магистрали и население распределялись по планете в самом нелепом беспорядке, порожденном десятками тысяч случайных причин. И тем не менее они считали свою систему прочной и надежной основой непрерывного прогресса и, опираясь на опыт примерно трехсот лет случайных и спорадических улучшений, отвечали скептикам: «*До сих пор* все всегда складывалось к лучшему. Переживем и это!»

Однако если сопоставить условия жизни человека в начале двадцатого века с тем, с чем ему приходилось мириться в любой другой период истории, то эта слепая уверенность становится до известной степени понятной. Она основывалась не на логике, а скорее была естественным следствием долгих удач. По их понятиям, *до тех пор* все действительно складывалось как нельзя лучше. Вряд ли будет преувеличением сказать, что впервые в истории целые народы постоянно имели в избытке еду, а статистические данные рождаемости и смертности того времени свидетельствуют о неслыханно быстром улучшении гигиенических условий и о значительном развитии медицины и других наук, стоящих на страже здоровья человека. Как уровень, так и качество среднего образования невероятно возросли: на заре двадцатого века в Западной Европе и в Америке почти не оставалось людей, не умевших ни читать, ни писать. Никогда прежде грамотность не имела такого широкого распространения. Существовало значительное социальное обеспечение. Любой человек мог спокойно объездить три четверти земного шара, мог совершить кругосветное путешествие, и это обошлось бы ему в сумму, не превышающую годовой заработок квалифицированного рабочего. По сравнению с уровнем комфорта и удобств, доступных всем в ту эпоху, даже высокоупорядоченная жизнь Римской империи при Антонинах кажется убогой и провинциальной. И каждый год, каждый месяц были свидетелями каких-то новых человеческих достижений: появлялись новые страны, но-

вые шахты, новые машины, делались новые научные открытия.

Таким образом, ход прогресса за эти триста лет действительно мог показаться во всех отношениях благотворным для человечества. Находились, правда, люди, утверждавшие, что его духовное развитие сильно отстает от материального, но мало кто придавал серьезное значение этим словам, глубокое понимание которых является основой нашей теперешней безопасности. Правда и то, что какое-то время жизнеутверждающие и созидательные силы перевешивали неблагоприятное стечение обстоятельств, а также невежество, предрассудки, слепые страсти и своекорыстный эгоизм человечества.

Люди, жившие в то время, даже не подозревали, насколько незначителен был этот перевес и как сложно и неустойчиво его выражение, но дела это не меняет — он существовал. Они не понимали, что эта эра относительного благополучия предоставляла им лишь временные, хотя и колоссальные возможности. Они предпочитали верить, что прогресс — это нечто обязательное и самодействующее и им незачем считать себя ответственными за него. Они не понимали, что прогресс можно сохранить или погубить и что время, когда его еще можно было сохранить, уже прошло безвозвратно. Своими делами они занимались в достаточной степени энергично, но палец о палец не ударили, чтобы предотвратить катастрофу. Настоящие опасности, нависшие над человечеством, не тревожили никого. Люди спокойно смотрели, как их армии и флоты растут и становятся все более мощными. Недаром перед концом стоимость одного броненосца нередко равнялась годовому расходу страны на высшее образование; они накапливали взрывчатые вещества и средства разрушения и никак не препятствовали накоплению шовинизма и взаимного недоверия; они спокойно наблюдали неуклонный рост расового антагонизма, по мере того как жизнь все ближе сталкивала разные расы, не знавшие и не понимавшие друг друга, и они отнюдь не препятствовали развитию в их среде вредной, корыстной и беспринципной прессы, не способной ни к чему хорошему и располагавшей могущественными средствами творить зло. Их государство

практически никак не контролировало прессу. С поразительным безрассудством они бросили этот бумажный фитиль у порога своих пороховых погребов, забыв о том, что он вспыхнет от первой же искры. Вся *предшествующая история была рассказом о гибели* цивилизаций, и все признаки были налицо. Теперь трудно поверить, что они действительно не видели всего этого.

Могло ли человечество предотвратить катастрофу войны в воздухе? Праздный вопрос — не менее праздный, чем вопрос о том, могло ли человечество предотвратить крушение, превратившее Ассирию и Вавилон в бесплодные пустыни, или эти медленные упадок и разложение общества, которыми завершилась глава о Римской империи! Не предотвратило, значит, не могло, значит, не имело достаточного желания предотвратить. Размышления же о том, чего могло бы при желании достичь человечество,— занятие хоть и увлекательное, но абсолютно праздное. А распад европеизированного мира отнюдь не был постепенным — те, другие цивилизации сначала подгнивали и потом уж рушились; европеизированная же цивилизация, если можно так выразиться, просто взлетела на воздух. За какие-нибудь пять лет она рассыпалась так, что от нее не осталось и следа. Еще в канун войны в воздухе мы видим всемирную картину неустанного прогресса, всеобщее прочное благоденствие, огромные области с высокоразвитой промышленностью и прочно сложившимся населением, гигантские города, продолжающие стремительно расти, моря и океаны, усеянные всевозможными судами, сушу в сетке железных и шоссейных дорог. Но вдруг на сцене появляется немецкий воздушный флот, и мы видим начало конца.

2

Мы уже рассказывали о стремительном нападении первого немецкого воздушного флота на Нью-Йорк и о вакханалии ничего не решающих разрушений, последовавшей за этим. В Германии уже наполняли газом свои отсеки корабли второго воздушного флота, но тут Англия, Франция, Испания и Италия приоткрыли

свои карты. Ни одна из этих стран не готовилась к военным действиям в воздухе с таким размахом, как немцы, но у каждой были свои секреты, каждая в какой-то мере вела приготовления, и общий страх перед энергией немцев и их воинственным духом, который был воплощен в принце Карле Альберте, уже давно сблизил эти страны в тайном предчувствии подобного нападения. Это позволило им быстро объединиться для совместных действий. Второй по значению воздушной державой в Европе была в то время, безусловно, Франция. Англичане, побаивавшиеся за свою азиатскую империю и понимавшие, какое огромное впечатление должны производить воздушные корабли на невежественное население, разместили свои воздухоплавательные парки в северной Индии и потому в европейском конфликте играли лишь второстепенную роль. И тем не менее даже в самой Англии у них было девять или десять больших кораблей, около тридцати более мелких и несколько экспериментальных машин. Флот принца Карла Альберта еще только пролетал над Англией, и Берт еще только разглядывал Манчестер с высоты птичьего полета, а на земле уже шли совещания дипломатов, результатом которых было нападение на Германию. Воздушные корабли всех видов и размеров собрались над Бернским плоскогорьем и там в битве над Альпами разгромили и сожгли двадцать пять швейцарских аэропланов, которые оказали неожиданное сопротивление этому воздушному войску. Затем, усыпав причудливыми обломками альпийские ледники и ущелья, они разделились на две эскадры и полетели проучить Берлин и уничтожить воздушный парк во Франконии, прежде чем будет надут второй флот.

С помощью современных взрывчатых веществ нападающие, прежде чем их отогнали, успели нанести как Берлину, так и Франконии огромный урон. Во Франконии двенадцать уже готовых к взлету гигантов и пять еще только наполовину надутых и полностью не укомплектованных вступили в бой с союзниками и в конце концов при поддержке отряда «драхенфлигеров» из Гамбурга заставили их отступить и освободили Берлин. Немцы делали отчаянные усилия, чтобы создать новый огромный флот, и уже начали бомбардировать Лон-

дон и Париж, когда из Бирмы и Армении пришли сообщения о новом факторе в войне — появлении передовых воздушных отрядов азиатов.

К этому моменту мировая система финансов уже трещала по всем швам. Вслед за разгромом американского североатлантического флота и страшного боя, после которого германские военно-морские силы в Северном море перестали существовать, вслед за тем, как в четырех важнейших городах мира погибло в огне и под развалинами имущества на миллиарды фунтов стерлингов, впервые люди с ошеломляющей ясностью поняли всю бессмысленную расточительность войны. Бешеный вихрь выброшенных на рынок акций вызвал стремительное падение курсов. Явление, которое в слабой степени замечалось и раньше в дни паники на бирже, сейчас можно было наблюдать повсеместно — люди стремились скупить и припрятать золото, прежде чем деньги окончательно обесценятся. Только теперь эпидемия эта распространилась, как лесной пожар, она охватила буквально всех. В небесах шла всем понятная борьба и уничтожение; нечто гораздо более зловещее и непоправимое происходило на земле с непрочной тканью финансовой коммерческой системы, на которую так слепо полагались люди. И пока воздушные корабли вели бои в небесах, на земле быстро исчезал реальный золотой запас мира. Взаимное недоверие и стремление тащить все в свою нору, как моровая язва, охватило мир. Не прошло и нескольких недель, как все деньги — за исключением потерявших всякую ценность ассигнаций — исчезли в сейфах, в ямах, в стенах домов, в миллионах различных тайников. Деньги исчезли, а с ними кончились торговля и промышленность. Мировая экономика зашаталась и распалась в прах. Это было подобно внезапному наступлению страшной болезни; словно из крови живого существа исчезла вода, и она свернулась в сосудах — связь между отдельными частями организма оборвалась.

И в тот момент, когда кредитная система — живая опора научной цивилизации — покачнулась и рухнула на миллионы людей, которых связывала узами взаимной экономической зависимости, и пока эти люди, растерянные и беспомощные, наблюдали окончательную ее гибель, в небо поднялись воздушные корабли азиатов, не-

исчислимые и беспощадные, и устремились на восток, в Америку, и на запад, в Европу. Эта страница истории превращается в нарастающее крещендо сражений. Основные силы англо-индийского воздушного флота закончили свое существование в Бирме на погребальном костре, сложенном из пылающих кораблей противника; немцев разгромили в великой Карпатской битве; восстания и гражданская война вспыхнули на всем пространстве огромного Индийского полуострова; и от пустыни Гоби до Марокко развернулось зеленое знамя священной войны ислама. В течение первых разрушительных недель войны начало казаться, что Конфедерация восточноазиатских народов неминуемо завоюет весь мир, но тут скороспелая «современная» китайская цивилизация тоже не выстояла. Многочисленное миролюбивое население Китая, подвергавшееся усиленной «европеизации» в первые годы двадцатого века, подчинялось этому с большой неохотой и возмущением. Под влиянием японцев и европейцев их правительство вынуждало своих подданных смириться с введением санитарной инспекции и полицейского контроля, воинской повинностью и упорядочением системы массовой эксплуатации, против чего восставал весь их веками освященный уклад жизни. Напряжение войны оказалось последней каплей. Волна беспорядочных мятежей прокатилась по всей стране, и то обстоятельство, что центральное правительство почти полностью погибло во время бомбардировки Пекина горсткой уцелевших после генерального сражения английских и немецких воздушных кораблей, обеспечило восстанию победу. В Иокогаме над баррикадами взвился черный флаг, и началась революция. Теперь весь мир превратился в хаос беспорядочных столкновений.

Таким образом, логическим следствием всемирной войны явился социальный крах на всей планете. В местах больших скоплений населения множество людей сразу же остались без работы, без денег, без возможности добывать себе пропитание. Уже через три недели после начала войны в рабочих кварталах всех городов мира воцарился голод. Через месяц не оставалось ни одного города, где бы обычные законы и судопроизводство не были заменены чрезвычайными мерами, где бы не прибегали к огнестрельному оружию и казням в целях под-

держания порядка и пресечения насилия. И тем не менее в кварталах бедноты и в густонаселенных районах, а кое-где даже и среди обитателей богатых особняков голод ширился.

3

Первый этап событий и этап социального краха породили период, названный историками «Стадией чрезвычайных комитетов». Затем следует период отчаянных попыток силой предотвратить дальнейшее разложение. Повсюду шла борьба за поддержание порядка и продолжение войны. И одновременно изменился самый характер войны: огромные воздушные корабли уступили место летательным машинам. Едва только закончились крупные воздушные сражения, как азиаты принялись строить вблизи наиболее уязвимых центров вражеских стран укрепленные форты, которые должны были служить базой для летательных машин. Какое-то время они чувствовали себя полными хозяевами положения, но затем, как мы уже рассказывали, была обнаружена утерянная тайна машины Баттериджа, силы снова сравнялись, и исход войны стал более чем когда-либо гадательным. Эти маленькие летательные машины, не слишком пригодные для крупных операций и решающего наступления, были крайне удобны для партизанских действий благодаря простоте и дешевизне постройки, легкости управления и маскировки. Их чертежи были наскоро скопированы, отпечатаны в Пинкервилле и распространены по всей Америке. Копии были также отправлены в Европу и размножены там. Каждый человек, каждый город, каждый приход призывались строить их и пускать в дело, если только это окажется возможным. Очень скоро постройкой этих машин занялись не только правительства и местные власти, но и разбойничьи шайки, повстанческие комитеты и частные лица. Машина Баттериджа способствовала крушению мирового общественного строя именно благодаря предельной простоте своей конструкции. Она была почти так же проста, как мотоциклет. С ее появлением сузились масштабы первого этапа войны. Величественная вражда целых наций, империй и рас потонула в кипящем котле мелких распрей. Мир мгновенно перешел от единства и

ясности, равных которым не знала даже Римская империя в пору расцвета, к полной раздробленности, какая наблюдалась только в средние века, в период баронов-разбойников. Но на этот раз вместо медленного и постепенного распада все рухнуло сразу, словно с обрыва. Повсюду находились люди, которые прекрасно сознавали это и изо всех сил цеплялись за край пропасти, стараясь удержаться.

Наступает четвертая стадия. В разгар отчаянной борьбы с наступившим хаосом, по пятам за голодом появился еще один давнишний враг человечества — моровая язва «пурпурная смерть». Но война не прекращается. Флаги все еще реют. Взмывают в воздух новые флоты, новые модели воздушных кораблей, в небе кипит бой, а внизу густая тень ложится на мир — и история почти ничего не сообщает о нем.

В задачу этой книги не входит рассказ о дальнейших событиях — война в воздухе продолжалась, и продолжалась потому, что еще сохранившиеся правительства не имели возможности встретиться и договориться, чтобы ее прекратить, и, наконец, от всех организованных правительств мира остались одни лишь жалкие осколки, как от сервиза, по которому били палкой. С каждой неделей этих страшных лет история все больше дробится и теряет четкость, становится все более запутанной, все более смутной. Цивилизация пала, но пала она, героически сопротивляясь. В условиях этого жесточайшего социального хаоса отдельные патриотические союзы, братства защиты порядка, мэры, монархи, временные правительства самоотверженно старались установить какой-то порядок на земле и очистить небо над головой. Но эта двойная задача оказывалась им не по силам и неизменно губила их. И когда технические ресурсы цивилизации истощились окончательно, очистив наконец небо от воздушных кораблей, победу на земле торжествовали анархия, голод и мор. От великих наций и империй остались лишь одни названия. Кругом были руины, непогребенные мертвецы и истощенные, желтые, охваченные смертельной усталостью уцелевшие. В отдельных районах истерзанной страны правили или разбойники, или комитеты безопасности, или отряды партизан; возникали странные союзы и братства, чтобы тут же снова рас-

пасться, и в голодных глазах горела исступленная фанатическая вера, рожденная отчаянием. Это было настоящее крушение всего. Налаженная жизнь и благоденствие земного шара лопнули, как мыльный пузырь. За пять коротких лет мир был отброшен так далеко назад, что теперь его отгораживала от недавнего прошлого пропасть, не менее глубокая, чем та, что отделяла Римскую империю эпохи Антонинов от Европы девятого века...

4

И среди этих страшных катастроф мелькает фигура маленького, незаметного человека, судьба которого, быть может, не совсем безразлична читателям этой книги. О нем остается рассказать совсем немного — всего лишь одну удивительную вещь. В растерянном, заблудившемся во мраке мире, где корчилась в агонии цивилизация, наш маленький странствующий банхиллец отыскал свою Эдну! Он отыскал свою Эдну!

Переплыть Атлантический океан ему помогли, с одной стороны, приказ, подписанный президентом, с другой — его счастливая звезда. Он сумел попасть на борт английского брига, принадлежавшего лесопромышленной компании, который вышел из Бостона безо всякого груза, только потому, что капитана потянуло «домой», в Саут Шилдс. На корабль Берта взяли главным образом потому, что его резиновые сапоги имели сугубо мореходный вид. Плавание их было долгим и изобиловало всякими приключениями; несколько часов их преследовал — а может, это им только показалось — азиатский броненосец, с которым затем вступил в бой английский крейсер. Бой этот длился около трех часов. Оба корабля долго кружили, обмениваясь выстрелами, все дальше уходя на юг, пока наконец сумерки и быстро бегущие тучи надвигающейся бури не поглотили их. Несколько дней спустя бриг потерял во время шторма руль и грот-мачту. Провиант кончился, и команда питалась рыбой, которую удавалось поймать. Вблизи Азорских островов они заметили неизвестные воздушные корабли, державшие курс на восток, и зашли на Тенериф, чтобы запастись провизией и починить руль. Город был совер-

шенно разрушен, и в гавани они чуть не наткнулись на два полузатонувших океанских парохода с неубранными трупами на борту. С этих пароходов они сняли консервы и нужные для починки материалы, но все их действия сильно осложнялись из-за враждебного поведения банды, обосновавшейся среди развалин города, которая стреляла по ним и старалась их отогнать.

Бросив якорь в Магадоре, они послали на берег лодку за пресной водой и чуть не попали в засаду, устроенную арабами. Там же на их корабль проникла «пурпурная смерть», и, когда они отплыли, она уже дремала в их крови. Первым заболел кок, за ним помощник капитана; вскоре слегли и все остальные, а трое матросов умерло. Был полный штиль, и волны несли их, беспомощных и совершенно безучастных к своей судьбе, назад, к экватору. Капитан лечил всех ромом. Всего умерло девять человек, а из уцелевших четверых ни один не разбирался в навигации. Когда они настолько оправились, что уже могли ставить и убирать паруса, они пошли на север, ориентируясь по звездам, и опять провиант у них стал подходить к концу, но тут им повстречался пароход, шедший из Рио-де-Жанейро в Кардифф. На нем тоже побывала «пурпурная смерть», и капитан обрадовался возможности пополнить свою команду. И вот после целого года странствий Берт наконец достиг Англии. Он сошел на ее берег в чудесный июньский день и узнал, что «пурпурная смерть» только начинает тут свою опустошительную работу.

Кардифф был охвачен паникой, и многие бежали в горы. Не успел пароход войти в гавань, как на борт его поднялись представители какого-то самозванного продовольственного комитета и реквизировали жалкие остатки его запасов. Берт пошел пешком через страну, повергнутую эпидемией в полный хаос, голодную и потрясенную до самых основ некогда незыблемого порядка. Он не раз смотрел смерти в глаза, погибал от голода и один раз был вынужден принять участие в кровавой стычке, чуть было не положившей конец его странствиям. Но Берт Смоллуейз, который шел из Кардиффа в Лондон, движимый смутным желанием «добраться до дома», смутно мечтая разыскать что-нибудь родное, воплощавшееся в образе Эдны, был уже совсем не похож на

«дервиша пустыни», который год тому назад унесся из Англии на воздушном шаре мистера Баттериджа. Он загорел, похудел и закалился, пройдя через горнило «пурпурной смерти», его глаза смотрели твердо, а прежде постоянно разинутый рот был теперь плотно сжат, как захлопнутый стальной капкан. В Кардиффе он решил обзавестись новой одеждой и каким-нибудь оружием и, прибегнув к средству, которое еще год назад привело бы его в ужас, добыл себе в брошенной лавке закладчика шерстяную рубашку, вельветовый костюм и револьвер с пятьюдесятью пулями. Он нашел там также кусок мыла и впервые за тринадцать месяцев вымылся по-настоящему в ручье, протекавшем за городом. Отряды «Комитета бдительности», которые вначале беспощадно расстреливали грабителей, были теперь или уничтожены моровой язвой, или же метались между городом и кладбищем, не успевая убирать ее жатву. Несколько дней он бродил по окраинам и голодал, а затем вернулся в город и неделю проработал в санитарном отряде, чтобы несколько раз сытно поесть и собраться с силами перед тем, как пуститься в дальнейший путь на восток.

В то время сельская местность Уэльса и Англии являла гротескное смешение самоуверенного богатства начала двадцатого века со средневековыми ужасами в духе Дюрера. Дома и линии монорельса, живые изгороди вокруг ферм, кабели и провода, дороги и тротуары, указатели и объявления прежних дней по большей части сохранились в целости. Банкротство, социальный крах, голод и мор не коснулись их. Настоящему разрушению подверглись только столица страны и ее нервные центры, если можно так выразиться. Человек, внезапно очутившийся здесь, сначала не увидел бы почти никаких перемен. Пожалуй, он заметил бы, что живые изгороди следовало бы подровнять, что трава на газонах не подстрижена, что дороги сильно пострадали от дождей, что дома у дороги по большей части пустуют, а телефонные провода кое-где оборваны, что там и сям виднеются брошенные повозки. Однако его аппетит по-прежнему возбуждали бы крикливые рекламы, заверявшие, что консервированные персики Уайлдера замечательны на вкус и что ничего лучше сосисок Гобла

на завтрак не придумаешь. И тут он вдруг наткнулся бы на дюреровский штрих: скелет лошади или груду лохмотьев в канаве, из-под которых высовывались худые ноги, желтые, в пурпурных пятнах, и лицо — или то, что когда-то было лицом,— с запавшими щеками, оскаленными зубами, разложившееся. То попадалось поле, вспаханное, но незасеянное, а дальше хлеба, безжалостно вытоптанные скотом, и еще дальше, по ту сторону дороги, обломки щита для объявления, который пошел на костер.

На дорогах Берту встречались мужчины и женщины— обычно желтолицые, иногда одетые кое-как и всегда вооруженные. Они рыскали по окрестностям в поисках пищи. По виду, по глазам, по выражению лица их можно было принять за бродяг или бандитов, а по одежде — за богатых дельцов или даже аристократов. Часто они расспрашивали его о новостях, и в благодарность помогали ему, чем могли, и даже делились объедками сомнительного мяса или корками темного непропеченного хлеба. Они жадно слушали Берта и уговаривали его остаться с ними на день-два. Почта прекратила свое существование, газеты исчезли, и это создало огромный мучительный пробел в интеллектуальной жизни людей того времени. У них внезапно отняли возможность знать, что делается в других уголках земного шара, и им еще предстояло возродить искусство распространения слухов, которое процветало в средние века. В глазах их, во всем поведении, в словах сквозила растерянность и недоумение.

Берт шел от прихода к приходу, от округа к округу, стараясь по возможности обходить большие города — эти очаги отчаяния и произвола,— и убеждался, что положение дел далеко не везде одинаково. В одном приходе он видел сожженный помещичий дом и разгромленный дом священника — по всей вероятности, результат ожесточенной попытки отнять запасы продовольствия, которых, возможно, и не было. Повсюду валялись неубранные трупы, всякая общественная жизнь замерла. В другом — энергично действовали силы, занятые восстановлением порядка. На столбах были вывешены свежие объявления — бродягам предлагалось обходить деревню стороной; дороги и возделанные поля охранялись

вооруженными людьми, принимались меры для прекращения эпидемии, и за больными ухаживали; имелся общественный запас продовольствия; коровы и овцы находились под бдительным присмотром, и группа людей, в которую входили два-три мировых судьи, местный доктор и какой-нибудь фермер, вершила всеми делами деревни. Собственно говоря, это было возвращение к независимым общинам пятнадцатого века. Зато на такие деревни могли в любой момент напасть азиаты, африканцы или какие-нибудь другие воздушные пираты и потребовать бензина, спиртных напитков или провизии. За такой порядок приходилось платить нечеловеческим напряжением всех сил и бдительностью. Еще подальше грубо намалеванное извещение «Карантин!», или «В посторонних стреляем без предупреждения!», или полуразложившиеся трупы грабителей, покачивающиеся на придорожных телефонных столбах, указывали на близость крупного скопления людей с его сложными проблемами и запутанным клубком разногласий и вражды. Вокруг Оксфорда на крышах лежали большие доски с лаконичным предупреждением воздушным бродягам: «Пушки!»

Лавируя среди этих опасностей, по дорогам все еще проезжали велосипедисты, и раза два во время его долгих странствий мимо Берта проносились мощные автомобили с пассажирами в масках и в защитных очках. Полицейских почти не было видно, но время от времени ему попадались отряды изможденных, ободранных солдат на велосипедах — их число значительно увеличилось после того, как он оставил за собой Уэльс и очутился в Англии. Среди всего этого разорения и хаоса все еще продолжались какие-то военные действия. Сначала он решил, что будет искать пристанища на ночь в работных домах, если очень захочет есть, но иные были заколочены, другие временно превращены в больницы, а один, на который он набрел под вечер возле какой-то деревушки в Глочестершире и который стоял с распахнутыми настежь дверьми и окнами, безмолвный, как могила, оказался (как он обнаружил, к своему ужасу, пройдя по смрадным коридорам) полон непогребенных трупов.

Из Глочестершира Берт повернул на север, к британскому воздухоплавательному парку, находившемуся

поблизости от Бирмингема, в надежде, что его возьмут на работу и будут кормить, потому что там правительство — или по крайней мере военное министерство — продолжало среди всеобщего краха и бедствий прилагать все усилия к тому, чтобы британский флаг по-прежнему реял над страной, и старалось расшевелить мэров и судей, и вновь создать подобие порядка. Они собрали сюда лучших из уцелевших в округе мастеров, снабдили парк достаточными запасами продовольствия на случай осады и сейчас поспешно строили машину Баттериджа, но значительно больших размеров. Берту не удалось получить там работы: у него не хватало знаний и умения,— и он уже добрался до Оксфорда, когда разыгрался страшный бой, во время которого эти заводы были в конце концов разгромлены. Часть — небольшую, правда,— этого боя он видел из местечка, именовавшегося Боархилл. Он видел, как эскадра азиатов появилась из-за холмов на юго-западе, и еще он видел, как один из их воздушных кораблей, описав круг, полетел обратно в юго-западном направлении, преследуемый двумя аэропланами,— это был тот самый корабль, который в конце концов был расстрелян этими аэропланами над Эджхиллом, разбился и сгорел. Но исхода боя он так никогда и не узнал.

В Итоне он переправился через Темзу к Виндзору и, обогнув Лондон с юга, направился в Банхиллу. Там, в старой лавке, словно затравленный зверь, его встретил Том; он только что вырвался из когтей «Пурпурной смерти», а Джессика лежала в горячке наверху и, по-видимому, в тяжелой агонии умирала. В бреду она посылала Тома доставлять заказы клиентам и пилила его, чтобы он не опоздал отнести картофель миссис Томсон и цветную капусту миссис Хопкинс, хотя всякая торговля уже давным-давно прекратилась, а сам Том проявлял чудеса изобретательности, делая капканы для ловли крыс и воробьев и пряча от посторонних глаз кое-какие запасы крупы и сухарей из разграбленных бакалейных лавок. Том встретил брата радостно, но с опаской.

— Господи,— сказал он,— никак Берт? Я так и знал, что ты когда-нибудь да вернешься. Я тебе рад. Вот только угостить мне тебя нечем, потому что у самого ничего нет... Где же это ты пропадал, Берт?

Берт успокоил брата, показав ему недоеденную брюкву. Он все еще сбивчиво и с массой отступлений рассказывал брату о своих приключениях, когда вдруг заметил валявшуюся под прилавком пожелтевшую, забытую записку, адресованную ему.

— Это что еще? — спросил он и узнал, что эта записка годовой давности была от Эдны.

— Она к нам приходила,— сказал Том таким тоном, будто это был какой-то пустяк,— о тебе спрашивала и еще к нам жить просилась. Это уж после боя было, после того, как спалили Клафем Райз. Я-то был не против, да Джессика и слышать не хотела — ну вот, одолжил я ей тайком пять шиллингов, и она пошла себе. Да ведь в записке-то, небось, все сказано?

Да, там было сказано все. Берт узнал, что она намеревалась пойти к дяде и тетке, у которых есть кирпичный заводик под Хоршемом. Там-то после еще двух недель опасных странствий Берт наконец и нашел ее.

Когда Берт и Эдна встретились, они несколько минут растерянно смотрели друг на друга, бессмысленно смеясь: так они изменились, так были оборваны и так ошеломлены. А потом оба расплакались.

— Берти, милый мой! — воскликнула она. — Вернулся! Ты вернулся! — Тут она протянула к нему руки и пошатнулась.— Я ведь говорила ему. А он сказал, что убьет меня, если я не пойду за него замуж.

Но Эдна еще не вышла замуж, и, когда наконец Берт смог добиться от нее вразумительного рассказа, он узнал, какое испытание ждет его впереди. Эта уединенная деревенька оказалась во власти шайки головорезов. Предводитель ее, Билл Гор, начал свою карьеру приказчиком в мясной лавке, а затем стал боксером и отпетым хулиганом. Организовал эту шайку местный помещик, когда-то хорошо известный среди любителей конского спорта, однако довольно скоро он исчез при обстоятельствах, не совсем ясных, и предводителем шайки стал Билл, который и начал энергично воплощать в жизнь идеи своего предшественника и учителя. Дело в том, что помещик увлекался новыми философскими веяниями и верил в необходимость «улучшения расы» и создания «сверхчеловека».

Претворяя эту теорию в жизнь, он то и дело вступал в брак, как и члены его шайки, хотя последние и не столь часто. Билл подхватил эту идею с таким восторгом, что она в конце концов даже отрицательно отразилась на его популярности среди членов шайки. Как-то раз Билл случайно увидел Эдну, кормившую свиней, и тут же среди корыт с помоями принялся ухаживать за ней, причем с большой настойчивостью. Эдна оказала ему героическое сопротивление, но он не прекратил своих ухаживаний и не желал слушать никаких возражений. Он может появиться в любую минуту, сказала она и посмотрела Берту в глаза. Они уже вернулись к тем временам, когда мужчина должен был силой отстаивать свое право на любимую женщину.

И тут, как это ни прискорбно, следует отметить некоторое несоответствие между истиной и рыцарскими традициями. Разве не приятно было бы рассказать о том, как Берт бросил вызов сопернику, об обступивших их кольцом зрителях, о жаркой схватке и о том, как Берт благодаря своей чудесной отваге, любви и удаче одержал победу. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого он тщательно зарядил свой револьвер и с несколько озабоченным видом уселся в парадной комнате домика, примыкавшего к заброшенному кирпичному заводу, и стал слушать рассказы про Билла и про его привычки и напряженно думать. Затем тетка Эдны вдруг с дрожью в голосе сообщила о приближении этого субъекта. Он с двумя своими приятелями входил через калитку в сад. Берт встал, отстранил ее и посмотрел в окно. А посмотреть было на что. На всех троих было нечто вроде формы: красные куртки для игры в гольф и белые свитеры, футбольные майки, гетры и сапоги. Что касается головных уборов, то тут уж каждый дал волю своей фантазии. На Билле была дамская шляпа, сплошь утыканная петушиными перьями. И у всех троих поля шляп были огромны и по-ковбойски заломлены книзу.

Берт вздохнул и встал, погруженный в глубокое раздумье, а восхищенная Эдна не сводила с него глаз. Женщины застыли на месте. Он отошел от окна и неторопливо направился в коридор с озабоченным видом человека, которому предстоит решить весьма сложную и трудную задачу.

— Эдна! — позвал он и, когда она подошла, открыл входную дверь.

— Этот, что ли?.. Точно?..— просто спросил он, указав на идущего впереди человека, и, получив утвердительный ответ, немедленно выстрелил сопернику прямо в сердце. Затем он прострелил голову шаферу Билла, правда, далеко уже не с той опрятностью. Потом он выстрелил в третьего, который пустился тем временем наутек, и подбил его. Тот взвизгнул, но продолжал бежать, весьма смешно подпрыгивая.

А Берт стоял с пистолетом в руке и думал, не обращая внимания на женщин позади себя.

Пока все шло хорошо.

Но ему было ясно, что, если он немедленно не займется политикой, его повесят, как убийцу. Поэтому, не сказав женщинам ни слова, он отправился в деревенский трактир, мимо которого проходил час тому назад по пути к дому Эдны, вошел через заднюю дверь и предстал перед шайкой, которая попивала пиво и шутливо, хотя и не без зависти, обсуждала проблемы брака и сердечные увлечения Билла. Небрежно помахивая отнюдь не небрежно заряженным револьвером, он пригласил их вступить, как ни грустно, в «Комитет вольнодеров», который он организует. «Сейчас без этого нельзя. Вот мы тут и порешили его сколотить». Он сообщил, что друзья ждут его за дверью, хотя на самом деле во всем свете у него не было ни друзей, ни приятелей, кроме Эдны, да ее тетки, да еще двух ее двоюродных сестер.

Последовал краткий, но в рамках приличия обмен мнениями по поводу создавшегося положения. Они решили, что это просто какой-то сумасшедший, который забрел в их владения, не зная о существовании Билла. Они решили протянуть время до прихода своего вождя. Билл его скоро образумит. Кто-то упомянул Билла.

— Билл протянул ноги,— сказал Берт.— Я его только что пристрелил. Так что с ним нам считаться нечего. Я его застрелил и того рыжего, косого — его тоже. Мы это все уже уладили. Никакого Билла нет и не будет. Он навыдумывал всяких глупостей про женитьбу и еще много про что. Вот таких-то мы и будем истреблять.

Это решило исход собрания.

Билла наскоро закопали, и вместо него округой стал заправлять организованный Бертом «Комитет вольнодеров», как он и продолжал именоваться.

На этом и кончается повесть о Берте Смоллуейзе. Мы оставляем его с Эдной пахать землю среди дубрав Сассекса, вдали от событий. С этих пор жизнь его была заполнена крестьянскими заботами, уходом за свиньями и курами, борьбой с нуждой и возней с детьми, так что скоро и Клафем, и Банхилл, и Научный век отошли в область воспоминаний, превратились в какой-то давнишний, смутный сон. Он не знал, как идет война в воздухе, да и идет ли она вообще. Ходили слухи, что под Лондоном что-то происходит, что кто-то видел воздушные корабли, летевшие в том направлении; раза два тень от них падала на него, когда он работал в поле, но откуда и куда они летели, он не знал. Даже свою историю он давно перестал рассказывать. Случалось, на них нападали грабители и воры, случалось, падал скот и не хватало еды; раз как-то вся округа всполошилась из-за стаи одичавших волкодавов, и он участвовал в охоте на них и убивал их. Их было еще много, таких неожиданных и странных приключений. Но из всех них он вышел целым и невредимым.

Вновь и вновь им грозили беды и смерть, но в конце концов все кончалось благополучно; и они любили, и страдали, и были счастливы, и она родила ему много детей — одиннадцать детей одного за другим,— и из них только четверо не выдержали неизбежных лишений их жизни. Они жили и — по понятиям тех дней — жили хорошо, с каждым годом приближаясь к пределу, назначенному всему живому.

ЭПИЛОГ

Солнечным летним утром, ровно тридцать лет спустя после того, как поднялся в воздух первый немецкий флот, некий старик, прихватив с собой маленького мальчика, пошел искать пропавшую курицу среди развалин Банхилла и дальше, по направлению к разбитым шпилям Хрустального дворца. Собственно говоря, был он не так уж стар, ему даже шестидесяти трех еще не

исполнилось, но вечная возня с лопатой и вилами, прополкой и навозом, постоянное пребывание на воздухе в мокрой одежде согнули его спину в дугу. Кроме того, он растерял почти все зубы, и это губительно отозвалось на его пищеварении, а следовательно, и на цвете лица и на характере. Чертами лица и выражением он удивительно напоминал старого Томаса Смоллуейза, того самого, что когда-то служил кучером у сэра Питера Боуна, и это естественно, так как старик этот был его сын — Том Смоллуейз, в прошлом владелец зеленной лавки, под опорой монорельсовой дороги на Хай-стрит в Банхилле. Только зеленных лавок больше не было, и Том обитал в одном из брошенных особняков, возле того самого пустыря, где когда-то находился его огород и где он и теперь по-прежнему прилежно трудился. Они с женой жили наверху, а в гостиной и столовой, откуда широкие стеклянные двери вели на лужайку, Джессика, превратившаяся в тощую и морщинистую, облысевшую старуху, но все еще деловитая и энергичная, держала теперь трех коров и множество бестолковых кур.

Том и Джессика были членами небольшой — душ так в сто пятьдесят — общины, состоявшей из случайно попавших в эти места людей и возвратившихся беженцев, которые обосновались здесь, стараясь приспособиться к новым условиям после паники, и голода, и мора, наступивших вслед за войной. Вернувшись из чужих мест, где им пришлось скитаться и прятаться по разным убежищам, они поселились в родном городке и вступили в трудную борьбу с природой, отвоевывая у нее пропитание, и теперь это составляло главную заботу их жизни Всецело поглощенные этой борьбой, жили они тихо и мирно, в особенности после того, как мистер Уилкс, комиссионер по продаже домов, был утоплен в пруду у разрушенного завода за то, что, движимый былой жаждой стяжательства, он вздумал потребовать у них документы на право владения и вел себя как опытный сутяга (это вовсе не было убийством — просто те, кто окунал его в пруд с воспитательными целями, затянули операцию на лишних десять минут).

Эта маленькая община, забыв о своем прежнем обеспеченном пригородном существовании, зажила жизнью,

которую человечество, без сомнения, вело неисчислимые века, жизнью, скудной и бережливой, неразрывно связанной с коровами, и курами, и маленькими полями, жизнью, которая пропахла коровником, избыток энергии которой полностью поглощался ею же самой порождаемыми микробами и паразитами. Такую жизнь вел европейский крестьянин от зари истории и до начала Эры науки; так всегда приходилось жить огромному большинству народов Азии и Африки. Какое-то время казалось, что машины и порожденная наукой цивилизация вырвут наконец Европу из этого замкнутого круга тяжелого, беспросветного труда, а Америке вообще удастся обойтись без него. Но когда рухнуло гордое, великолепное и ненадежное здание механической цивилизации, так чудесно вознесшееся, простой человек снова вернулся назад к земле, к навозу.

Маленькие общины, до сих пор жившие воспоминаниями о лучших временах, объединялись и устанавливали простейшие законы и во всем слушались знахаря или священника. Ибо мир вновь почувствовал необходимость в религии, в чем-то, что связывало бы его в общины. В Банхилле эта обязанность была возложена на престарелого баптистского проповедника. Его религия была простой и подходила им. В его учении доброе начало, именуемое Словом, вело нескончаемую борьбу с дьявольским наваждением, именуемым «Вавилонской блудницей» (или католической церковью), и с неким злым духом, который назывался Алкоголем. Алкоголь этот давно уже стал понятием чисто отвлеченным, не имеющим ни малейшего отношения к предметам материальным; его никак не связывали с теми бутылками вина или виски, которые порой удавалось обнаружить в богатых лондонских особняках,— подобные находки были единственными праздниками, какие теперь знал Банхилл. Священник проповедовал по воскресеньям, в будние же дни он был приветливым и добродушным старичком, славившимся своей странной привычкой каждый день мыть руки, а то и лицо, и искусством колоть свиней. Воскресные обедни он служил в старой церкви на Бекингем-роуд, и его паства сходилась туда в нарядах, весьма странных, отдаленно напоминавших городские моды начала двадцатого века. Все мужчины, без исключения, щеголя-

ли в сюртуках, цилиндрах и белых рубашках, хотя многие были босиком. Том в этих парадных случаях выгодно выделялся из толпы, потому что на нем был цилиндр, обмотанный золотым кружевом, и зеленые брюки, и сюртук, которые он снял со скелета, найденного в подвале местного отделения лондонского банка. Все женщины, и даже Джессика, появлялись в жакетах и шляпах невероятных размеров, пышно отделанных искусственными цветами и перьями экзотических птиц, которые имелись в неограниченном количестве на складах магазинов в северной части городка; а дети (детей было немного, ибо большая часть новорожденных в Банхилле умирала от непонятных болезней, не прожив и нескольких дней) были в таких же костюмах, только соответственно укороченных. Даже четырехлетний внук Стрингера разгуливал в большом цилиндре.

Такова была праздничная одежда обитателей Банхилла — любопытный пережиток изысканности Научного века. В будние дни они выглядели неряшливо и странно: они кутались в грязные отрепья холстины, красной бумазеи, и мешковину, и в обрывки ковров и даже старых портьер — и ходили кто босиком, кто в грубых деревянных сандалиях. Читателю следует понять, что это были горожане, внезапно оказавшиеся в положении средневековых крестьян, но не располагавшие немудреными знаниями и опытом этих последних. Во многих отношениях они были поразительно беспомощны и ни на что не способны. Они не умели ткать; даже имея материю, они почти ничего не умели себе сшить и, когда им требовалась одежда, вынуждены были добывать ее из быстро тающих запасов, погребенных под окружающими развалинами. Они растеряли все нехитрые навыки, которыми владели когда-то, а навыки, привитые цивилизацией, оказались бесполезными, когда выяснилось, что канализация, водопровод, магазин и прочее отныне не существуют. Пищу они приготовляли более чем примитивно, разводя огонь в заржавевших каминах бывших гостиных, потому что кухонные плиты поглощали слишком много топлива. Никто из них не имел ни малейшего представления о том, как печется хлеб, как варится пиво, как паяются кастрюли.

Мешковина и тому подобные грубые ткани, которые они использовали для будничной одежды, и привычка подтыкать под нее для тепла тряпье и солому, а затем подпоясываться веревкой, придавали этим людям весьма странный, какой-то «упакованный» вид, и поскольку Том взял своего маленького племянника на поиски курицы в будний день, то именно так они и были одеты.

— Ну вот наконец и ты побывал в Банхилле, Тэдди,— сказал старый Том, заводя разговор и замедляя шаг, едва только они отошли настолько, что Джессика не могла их услышать. — Теперь я, значит, всех ребятишек Берта повидал. Погоди-ка, кого это я видел? Маленького Берта видел, Сисси и Матта тоже, и Тома, который в мою честь назван, и Питера. Ну, как прохожие люди тебя довели, ничего, а?

— Видишь, дошел,— сказал Тэдди, мальчик немногословный.

— А по дороге-то они съесть тебя не пробовали?

— Да нет, они ничего,— сказал Тэдди.— А мы, когда шли около Лэзерхеда, человека на велосипеде видали.

— Вон как,— сказал Том.— Теперь их мало разъезжает. Куда ж это он путь держал?

— Говорил, что в Доркинг, если дорога позволит. Только не думаю я, чтоб он туда попал. Вокруг Берфорда все было затоплено. Мы-то горой шли, по Римской дороге. Там-то высоко, никакая вода не достанет.

— Что-то не слыхал,— сказал старый Том.— Так, говоришь, велосипед! А это точно велосипед был? О двух колесах?

— Говорю, велосипед.

— Надо ж! А я вот помню время, Тэдди, когда велосипедов была тьма-тьмущая! Стоишь, скажем, на этом самом месте — дорога тогда была гладкая, будто доска,— и видишь зараз штук двадцать — тридцать, одни сюда катят, другие отсюда, велосипеды, и мотоциклеты, и всякие там моторы... Да мало ли на каких штуках тогда раскатывали!

— Враки,— сказал Тэдди.

— Да нет. И весь-то день они, бывало, мимо едут — сотни за сотнями.

— А куда ж это они все ехали? — спросил Тэдди.

— В Брайтон гнали. Да ты Брайтон, небось, не видал — это там, у моря, вот уж место, так место! Ну, а потом кто в Лондон, кто из Лондона.

— Почему?

— Да так.

— А все ж таки почему?

— Бог его знает, Тэдди. Ездили, и все. А вон видишь, такая штука громадная, будто большой ржавый гвоздь над всеми домами торчит, и вон там, и вон еще, и будто меж ними среди домов что-то тянется? Это все остатки монорельса. Поезда его тоже на Брайтон ходили, и весь-то день, всю-то ночь люди взад-вперед ездили в больших таких вагонах, прямо что твой дом.

Мальчик окинул взглядом ржавые вещественные доказательства, торчавшие над узкой, грязной, наполненной навозной жижей канавой, бывшей некогда Хайстрит. Он явно был настроен скептически. И тем не менее развалины были налицо! Он напрягал мозг, стараясь представить себе нечто недоступное его воображению.

— А чего ж они ездили? — спросил он.— Все-то?

— Нужно было, вот и ездили. Все в то время на ходу было — все!

— А откуда ж они брались?

— Да тут кругом, Тэдди, люди жили. Вон в тех домах, да еще дальше по дороге дома стоят, и в них тоже. Ты мне не поверишь, Тэдди, но это истинная правда. Можно в ту сторону идти и идти, хоть до скончания века, и все будут дома, и еще дома, и еще... Конца краю им нет. Нет конца! И они все больше и больше становятся.— Он понизил голос и сказал таинственно:— Это *Лондон*... И весь-то он теперь пустой и заброшенный. Весь день напролет пустой. Человека там не сыщешь. Ничего-то не сыщешь, кроме собак да кошек, что за крысами охотятся, до самого Бромли или Бекенгема никого нет, а там уже кентские свинопасы живут. (Тоже народ не приведи бог.) Так вот, пока солнце светит, там тихо, как в могиле. Я там днем бывал — не раз бывал и не два.

Он помолчал.

— А раньше, пока не пришла война в воздухе, а за ней голод да Пурпурная смерть, во всех этих домах, на всех-то улицах и дорогах народу невпроворот было! Полно было народу, Тэдди. А потом пришло время, и стало там полно мертвецов, когда к городу от смрада на милю подойти нельзя было. Это Пурпурная смерть их всех скосила, всех до одного. Кошки, собаки, куры и всякая нечисть—и те заражались. Все было зачумленное Самая малость нас выжила. Я вот выкарабкался и тетка твоя, хоть она с того совсем облысела. Да чего там, до сих пор еще в домах скелеты валяются! По эту сторону мы уже во всех домах побывали и забрали себе, что годится, и людей почти всех схоронили. А вот в сторону Норвуда все еще есть дома, в которых стекла в окнах до сих пор целые, и внутри мебель стоит нетронутая — запыленная да рассохшаяся, а кругом человечьи кости лежат, иные в кровати, иные просто так, где придется,— словом, там, где Пурпурная смерть их настигла двадцать пять лет тому назад. Я в один такой дом раз зашел — я да старый Хиггинс в прошлом году,— и была там комната с книгами, Тэдди... Что такое книги, ты знаешь, Тэдди?

— Видал я. С картинками видал.

— Ну вот, всюду книги, Тэдди, сотни книг, и куда их столько, уму непостижимо, заплесневелые и пересохшие! По мне бы их лучше не трогать — я насчет чтения и раньше не больно-то горазд был,— так нет же, старому Хиггинсу обязательно потрогать их надо, хоть ты что. «Я б хоть сейчас мог одну прочитать»,— говорит. «А я вот нет»,— говорю я. «И могу»,— говорит он, а сам смеется и взял одну книгу да открыл ее. Посмотрел я, Тэдди, а там картинка раскрашенная, и до чего ж красивая! И на картинке той женщина и змей в саду В жизни я такого не видал. «Вот,— говорит старый Хиггинс,— в самый раз для меня». А потом взял да эдак по-дружески книгу и похлопал...

Старый Том Смоллуейз сделал многозначительную паузу.

— А потом что? — спросил Тэдди..

— Вся она во прах рассыпалась, в белую пыль!..— Тон его стал еще многозначительней.— Больше уж в тот день мы книг не трогали. Куда уж после такого-то.

Долгое время оба молчали. Затем Том снова вернулся к теме, которая неодолимо влекла его.

— День-то напролет лежат смирно, как в могиле,— повторил он.

Тэдди наконец сообразил, к чему он клонит.

— А ночью они, что ли, не лежат? — спросил он.

Старый Том покачал головой:

— Кто знает, Тэдди, кто знает.

— А что ж они могут делать-то?

— Кто знает. Никто не видал, кто ж тебе расскажет? Выходит, никто.

— Никто?

— Тут у нас разное болтают,— сказал старый Том.— Болтают, болтают, да кто ж им поверит! Я как солнце сядет, так сразу домой и носа на улицу не показываю. Где ж мне знать! Ну, а люди по-разному думают: одни так, другие этак. Все ж я слыхал, будто одежду с них можно брать, только если у них кости белые, а то свою удачу сглазишь. Вот поговоривают...

Мальчик впился глазами в дядю.

— Чего поговаривают? — спросил он.

— А будто в лунные ночи всякое бродит. Только я не больно-то слушаю. Я в постели лежу. Если начать все слушать... Господи! Да тогда, пожалуй, сам себя средь бела дня в чистом поле испугаешься.

Мальчик посмотрел по сторонам и на время прекратил свои вопросы.

— Говорят, в Бекенгеме свинопас один есть,— так он в Лондоне заблудился, три дня и три ночи выйти не мог. Будто пошел он раз в Чипсайд поискать виски да посередь развалин дорогу и потерял. Три дня и три ночи блуждал он, а улицы-то все меняются, все меняются, и никак он из них выбраться не может. Не вспомни он вовремя стиха из библии, так, может, и до сих пор не вышел бы оттуда. Весь день он бродил и всю ночь, и весь день все тихо было. Тихо было, как в могиле, весь день напролет, пока солнце не село и сумрак на землю не пал, а тут началось: шорохи, шепоты и топ-топ, будто спешит кто-то.

Он замолчал.

— Да, ну же...— сказал мальчик нетерпеливо.— А дальше что?

— А дальше слышно стало, будто лошади, в повозки запряженные, бегут и экипажи, едут и омнибусы, а потом вдруг такой свист пошел, от которого кровь в жилах стынет... И только засвистит, как тут и начинает являться: люди на улицах будто спешат куда, люди в домах и в магазинах хлопочут чего-то, автомобили по улицам катят, и от всех лампочек, от всех окон будто лунный свет идет. Я говорю люди, Тэдди, только не люди это вовсе были, а призраки, призраки тех, кого мор настиг, тех, что прежде на улицах этих толкались. И вот, значит, шли они мимо него и сквозь него, и хоть бы кто его заметил, проходили, как пар или туман, Тэдди, и иной раз они были веселые, а иной раз страшные, такие страшные, что словами не опишешь. И вот подошел он к Пикадилли — это место есть такое, Тэдди,— смотрит, а там огни горят, и светло, как днем, и разнаряженные дамы с господами на тротуарах прогуливаются, а по мостовой автомобили разъезжают... И только он посмотрел, как все они вдруг озлели — с лица злые стали, Тэдди. И тут почудилось ему, что они его увидели, и женщины стали на него посматривать и говорить ему — страх, что они ему говорили. Одна подошла к нему совсем близко, Тэдди, прямо к нему подошла и в лицо ему глядит — уставилась. А у самой-то лица нет, только череп раскрашенный, и тут он видит, что все они раскрашенные черепа. И все они одна за другой лезут на него, нашептывают страшное, хватают кто с угрозой, кто с лаской, так что у него чуть не душа вон...

— Ну...— выдохнул Тэдди, нарушив нестерпимую паузу.

— Тут-то он и вспомнил слова из писания. Это его и спасло. «С нами сила господня,— сказал,— да ничего не убоюсь». И не успел он это сказать, как петух запел, и улица опустела из конца в конец. И после этого господь над ним сжалился и вывел его оттуда.

Тэдди вытаращил глаза и тут же задал новый вопрос.

— Да кто же люди-то эти были,— спросил он,— что жили во всех этих домах? Кто они?

— Банкиры всякие, господа с деньгами — по крайности мы так думали, что это деньги, пока все не грохнуло, а тогда посмотрели, а это просто бумага — всякая разная бумага. Да, господи! Их тут сотни тысяч

были. Миллионы. Да сколько раз я видел нашу Хайстрит в торговые часы — на тротуаре не протолкнуться было, когда женщины и прочий народ знай из магазина в магазин бегали!

— Да где ж они еду брали и все?

— В магазинах покупали, вроде вот как у меня был. Погоди, вернемся домой, Тэдди, я тебе место, где он был, покажу. Разве теперешние понимают, что такое магазин? Разве понимают? Они и зеркальных витрин-то в глаза не видели. Господи, да я одной картошки по полторы тонны в подвале зараз держал! У тебя б глаза на лоб вылезли, если бы ты увидел, чего только у меня в магазине не было. Корзины с грушами, каштаны, яблоки, орехи, сладкие да большие какие.— Голос у него стал сладострастным.— Бананы, апельсины...

— А бананы — это что такое? — спросил мальчик.— И апельсины?

— Фрукты такие были. Сладкие, сочные, пальчики оближешь. Заморские фрукты. Их из Испании везли, из Нью-Йорка, со всего мира. Пароходами и по-всякому. Со всего мира мне их свозили. А я ими в своем магазине торговал. Я торговал, Тэдди! А теперь вот хожу с тобой, в мешковину старую обряженный, и заблудившихся кур ищу. А какие люди ко мне в магазин наведывались, какие дамы, знатные да красивые, таких теперь и во сне не увидишь, в пух и прах разодетые! Вот придет такая и спросит: «Ну, мистер Смоллуейз, что у вас сегодня новенького?» А я ей: «Да вот канадских яблочек не желаете ли, а то, может, каштанов в сахаре?» Понимаешь? И брали. Тут же не сходя с места заказ: «Ну пошлите мне и тех и других». Господи, и жизнь же была! Все хлопочут, все куда-то спешат, а сколько шику насмотришься — автомобили, экипажи, пешеходы, шарманщики, немцы-музыканты! И все это мимо тебя, мимо тебя, все время. Если бы не эти пустые дома, так я б подумал, что все это во сне пригрезилось.

— Дядя, а дядя, а с чего ж все они померли? — спросил Тэдди.

— Да потому, что все прахом пошло,— сказал старый Том.— Все шло хорошо, пока война не началась. Все шло как часы. Все были заняты, все были довольны, все ели досыта каждый день.— Он встретил недоверчивый

взгляд.— Все! — повторил он категорически.— Если ты сам себе на обед заработать не мог, так получал в работном доме миску горячего супа, который назывался похлебкой, и хлеба такого, что никто сейчас и испечь не сумеет, настоящего белого хлеба, от государства, значит.

Тэдди таращил глаза от изумления, но ничего не говорил. Рассказ будил в нем какие-то смутные желания, которые он считал более благоразумным подавлять.

Старик на некоторое время предался сладостным воспоминаниям. Его губы шевелились.

— Эх, семги бы под маринадом! — шептал он.— Да с уксусом... Голландского бы сыра... Пивка. Да трубочку табака.

— Да как же все-таки тех людей убило? — спросил наконец Тэдди.

— Война была. С войны все и началось. Грянула война, и пошло. И пошло! Но много народу тогда не погибло. Просто, что все вверх дном перевернулось. Явились они, Лондон запалили и сожгли, и потопили все корабли на Темзе — мы дым и пар потом несколько недель видели,— и кинули бомбу на Хрустальный дворец, так что от него ничего не осталось, и разбили железные дороги, да мало ли еще что... Но насчет того, чтоб людей убивать, это нет, разве что ненароком. Они все больше друг друга убивали. И был тут раз у нас большущий бой, Тэдди,— прямо в воздухе. Большие такие пребольшие штуки — больше чем пятьдесят домов, больше Хрустального дворца, больше, чем я не знаю что, летают себе в воздухе и палят друг в друга, а из них люди убитые на землю валятся. Страсть! Да не так они людей перебили, как дела остановили. Все дела встали, Тэдди. Ни у кого денег не стало, а и были, так купить на них нечего...

— Да как же людей-то убили? — сказал мальчик, дождавшись паузы.

— Я же тебе говорю, Тэдди,— сказал старик.— Затем, значит, дела встали. Вдруг почему-то оказалось, что деньги все куда-то подевались. Были, например, чеки — это бумажки такие с надписями,— и были они все равно что деньги — одно и то же, если тебе их знакомый кли-

ент давал. А потом вдруг глядь—и вовсе не одно и то же. У меня их три на руках осталось, а с двух-то я еще сдачу дал! Потом уж и пятифунтовые банкноты годиться перестали, а потом дошла очередь и до серебра. Золото было ни за какие коврижки не достать. Оно в лондонских банках лежало, а банки-то все разбили. Все разорились. Всех с работы выкинули. Всех!

Он сделал паузу и оглядел своего слушателя. Смышленое личико мальчика выражало безнадежное недоумение.

— Вот как оно вышло,— сказал старый Том. Он задумался, ища подходящих слов.— Словно часы остановили,— сказал он.— Сначала все тихо было, будто замерло все. Только воздушные корабли в небе дерутся. Ну, а потом волнения среди людей пошли. Помню я последнего своего покупателя, самого что ни на есть последнего. Был у нас такой мистер Мозес Глюкштейн, господин один, контору свою имел, всегда обходительный и до спаржи, да артишоков большой охотник. Влетает он ко мне, а у меня покупателей уж и не знаю сколько дней не было, и ну тараторить, предлагает он мне за весь, какой у меня есть на руках товар — хоть картошка, хоть что,— предлагает он, значит, мне заплатить золотом — вес за вес. Говорит, будто задумал дельце одно, говорит, будто об заклад побился... И, может, даже проиграет, ну, да все равно попытка не пытка... Говорит, для него деньги на карту поставить — это завсегда самое разлюбезное дело... Говорит, мне только взвесить все останется, и он мне тут же на все чек выпишет. Ну тут мы с ним немного попрепирались, не то чтоб кто себе лишнего чего позволил, а все же попрепирались, на предмет того, стоят ли теперь чего эти чеки-то. Ну, а пока он мне свое расписывал, повалили мимо эти самые безработные с большим таким плакатом: «Мы хотим есть», — чтобы всякий мог прочитать — в те-то времена все грамотные были, а четверо вдруг возьми да и заверни ко мне в магазин. «Съестное есть?» — спрашивает один. «Нет,— говорю,— не торгуем. Нечем. А и было бы, так боюсь, что все равно бы я вам ничего не смог продать. Вот этот господин, он мне тут предлагает»... Мистер Глюкштейн попробовал меня остановить, да уж поздно было. «Чего он тебе предлагает? — говорит один, такой рыжий де-

тина с топором в руках.— Чего он тебе предлагает?» Что поделаешь, сказал. «Ребята,— говорит он,— держи финансиста!» И они его тут же выволокли и на улице на фонарном столбе повесили. А он даже и не противился. Как я сболтнул, он после слова не вымолвил...

Том задумался.

— Первый раз видел, как человека вешают,— сказал он.

— А сколько тебе было? — спросил Тэдди.

— Да под тридцать,— сказал старый Том.

— Вот тоже! Я видел, как свинокрадов повесили, когда мне и шести не было,— сказал Тэдди.— Отец меня повел, потому что мое рождение как раз было близко. Сказал, что пора мне принимать боевое крещение, к крови и смерти привыкать.

— А зато ты не видал, как люди под автомобиль попадают,— с торжеством сказал Том после минутной досады.— И как мертвых в аптеку притаскивают, не видел.

Триумф Тэдди оказался недолговечным.

— Нет,— сказал он.— Не видал.

— И не увидишь. И не увидишь. Никогда ты не увидишь того, что я видел, никогда. Хоть до ста лет живи... Ну вот, значит, начался голод и бунты. Потом пошли забастовки и социализм, а уж это мне никогда не нравилось; в общем, все хуже да хуже становилось. И дрались-то, и стреляли, и жгли, и грабили... В Лондоне банки взломали и к золоту добрались. Только из золота обед-то не сваришь. Как мы в живых остались? Да просто сидели тихо. Мы никого не трогали, и нас никто не трогал. У нас немного прошлогодней картошки было, а так мы все больше на крысах жили. Дом-то у нас старый, и крыс было полно — и голод их словно не брал. Частенько мы крыс едали. Частенько. Только многие тут у нас больно нежными оказались. Крысами, видишь ли, брезговали... Привыкли ко всяким разносолам. Так до конца и воротили нос. А как брезговать перестали, так уж поздно было—все и померли. Вот голод-то и начал людей убивать. Еще летом, до того, как Пурпурная смерть пожаловала, они уже, как мухи, мерли. Уж это-то я помню. Я же чуть не первый свалился. Вышел раз, думал, может, кошку удастся поймать или еще что, потом на

огород к себе завернул посмотреть, не наберу ли молоденькой репки,— может, раньше не приметил,— и тут накатило на меня, так что я света не взвидел. Такая боль, что тебе и не снилось, Тэдди, прямо пополам меня согнула. Лежу я вон там, в уголке, а тут тетка твоя как раз пришла меня искать, ну и сволокла меня домой, как мешок. Если бы не твоя тетка, так ни за что б я не выжил. «Том,—говорит она мне,—не смей умирать!» Вот и пришлось мне поправиться. А потом она захворала. Захворать-то она захворала, да только твою тетку никакая смерть не возьмет. «Как же! — говорит она.— Так я тебя, дурака, и оставлю одного». Так и сказала. Говорить она всегда умела, тетка-то твоя. Только вот осталась она без волос и, сколько я ни бился, не хочет носить парик, что я ей добыл,— снял с одной старой барыни у священника в саду. Ну так вот, Пурпурная смерть, она просто косила людей, Тэдди. Куда уж их было хоронить. От нее и собаки мерли, и кошки тоже, и крысы, и лошади. Немного погодя все дома, все сады были полны покойниками. К Лондону было не подступить — такой оттуда смрад шел. Оттого нам и с Хай-стрит пришлось перебраться в особняк, где мы теперь живем. И еще в той стороне воды не хватало. В канализацию, в подземные туннели она уходила. Бог его знает, откуда эта Пурпурная смерть пошла; одни одно говорят, другие — другое. Одни говорят, что пошла она с того, что крыс есть начали, а другие — с того, что есть было нечего. Одни говорят, что азиаты ее занесли откуда-то, с какой-то горы, с Тибета, что ли, где от нее никому вреда никакого не было. А мне только то известно, что она следом за голодом пришла. А голод пришел после паники, а паника — после войны.

Тэдди подумал.

— С чего это Пурпурная смерть сделалась? — спросил он.

— Да я ж тебе сказал!

— Ну, а паника почему была?

— Была и была.

— А войну зачем начали?

— Остановиться не могли. Понастроили воздушных кораблей, как же тут было не начать?

— А как война кончилась?

— Бог ее знает, кончилась ли,—сказал старый Том.— Бог ее знает, кончилась ли. Заходят к нам иногда чужие, так вот один прохожий позапрошлым летом говорил, что она все еще не кончилась. Говорят, будто туда дальше, к северу, есть шайки, которые все еще воюют, и в Германии, и в Китае, и в Америке, да мало ли где. Он сказал, будто у них до сих пор и летательные машины есть, и газ, и всякое такое прочее... Но мы тут ничего в воздухе не замечали вот уж семь лет. И никто даже к нам близко не подходил. А последний воздушный корабль, что мы видели, помятый такой, вон туда летел. Недомерок был какой-то да еще кособокий, будто что-то с ним было не того.

Он поднял палец и остановился у дыры в заборе — у жалких останков того самого забора, восседая на котором в обществе своего соседа мистера Стрингера, молочника, он когда-то наблюдал субботние полеты членов Южно-английского аэроклуба, и очень возможно, что он смутно вспомнил именно этот день.

— Вон там, видишь, где от ржавчины все порыжело,— там газ делали.

— А что это — газ? — спросил мальчик.

— Да так, ничего, пшик один... Его в воздушные шары накачивали, чтоб они летали. Ну, и жгли его, пока электричества не выдумали.

Мальчик бесплодно силился представить себе газ на основании этого описания. Затем его мысли вернулись к прежней теме.

— А чего ж они войну-то не кончили?

— Из упрямства. Конечно, сами-то по шее получали — так ведь и другим давали, и все были такие герои да патриоты — вон они и громили друг друга. Громили и громили. А потом и вовсе осатанели.

— Надо было ее кончить,— сказал мальчик.

— Начинать ее не надо было,— сказал старый Том.— Да гордость людей обуяла. Дурь, и чванство, и гордость. Больно много мяса ели да пили вдоволь. Чтоб уступить— так нет, другие пусть уступают. А время прошло, и никто уж их больше и не просил уступать. Никто не просил...

Он глубокомысленно пожевал беззубыми деснами, и взгляд его, скользнув по долине, упал туда, где блестела на солнце разбитая крыша Хрустального дворца. Смутное томительное сожаление обо всем, что было зря загублено, о безвозвратно упущенных возможностях нахлынуло на него. Он повторил свой приговор всему этому, упрямо, не спеша, веско, раз и навсегда высказал свой окончательный вывод.

— Говори что хочешь,— сказал он,— начинать ее не надо было.

Он сказал это просто: кто-то где-то что-то должен был остановить, но кто и как и почему — этого он не знал.

1908

Освобожденный мир

ПРЕЛЮДИЯ

ЛОВЦЫ СОЛНЦА

1

История человечества — это история обретения внешней мощи. Человек — это пользующееся орудиями, добывающее огонь животное. Еще в самом начале его земного пути мы видим, что он добавлял к естественной силе и природному оружию животного жар огня и грубые каменные орудия. Благодаря этому он перестал быть обезьяной. С этого момента он быстро пошел вперед. Вскоре он присоединил к своей силе силу лошади и быка, он воспользовался несущей силой воды и увлекающей силой ветра; он ускорял разгорание своего костра, раздувая его, а его простые орудия, обработанные сперва медью, а потом железом, увеличивались в числе, разнообразились и становились все более хитроумными и удобными. Он сохранял тепло с помощью жилищ и облегчал себе передвижение с помощью тропинок и дорог. Он усложнял свои социальные взаимоотношения и увеличивал производительность своего труда путем его разделения. Он начал накапливать знания. Приспособление следовало за приспособлением, и каждое из них помогало человеку производить все больше. Неизменно на протяжении своей все удлиняющейся истории, за исключением периодов, время от времени отбрасывавших его назад, он производит все больше и больше...

Четверть миллиона лет назад самый высокоразвитый человек был дикарем, почти не умевшим мыслить и говорить, укрывавшимся в пещерах среди скал, вооруженным грубо обтесанным кремнем или обожженной на огне палкой, нагим. Люди жили маленькими семейными ордами, и едва мужественность человека начинала угасать, как его убивал кто-нибудь помоложе. Долго и тщетно пришлось бы вам разыскивать человека по обширным диким пространствам земли. Лишь в нескольких речных долинах, расположенных в умеренном поясе и в субтропиках, наткнулись бы вы на жалкие логова его крохотных орд — самец, несколько самок, два-три детеныша.

Тогда он не знал будущего, не знал иной жизни, кроме той, которую вел. Он убегал от пещерного медведя по скалам, сложенным из железной руды, которая сулила меч и копье; он насмерть замерзал на угольном пласте; он пил воду, помутневшую от глины, из которой в грядущем стали изготовлять фарфоровые чашки; он жевал случайно сорванный колос дикой пшеницы и, что-то смутно соображая, поглядывал на птиц, круживших в небе, вне пределов его досягаемости. Или, внезапно почуяв запах другого самца, с рычанием вставал на ноги, и рык этот был нечленораздельным предшественником моральных наставлений. Ибо этот первочеловек был великим индивидуалистом и не терпел себе подобных.

И вот в длинной цепи поколений этот наш грузный предшественник, этот наш всеобщий предок дрался, размножался, погибал, изменяясь почти незаметно.

И все же он изменялся. Тот же острый резец необходимости, который из века в век заострял когти тигра и выточил из неуклюжего орогиппуса быструю, грациозную лошадь, трудился и над ним, как он трудится над ним и по сей день. Наиболее неуклюжие и наиболее тупо злобные среди его собратьев погибали быстрее и чаще; побеждали более ловкая рука, более быстрый глаз, более развитый мозг, более пропорционально сложенное тело; век за веком орудия незаметно совершенствовались, а человек незаметно извлекал все больше пользы из своих возможностей. Он становился более общительным, его орда росла; уже не всякий вожак орды убивал или изгонял своих подрастающих сыновей; система табу позволя-

ла ему терпеть их, а они почитали его, пока он был жив (а вскоре начали почитать его даже и после смерти), и стали его союзниками в войне с хищными зверями и с остальным человечеством. (Но им запрещалось касаться женщин своего племени, они должны были подстерегать женщин чужого племени и захватывать их силой, и каждый сын избегал своих мачех и прятался от них, опасаясь разбудить ярость Старика. И во всем мире даже и по сей день можно проследить эти древние всеобщие табу.) И теперь на смену пещерам пришли шалаши и хижины. Огонь был окончательно приручен, появились шкуры, появилась одежда, и благодаря всему этому двуногое существо распространилось в более холодные области, неся с собой запасы пищи, которую уже научились хранить, и порой забытое в тайнике зерно давало ростки, кладя начало земледелию.

И уже зарождались досуг и мысль.

Человек начинал мыслить. Выпадали времена, когда он был сыт, когда его не тревожили ни похоть, ни страх, когда солнце пригревало его стоянку, и тогда в его глазах зажигались смутные проблески мысли. Он царапал на кости и, уловив идею сходства, начинал стремиться к нему и так создавал искусство живописи; мял в кулаке мягкую теплую глину с берегового откоса, испытывал удовольствие от возникновения изменчивых и повторяющихся форм, лепил из нее первый сосуд и обнаруживал, что она не пропускает воду. Он смотрел на струящийся ручей и старался постичь, какая благодетельная грудь источает эту неиссякающую воду; он, щурясь, смотрел на солнце и мечтал поймать его в ловушку, заколоть копьем, когда оно уйдет в свое логово за дальними холмами. А потом сообщал своему собрату, что один раз ему уже удалось это сделать — ну, не ему, так кому-то еще,— и эта мечта смешивалась с другой почти столь же дерзкой: что когда-то уже удалось загнать мамонта. Так зародилась фантазия, указывая путь к свершению, кладя начало величественной пророческой веренице сказаний.

Десятки, сотни столетий, тысячи тысяч поколений продолжалась эта жизнь наших отцов. Между началом и расцветом этой фазы человеческой жизни, между созданием первого неуклюжего каменного орудия из кремня

и первыми орудиями из полированного камня прошло от двух до трех тысяч столетий, сменилось от десяти до пятнадцати тысяч поколений. Так неторопливо — по нашим человеческим меркам — творило себя человечество из смутного звериного сознания. И этот первый проблеск мысли, этот первый рассказ о свершении, этот рассказчик, который, раскрасневшись и блестя глазами под спутанной гривой волос, размахивал руками перед лицом своего изумленного и недоверчивого слушателя и хватал его за локоть, чтобы привлечь внимание к себе,— это было самым великолепным из всех начал, какие только видел наш мир. Оно обрекало мамонтов на гибель, и оно привело к той ловушке, в которую суждено было поймать солнце.

2

Эта мечта была лишь мгновением в жизни человека, которая, как и у всего братства зверей, заключалась как будто лишь в том, чтобы добывать пищу, убивать себе подобных и размножаться. Вокруг, скрытые лишь тончайшей завесой, находились нетронутые источники Силы, чью мощь даже и сегодня мы не можем измерить. Силы, которая могла претворить в действительность любую самую дерзкую мечту. Но хотя человек умирал слепым, не подозревая об этом, его племя уже вступило на путь, который вел к ее покорению.

Наконец на щедрой почве теплых речных долин, где пища была обильна и жизнь легка, человек, все дальше отходя от зверя, преодолел первоначальную вражду к себе подобным, становясь, по мере того как слабели тиски необходимости, все более терпимым, и создал первую общину. Возникло разделение труда, некоторые из стариков становились хранителями знаний и наставниками, самый сильный возглавлял своих собратьев во время войны, и уже жрец и царь начинали приступать к исполнению своих ролей в первых сценах драмы, название которой — история человечества.

Жрец ведал сроками посева и сбора урожая и сохранением плодородия земли, а царь решал, быть ли миру или войне. В сотнях речных долин, лежащих на границе между умеренной и тропической зонами, уже десятки

тысяч лет назад строились города и храмы. Их расцвет не был отмечен ни в каких хрониках, они не знали прошлого и не прозревали будущего, ибо искусство письма было еще неизвестно.

Очень, очень медленно начинал человек прибегать к неисчерпаемым богатствам Силы, которая повсюду предлагала ему себя. Он приручил некоторых животных, он превратил свои примитивные, случайные приемы обработки земли в священный ритуал; сперва он научился пользоваться одним металлом, затем — другим, третьим, и вот в дополнение к камню он уже обладал медью, оловом, железом, свинцом, золотом, серебром; он научился обтесывать и обрабатывать дерево, изготовил глиняную посуду, спустился в челноке по своей реке и достиг моря, открыл колесо и проложил первые дороги. Но главным его занятием на протяжении более чем сотни веков было подчинение себя и других все более усложнявшемуся обществу. История человека — это не просто история победы над внешними силами. Это в первую очередь победа над недоверием и злобой, над животным напряженным сосредоточением в самом себе, которые связывали его руки, мешали ему овладеть тем, что принадлежало ему по праву. Обезьяна в нас по-прежнему чурается общения. Начиная с зари века полированного камня и по установление Всемирного Мира человек в основном имел дело с самим собой и своими собратьями: торговал, заключал сделки, вводил законы, умилостивлял, обращал в рабство, побеждал, уничтожал и самое малейшее увеличение своей силы он немедленно обращал и обращает на цели этой сложной, не всегда осознанной борьбы за создание совершенного общества. Последним и величайшим из его инстинктов стало стремление объединить всех своих собратьев в едином, целенаправленном обществе. Еще не закончился последний этап века полированного камня, как человек уже стал политическим животным. Он сделал в себе самом открытия, последствия которых были необозримы,— сперва научившись считать, а потом писать и вести записи, и после этого его селения-общины начали вырастать в государства. В долинах Нила, Евфрата и великих китайских рек зародились первые империи и первые писаные законы. Люди посвящали свою жизнь одному занятию—вой-

не или управлению, становясь воинами и знатью. Позднее, с появлением надежных кораблей, Средиземное море из непреодолимой преграды превратилось в широкую дорогу, и в конце концов из мелких пиратских стычек родилась великая борьба Карфагена и Рима. История Европы — это история побед и распада Римской империи. Каждый монарх в Европе до самого конца монархий рабски подражал Цезарю и называл себя кайзером, или царем, или императором. Если измерять время протяженностью человеческой жизни, то между первой египетской династией и появлением первого аэроплана прошел колоссальный срок, но если оглянуться на эпоху творцов первых каменных орудий, этот срок покажется историей вчерашнего дня.

В течение этих двадцати тысячелетий, в период воюющих между собой государств, когда человеческие умы были главным образом заняты политикой и взаимной агрессией, покорение внешней Силы шло медленно; быстро по сравнению с древним каменным веком, но чрезвычайно медленно по сравнению с новым веком систематических открытий, в котором живем мы.

Оружие и методы войны, сельское хозяйство, вождение кораблей, сведения о земном шаре, а также домашняя утварь и весь хозяйственный обиход людей изменились сравнительно очень мало со дней первых египтян по тот день, когда родился Христофор Колумб. Разумеется, имели место изобретения, происходили перемены, но наряду с этим прогресс порой обращался вспять: сделанные открытия вновь забывались. В общем, это был несомненный прогресс, но его движение вперед не было непрерывным. Жизнь крестьян не менялась. В начале этого периода в Египте, Китае, Ассирии и Юго-Восточной Европе уже были священнослужители и судьи, городские ремесленники, земельная знать и правители, врачи, повитухи, солдаты и моряки, и они делали примерно то же и вели почти такую же жизнь, какую они вели в Европе в 1500 году нашей эры. Английские археологи, раскапывая развалины Вавилона и Египта в 1900 году нашей эры, открывали юридические документы, домашние счета и семейную переписку, которые были им привычны и знакомы по собственному опыту. За этот период происходили большие религиозные и этические

перемены, империи и республики вытесняли друг друга; Италия поставила обширнейший эксперимент с рабовладением, и надо сказать, что рабовладение испытывалось вновь и вновь, и каждый раз приводило к неудачам, и все же было испробовано и вновь отвергнуто в Новом Свете; христианство и мусульманство уничтожили тысячи более узких культов, но сами по себе они являлись непрерывным приспособлением человечества к определенным материальным условиям, которые тогда, вероятно, представлялись вечными. В этот период человеческий разум не воспринял бы мысли о революционных переменах материальных условий жизни.

Однако и в буднях средневековья среди войн и процессий, строительства замков и строительства соборов, искусства и любви, дипломатических интриг и кровавой вражды, крестовых походов и торговых путешествий все еще жил мечтатель и рассказчик, ожидая своего часа. Он уже не фантазировал с буйной свободой дикаря каменного века: путь ему со всех сторон преграждали авторитетные исчерпывающие объяснения всего сущего. Однако его фантазии зарождались в более развитом мозгу, и, оставляя дела, он созерцал в небе движение звезд и размышлял над монетой или кристаллом, зажатым в руке. И на протяжении всей этой эпохи, как только выпадали минуты досуга, всегда находились люди, которых не удовлетворяла внешность вещей, не удовлетворяли ортодоксальные объяснения, люди, которые томились смутным ощущением того, что окружающий мир состоит из неразгаданных символов, люди, которые сомневались в непререкаемости схоластической мудрости.

На протяжении всех веков истории находились люди, которые ощущали вокруг себя непознанное. И хоть раз услышав его зов, они больше не могли вести обычную жизнь, не могли удовлетворяться тем, что удовлетворяло их соседей. И чаще всего они верили не только в то, что весь окружающий мир был, так сказать, цветным занавесом, скрывающим неразгаданное, но и в то, что эти скрытые тайны представляли собой Силу. До этого люди обретали силу случайно, но теперь появились эти искатели и принялись искать, искать среди редких, странных и непонятных предметов, порой находя что-нибудь,

порой обманывая себя воображаемым открытием, порой сознательно обманывая других. Будничный мир смеялся над этими чудаками или досадовал на них и обходился с ними сурово, или же, охваченный страхом, объявлял их святыми, колдунами и оборотнями, или, подстрекаемый алчностью, угождал им в надежде извлечь из этого выгоду, но чаще всего просто не обращал на них никакого внимания. И все же в их жилах текла кровь того, кому первому пригрезился побежденный мамонт; все они до одного были его потомками, а искали они, и не подозревая об этом, ловушку, в которую когда-нибудь будет поймано солнце.

3

Таким человеком был некий Леонардо да Винчи, который с рассеянным достоинством служил миланскому герцогу Сфорца. Его записки исполнены пророческой тонкости и удивительного предвосхищения методов первых авиаторов. Таким же был и Дюрер; к этой породе принадлежал и Роджер Бэкон — тот, кого заставили умолкнуть францисканцы. Таким же человеком в более раннюю эпоху был Гиерон Александрийский, знавший о силе пара за тысячу девятьсот лет до того, как она нашла практическое применение. А еще раньше жил Архимед Сиракузский, и еще раньше — легендарный Дедал Кносский. И всюду, на всем протяжении истории, стоило наступить небольшой передышке от войн и зверств, появлялись искатели. И половина алхимиков принадлежала к их племени.

Когда Роджер Бэкон взорвал свою первую горстку пороха, можно было подумать, что люди немедленно используют эту взрывную силу для приведения в действие машин. Но это им и в голову не пришло. Они еще и не начинали подозревать о подобных возможностях, а их металлургия была настолько примитивна, что даже замысли они такие машины, их невозможно было бы изготовить. Ведь они довольно долго были не в состоянии изготовлять достаточно прочные приспособления, которые могли бы выдержать давление этой новой силы, хотя бы при осуществлении такой примитивной цели, как метание снарядов. Их первые пушки представляли собой

стянутые обручами деревянные трубы. И миру пришлось ждать более пятисот лет, пока появилась первая машина взрывного действия.

Даже когда искатели находили что-то, требовался очень долгий срок, чтобы мир мог использовать их находку для каких-нибудь иных целей, кроме самых примитивных и самых очевидных. Если человек в целом уже не был абсолютно слеп к окружавшим его непокоренным энергиям, как его палеолитический предок, он все же в лучшем случае был очень близорук.

4

Прежде чем энергия, таившаяся в угле, и сила пара начали оказывать влияние на человеческую жизнь, им очень долго пришлось пробыть на грани открытия.

Без сомнения, при дворах и во дворцах время от времени появлялось много таких игрушек, как изобретение Гиерона, но их тут же забывали, и потребовалось, чтобы уголь стал добываться и сжигаться по соседству с большим количеством железной руды, прежде чем люди сообразили, что это не просто пустая диковинка. И следует отметить, что первое записанное в истории предложение использовать пар было связано с войной: существует трактат времен королевы Елизаветы, в котором предлагается стрелять при помощи закупоренных железных бутылей, наполненных кипящей водой. Добывание угля на топливо, выплавка железа в большем масштабе, чем когда-либо раньше, паровой насос, паровая машина, паровое судно следовали друг за другом в порядке, который отражает определенную логическую необходимость. История пара от ее начала, как фактора в человеческом сознании, до огромных турбин, которые предшествовали использованию внутримолекулярных сил,— это самая интересная и поучительная глава в истории развития человеческого интеллекта. Почти каждый человек, несомненно, видел пар, и на него смотрели в течение многих тысячелетий без всякого любопытства, в частности женщины постоянно нагревали воду, кипятили ее, видели, как она выкипает, видели, как крышки сосудов приплясывают под яростным напором пара; в разные времена миллионы людей, несомненно, наблюдали,

как пар выбрасывает из кратера вулкана огромные камни, словно крикетные шары, и превращает пемзу в пыль, и все же можно обыскать с начала и до конца архив человечества — письма, книги, надписи, картины — и не найти даже проблеска догадки о том, что рядом была сила, рядом была мощь, которую можно было подчинить себе и использовать... А затем человек внезапно осознал это; железные дороги сетью опутали земной шар, все увеличивающиеся в размерах железные паровые суда начали свою ошеломительную борьбу против ветра и волн.

Пар был первой из обретенных новых сил, он положил начало Веку Энергии, которому суждено было заключить длинную историю Эпохи Воюющих Государств.

Однако очень долго люди не сознавали всей важности этой новинки. Они не желали признать, они не были способны признать, что произошло нечто решительным образом меняющее привычный уклад жизни, сложившийся еще в незапамятные времена. Они называли паровоз «железным конем» и делали вид, будто произошла простая замена. Паровые машины и фабричное производство прямо на глазах у них революционизировали условия промышленного производства, население постоянно и непрерывно покидало сельские местности и концентрировалось доселе неслыханными массами в немногих больших городах. Пища для них поступала из столь отдаленных мест и в таких масштабах, что одинединственный прецедент — подвоз хлеба в императорский Рим — казался в сравнении незначительной мелочью. Происходила гигантская миграция народов между Европой, Западной Азией и Америкой, но тем не менее никто, казалось, не понимал, что в жизнь человечества вошло нечто новое и что этот водоворот совершенно не похож на предыдущие движения и изменения и напоминает завихрения, которые возникают в шлюзе, когда после долгой фазы накопления воды и ее бездеятельного кружения начинают открываться ворота.

В конце девятнадцатого столетия невозмутимый англичанин, садясь за завтрак, выбирал, будет ли он пить чай с Цейлона или кофе из Бразилии,

попробует ли он яичницу из французских яиц с датской ветчиной или съест новозеландскую баранью отбивную, а затем, заключив завтрак вест-индским бананом, проглядывал последние телеграммы со всех концов света, изучал курс своих капиталовложений, распределенных географически между Южной Африкой, Японией и Египтом, и сообщал двум детям, которых он зачал (вместо тех восьмерых, которых зачал его отец), что, по его мнению, мир почти не меняется. Они должны играть в крикет, вовремя подстригать волосы, учиться в старой школе, в которой учился он сам, ненавидеть уроки, которые ненавидел он, вызубрить несколько отрывков из Горация, Вергилия и Гомера на посрамление людям не их круга,— и жизнь их сложится прекрасно...

5

Электричество, хотя изучать его и начали, пожалуй, раньше пара, ворвалось в повседневную жизнь человека несколькими десятилетиями позже. И к электричеству также, несмотря на то, что оно окружало человека в дразнящей близости со всех сторон, люди были слепы в течение неисчислимых веков.

А ведь электричество требовало внимания к себе с ни с чем не сравнимой настойчивостью. Оно гремело над ухом человека, оно подавало ему сигналы ослепительными вспышками, иногда оно даже убивало его, а он тем не менее не считал, что это явление близко его касается и заслуживает хотя бы изучения. Электричество являлось в его дом, в любой сухой дом вместе с кошкой, и соблазнительно потрескивало, когда он ее гладил. Оно разрушало его металлы, когда он складывал их вместе... И все же до шестнадцатого века, насколько мы можем судить, никто ни разу не заинтересовался, почему кошачий мех потрескивает или почему волосы встают дыбом под щеткой в морозный день. Бесконечные годы человек, казалось, делал все, что в его силах, чтобы не замечать этих явлений, пока наконец к ним не обратился этот новый дух — дух Искания.

Как часто, наверно, многие явления наблюдались и

забывались, как не заслуживающие внимания пустяки, прежде чем к ним обращался пытливый взгляд и наступал момент прозрения! Первым начал ломать голову над поведением кусочков янтаря, стекла, шелка и шеллака, если их потереть, Гилберт, придворный врач королевы Елизаветы, и с этих пор человеческий разум все быстрее начал постигать эту вездесущую энергию. Но и после этого в течение двухсот лет наука об электричестве оставалась небольшой группой любопытных фактов, связанных то ли с явлениями магнетизма (это была лишь ни на чем не основанная догадка), то ли с молнией. Вероятно, лягушачьи лапки висели на медных крючках, насаженных на железные прутья, и дергались на них бесчисленное количество раз, прежде чем их увидел Гальвани. Если не считать громоотвода, то прошло двести пятьдесят лет со времен Гилберта, прежде чем электричество перешло из кунсткамеры научных диковинок в жизнь простых людей... А затем внезапно, за пятьдесят лет, прошедших между 1880 и 1930 годом, оно вытеснило паровую машину и стало тяговой силой, оно вытеснило все другие формы отопления и уничтожило расстояние с помощью усовершенствованного беспроволочного телефона и телефотографа...

6

И не менее ста лет с начала научной революции человеческое сознание отчаянно сопротивлялось открытиям и изобретениям. Каждая новинка пробивала себе путь к практике через стену скептицизма, порой граничившего с враждебностью. Некий писатель, занимавшийся этими темами, сообщает о забавном семейном разговоре, который, по его словам, произошел в 1898 году, другими словами, всего за десять лет до того времени, как первые авиаторы начали уверенно покорять воздух. Он сидел за письменным столом в своем кабинете и беседовал со своим маленьким сыном.

Его сын был очень расстроен. Он чувствовал, что должен серьезно поговорить с отцом, но, будучи добрым маленьким мальчиком, не хотел обойтись с ним слишком сурово.

Вот их разговор.

— Папа,— сказал мальчик, переходя к делу.— Может быть, ты не будешь писать всей этой чепухи про полеты? Ребята меня дразнят.

— Да? — сказал его отец.

— И старик Бруми... ну... директор тоже смеется надо мной. Мне проходу не дают.

— Но ведь полеты начнутся — и очень скоро

Маленький мальчик был слишком хорошо воспитан, чтобы высказать вслух то, что он подумал.

— Все равно,— повторил он,— лучше бы ты об этом не писал.

— Ты будешь летать — и много раз в своей жизни,— заверил его отец.

Мальчик насупился с несчастным видом.

Отец помедлил в нерешительности. Потом он открыл ящик и вытащил нерезкий, недопроявленный фотографический снимок.

— Посмотри-ка,— сказал он.

Мальчик подошел к нему. На фотографии был виден ручей, лужайка за ним, несколько деревьев, а в воздухе — черный, похожий на карандаш предмет с плоскими крыльями по бокам. Это было первое изображение первого аппарата тяжелее воздуха, которому удалось удержаться над землей с помощью механической силы. Сбоку было написано: «И летим мы ввысь, ввысь, ввысь! — От С. Ленгли, Смитсоновский институт, Вашингтон».

Отец ждал, какое впечатление произведет на сына это доказательство.

— Ну, что? — спросил он.

— Это же только модель,— ответил мальчик, подумав.

— Сегодня модель, а завтра человек.

Мальчик несколько секунд колебался: уважение к отцу боролось с уважением к директору. Но в конце концов он стал на сторону того, кого искренне считал средоточием всех возможных знаний.

— А вот старик Бруми,— объявил он,— только вчера сказал в классе: «Человек никогда не полетит». Он говорит, что тот, кто хоть раз в жизни стрелял куро-

патоκ или фазанов на лету, никогда не поверит подобной чепухе...

И все же этому мальчику довелось не раз перелетать через Атлантический океан, а кроме того, издать воспоминания своего отца.

7

В последние годы девятнадцатого столетия считалось — чему мы находим многочисленные свидетельства в литературе того времени,— что человек, наконец успешно и к своей выгоде покорив пар, который ошпаривал его, и электричество, которое сверкало и гремело вокруг него в небе, добился изумительного и скорее всего завершающего триумфа своего разума и интеллектуального мужества. В некоторых из этих книг звучит мотив «Ныне отпущаеши».

«Все великие открытия уже сделаны,— писал Джеральд Браун в своем обзоре девятнадцатого столетия.— Нам остается лишь разрабатывать кое-какие детали». Дух искания все еще был редкостью в мире; система образования была несовершенна, неинтересна, схоластична, и образованность ценилась мало,— почти никто даже в эту эпоху не отдавал себе отчета, что Наука находилась лишь в самой зачаточной стадии и подлинно великие открытия еще даже не начались.

Никто, по-видимому, не опасался науки и возможностей, которые она открывала. А ведь к тому времени там, где прежде был лишь десяток искателей, теперь их было много тысяч, и на один зонд пытливой мысли, который в тысяча восьмисотом году исследовал то, что скрывалось за внешностью вещей и явлений, теперь их приходилось сотни. И уже Химия, чуть ли не целый век удовлетворявшаяся своими атомами и молекулами, начала готовиться к следующему гигантскому шагу, которому предстояло революционизировать всю жизнь человека сверху донизу.

Чтобы понять, насколько несовершенна была наука той эпохи, достаточно напомнить историю открытия состава воздуха. Его состав был определен к концу восемнадцатого столетия Генри Кавендишем — чудаковатым

гением и отшельником, человеком тайны, бестелесным интеллектом. Насколько это было в его силах, он идеально разрешил свою задачу. Он выделил все известные составные части воздуха с точностью поистине поразительной; он даже указал, что азот может содержать какие-то примеси. Химики всего мира более ста лет подтверждали полученные им результаты, его аппарат хранился в Лондоне как бесценная реликвия. Кавендиш стал, как говорили в те времена, «классиком»,— и в то же время, сколько раз ни повторялся его эксперимент, в азоте неизменно скрывался еще один элемент — неуловимый аргон (вместе с ничтожным количеством гелия и следами других веществ — собственно говоря, со всеми теми данными, которые могли бы открыть перед химией двадцатого века совершенно новые пути), и каждый раз он ускользал незамеченным между профессорскими пальцами, повторявшими опыт Кавендиша.

Нужно ли удивляться, что при таких огромных допусках научные открытия до самого начала двадцатого века по-прежнему оставались скорее цепью счастливых случайностей, чем систематическим покорением природы?

И все же дух искания все больше и больше распространялся по земле. Даже школьный учитель не мог ему помешать. Если в девятнадцатом столетии тех, кто жаждал познать тайны природы, была всего лишь горстка, то теперь, в первые годы двадцатого века, в Европе, в Северной и Южной Америке, в Японии, в Китае и повсюду в мире их были уже мириады — тех, кто сумел преодолеть пределы интеллектуальной рутины и повседневной жизни.

И вот настал тысяча девятьсот десятый год — год, когда родители Холстена, которого впоследствии целое поколение ученых называло «величайшим химиком Европы», сняли на сезон виллу вблизи Санто Доминико, между Фьезоле и Флоренцией. Ему тогда было только пятнадцать лет, но он уже приобрел известность как математик и был одержим яростной жаждой познавать. Его особенно влекла тайна фосфоресценции, которая как будто не имела никакой связи с любыми другими источниками света. Впоследствии в своих воспоминаниях Холстен рассказал, как он следил за танцем свет-

ляков среди темных деревьев в саду виллы под теплыми бархатными небесами Италии; как он ловил их и держал в банках, а потом, предварительно изучив общую анатомию насекомых, начал их вскрывать; и как он попробовал воздействовать различными газами и температурами на их свечение. А затем случайно подаренная ему прелестная научная игрушка, изобретенная сэром Уильямом Круксом,— игрушка, называемая спинтарископом, в которой под воздействием частиц радия светится сернистый цинк,— заставила его задуматься над возможной связью между этими двумя явлениями. Это была счастливая мысль, и она очень помогла ему в его исследованиях. И очень редким и счастливым стечением обстоятельств можно считать тот факт, что эти любопытные явления привлекли внимание именно талантливого математика.

8

А в то время, когда Холстен размышлял над своими светляками во Фьезоле, некий профессор физики по фамилии Рафис читал в Эдинбурге цикл вечерних лекций о радии и радиоактивности. Эти лекции привлекали большое количество слушателей. Профессор читал их в маленьком лектории, в котором с каждым вечером становилось все теснее. На последней лекции все скамьи были битком набиты до самого последнего ряда, но даже те, кто стоял в проходах, забывали об усталости — так захватили их гипотезы, которые излагал профессор. Но особенно заворожен был один слушатель— круглоголовый вихрастый молодой горец: он сидел, обхватив колени большими красными лапищами, и впитывал каждое слово. Глаза его сияли, щеки раскраснелись, уши горели.

— Таким образом,— говорил профессор,— мы видим, что радий, который сперва представлялся нелепым исключением, безумным извращением, казалось бы, наиболее твердо установленных принципов строения материи, на самом деле обладает теми же свойствами, что и другие элементы. Просто в нем бурно и явно происходят процессы, которые, возможно, свойственны остальным элементам, но протекают в них крайне мед-

ленно и потому незаметно. Так возглас одного человека выдает во мраке бесшумное дыхание множеств. Радий представляет собой элемент, который разрушается и распадается. Но, быть может, все элементы претерпевают те же изменения, только с менее заметной скоростью. Это, несомненно, относится к урану, и к торию — веществу этой раскаленной газовой мантии, и к актинию. Я чувствую, что мы лишь начинаем длинный список. И нам уже известно, что атом, который прежде мы считали мельчайшей частицей вещества, твердой и непроницаемой, неделимой и... безжизненной... да, безжизненной!.. на самом деле является резервуаром огромной энергии. Вот каковы удивительные результаты этих исследований. Совсем недавно мы считали атом тем же, чем мы считаем кирпичи,— простейшим строительным материалом. Исходной формой материи, единообразной массой безжизненного вещества. И вдруг эти кирпичи оказываются сундуками, сундуками с сокровищами, сундуками, полными самой могучей энергии. В этой бутылочке содержится около пинты окиси урана; другими словами, около четырнадцати унций элемента урана. Стоит она примерно двадцать шиллингов. И в этой же бутылочке, уважаемые дамы и господа, в атомах этой бутылочки дремлет по меньшей мере столько же энергии, сколько мы могли бы получить, сжигая сто шестьдесят тонн угля. Короче говоря, если бы я мог мгновенно высвободить сейчас вот тут всю эту энергию, от нас и от всего, что нас окружает, осталась бы пыль; если бы я мог обратить эту энергию на освещение нашего города, Эдинбург сиял бы яркими огнями целую неделю. Но в настоящее время никто еще не знает, никто даже не догадывается, каким образом можно заставить эту горстку вещества ускорить отдачу заключенных в ней запасов энергии. Она и отдает их, но тоненькой, тоненькой струйкой. Уран очень медленно превращается в радий, радий превращается в газ, называемый эманацией радия, а это вещество — в то, которое мы называем «радий А». И этот процесс продолжается непрерывно с потерей энергии на каждом этапе, до тех пор, пока мы не достигнем последнего этапа, которым, насколько мы можем в настоящий момент су-

дить, является свинец. Но ускорить этот процесс мы не в силах.

— Понятно,— шептал про себя вихрастый юноша, и его красные руки стискивали колени, словно тиски.— Понятно. Ну, дальше! Дальше!

Помолчав, профессор продолжал.

— Почему это изменение является постепенным? — спросил он.— Почему в каждую данную секунду распадается лишь крохотная частица радия? Почему он выделяет эти частицы так медленно и так точно? Почему весь уран разом не превратится в радий, а весь радий — в следующее вещество? Почему этот распад идет по каплям? Почему эти элементы не распадаются целиком?.. Предположим, в скором времени мы найдем способ ускорить этот распад.

Вихрастый юноша энергично закивал. Сейчас он услышит чудесный, неизбежный вывод. Он подтянул колени к самому подбородку и от волнения заерзал на сиденье.

— Почему бы и нет? — прошептал он.— Почему бы и нет?

Профессор поднял указательный палец.

— Подумайте,— сказал он,— какие возможности откроются перед нами, если мы его найдем! Мы не только сможем использовать уран и торий; мы не только станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в горсти то количество вещества, которого будет достаточно, чтобы освещать город в течение года, уничтожить эскадру броненосцев или питать машины гигантского пассажирского парохода на всем его пути через Атлантический океан. Но мы, кроме того, обретем ключ, который позволит нам наконец ускорить процесс распада во всех других элементах, где он пока настолько медлителен, что даже самые точные наши инструменты не могут его уловить. Любой кусочек твердой материи стал бы резервуаром концентрированной силы. Вы понимаете, уважаемые дамы и господа, что все это означало бы для нас?

Вихрастая голова закивала.

— Дальше! Дальше!

— Это означало бы такое изменение условий человеческой жизни, которое я могу сравнить только с откры-

тием огня — первым открытием, поднявшим человека над зверем. Сейчас радиоактивность для нас абсолютно то же, чем был огонь для нашего предка прежде, чем он научился его добывать. Тогда он знал огонь, как нечто непонятное, абсолютно не поддающееся его контролю: ослепительное сияние на гребне вулкана, красная гибель, пожирающая лес. Примерно столько же мы сейчас знаем о радиоактивности. И сейчас... сейчас занимается заря нового дня в жизни человечества. В момент, критический для нашей цивилизации, зародившейся в кремневых орудиях и палочках для добывания огня, именно в тот момент, когда стало ясно, что современные источники энергии оказываются недостаточными для удовлетворения наших постоянно возрастающих потребностей, мы внезапно открываем возможность возникновения абсолютно новой цивилизации. Оказывается, что энергия, от которой зависит самое наше существование и которой до сих пор природа снабжала нас так скудно, на самом деле заперта повсюду вокруг нас в непостижимых количествах. Пока еще мы не в силах сломать этот замок, но...— Он сделал паузу и понизил голос так, что все наклонились вперед, боясь не расслышать.— Но мы его сломаем!

Он вновь поднял свой худой палец.

— И тогда...— сказал он.— Тогда эта вечная борьба за существование, эта вечная борьба за то, чтобы както прожить на те скудные подачки энергии, которые уделяет нам природа, перестанет быть уделом Человека. С вершины нашей цивилизации Человек сделает шаг к началу цивилизации, следующей за ней. У меня не хватает слов, уважаемые дамы и господа, чтобы описать вам материальную судьбу человека, прозреваемую мною в будущем. Я вижу преображение гигантских пустынь, вижу полюсы, освобожденные от льда, вижу весь мир, вновь превращенный в Эдем. Я вижу, как мощь человека достигает звезд...

Он внезапно умолк, и этой ошеломительной паузе мог бы позавидовать любой актер или оратор.

Лекция кончилась, слушатели несколько секунд хранили молчание, потом перевели дух, заговорили, зашевелились, поднялись с мест и начали расходиться. В

зале зажглись лампы, и то, что прежде представлялось смутной массой неподвижных фигур, превратилось теперь в ярко освещенный хаос движения. Кто-то махал знакомым, кто-то пробивался к эстраде, чтобы получше рассмотреть аппараты лектора и срисовать его диаграммы. Но круглоголовый вихрастый юноша не хотел так быстро избавиться от обуревавших его удивительных мыслей. Он хотел остаться с ними наедине. Он с какой-то яростью проталкивался к выходу, весь ощетинившись, опасаясь, что кто-нибудь заговорит с ним и нарушит это ослепительное состояние восторга.

Он шел по улице, и на лице его был написан экстаз, как у святого, которому было дано узреть видение. У него были очень длинные руки и до нелепости большие ступни.

Ему нужно было остаться одному, уйти куда-нибудь, где можно будет не опасаться, что волны обыденности захлестнут его.

Он поднялся на вершину Кресла Артура и долго сидел там, залитый закатным золотом, застыв в неподвижности, и только губы его порой шевелились, когда он повторял про себя какую-нибудь из драгоценных, запавших в его душу фраз.

— Если бы,— прошептал он,— если бы только мы могли сломать этот замок.

Солнце спускалось за дальние холмы. Оно уже лишилось своих лучей и превратилось в багрово-золотой шар, повисший над грядой черных туч, которые должны были вскоре поглотить его.

Юноша глубоко вздохнул, вдруг очнулся от своего забытья и увидел прямо перед собой красный солнечный диск. Несколько секунд он смотрел на него, словно не понимая, что это такое, а в его взгляде появлялось все большее и большее напряжение. В его мозгу возникла мысль, как странное эхо, повторявшая фантазию праотцов — фантазию первобытного дикаря, чьи кости двести тысяч лет тому назад превратились в прах и развеялись без следа.

— У, ты, древний,— сказал он. Глаза его сияли, и он жадно потянулся рукой к пылающему диску.— Ты, красный... Мы тебя еще схватим.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

1

Проблема, над которой еще в самом начале XX века работали такие ученые, как Рамсей, Резерфорд и Содди,— проблема вызывания радиоактивного распада тяжелых элементов, который открыл бы доступ к внутренней энергии атома,— была благодаря редкому сочетанию научного мышления, интуиции и счастливой случайности разрешена Холстеном уже в 1933 году. Между тем годом, когда радиоактивность была впервые обнаружена, и ее первым практическим применением прошло немногим более четверти века. Впрочем, в течение последующих двадцати лет всяческие второстепенные трудности мешали использовать открытие Холстена в широких практических целях. Однако главное было совершено — в этом году был преодолен новый рубеж на пути прогресса человечества. Холстен вызвал атомный распад в крохотной частице висмута; произошел сильнейший взрыв, в результате которого получился тяжелый газ с чрезвычайно высокой радиоактивностью — за неделю он распался, в свою очередь, и Холстену потребовался еще год, чтобы наглядно продемонстрировать, что конечным результатом этого распада является золото. Но главное было сделано — ценой ожога на груди и сломанного пальца,— и с той секунды, когда невидимая частичка висмута превратилась в сгусток разрушительной энергии, Холстен уже знал, что он открыл человечеству путь — пусть еще узкий, извилистый и темный — к безграничному, неисчерпаемому могуществу. Именно это он записал в том странном дневнике-биографии, который после него остался, в дневнике, который до этого дня заключал в себе лишь бесчисленные гипотезы и выкладки, а теперь вдруг на краткий промежуток времени стал изумительно точным и верным зеркалом глубоко человечных эмоций и переживаний, доступных пониманию всех людей.

Обрывочными фразами, а часто даже отдельными словами он тем не менее с необычайной яркостью сообщает историю суток, последовавших за подтверждением

правильности сложнейшей системы его вычислений и догадок. «Я думал, (что) не усну,— пишет он (в круглых скобках даются опущенные им слова),— (из-за) боли в (раненой) руке и груди и удивления перед тем, что (я) сделал... Спал, как дитя».

На следующее утро его охватило странное чувство бесприютности и уныния. Делать ему было нечего, он жил тогда один в квартире в Блумсбери, и он решил отправиться в парк на Хемстед-Хит, где когда-то играл в детстве. Он поехал туда на метро, которое в то время было наиболее принятым в Лондоне средством сообщения, и от станции метро направился по Хит-стрит к парку. По обеим сторонам улицы тянулись строительные леса, за которыми виднелись груды мусора, бывшие прежде домами. Дух времени завладел и этой крутой извилистой улочкой и уже превращал ее в широкую магистраль, очень красивую с точки зрения весьма сомнительных эстетических идеалов той эпохи. Человек всегда нелогичен, и Холстен, только что завершивший труд, представлявший собой, по сути, пороховую мину, заложенную под твердыни современной ему цивилизации, почувствовал большое сожаление при виде этих перемен. Он столько раз ходил по Хит-стрит, знал каждую витрину всех ютившихся на ней магазинчиков, провел столько блаженных часов в теперь исчезнувшем синематографе и любовался подлинными домами эпохи первых Георгов в западном конце этой улицы-овражка. И теперь, когда все это исчезло, он почувствовал себя здесь чужим. Наконец с большим облегчением он выбрался из этой путаницы канав, ям и подъемных кранов туда, где перед ним открылся пруд и окружающий его такой знакомый и милый пейзаж. Тут, во всяком случае, все осталось, как прежде.

Справа и слева по-прежнему тянулись старинные особнячки из красного кирпича, хотя пруд и украсился новой мраморной террасой. Белая гостиница с увитым цветами портиком все еще стояла вблизи перекрестка дорог, и забравшемуся сюда лондонцу, как прежде, показалось, что перед ним распахнулось окно, открыв голубые дали. Он смотрел на холм Харроу и колокольню на нем, на гряду далеких холмов, на деревья, на сверкающие речки, на скользящие по земле тени облаков, и его ду-

шу охватывал безмятежный покой. Все так же бродили по парку гуляющие, все так же автомобили, торопясь поскорее выбраться из воскресной духоты, сковывавшей город позади них, мчались по аллеям, чудесным образом никого не задев. По-прежнему играл оркестр, произносили речи суфражистки (общество вновь относилось к ним снисходительно, хотя и насмешливо), социалисты, политиканы, а кругом гремела музыка и оглушительно лаяли собаки, в упоении обретенной на час свободы забывшие долгий недельный плен цепи и конуры. А на вершине холма медленно двигались толпы гуляющих и слышались обязательные восклицания: «Как удивительно отчетливо виден сегодня Лондон!»

Еще молодое лицо Холстена было белым как мел. Он шел, стараясь держаться свободно, что всегда является признаком нервного утомления и кабинетной жизни. Несколько секунд он простоял у пруда, не зная, свернуть ли ему направо или налево, а потом вновь остановился в нерешительности у перекрестка. Перебирая в пальцах тросточку, он рассеянно глядел по сторонам и то оказывался на пути у встречных, то его толкали те, кто пытался его обогнать. Он признается, что чувствовал себя «не приспособленным к обычному существованию». Он представлялся себе не человеком, а каким-то злобным духом. Люди вокруг него казались вполне преуспевающими, вполне счастливыми, вполне довольными выпавшей на их долю жизнью — неделя работы и воскресная прогулка в праздничном костюме. А он положил начало тому, что разрушит всю систему, на которую опираются их спокойствие, привычки и радости. «Я чувствовал себя идиотом, который преподнес детским яслям ящик, полный заряженных револьверов»,— записал он в своем дневнике.

Он встретил своего однокашника, фамилия которого была Лоусон. Истории о нем известно только, что он был краснолиц и имел терьера. Дальше они с Холстеном пошли вместе, и, заметив бледность и нервность Холстена, Лоусон высказал предположение, что он переутомился и ему следовало бы отдохнуть. Они устроились за маленьким столиком перед зданием совета графства и послали официанта в «Бык и куст» за пивом — несомненно, по инициативе Лоусона. Пиво несколько бросилось

в голову Холстену, и, став из злого духа почти человеком, он принялся рассказывать Лоусону, как мог проще, о неизбежных последствиях своего великого открытия. Лоусон притворялся, будто слушает, но у него не хватало ни знаний, ни воображения, чтобы понять, о чем идет речь.

— Не пройдет и нескольких лет, как оно самым радикальным образом изменит методы ведения войны, средства сообщения, систему производства, способы освещения и строительства и даже сельского хозяйства — словом, всю материальную жизнь человечества...

Тут Холстен умолк, заметив, что Лоусон вскочил на ноги.

— Черт бы побрал эту собаку! — крикнул Лоусон.— Ты только погляди, что она вытворяет! Сюда! Фью-фью-фью! Сюда, Бобс! Ко мне!

Молодой ученый с забинтованной рукой сидел за зеленым столиком, не в силах сообщить другим о чуде, путей к которому он так долго искал, его приятель пытался свистом подозвать свою собаку и ругал ее, а мимо, залитая весенним солнцем, текла праздничная толпа гуляющих. Несколько секунд Холстен с недоумением смотрел на Лоусона: он был так увлечен своим рассказом, что рассеянность Лоусона совсем ускользнула от его внимания. Потом он сказал: «Ну что ж...» — чуть-чуть улыбнулся и... допил свое пиво.

Лоусон опустился на сиденье.

— За собакой нужен глаз да глаз,— сказал он извиняющимся тоном.— Так о чем же ты мне рассказывал?

2

Вечером Холстен снова вышел из дома. Он дошел до собора Святого Павла и некоторое время стоял у дверей, слушая вечерню. Алтарные свечи почему-то напомнили ему о светляках Фьезоле. Затем он побрел по освещенным фонарями улицам к Вестминстеру. Он испытывал растерянность и даже страх, потому что очень ясно представлял себе колоссальные последствия своего открытия. В этот вечер он задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно прежде-

временно, что его следовало бы отдать какому-нибудь тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения. Он чувствовал, что среди тысяч прохожих на этих улицах ни один не готов к подобной перемене — они принимают мир таким, каков он есть, и подсознательно требуют, чтобы он не менялся слишком быстро, уважал их надежды, уверенность, привычки, маленькие будничные дела и их местечко в жизни, завоеванное ценой упорного и тяжкого труда.

Он прошел на сквер, зажатый между громадами отеля «Савой» и отеля«Сесиль». Опустившись на скамью, он стал прислушиваться к разговору своих соседей. Это была молодая пара, видимо, жених и невеста. Он, захлебываясь, рассказывал ей, что наконец-то получил постоянную работу.

— Я им подхожу,— сказал он,— а мне подходит работа. Если я там приживусь, то лет через десять начну зарабатывать вполне прилично. Значит, так оно и будет, Хетти. Мы с тобой отлично заживем, иначе и быть не может.

«Стремление к своему малюсенькому успеху в неизменных, раз навсегда сложившихся условиях!»— Вот что подумал Холстен и добавил к этой записи в своем дневнике: «Весь земной шар показался мне таким...»

Под этим он подразумевал своего рода пророческое видение, в котором вся планета предстала перед ним как одно целое, со всеми своими городами, селениями и деревнями, со всеми дорогами и гостиницами возле них, со всеми садами, и фермами, и горными пастбищами, со всеми лодочниками, матросами и кораблями на безграничных просторах океана, со всеми своими расписаниями и деловыми свиданиями и выплатами,— предстала перед ним как некое единое и вечно развивающееся зрелище. У него иногда бывали такие видения. Его ум, привыкший к абстрактным обобщениям и в то же время чрезвычайно чувствительный к мельчайшим деталям, проникал в сущность явлений гораздо глубже, чем умы большинства его современников. Обычно этот кишащий жизнью шар двигался по своим извечным путям и с величественной быстротой несся по своей орбите вокруг солнца. Обычно в его видениях перед ним вставала жизнь в своем развитии. Но

в этот вечер, когда усталость притупила ощущение непрерывности жизни, она показалась ему просто бесконечным вращением. Он поддался естественной для среднего человека уверенности в вечной неизменности и точном повторении цикла его жизни. Седая древность первобытного варварства и неизбежные изменения, скрытые в грядущем, словно исчезли, и он видел только смену дня и ночи, срок посева и жатвы, любовь и зачатие, рождение и смерть, летние прогулки и зимние беседы у теплого очага — всю древнюю цепь надежд, и поступков, и старения, извечно обновляемую, неизменную во веки веков, над которой теперь была занесена кощунственная рука науки, чтобы опрокинуть этот неторопливый, тихо жужжащий, привычный, залитый солнцем волчок человеческого существования...

На некоторое время он забыл про войны и преступления, про ненависть и гонения, про голод и болезни, про звериную жестокость, бесконечную усталость и безжалостные стихии, про неудачи, бессилие и безнадежность. В это мгновение все человечество воплотилось для него в этой скромной парочке на садовой скамейке рядом с ним, строящей планы бесхитростного и скучного будущего и рассчитывающей на маловероятную радость. «Весь земной шар показался мне таким...»

Некоторое время он пытался подавить в себе это настроение, но тщетно. Он всячески гнал от себя мучительную мысль, что он чем-то отличается от всех остальных людей, что он чуждый всем скиталец, отбившийся от себе подобных и вернувшийся из долгих противоестественных блужданий среди мрака и фосфорического сияния, скрытых под радостной оболочкой жизни, вернувшийся со страшными дарами. Нет, нет! Человек бывает не только таким — стремление к своему маленькому семейному очагу, к своему маленькому полю не исчерпывает всей его натуры. Ведь, кроме того, он был искателем приключений, дерзким экспериментатором, воплощением беспокойной любознательности и неутолимой жажды познания. Правда, на протяжении двух-трех тысяч поколений он пахал землю, засевал ее и собирал урожай, следуя за сменой времен года, молился, молол свое зерно и давил октябрьский виноград, но ведь это длилось не так долго, и былой беспокойный дух в нем не умер...

«Ведь если существовал очаг, привычная колея жизни и поле,— думал Холстен,— то рядом было изумление перед непознанным и море!»

Он повернул голову и через спинку скамьи оглянулся на уходящие в небо огромные отели, все в мягко светящихся окнах, полные блеска, красок и суеты беззаботной жизни. Быть может, его дар человечеству просто умножит все это?..

Он встал и вышел из сквера, бросив взгляд на проходивший мимо трамвай, такой теплый и светлый на фоне темной вечерней синевы, влачащий за собой длинный шлейф бегущих бликов; он добрался до набережной и некоторое время смотрел, как струятся темные воды реки, а иногда оборачивался к ярко освещенным зданиям и мостам. И он уже начал думать о том, чем можно будет заменить эти скученные современные города...

«Начало положено,— записал он в дневнике, откуда почерпнуты все эти сведения. — И не мне измерить последствия, которых я сейчас не могу предвидеть. Я лишь частица, а не целое; я лишь крохотный инструмент в арсенале Перемены. Если я и сожгу все эти выкладки, не пройдет и десяти лет, как кто-нибудь другой повторит мое открытие...»

3

Холстену было суждено дожить до того времени, когда атомная энергия вытеснила все остальные ее виды. Однако после его открытия прошло еще немало лет, прежде чем были преодолены разнообразные конкретные трудности и оно получило возможность эффективно вторгнуться в человеческую жизнь. Дорога от лаборатории до завода бывает очень извилиста. Существование электромагнитных волн было неопровержимо доказано за целых двадцать лет до того, как Маркони нашел для них практическое применение, и точно так же только через двадцать лет искусственно вызванная радиоактивность обрела свое практическое воплощение. Говорилось о ней, конечно, очень много, пожалуй, в период открытия даже заметно больше, чем в годы технического освоения, но почти никто не сознавал, какую колоссальную экономическую революцию знаменует ее появление. Воображение

репортеров 1933 года больше всего поражало производство золота из висмута, хотя как раз это осуществление древней мечты алхимиков оказалось совсем невыгодным; в наиболее интеллигентных кругах образованной публики различных цивилизованных стран шли споры и строились гипотезы, как всегда после крупных научных открытий, но в остальном мир спокойно занимался своим делом (как занимаются своим делом обитатели швейцарских деревушек, живущие под постоянной угрозой лавины), словно возможное было невозможным, словно неизбежное удалось отвратить только потому, что его наступление немного задержалось.

Только в 1953 году первый двигатель Холстена-Робертса поставил искусственно вызванную радиоактивность на службу промышленному производству, заменив паровые турбины на электростанциях. Почти немедленно появился двигатель Дасса-Тата, создание двух бенгальцев, принадлежавших к той блестящей плеяде изобретателей, которую в ту эпоху породила модернизация индийской мысли. Он применялся главным образом для автомобилей, аэропланов, гидропланов и тому подобных средств передвижения. Затем быстрое применение нашел американский двигатель Кемпа, построенный на ином принципе, но столь же практичный, и двигатель Круппа-Эрлангера, так что к осени 1954 года во всем мире начался гигантский процесс смены промышленных методов и оборудования. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, насколько даже самые ранние и несовершенные из этих атомных двигателей были дешевле тех, которые они вытесняли. С учетом стоимости смазки пробег на машине, снабженной двигателем Дасса-Тата, обходился, после того как двигатель был запущен, всего в один пенс за тридцать семь миль, причем двигатель весил всего девять с четвертью фунтов. С его появлением тяжелые автомобили того времени, употреблявшие в качестве горючего спирт, стали казаться не только невозможно дорогими, но и уродливыми. За последние полстолетия цена угля и всех форм жидкого топлива возросла настолько, что даже возвращение к ломовой лошади начинало казаться практически оправданным, и вот теперь с мгновенным исчезновением этой трудности внешний вид экипажей на дорогах мира

разом преобразился. В течение трех лет безобразные стальные чудовища, которые ревели, дымили и грохотали по всему миру на протяжении четырех отвратительных десятилетий, отправились на свалку железного лома, а по дорогам теперь мчались легкие, чистые, сверкающие автомобили из посеребренной стали. В то же самое время благодаря колоссальной удельной мощности атомного двигателя новый толчок получило развитие авиации. Теперь наконец к носовому пропеллеру, который был до этого единственной движущей силой аэроплана, удалось присоединить, не опасаясь опрокидывания машины, еще и хитроумный геликоптерный двигатель Редмейна, позволявший машине вертикально спускаться и подниматься. Таким образом, люди получили в свое распоряжение летательный аппарат, который мог не только стремительно мчаться вперед, но и неподвижно парить в воздухе и медленно двигаться прямо, вверх или вниз. Последний страх перед полетами исчез. Как писали газеты той эпохи, началась эра «Прыжка в воздух». Новый атомный аэроплан немедленно вошел в моду. Все, у кого были на то деньги, стремились приобрести это средство передвижения, столь послушное, столь безопасное и позволявшее забыть о дорожной пыли и катастрофах. В одной только Франции за 1953 год было изготовлено тридцать тысяч этих новых аэропланов, которые, мелодично жужжа, увлекали в небо своих счастливых владельцев.

И с равной быстротой атомные машины самых разнообразных типов вторглись в промышленность. Железные дороги выплачивали огромные суммы за право первыми ввести у себя атомную тягу, атомная плавка металлов внедрялась с такой поспешностью, что из-за неумелого обращения с новой энергией взорвалось несколько заводов, а резкое удешевление как строительных материалов, так и электричества произвело настоящий переворот в архитектуре жилых домов, потребовав изменения всех методов их постройки и отделки. С точки зрения использования новой энергии и с точки зрения тех, кто изготовлял новые машины и материалы для них, а также финансировал это производство, век «Прыжка в воздух» был веком исключительного процветания. Компании, которым принадлежали новые патенты, вскоре уже

выплачивали пятьсот — шестьсот процентов дивидендов, и все те, кто был причастен к этому новому виду промышленности, приобретали сказочные богатства или получали колоссальное жалованье. Это процветание во многом объяснялось и тем фактом, что при производстве как двигателей Дасса-Тата, так и двигателей Холстена-Робертса одним из побочных продуктов было золото, смешанное с первичной пылью висмута и вторичной пылью свинца, а этот новый приток золота, совершенно естественно, вызвал подъем цен во всем мире.

Эта лихорадочная предпринимательская деятельность, это устремление в небо богатых счастливцев (теперь каждый большой город походил на муравейник, обитатели которого внезапно научились летать) составляли светлую сторону первого этапа новой эры в истории человечества. Но за этим блеском можно было различить сгущающуюся тьму, растущее отчаяние. Наряду с колоссальным развитием производства шло гигантское уничтожение былых ценностей. Пылающие огнями фабрики, которые работали день и ночь, сверкающие новые автомобили, которые бесшумно мчались по дорогам, стаи стрекоз, которые парили и реяли в воздухе,— все это было лишь мерцанием ламп и огней, загорающихся, когда мир погружается в сумрак и ночь. За этим слепящим сиянием зрела гибель, социальная катастрофа. В ближайшем будущем ожидалось закрытие всех угольных шахт; огромные капиталы, вложенные в нефть, уже не могли быть реализованы; миллионы шахтеров, рабочих прежних сталелитейных заводов, бесчисленное множество неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих в самых различных областях промышленности вышвыривалось на улицу, так как новые машины несли с собой гораздо большую производительность труда; быстрое падение стоимости перевозок губительно отражалось на цене на землю во всех густонаселенных областях; существующие дома обесценивались; золото стремительно дешевело; все виды обеспечения, на которые опиралась всемирная кредитная система, утрачивали былую надежность и незыблемость — банки были накануне краха, на биржах царила паника — такова была изнанка блестящего фасада эпохи. Таковы были черные и чудовищные следствия «Прыжка в воздух».

Известен рассказ об обезумевшем лондонском биржевом маклере, который выбежал на Треднидл-стрит, раздирая на себе одежду.

— Стальной трест пускает на слом все свое оборудование! — кричал он. — Государственные железные дороги собираются отдать на слом все свои паровозы. Все идет на слом, все! Ломай Английский банк, ребята! Ломай его!

Число самоубийств в Соединенных Штатах за 1955 год в четыре раза превзошло рекордную цифру всех прежних лет. Количество преступлений во всем мире также неизмеримо увеличилось. Человечество не было готово к тому, что произошло; казалось, человеческое общество разлетится вдребезги благодаря собственным великолепным достижениям.

Ведь этот процесс шел вслепую. Никто даже не пытался заранее установить, какие перемены может произвести этот неиссякаемый источник дешевой энергии в жизни планеты. В те дни мир вовсе не управлялся — в том смысле, в каком это слово стало пониматься позже. Управление покорно следовало за событиями, вместо того чтобы планировать их; риторика, консерватизм, неслаженность, слепота, бездумность, творческое бесплодие — вот что характеризовало все правительства тех лет. Во всем мире, за исключением стран, еще сохранивших остатки абсолютизма, в которых властвовал придворный фаворит или доверенный слуга, управление находилось в руках касты законников — единственной касты, воспитывавшейся для этого и потому имевшей неоспоримое преимущество перед всеми другими. Получаемое ими профессиональное образование и все даже самые мельчайшие детали той удивительно наивной избирательной системы, при помощи которой они добирались до власти, заставляли их презирать факты реальной жизни, страшиться всякого воображения, алчно гнаться за личной выгодой и подозревать заднюю мысль за любым благородным или великодушным поступком. Управление было тормозом в руках энергичных фракций, прогресс шел вне общественной деятельности и вопреки ей, а законодательство представляло собой запоздалое и до предела искаженное признание потребностей, настолько настоятель-

ных и неотложных, и фактов, настолько властно утвердившихся в действительности, что даже судьи в своем глухом уединении осознавали их появление, поскольку они уже начинали угрожать самому существованию политической машины, которая иначе не соблаговолила бы обратить на них ни малейшего внимания.

Мир управлялся настолько мало, что нам по-прежнему приходится рассказывать о нищете, голоде, злобе, хаосе, столкновениях и неизбывном страдании, несмотря на наступление изобилия, когда в распоряжении человечества оказалось все необходимое для удовлетворения его потребности, все необходимое для осуществления его заветных целей и стремлений. Не существовало никакого плана для правильного распределения этого огромного нового богатства, которое наконец стало доступно людям, и никто даже не догадывался, что такое распределение возможно. Только охватив в целом картину этих первых лет новой эры, только сравнивая их с более поздним периодом, раскрывшим все, что было в них скрыто, можно постигнуть всю слепоту, всю узость, весь бессмысленный, тупой индивидуализм доатомного века. Ведь когда уже занималась заря мощи и свободы, под небом, озаренным надеждой, перед ликом науки, которая, подобно благодетельной богине, держала в сильных руках над кромешным мраком человеческой жизни изобилие, мир, ответ на бесчисленные загадки, ключи к славнейшим деяниям, ожидая, пока люди соблаговолят их взять,— мир мог стать свидетелем такого позорного зрелища, как судебное разбирательство по делу о патенте Дасса-Тата,— гнусной тяжбы из-за величайшего ее дара.

В необычайно жаркие дни мая 1956 года в душном зале лондонского суда, грязной продолговатой коробке, знаменитейшие адвокаты тех лет, не жалея сил и голоса, доказывали (отдав свой талант в распоряжение сутяг, недовольных суммой причитающихся им процентов), что компания Дасса-Тата имеет право запретить применение методов Холстена-Робертса при использовании новой энергии. Собственно говоря, компания Дасса-Тата прилагала все усилия, чтобы обеспечить за собой всемирную монополию на атомные двигатели. Судья, как было принято в те времена, сидел на возвышении в

нелепой мантии и огромном смешном парике. На адвокатах также были грязные парички и смешные черные мантии, надетые поверх обычных костюмов (без этих париков и мантий они не имели права выступать в суде), а на засаленных деревянных скамьях ерзали и переговаривались хитрые помощники адвокатов, репортеры, что-то быстро царапавшие в своих записных книжках, истцы и ответчики, эксперты, заинтересованные стороны, пестрая смесь свидетелей, молодые, начинающие адвокаты (старательно запоминающие манеризмы наиболее почитаемых и воинственных представителей своей профессии) и чудаки зрители, по доброй воле сидевшие в этой темной дыре, хотя на улице весело светило солнце. Все изнывали от жары, и адвокат, допрашивавший свидетеля, смахивал пот с толстой бритой верхней губы, а солнечные лучи, с трудом просачиваясь сквозь пыльное окно, тускло освещали эту картину алчных споров в душной атмосфере человеческих испарений. Присяжные сидели на двух скамьях, слева от судьи, и вид у них был такой же бесприютный, как у лягушек, свалившихся в мусорную яму. А адвокат допрашивал лгущего под присягой Дасса, который жаждал пожрать всю атомную энергию мира.

Холстен привык опубликовывать свои результаты, как только, по его мнению, они оказывались достаточно интересными, чтобы послужить основой для дальнейшей работы. И вот эта его доверчивость и одно случайное изобретение, опиравшееся на чужое открытие, дали возможность ловкому Дассу предъявить свой иск.

Собственно говоря, в этот период множество подобных дельцов заявляли преимущественные права, присваивали, запатентовывали и монополизировали те или иные частности нового открытия, пытаясь подчинить эту колоссальную крылатую энергию удовлетворению своих жалких желаний и жадности. Этот процесс был одним из множества подобных тяжб. На некоторое время мир охватила настоящая патентная лихорадка. Однако от остальных этот процесс отличало одно драматическое обстоятельство: в нем участвовал Холстен, который прождал у дверей суда два дня, словно нищий у дверей богача, а теперь, испытав всю меру пренебрежения судейских служителей и грубости полицейских, был наконец допущен

в зал, допрошен как свидетель адвокатом и выслушал реприманд судьи, потребовавшего, чтобы он «не путал», в то время как он пытался говорить как можно точнее.

Судья почесал нос гусиным пером и бросил из-под своего чудовищного парика насмешливый взгляд на удивленное лицо Холстена. Говорят, что этот Холстен—великий человек? Ну ничего, в суде великих людей умеют ставить на место.

— Мы хотим знать, добавил ли истец к этому что-нибудь свое или нет,— сказал судья.— Нас не интересует ваше мнение о том, являются ли усовершенствования сэра Филиппа Дасса лишь незначительным приспособлением или развитием принципа, изложенного в вашей статье. Разумеется, вы, как и всякий изобретатель, считаете, что почти все изобретения, которые еще предстоит сделать, будут лишь применением принципов, изложенных в ваших статьях. Разумеется, вы также считаете, что любые дальнейшие добавления и изменения могут быть только незначительными. Изобретатели всегда так считают. Суд это не интересует. Суду нет дела до тщеславия изобретателей. Суд интересует только вопрос, обладает ли указанный патент той новизной, на которую ссылается истец. Ну, а помешает или нет чему-либо ваше допущение—это, как и все прочее, что вы с излишним усердием наговорили вместо прямого ответа на заданный вам вопрос, не имеет никакого отношения к настоящему делу. Мне в этом суде приходится постоянно изумляться тому, как вы, ученые, с таким самомнением претендующие на точность и правдивость, начинаете блуждать вокруг да около, стоит вам занять место свидетеля. Вы самая неприятная категория свидетелей. Вопрос, простой и ясный, заключается в том, добавил ли сэр Филипп Дасс что-либо реальное к знаниям и методам, уже существующим в этой области, или не добавил. Нас не интересует, велики или малы эти добавления, как не интересуют и последствия, к каким может привести ваше допущение. Это вам придется предоставить на наше усмотрение.

Холстен молчал.

— Ну так как же? — спросил судья чуть ли не с жалостью.

— Нет, не добавил,— ответил Холстен, почувствовав, что на этот раз в виде исключения ему придется пренебречь бесконечно малой величиной.

— А...— сказал судья.— Почему же вы не могли ответить так сразу, когда вас спрашивал адвокат?..

Запись, внесенная в дневник-автобиографию Холстена пять дней спустя, гласит: «Все еще не могу прийти в себя от изумления. Закон — самое опасное, что только у нас есть. Он устарел на сотни лет. В нем нет ни единой свежей мысли. Ветхий бочонок — и новое вино, способное разнести вдребезги и кое-что покрепче. Это кончится плохо».

4

Холстен был во многом прав, утверждая, что закон «устарел на сотни лет». Он действительно крайне устарел по сравнению с текущим развитием мысли и широко принятыми идеями. Несмотря на то, что почти вся материальная и духовная жизнь общества давно уже значительно изменилась, а теперь менялась с почти невероятной быстротой, суды и законодательные собрания во всем мире все еще отчаянно старались приспособить современные требования к процедурам, а также концепциям права, собственности, власти и обязательств, которые восходили к грубым компромиссам времен, еще в значительной мере остававшихся варварскими. Собственно говоря, парики из конского волоса и шутовские наряды английских судей, их надменная манера держаться и грязные судебные помещения были лишь внешними, видимыми признаками гораздо более глубокого анахронизма. Законодательные и политические институты земного шара в середине двадцатого века повсюду представляли собой ставшее узким, но еще крепкое одеяние, теперь только стеснявшее тело, защитой которому оно некогда служило.

Однако тот же дух свободомыслия и открытых дискуссий, который в области естественных наук знаменовал начало покорения природы, уже готовил на протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков зарождение нового мира в дряхлеющем теле старого. В литературе тех времен все более и более ясно прослеживается мысль о

большем подчинении индивидуальных интересов и сложившихся институтов коллективному будущему, и все чаще тот или иной аспект юридической, социальной и политической системы начинает порождать критику и протест. Уже в самом начале девятнадцатого столетия Шелли, не видя при этом никакого другого выхода, изобличает современных ему правителей мира как сынов хаоса, да и вся система идей и гипотез, известная под названием социализма, и особенно ее интернациональное учение, как ни слабы были ее позитивные утверждения и предсказания о методах перехода, является важным свидетельством развития концепции именно такого изменения внутренних отношений в человеческом обществе, которое должно было прийти на смену современной путанице идей, основанных на праве собственности.

Слово «социология» было изобретено Гербертом Спенсером, пользовавшимся большой популярностью философа, который писал примерно в середине девятнадцатого века. Однако идея государства, планируемого на научной основе, как планируется система электрической тяги, получила широкое распространение только в двадцатом веке. Тогда в Америке, где народ устал от чудовищной, парализующей развитие общества системы двух партий, порожденной нелепым институтом их выборов, началось так называемое движение сторонников «Современного государства», и плеяда блестящих писателей в Америке, Европе и на Востоке расшевелила воображение мира, рисуя перед ним картину еще невиданных по смелости перемен в социальной жизни общества, праве собственности, системе найма, образования и управления. Несомненно, эти представления о «Современном государстве» были отражением в социальной и политической мысли той гигантской революции материальной жизни, которая длилась уже двести лет, но в течение долгого времени они влияли на существующие институты не больше, чем творения Руссо и Вольтера влияли на современные им институты в эпоху смерти последнего. Эти идеи роились в сознании людей, и требовался только такой социальный и политический кризис, который был вызван появлением атомных механизмов, чтобы они внезапно грубо и зримо воплотились в жизнь.

5

Книга «Годы странствий» Фредерика Барнета принадлежит к автобиографическим романам, особенно популярным в третьем и четвертом десятилетиях двадцатого века. Опубликована она была в 1970 году, и «годы странствий» следует понимать не буквально, а фигурально — в духовном и интеллектуальном смысле. Собственно говоря, это название — намек, возвращающий нас к «Вильгельму Мейстеру» Гете, написанному на полтораста лет ранее.

Автор книги, Фредерик Барнет, очень подробно описывает все, что с ним происходило с девятнадцати до двадцати трех лет, и все свои раздумья и впечатления. Его нельзя назвать ни оригинальным, ни блестящим мыслителем, однако он обладал несомненным писательским даром, и, хотя до нас не дошло ни одного его портрета, из случайно оброненных там и сям фраз мы узнаем, что он был невысок ростом, широкоплеч, склонен к полноте, обладал «довольно пухлым» лицом и круглыми, несколько выпученными голубыми глазами. До финансового краха 1956 года он принадлежал к обеспеченному классу, учился в Лондонском университете, совершил полет на аэроплане в Италию, затем прошел пешком от Генуи до Рима, по воздуху отправился в Грецию и Египет и вернулся на родину через Балканский полуостров и Германию. Все состояние его семьи, в основном вложенное в банковские акции, угольные шахты и доходные дома, погибло. Оставшись без гроша, он был вынужден искать какой-нибудь заработок. Ему пришлось очень нелегко, но тут началась война, и он год воевал — сперва как офицер английской пехоты, а потом в армии умиротворения. Его книга рассказывает обо всем этом так просто и в то же время так ярко, что все грядущие поколения могут с ее помощью увидеть годы Великой Перемены глазами хотя бы одного из ее современников.

К тому же, как сообщает нам Барнет, он с самого начала был «инстинктивным» сторонником «Современного государства». Он дышал атмосферой этих идей в классах и лабораториях школы «Фонда Карнеги», чей легкий и изящный фасад протянулся по южному берегу Темзы напротив старинного Соммерсет-хауса, сумрачного и ве-

личественного. Подобные мысли составляли самую основу этой школы, одной из первых приступившей к возрождению образования в Англии. После обычных лет, проведенных в Гейдельберге и Париже, он поступил на классический факультет Лондонского университета. Старинная система так называемого «классического» образования английских педагогов — пожалуй, наиболее парализующая, бесплодная и глупая из всех систем обучения, которые когда-либо обрекали людей на никчемное существование,— уже была изгнана из этого замечательного учреждения и заменена современной методикой. Благодаря этому Барнет научился читать и говорить по-гречески и по-латыни так же свободно, как по-немецки, по-испански и по-французски, и, изучая основы европейской цивилизации, к которым эти древние языки служат ключом, он пользовался ими без малейших затруднений. (Эта перемена методики была еще так свежа, что Барнет счел нужным упомянуть о своей встрече в Риме с «оксфордским профессором», который «говорил» по-латыни, запинаясь на каждом слове и с уилтширским акцентом, писал письма по-гречески, помогая себе кончиком языка, и считал любую греческую фразу либо заклинанием (когда она была цитатой), либо непристойностью (когда она цитатой не была).

На глазах Барнета с английских железных дорог исчезли паровозы и лондонский воздух постепенно очистился, так как дымные угольные камины уступили место электрическому отоплению. Лаборатории в Кенсингтоне тогда еще только строились, и он принимал участие в студенческих бунтах, которые задержали снос памятника принцу Альберту. Он нес знамя, на одной стороне которого было написано: «Мы любим смешные скульптуры»,— а на другой: «Требуем тронов и балдахинов для статуй! Почему наши великие покойники должны мокнуть под дождем и мокнуть стоя?». На авиационном поле своего университета в Сайденхеме он изучал авиацию, которая в те годы была довольно атлетическим занятием, и его оштрафовали за то, что он пролетел над новой тюрьмой для политических диффаматоров в Уормвуд Скрабс «в манере, рассчитанной на увеселение заключенных, находившихся в тот момент на прогулке». Это были годы,

когда подавлялись малейшие попытки критиковать судопроизводство, и тюрьму переполняли журналисты, которые посмели указать на помешательство верховного судьи Абрахэмса. Барнет был не очень хорошим авиатором. Он признается, что всегда немножко побаивался своего аппарата (надо сказать, эти неуклюжие первые машины могли внушить страх кому угодно) и никогда не проделывал быстрых спусков и не летал на большой высоте. Кроме того, как он сообщает, у него был один из тех снабженных нефтяным двигателем велосипедов, сложность и необычайная неопрятность которых поражают теперь посетителей музея машин в Южном Кенсингтоне. Он упоминает о том, как переехал собаку, и жалуется на разорительные цены «куриного филе» в Суррее. «Куриным филе» на жаргоне, очевидно, назывались раздавленные куры.

Он сдал экзамены, что сводило срок его военной службы до минимума, а отсутствие у него специального научного или технического образования и ранняя полнота, сильно мешавшая его занятиям авиацией, привели к тому, что он проходил военное обучение в линейной пехоте. Это был наиболее общий род войск. Развитие военной теории за предшествовавшие десятилетия не опиралось на практический опыт. Последние войны велись во второстепенных или нецивилизованных государствах против почти не обученных крестьян или дикарей, и современные орудия войны совершенно не пускались в ход. Великие мировые державы по большей части сохранили армии, в общих чертах построенные по системе, порожденной традициями европейских войн тридцати — сорока летней давности. В состав этих армий входила пехота, в которой и служил Барнет, ей полагалось сражаться в пешем строю с винтовкой и быть основой вооруженных сил, а также кавалерия (конные солдаты), численность которой по отношению к пехоте была определена по опыту франко-германской войны 1871 года, и, наконец, артиллерия, причем по какой-то необъяснимой причине большинство орудий по-прежнему возили лошади, хотя во всех европейских армиях имелось незначительное количество моторных пушек с колесами такой конструкции, что они могли передвигаться по неровной почве. Кроме того, значительное развитие получили технические войска —

моторные транспортные части, разведчики на мотоциклетах, авиация и тому подобное.

Никого не заботило отсутствие крупных военных мыслителей, способных заняться проблемой ведения войны при помощи новых средств и в современных условиях, зато целый ряд сменявших друг друга деятельных юристов—лорд Холдейн, верховный судья Бриггс и знаменитый адвокат Филбрик — так часто и так основательно реорганизовывали армию, что в конце концов с введением обязательной воинской повинности превратили ее в силу, которая показалась бы весьма внушительной публике 1900 года. Британская империя могла теперь в любой момент выставить на шахматную доску мировой политики миллион с четвертью вымуштрованных солдат. Традиции японской и центральноевропейских армий попрежнему больше опирались на былую феодальную доблесть, нежели на юриспруденцию; Китай продолжал решительно отказываться стать военной державой и содержал по американскому образцу лишь небольшую регулярную армию — по слухам, относительно весьма боеспособную; Россия же, правительство которой в страхе перед внутренней критикой соблюдало строжайшую экономию, с начала столетия едва ли изменила хотя бы покрой мундира какого-либо из полков или штатный состав батареи. Барнет не скрывает, что был крайне невысокого мнения о военном обучении, которое проходил. К тому же, как поклонник «Современного государства», он видел в этом обучении только скучную и ненужную обязанность, а его здравый смысл подсказывал, что оно совершенно бесполезно. Кроме того, привычка к комфорту делала его особенно чувствительным к трудностям и неудобствам военнной службы.

«Три дня подряд нас подымали до зари и без видимой причины оставляли без завтрака,— рассказывает он.— Я полагаю, таким способом нам показывают, что в Роковой День нам прежде всего постараются доставить как можно больше неудобств и неприятностей. Затем мы приступили к маневрам, согласно неисповедимым идеям тех, кому мы подчинены. В последний день мы три часа шли под жарким, хотя и утренним солнцем, проделав восемь миль по полям и болотам, чтобы добраться до пункта, до которого в моторном омнибусе мож-

но было бы доехать за девять с половиной минут, как я убедился на следующий день. Затем мы бросились массированной атакой на окопы «противника», который мог бы, не торопясь, трижды перестрелять нас всех до единого, если бы посредник это позволил. Затем последовала небольшая игра со штыками, но, боюсь, я не настолько варвар, чтобы воткнуть этот длинный нож во что-либо живое. Впрочем, в этой битве мне и не во что было бы его втыкать. Предположим даже, что каким-нибудь чудом я не был бы трижды прострелен, тем не менее, когда я добрался до окопа, я так запыхался и устал, что был не в силах даже поднять эту мерзкую винтовку. Втыкать начал бы противник...

Некоторое время за нами следили два неприятельских аэроплана; затем подлетели наши и попросили, чтобы они этого не делали. Но (поскольку приемы воздушной войны пока еще никому не известны) они очень вежливо отказались, отлетели в сторону и принялись самым очаровательным образом нырять и кружить над Фоксхиллс».

Барнет пишет о своем военном обучении только в этом насмешливо-полувозмущенном тоне. Он считал, что ему вряд ли доведется участвовать в какой-нибудь настоящей войне, а уж если все-таки и доведется, то она, несомненно, будет настолько непохожа на эти мирные маневры, что останется только один разумный выход: как можно старательнее укрываться от опасности, пока не удастся изучить все приемы и возможности, которыми будут чреваты новые условия. Он заявляет это совершенно откровенно. Показной героизм был ему абсолютно чужд.

6

Барнет, как всякий юноша, радовавшийся любому изобретению в области механики, приветствовал появление атомного двигателя с большим жаром и первое время, по-видимому, не связывал новые, совершенно необычайные возможности, внезапно открывшиеся людям, с финансовыми невзгодами своей семьи.

«Я знал, что мой отец чем-то обеспокоен»,— признается он. Но это лишь в самой ничтожной степени омрачило его восхитительное путешествие в Италию, Грецию и Еги-

пет, предпринятое им с тремя добрыми друзьями, в летательном аппарате совершенно новой, атомной модели. Барнет упоминает, что они пролетели над островами Ла-Манша, над Туренью, описали спираль вокруг Монблана («Мы убедились,— пишет он,— что эти новые аэропланы в отличие от прежних совершенно не боялись воздушных ям») и через Пизу, Пестум, Гиргенти и Афины прилетели в Каир, чтобы полюбоваться пирамидами при лунном свете, а оттуда отправились дальше вдоль Нила до Хартума. Такая каникулярная поездка могла показаться увлекательной для любого молодого человека даже в более поздние времена, но тем тяжелее был для Барнета ожидавший его удар. Отец Барнета, который в ту пору был уже вдовцом, через неделю после возвращения сына объявил себя банкротом и отравился.

И сразу Барнет оказался вышвырнутым из класса, к которому он до сих пор принадлежал,— класса собственников, тратящих деньги и наслаждающихся жизнью, оказался без гроша в кармане и без профессии. Он попробовал давать уроки, попробовал писать статьи и очень скоро познакомился с теневой стороной того мира, в котором, как он раньше полагал, его ждали только солнечный свет и тепло. Испытания такого рода привели бы большинство людей к полному душевному краху, но Барнет, несмотря на его изнеженность и привычку к комфорту, в трудную минуту доказал, что он скроен из самого крепкого современного материала. Он был пропитан творческой стойкостью тех героических времен, заря которых уже занималась, и мужественно встретил свои затруднения и беды, превратив их в источник жизненного опыта.

В своей книге он даже благодарит за них судьбу.

«Я мог бы жить и умереть,— говорит он,— там, в этом иллюзорном раю сытого довольства. Я мог бы никогда не познать нарастающий гнев и скорбь обездоленных и отчаявшихся масс. В дни моего благополучия мне казалось, что мир устроен прекрасно». Теперь, по-новому взглянув на вещи, он увидел, что этот мир вообще никак не устроен, что управление государством — это смесь насилия, власти и попустительства, а закон — компромисс между противоположными интереса-

ми, и что у того, кто беден и слаб, имеется много равнодушных хозяев, но мало друзей.

«Я думал, что общество заботится о благе всех людей,— писал он.— И когда я голодный бродил по дорогам, меня сначала очень удивляло, что до этого никому нет никакого дела».

Ему отказали от квартиры, которую он снимал на окраине Лондона.

«С немалым трудом удалось мне убедить мою хозяйку — она была вдова и сама очень нуждалась, бедняжка, а я уже успел ей порядком задолжать,— сохранить для меня мою старую шкатулку, в которую я спрятал несколько писем, кое-какие вещицы, дорогие мне по воспоминаниям, и тому подобные мелочи. Бедная женщина отчаянно боялась инспекторов Общественного Здравоохранения и Нравственности, потому что временами у нее не хватало денег, чтобы откупиться от них обычной взяткой, но в конце концов она все же согласилась спрятать мою шкатулку в укромном местечке под лестницей, после чего я отправился искать по свету счастья, то есть прежде всего пропитания, а затем и крова».

Он забрел в шумные богатые кварталы Лондона, где лишь около года назад и сам был полноправным членом праздной толпы искателей развлечений.

После издания Закона Против Дыма, каравшего штрафом выпуск в воздух по какой бы то ни было причине любого видимого глазом дыма, Лондон перестал быть прежним мрачным, закопченным городом времен королевы Виктории; он непрерывно перестраивался, и его главные улицы уже приобретали тот вид, который стал так для них характерен во второй половине двадцатого столетия. Антисанитарная лошадь, так же как плебейский велосипед, были изгнаны с мостовых, покрытых теперь упругой стекловидной массой, сверкавших безупречной чистотой, пешеходам оставили лишь узкую полосу от былых широких тротуаров по обеим сторонам проезжей части, пересекать которую им воспрещалось под страхом штрафа, взимавшегося в тех случаях, когда нарушителю удавалось уцелеть. Люди выходили из своих автомобилей на тротуар и через магазины нижних этажей попадали к лифтам и лестницам, ведущим к новым переходам для пешеходов, носившим название «гале-

рей» и тянувшимся по фронтонам домов на высоте второго этажа; соединенные бесчисленными мостиками, эти галереи придавали новым кварталам Лондона странное сходство с Венецией. На некоторых улицах сами галереи были двух- и даже трехэтажными. Всю ночь и большую часть дня витрины магазинов сияли электрическим светом, и, чтобы увеличить их число, многие магазины устраивали в своих помещениях поперечные галереи для пешеходов.

В этот вечер Барнет с некоторой опаской шел по галереям, ибо полиция имела право остановить любого бедно одетого человека и потребовать, чтобы он предъявил Трудовое Свидетельство, и, если из этого документа не явствовало, что вышеозначенное лицо имеет работу, полицейский мог отослать его вниз — на остатки тротуара вдоль мостовой.

Впрочем, от этой участи Барнета спасал некоторый налет аристократизма, который еще сохранила его внешность; к тому же у полиции в тот вечер было достаточно других забот, и он благополучно добрался до галерей, опоясывавших Лейстер-сквер — сердце Лондона и средоточие его развлечений.

Барнет довольно живо описывает, как выглядела тогда эта площадь. В центре помещался сквер, поднятый над землей на аркадах, своды которых сверкали огнями; восемь легких мостиков соединяли сквер с галереями, а внизу жужжали пересекающиеся потоки машин, устремлявшиеся то в одном, то в другом направлении. А вокруг высились скорее причудливые, чем прекрасные фасады зданий из небьющегося фарфора, испещренные огнями, исполосованные режущей глаза световой рекламой, сверкающие, отражающие весь свет, все огни. Здесь находились два старинных мюзик-холла, шекспировский мемориальный театр, где муниципальные актеры неустанно повторяли один и тот же цикл шекспировских пьес, и еще четыре огромных здания с ресторанами и кафешантанами, чьи острые, ярко освещенные шпили уходили в голубой мрак. Только южная сторона площади представляла резкий контраст со всем, что ее окружало: она еще продолжала перестраиваться, и над зияющими провалами, возникшими на месте исчезающих викторианских зданий, поднимались решет-

чатые переплеты стальных ферм, увенчанные подъемными кранами, застывшими в воздухе, словно простертые ввысь лапы какого-то чудовища.

Этот каркас здания настолько приковал к себе внимание Барнета, что он на мгновение забыл обо всем на свете. В нем была каменная неподвижность трупа, мертвящая тишина, бездействие; не было видно ни единого рабочего, и все механизмы стояли без дела. Но шары вакуумных фонарей заполняли все просветы трепещущим, зеленовато-лунным сиянием и казались настороженными в самой своей неподвижности, словно солдаты на часах.

Он обратился с вопросом к одному из прохожих и узнал, что в этот день рабочие забастовали в знак протеста против применения атомного механического клепальщика, что должно было удвоить производительность труда и вдвое сократить число рабочих.

— Нисколько не удивлюсь, если они пустят в ход бомбы,— сказал Барнету его собеседник и, помедлив немного, пошел дальше к мюзик-холлу «Альгамбра».

Барнет заметил оживление возле газетных киосков, расположенных по углам площади. На огненных транспарантах мелькали какие-то сенсационные сообщения. Забыв на миг о том, как пусты его карманы, Барнет направился к мостику, чтобы купить газету. В те дни газеты, печатавшиеся на тонких листах фольги, продавались только в определенных пунктах и для продажи их требовался специальный патент. Не дойдя до середины мостика, Барнет остановился, заметив, что в уличном движении произошла перемена: с удивлением он наблюдал, как полицейские сигналы очищают одну сторону проезжей части от транспорта. Но, подойдя ближе к транспарантам, заменившим собой афишки викторианской эпохи, он прочел, что Большая Демонстрация Безработных уже движется через Вест-Энд, и таким образом, не потратив ни пенса, понял, в чем дело.

Вскоре, как он рассказывает в своей книге, появилась эта процессия, которая возникла стихийно, подобно походам безработных в былые времена, и которой полиция по каким-то причинам решила не препятствовать. Барнет ожидал увидеть неорганизованную толпу, но в приближавшейся мрачной процессии был какой-то свое-

образный угрюмый порядок. Людская колонна, казавшаяся бесконечной, двигалась по мостовой мерным, тяжелым шагом, на ней лежал отпечаток безысходной безнадежности. Барнет пишет, что его охватило желание присоединиться к ним, но все же он остался только зрителем. Это была грязная, обтрепанная толпа чернорабочих, знакомых лишь с устарелыми формами труда, уже вытеснявшимися более современными. Процессия несла плакаты с освященным временем лозунгом: «Нам нужна работа, а не подачки!». Только эти плакаты и оживляли ее ряды.

Демонстранты не пели, они даже не переговаривались друг с другом; в их поведении не было ничего вызывающего, ничего воинственного; они не преследовали никакой определенной цели, они просто маршировали по самым богатым кварталам Лондона, чтобы напомнить о себе. Они были частицей той огромной массы дешевой, неквалифицированной рабочей силы, которую теперь вытеснила еще более дешевая механическая сила. Им приходил конец, как пришел конец лошади.

Барнет перегнулся через перила мостика, наблюдая за ними; бедственное положение, в котором он сам находился, обострило его восприятие. Сперва это зрелище не пробудило в нем, по его словам, ничего, кроме отчаяния. Что надо сделать, что можно сделать для этих избыточных масс человечества? Они были так явно бесполезны... Так ни на что не пригодны... Так жалки.

Чего они просят?

Они были застигнуты врасплох непредвиденным. Никто не предугадал...

И внезапно Барнету стало ясно, что̀ означала эта с трудом волочащая ноги бесконечная процессия. Это был протест против непредвиденного, мольба, обращенная к тем, кому больше посчастливилось, кто оказался мудрее и могущественнее... Мольба о чем? О разуме. Эта безмолвная масса, тяжело бредущая ряд за рядом, выражала свой протест тем, другим, кто должен был предвидеть возможность подобных потрясений... Так или иначе, они обязаны были это предвидеть... и все уладить...

Вот что смутно чувствовали эти человеческие обломки, вот что выражал их немой протест.

«Все это открылось мне, словно вдруг свет вспыхнул в темной комнате,— говорит Барнет.— Эти люди возносили мольбы к таким же людям, как они сами, как когда-то они обращались к богу! Человеку труднее всего отказаться от веры. И они перенесли эту веру на человечество. Они приписывали обществу собственные живые черты. Они все еще верили, что где-то существует разум — пусть даже равнодушный, пусть даже враждебный... Нужно только тронуть его, пробудить его совесть, заставить его действовать... А я увидел, что *пока еще такого разума не существует*, мир еще ожидал его появления. Я знал, что этот разум еще должен быть создан, что эта воля к добру и порядку еще должна быть собрана воедино из тех крох доброжелательности, благородных побуждений и всего, что есть прекрасного и созидательного в наших душах,— собрана по песчинкам во имя общей цели... Все это еще должно было возникнуть...»

Не характерно ли для расширившегося кругозора тех лет, что этот довольно обычный молодой человек, который в любую из предшествующих эпох, вероятно, был бы погружен в заботы о своем личном благополучии, оказался способным раздумывать подобным образом над нуждами человечества и делать обобщения?

Однако над диким хаосом противоречий и непомерного напряжения, в котором жило тогда человечество, уже забрезжила заря новой эры. Дух человека вырывался — да, он начинал вырываться уже тогда — из оков крайнего индивидуализма. Спасение от жестокой власти эгоизма, к которому в течение тысячелетий призывали все религии, которого люди искали в умерщвлении плоти, в пустынях, в экстатических состояниях и на других неисчислимых путях, приходило, наконец, само собой, как нечто естественное и неизбежное, воплощаясь в беседах, в газетах, в книгах, в бессознательных поступках, в повседневных заботах и обыденных делах. Широкие горизонты и чудесные возможности, которые открывал людям дух исканий, увлекали их, побеждали в них древние инстинкты, устоявшие даже против угрозы ада и вечных мучений. И вот этот юноша, бездомный, не знавший, что с ним будет через несколько часов, мог среди ослепительных, затме-

вающих блеск звезд неистовых призывов к бездумному наслаждению размышлять перед лицом социального бедствия, нищеты и растерянности так, как он нам об этом сообщает.

«Я отчетливо постигал жизнь,— пишет он.— Я видел гигантскую задачу, стоящую перед нами, и неимоверная трудность ее, великолепие ее сложности приводили меня в экстаз. Я видел, что нам еще предстоит научиться управлять обществом, создать образование, без которого невозможно никакое разумное управление, и понимал, что весь этот мир (в котором моя собственная жизнь была лишь крохотной песчинкой), весь этот мир и его вчерашний день — Греция, Рим, Египет — ничто, лишь пыль, взметенная в начале бесконечного пути, лишь первое движение и неясное бормотание спящего, который вот-вот должен пробудиться...»

7

А затем с подкупающей простотой он повествует, как спустился с облаков своих пророческих видений на землю.

«Тут я очнулся и почувствовал, что замерз и что у меня начинает сосать под ложечкой».

Тогда он вспомнил про «Бюро Пособий Джона Бернса», помещавшееся на набережной Темзы, и направился туда — сначала по галереям книжных магазинов, затем — через Национальную Галерею, уже более двенадцати лет открытую и днем и ночью для всех прилично одетых людей, затем — через розарий Трафальгарской площади и, наконец,— вдоль колоннады отелей на набережную. Он давно слышал про это замечательное Бюро, очистившее лондонские улицы от последних нищих, продавцов спичек и прочих попрошаек, и верил, что легко получит там ужин и ночлег, а возможно, и указание, где найти работу.

Но он забыл о демонстрации, свидетелем которой только что был. Добравшись до набережной, он увидел, что помещение Бюро осаждает огромная беспорядочная толпа. Растерянный и обескураженный, он некоторое время бродил вокруг, не зная, что делать, а затем заметил в толпе какое-то движение: людской ручеек рас-

текался под аркадами огромных зданий, построенных здесь после того, как все вокзалы были перенесены на южный берег реки, а оттуда—в закрытые галереи Стрэнда. И там, под яростным светом полночных фонарей, он увидел безработных, просивших милостыню — и даже не просивших, а просто требовавших ее у людей, выходивших из дверей бесчисленных маленьких театров или других увеселительных заведений, которыми изобиловала эта улица.

Барнет не верил своим глазам. Ведь все нищие исчезли с лондонских улиц уже четверть века назад. Но в эту ночь полиция, по-видимому, не хотела или не могла изгнать обездоленных, запрудивших благоустроенные кварталы города. Полицейские были слепы и глухи ко всему, кроме открытых драк и бесчинства.

Барнет пробирался сквозь толпу, но не находил в себе силы попросить подаяния, и, должно быть, вид его был куда более благополучен, нежели его обстоятельства, ибо, говорит он, у него даже дважды попросили милостыню. Неподалеку от цветника на Трафальгарской площади какая-то одиноко прогуливавшаяся взад и вперед девица с нарумяненными щеками и насурмленными бровями окликнула его с профессиональным кокетством.

— Мне самому есть нечего,— резко ответил он.

— Бедняжка!—сказала девушка и, оглянувшись по сторонам, в порыве великодушия, не столь уж редкого у представительниц ее ремесла, сунула ему в руку серебряную монетку...

Такого рода дар, невзирая на имевший уже место прецедент с Де Куинси, мог по законам того времени познакомить Барнета с тюремной решеткой и плетью. Однако он признается, что принял его, от души поблагодарил девушку и пошел дальше, радуясь, что может купить себе еды.

8

Дня два спустя Барнет покинул город; и то, как он свободно бродил, где ему вздумается, лишний раз подтверждает, что нарушение установленного общественного порядка все возрастало и полиция была в замешательстве.

В этот век плутократии, рассказывает Барнет, дороги «обносились колючей проволокой, чтобы лишить неимущих свободы передвижения», и он не мог никуда свернуть с узкого пыльного шоссе, так как повсюду высились ограды, за которыми скрывались сады, и везде висели грозные таблички, запрещавшие проезд и проход. А по воздуху в своих летательных аппаратах, не обращая ни малейшего внимания на царящую вокруг нужду, проносились счастливые обладатели богатства — совершенно так же, как летал он сам всего два года назад,— и по дороге мчались автомобили этой эпохи — легкие, стремительные, неправдоподобно великолепные. Их пронзительные свистки, сирены или гонги оглушали прохожих — от них нельзя было спастись даже на полевых тропинках или на вершинах холмов.

Чиновники на бирже труда были измучены и раздражены, ночлежные дома забиты до отказа, и все оставшиеся без крова лежали бок о бок под навесами или просто под открытым небом, а так как оказание помощи бездомным каралось с некоторых пор законом, нельзя уже было ни обратиться к редким прохожим, ни постучаться в придорожный коттедж...

«Но я не был возмущен,— говорит Барнет.— Я видел безграничный эгоизм, чудовищное безразличие ко всему, кроме наслаждения и стяжательства, у тех, кто был наверху, но я видел также всю неизбежность этого, понимал, как неотвратимо произошло бы то же самое, если бы богачи и бедняки поменялись местами. Чего же еще можно было ожидать, если люди использовали и науку и любое новое открытие, которое она им приносила, и весь свой ум и всю свою энергию лишь для того, чтобы приумножать богатства и жизненные удобства, а формы правления и образования коснели в рамках давно отживших свой век традиций? Традиции же эти были унаследованы от темной эпохи средневековья, от тех времен, когда материальных благ еще действительно не хватало на всех и жизнь была свирепой борьбой за существование, которую могли замаскировать, но избежать которой не могли. И вот из этой современной дисгармонии между материальным и духовным развитием как неизбежное следствие возникла эта жажда присвоения, это яростное стремление обездолить других. Богач

тупел, а бедняк дичал и озлоблялся, и каждая новая возможность, открывавшаяся перед человечеством, делала богача все более богатым, а бедняка — все менее необходимым и поэтому менее свободным. Люди, которых я встречал в ночлежках и в Бюро, где им выдавали пособие, говорили о несправедливости, о возмездии, в них тлел бунт. Но эти разговоры не вселяли в меня надежды, я знал, что изменить что-то может только терпение».

Но Барнет имел в виду не пассивное терпение и покорность. Он считал, что идеальная форма социального преобразования еще не найдена, и потому никакое преобразование не может быть эффективным, пока эта крайне сложная и запутанная проблема не будет разрешена во всех ее аспектах.

«Я пытался говорить с этими недовольными, — пишет он,— но им трудно было взглянуть на вещи моими глазами. Когда я говорил им о терпении и о преобразованиях более широкого масштаба, они отвечали: «Но ведь к тому времени мы все умрем»,— и я не мог заставить их понять то, что мне самому казалось таким простым, понять, что это к делу не относится. Люди, которые мыслят только в масштабах собственного существования, не годятся для государственной деятельности».

Барнет во время своих блужданий, по-видимому, не читал газет, а случайно бросившийся ему в глаза транспарант над газетным киоском в Бишоп Стротфорд, возвещавший: «Международное положение становится угрожающим», не особенно его взволновал. Международное положение уже столько раз становилось угрожающим за последние годы!

На этот раз речь шла о том, что державы Центральной Европы неожиданно начали военные действия против Союза Славянских Стран, а Франция и Англия готовятся прийти на помощь славянам.

Но в следующий же вечер он обнаружил, что в ночлежке кормят сытно, и надзиратель сообщил ему, что завтра утром все военнообязанные будут отосланы в их мобилизационные участки. Страна находилась на грани войны. Барнету пришлось вернуться в Лондон и оттуда в Суррей. Первое, что он испытал при этом сообщении, пишет он, было чувство огромного облегчения: кончились дни «бессмысленного блуждания среди изгоев цивилиза-

ции». Теперь ему предстояло заниматься чем-то определенным и о нем будут заботиться. Но чувство облегчения сильно потускнело, когда он увидел, что мобилизация проводится столь торопливо и столь небрежно, что во временных казармах в Эпсоме он в течение почти тридцати шести часов не получал ни еды, ни питья — только кружку холодной воды. Эта импровизированная казарма не была абсолютно ничем снабжена, но никто не имел права из нее отлучаться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА

1

Тем, кто живет при разумном и прогрессивном социальном устройстве, нелегко понять и неинтересно исследовать причины, которые привели человечество к войне, разыгравшейся около середины двадцатого века и затянувшейся на целые десятилетия.

Нельзя упускать из виду, что политическое устройство мира в те годы решительно повсюду необычайно отставало от уровня знаний, накопленных обществом. Это наиболее характерная черта того времени. На протяжении двухсот лет не происходило никаких существенных изменений ни в законодательстве, ни в методах управления государством, ни в политических правах и обязанностях граждан; наиболее крупные перемены сводились к некоторому изменению границ и небольшим административным реформам, хотя во всех остальных областях жизни происходили коренные революции: осуществлялись грандиозные открытия, необычайно расширялся кругозор, открывались невиданные перспективы. Нелепые процедуры судопроизводства и унизительная система представительного парламента в соединении с неограниченными возможностями, открывавшимися в других областях деятельности, заставляли лучшие умы современности все больше и больше отходить от общественной деятельности. В двадцатом столетии с правительствами мира произошло то же, что в свое время произошло с ре-

лигиями. Им приходилось пользоваться услугами только малоспособных посредственностей. Как со второй половины семнадцатого столетия мир не знал великих духовных пастырей, так после первых десятилетий двадцатого века он не знал великих государственных деятелей. Повсюду бразды правления попадали в руки энергичных, честолюбивых, недальновидных, ограниченных людей, упрямо не желавших видеть открывшихся перед человечеством новых возможностей и слепо цеплявшихся за устарелые традиции.

Среди этих устарелых традиций особую опасность таили в себе, пожалуй, границы различных «суверенных держав», а также концепция общего превосходства какого-либо одного государства над другими. Воспоминание о великих империях прошлого — об Александре Македонском и Риме — кровожадным, несытым призраком жило в умах людей, воспламеняя их воображение; словно ядовитый паразит, оно язвило мозг, рождая бредовые представления и бешеные замыслы. Более ста лет Франция истощала свои жизненные силы в военных конвульсиях, затем той же болезнью заболели немцы, чьи страны были расположены в самом сердце Европы, а потом—славяне. Последующим столетиям выпало на долю собрать и забыть обширную, лишенную всякого здравого смысла литературу, отражающую эту манию: сложные, запутанные договоры, тайные соглашения, безграничную изворотливость политических писателей, стратегические ухищрения, тактические уловки, умелое нежелание признавать простые, очевидные факты, протоколы, приказы о мобилизациях и контрмобилизациях. Все это стало казаться невероятным почти сейчас же, как только перестало существовать, и тем не менее уже на заре новой эры эти государственных дел мастера все еще сидели при своих средневековых свечах и, стараясь не замечать непривычный для них новый яркий свет, его удивительные отблески и тени, все еще продолжали пререкаться, перекраивая карту Европы и всего мира.

Было бы нелегко выяснить, в какой мере миллионы мужчин и женщин, не принадлежавшие к миру профессиональных политиков, сочувствовали их зловещей деятельности и одобряли ее. Одна школа психологов склон-

на сводить их участие к минимуму, но, суммируя все факты, приходится признать, что призывы воинствующего авантюриста находили отклик в массах. Первобытный человек был *свирепым и агрессивным животным;* бесчисленные поколения от рождения до могилы жили в условиях непрерывной войны между племенами, и власть преданий, истории, воспитанных веками идеалов в верности своему государю и своей стране — все это создавало благодарную почву для подстрекательских речей международного авантюриста. Политические убеждения среднего человека возникали случайно и стихийно, образование, которое он получал, ни в какой мере не подготавливало его к роли гражданина, да и само понятие гражданственности возникло, в сущности, лишь с развитием идеи Нового Государства, и потому заполнить эту пустоту в его мозгу ядом преувеличенной подозрительности и бессмысленного шовинизма было сравнительно несложным делом.

Барнет рассказывает, например, что лондонская толпа бурно выражала свои патриотические чувства, когда его батальон проходил по улицам Лондона перед отправкой на французскую границу. Женщины и дети, старики и подростки, говорит он, кричали «ура», приветствуя их; улицы и галереи были увешаны флагами союзных держав, и даже нищие и безработные проявляли подлинный энтузиазм. Бюро Труда были частично преобразованы в пункты записи добровольцев, и там тоже царило возбуждение — у обоих концов Ламаншского туннеля все были охвачены патриотическим пылом. Всюду, где только можно было примоститься, стояли толпы восторженных людей, и настроение в полку Барнета, несмотря на некоторые зловещие предчувствия, было весьма воинственное.

Однако весь этот энтузиазм был мыльным пузырем и не опирался ни на какие твердые убеждения; у большинства, говорит Барнет, как и у него самого, он был лишь бессознательным откликом на воинственные вопли и песни, колыхание знамен, ритм совместного движения, волнующее, смутное предчувствие опасности. К тому же люди были настолько подавлены вечной угрозой войны и приготовления к ней, что, когда она началась, они даже почувствовали облегчение.

2

По стратегическому плану союзных держав защиту реки Маас в ее нижнем течении возложили на английские войска, и военные эшелоны шли из разных концов Англии прямо в Арденны, где они должны были занять оборонительные рубежи.

Большинство документов, которые могли бы осветить ход кампании, безвозвратно погибло во время войны, но, очевидно, все с самого начала пошло не так, как рассчитывали союзники; во всяком случае, весьма вероятно, что существенной частью первоначального плана являлось создание в этом районе воздухоплавательного парка, чтобы наносить удары по индустриальной области нижнего Рейна, а также осуществить фланговый прорыв через Голландию на военно-морские базы немцев, сосредоточенные в устье Эльбы. Барнету и его роте — пешкам на шахматной доске — планы командования были, конечно, неведомы, им надлежало только выполнять то, что прикажут таинственные силы, руководившие всем из Парижа, куда переехал и английский генеральный штаб. До самого конца армия так и не узнала, кто, собственно, скрывался за теми «приказами», которые руководили всеми ее действиями. Не было ни Наполеона, ни Цезаря, который мог бы стать символом всеобщего героического порыва. Барнет пишет:

«Мы *говорили о «них»: «Они* посылают нас *в Люксембург. Они намереваются преобразовать Центральную Европу».*

Тем временем скрытая за этой дымкой неопределенности небольшая группа более или менее достойных людей, составлявших главный штаб командования, начинала понимать грандиозность того, чем ей предстояло руководить...

В огромном зале Военного Руководства, выходившем окнами на Сену напротив Трокадеро и дворцов западной части города, на столах были разложены крупномасштабные рельефные карты; они давали полное представление о театре военных действий, и штабные офицеры в соответствии с сообщениями, поступавшими в расположенные в соседних помещениях телеграфные бюро,

беспрерывно переставляли на этих картах небольшие фигурки, изображавшие сражающиеся войска. В других, меньшего размера, залах находились менее подробные карты, на которых отмечались, по мере их получения, сообщения другого рода, поступившие, например, из английского адмиралтейства или от командования славянских государств. На всех этих картах, словно на шахматных досках, маршал Дюбуа вместе с генералом Виаром и графом Делийским готовился сыграть с Центральными Европейскими Державами грандиозную партию, призом за которую было мировое господство. Весьма вероятно, он точно знал, как он будет играть; весьма вероятно, что у него был превосходный, детально разработанный план.

Однако, строя свои расчеты, он не учел ни новой стратегии, родившейся вместе с авиацией, ни возможностей, заложенных в атомной энергии, которую Холстен сделал доступной для человечества. В то время, как он разрабатывал планы укрепленных рубежей, наступлений и войны на границах, генералитет Центральных Европейских Держав готовил сокрушительный удар, который должен был ослепить противника и парализовать его мозг. И в то время как не без некоторой неуверенности и колебания он уточнял в эту ночь свой гамбит в соответствии с принципами, разработанными Наполеоном и Мольтке, его же собственный военно-научный корпус в нарушение всякой субординации подготавливал удар по Берлину. «Ох, уж эти выжившие из ума старикашки!» — так примерно можно было бы кратко охарактеризовать отношения этого специализированного корпуса к своему начальству.

В ночь со второго на третье июля помещения Военного Руководства в Париже являли собой внушительное зрелище — военная машина, воплотившая в себе все последние достижения науки, как их понимали во второй половине двадцатого столетия, работала полным ходом, и, во всяком случае, одному зрителю эти трое совещающихся генералов казались богами, державшими в руках судьбы мира...

Этим зрителем была высококвалифицированная машинистка, печатавшая почти шестьдесят слов в минуту. Она, в очередь с другими такими же машинистками, долж-

на была печатать под диктовку приказы и передавать их младшим офицерам, на обязанности которых лежало препровождать эти приказы по назначению и подшивать копии. В эту минуту ее услуги не требовались, и ей было разрешено покинуть бюро диктовки и выйти на террасу перед главным залом, чтобы съесть там скромный ужин, который она принесла с собой из дома, и подышать свежим воздухом.

Стоя на террасе, молодая женщина могла видеть не только широкую реку внизу и всю восточную часть Парижа от Триумфальной арки до Сен-Клу — черные или смутно-серые громады и массивы зданий, рассекаемые золотыми и розовыми вспышками реклам, и неустанно бегущие под тихим беззвездным небом переплетающиеся ленты огненных букв,— но и весь большой зал с его стройными колоннами, легкими сводами и огромными гроздьями электрических люстр. Там на многочисленных столах лежали огромные карты, выполненные в таком крупном масштабе, что при взгляде на любую из них легко могло показаться, будто видишь перед собой маленькую страну. По залу безостановочно сновали курьеры, и адъютанты меняли местами и передвигали небольшие фигурки, символизирующие сотни и тысячи солдат, а посреди всего этого, возле той карты, где шло самое жаркое сражение, стояли главнокомандующий и его двое советников, разрабатывая планы операций, руководя ходом военных действий. Стоило одному только слову слететь с их уст, и тотчас там, на реальных полях сражений, приходили в движение мириады послушных исполнителей их воли. Люди вставали, шли вперед и умирали. Устремленные на карту взоры этих трех людей решали участь наций. Да, они были подобны богам.

И особенно был подобен богу Дюбуа. Это он принимал решения; другие могли лишь высказывать свое мнение — не больше. И ее душа — душа женщины — исполнилась восторженным обожанием к этому суровому, красивому, величавому старцу.

Однажды ей пришлось получать распоряжения непосредственно от него самого. Она ожидала его приказа, замирая от счастья... и страха. Ее восторг был отравлен боязнью, что она может ошибиться и опозорит себя...

Сейчас она следила за Дюбуа сквозь стеклянную

дверь веранды, как может следить влюбленная женщина, не упуская ни малейшей детали — и ничего не замечая, кроме деталей.

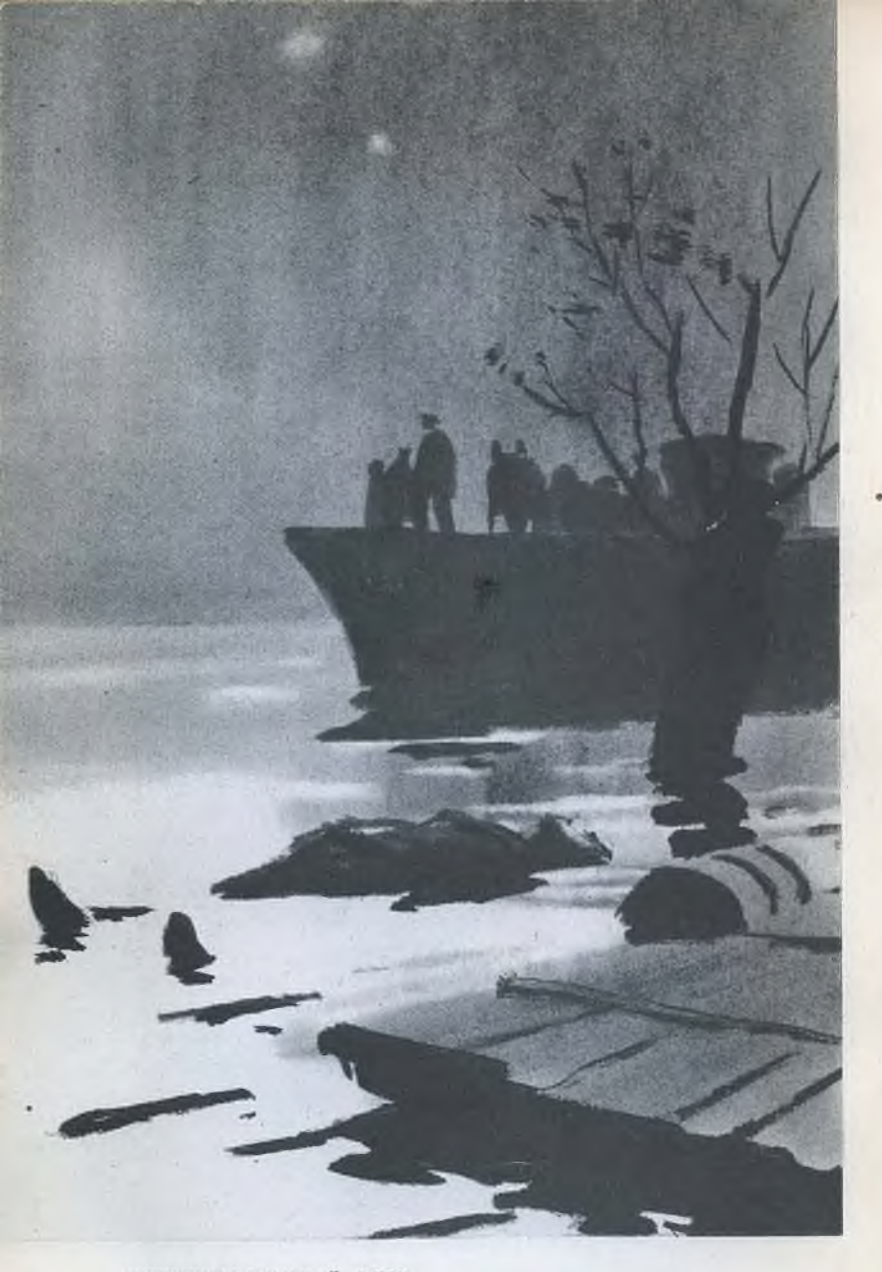
Она заметила, что он говорил мало. И редко бросал взгляд на карту. Высокий англичанин, стоявший рядом с ним, был явно обуреваем целым сонмом идей — противоречивых идей; при каждом передвижении красных, синих, черных и желтых маленьких фигурок на карте он вытягивал шею то в одну, то в другую сторону и старался привлечь внимание главнокомандующего то к той, то к этой подробности. Дюбуа выслушивал его, кивал, ронял одно-два слова и снова погружался в неподвижную задумчивость, словно орел с герба его страны.

Она не могла видеть глаз Дюбуа: так глубоко запали они в глазницах под белыми бровями,— а уста, изрекавшие решения, были скрыты под нависшими усами. Виар тоже говорил мало. Это был темноволосый мужчина с внимательными и грустными глазами и устало поникшей головой. Его внимание было сейчас сосредоточено на действиях правого фланга французов, которые продвигались через Эльзас к Рейну. Виар был старым товарищем Дюбуа; вспомнив это, она решила, что он лучше знает его и доверяет ему больше, чем этот чужой, этот англичанин...

Молчать, оставаться всегда бесстрастным и по возможности поворачиваться в профиль — эти правила старик Дюбуа усвоил много лет назад. Делать вид, что знаешь все, не проявлять удивления и ни при каких обстоятельствах не действовать поспешно, ибо поспешность уже сама по себе — признак непродуманности действий. Руководствуясь этими несложными правилами, Дюбуа еще с тех лет, когда он был подающим надежды младшим офицером — тихим и почти рассеянным, неторопливым, но исполнительным,— начал завоевывать отличную репутацию. Уже тогда о нем говорили: «Он далеко пойдет». За пятьдесят лет военной службы в мирное время он не пропустил ни одного служебного дня, а во время учебных маневров его спокойное упорство ставило в тупик, завораживало и приводило к поражению многих куда более способных и энергичных офицеров. В глубине души Дюбуа считал, что только он один постиг основной секрет современного военного искусства.



«ОСВОБОЖДЕННЫЙ МИР»



«ОСВОБОЖДЕННЫЙ МИР»

Этот секрет и был ключом ко всей его карьере. Это открытие заключалось в том, что *никто ничего не знает,* и поэтому действовать — это значит непременно впасть в ошибку, а говорить — значит признаваться в своих ошибках, и что тот, кто действует медленно, упорно, а главное, молча, может скорее других рассчитывать на успех. А пока надо хорошо кормить солдат. И теперь с помощью той же самой стратегии он надеялся разрушить таинственные планы командования Центральных Европейских Держав. Пусть себе англичанин толкует о мощном фланговом наступлении через Голландию при поддержке поднявшихся вверх по Рейну английских подводных лодок, гидропланов и миноносцев; пусть себе Виар вынашивает блестящий план сосредоточения мотоциклетных войск, аэропланов и лыжников в горах Швейцарии для внезапного удара на Вену. Все это следовало выслушать... и подождать, чтобы экспериментировать начал противник. Все это одни эксперименты. А пока он продолжал поворачиваться в профиль с видом полной уверенности в себе, словно хозяин автомобиля, который уже отдал все распоряжения шоферу.

И это спокойное лицо, это выражение глубокой невозмутимости и абсолютной уверенности в себе и в своих познаниях придавали силу и уверенность всем, кто его окружал. На огромных картах лежала тень его высокой фигуры, отбрасываемая бесчисленными светильниками, похожими на огненные гроздья, то черная, то почти прозрачная, повторенная десятки раз, падающая то под одним углом, то под другим, доминирующая над всем. И эта бесчисленно повторенная тень как бы символизировала его власть. Когда из аппаратной появлялся очередной адъютант, чтобы изменить расположение на карте тех или других фигур, внести ту или иную поправку, заменить, согласно полученным донесениям, один полк Центральных Европейских Держав двадцатью, отвести назад, продвинуть вперед или совсем убрать с театра военных действий какое-либо соединение союзников, маршал Дюбуа отворачивался, делая вид, что не замечает происходящего, или, бросив взгляд на карту, позволял себе легкий кивок, словно учитель, видящий, как ученик сам исправил свою ошибку: «Да, так лучше».

Он изумителен, думала машинистка, стоявшая на ве-

ранде, и изумительно все, что там происходит. Это был мозг западного мира, это был Олимп, у подножия которого лежали враждующие страны. И маршал Дюбуа возвращал Франции, Франции, которая так долго в бессильном гневе смотрела, как попираются права ее империи, ее былое первенствующее положение в мире.

И машинистке казалось, что ей выпала неслыханная честь: она, женщина, тоже участвует во всем этом.

Нелегко быть женщиной, готовой пасть на колени перед своим кумиром и вместе с тем оставаться бесстрастной, отчужденной, исполнительной и точной. Она должна владеть собой...

Она предалась мечтам, фантастическим мечтам о будущем, которое наступит, когда война окончится победой. Быть может, тогда эта суровость, этот панцирь непроницаемости будет сброшен, и боги снизойдут до смертных. Ее ресницы медленно опустились...

Внезапно она вздрогнула и очнулась. Она почувствовала, что тишина окружающей ее ночи чем-то нарушена. Внизу, на мосту, происходило какое-то волнение и какое-то движение на улице, а в небе среди облаков заметались лучи прожекторов, установленных где-то над Трокадеро. А затем волнение перекинулось с улицы на террасу, где она стояла, и ворвалось в зал.

Один из часовых вбежал с террасы в зал и кричал что-то, размахивая руками.

И все вокруг изменилось. Какая-то дрожь разливалась, пронизывала все. Машинистка ничего не понимала. Казалось, все водопроводные трубы и подземные машины, кабели и провода запульсировали, задергались, как кровеносные сосуды. И она ощутила дуновение, похожее на порыв ветра,— дуновение ужаса.

Ее глаза невольно устремились к маршалу—так испуганное дитя ищет глазами мать.

Его лицо было все так же безмятежно. Правда, ей показалось, что он слегка нахмурился, но это было вполне понятно, ибо граф Делийский, делая какие-то отчаянные жесты длинной худой рукой, взял его за локоть и явно старался увлечь к двери, ведущей на веранду. А Виар почти бежал к огромным окнам, как-то странно изогнувшись и устремив взгляд вверх.

Что происходит там, в небе?

И тут раздался грохот, похожий на раскаты грома.

Грохот обрушился на нее, как удар. Скорчившись, она прижалась к каменной балюстраде и поглядела вверх. Она увидела три черные тени, метнувшиеся вниз в разрывах облаков, и позади двух из них — две огненно-красные спирали...

Страх парализовал в ней все, кроме зрения, и несколько мгновений, казавшихся вечностью, она смотрела на эти красные смерчи, летящие на нее сверху.

Мир вокруг куда-то исчез. На земле не существовало уже больше ничего, кроме пурпурно-алого, ослепительного сверкания и грохота — оглушающего, поглощающего все, не смолкающего ни на мгновение грохота. Все другие огни погасли, и в этом слепящем свете, оседая, рушились стены, взлетали в воздух колонны, кувыркались карнизы и кружились куски стекла.

Машинистке казалось, что огромный пурпурно-алый клубок огня бешено крутится среди этого вихря обломков, яростно терзает землю и начинает зарываться в нее подобно огненному кроту.

* * *

Машинистка очнулась, как после глубокого сна.

Она почувствовала, что лежит ничком на какой-то земляной насыпи и одна ее ступня погружена в горячую воду. Она хотела приподняться и ощутила острую боль в ноге. Она не понимала, ночь это или день и где она находится. Она снова сделала попытку приподняться, вздрогнула, застонала, перевернулась на спину, села и огляделась по сторонам.

Кругом, как показалось ей, царила тишина. В действительности же она находилась в самом центре неистового шума, но не замечала этого, потому что ее слух был поврежден.

То, что она увидела, никак не укладывалось в ее сознании.

Вокруг нее был странный мир, беззвучный мир разрушения, мир исковерканных, нагроможденных друг на друга предметов. И все было залито мерцающим пурпурно-алым светом, и только этот свет, единственный

из всего, что ее окружало, казалось, был ей почему-то знаком. Потом совсем рядом она увидела Трокадеро, возвышавшийся над хаосом обломков,— здание изменилось, чего-то в нем не хватало, и тем не менее это, без сомнения, был Трокадеро: его силуэт отчетливо выделялся на фоне залитых багровым светом, крутящихся, рвущихся вверх клубов пара. И тут она вспомнила Париж, и Сену, и теплый вечер, и подернутое облаками небо, и сверкающий огнями великолепный зал Военного Руководства...

Она приподнялась, вползла немного выше по склону земляной насыпи и снова огляделась по сторонам, уже яснее понимая, что произошло...

Груда земли, на которой она лежала, вдавалась наподобие мыса в реку, а почти у ее ног виднелось озерцо, из которого во все стороны растекались теплые ручейки и струйки. Примерно в футе над ним свивались в спирали клубы пара. В воде отражалась верхняя часть какой-то очень знакомой на вид колонны. По другую сторону мыса из воды почти отвесной стеной вздымались руины, увенчанные огненной короной, и, отражая ее сверкание, клубясь, взлетали к зениту огромные столбы пара. Оттуда, с вершины руин, и распространялось это синевато-багровое сияние, заливавшее своим зловещим светом все вокруг, и мало-помалу эти руины связались в ее сознании с исчезнувшим зданием Военного Руководства.

— Ах! — прошептала она и застыла на секунду в полной неподвижности, уставившись прямо перед собой широко раскрытыми глазами, прильнув к теплой земле.

Потом это оглушенное, искалеченное существо снова начало озираться по сторонам. Женщина почувствовала, что ей необходимо увидеть других людей. Ей хотелось говорить, хотелось задавать вопросы; хотелось рассказать о том, что с ней произошло. Нога жестоко болела. Так где же санитарный автомобиль? В ее душе поднималось раздражение. Ведь произошла катастрофа! А когда происходит катастрофа, то съезжаются санитарные автомобили, полиция и врачи ищут раненых...

Она вытянула шею, приглядываясь. Рядом как будто кто-то был. Но всюду стояла мертвая тишина.

— Мосье! — крикнула она и, не слыша собственного голоса, заподозрила, что у нее поврежден слух.

Ей было страшно и одиноко среди этого дикого хаоса, а этот человек — если это действительно человек, — быть может, еще жив, хотя и лежит совершенно неподвижно. Быть может, он только потерял сознание...

Скачущие отблески огня упали на его тело, осветив его на мгновение с поразительной отчетливостью. Это был маршал Дюбуа. Он лежал на большом обрывке военной карты, к которой прилипли, с которой свисали маленькие деревянные фигурки — пехота, кавалерия, артиллерийские орудия, занимавшие пограничный рубеж. Маршал словно не замечал того, что происходило кругом, у него был отсутствующий вид. Казалось, он был погружен в глубокие размышления...

Она не различала его глаз, скрытых под нависшими бровями, но брови были как будто нахмурены. Да, он хмурился, словно не хотел, чтобы его беспокоили, но его лицо еще хранило отпечаток спокойной уверенности в себе, дышало убеждением, что Франция может чувствовать себя в безопасности, пока ее судьба в его руках.

Женщина не стала больше окликать его, но подползла чуть поближе. Страшное предположение заставило расшириться ее зрачки. Сделав мучительное усилие, она приподнялась и заглянула за груду обломков. Рука ее коснулась чего-то влажного, и, инстинктивно отдернув ее, она застыла.

То, что лежало перед ней, уже не было человеком: это был кусок человека — голова и плечи, переходившие в темное месиво и черную поблескивающую лужу...

И пока она смотрела, окаменев, развалины над ее головой покачнулись, стали оседать и рухнули. Кипящий поток хлынул на женщину, и ей показалось, что он стремительно уносит ее куда-то вниз...

3

Когда молодой авиатор, командир французского военно-научного корпуса, круглоголовый, грубоватый малый с коротко подстриженными темными волосами, услышал о гибели Военного Руководства, он только рас-

смеялся. Все, что лежало вне сферы его деятельности, нисколько не волновало его воображения. Что ему за дело, если Париж в огне! Его родители и сестра жили в Кодбеке, а единственная девушка, за которой он когда-либо ухаживал — да и то не очень рьяно,— в Руане. Он хлопнул своего помощника по плечу.

— Ну, теперь,— сказал он,— ничто на свете не может нам помешать добраться до Берлина и отплатить им той же монетой... Стратегия, государственные соображения — с этим теперь покончено... Пошли, дружище, покажем этим старым бабам, на что мы способны, когда никто не сует нам палки в колеса.

Пять минут он провел у телефона, отдавая распоряжения, а затем вышел во двор замка, в котором находился его штаб, и приказал подать себе автомобиль. Надо было спешить — до восхода солнца оставалось каких-нибудь полтора часа. Он поглядел на небо и с удовлетворением заметил, что побледневший небосвод на востоке затягивают тяжелые тучи.

Этот молодой человек был весьма изобретателен и хитер. Его аэропланы и боеприпасы были разбросаны на большом пространстве: спрятаны в амбарах, засыпаны сеном, укрыты в лесах. Даже сокол мог бы разглядеть их, только приблизившись на расстояние выстрела. Но сегодня ночью авиатору нужен был один-единственный аэроплан, и он был у него под рукой: в полной готовности он стоял, накрытый брезентом, между двумя скирдами милях в двух от замка. На нем авиатор собирался лететь на Берлин только с одним помощником. Двоих людей было достаточно для того, что он собирался сделать...

Он распоряжался даром, который наука навязала еще не готовому для него человечеству в дополнение ко всем своим прочим дарам — черным дарам разрушения,— а этот молодой человек не был склонен к чувствительности, скорее — к опасности и риску...

В его смуглом лице с блестящей, глянцевитой кожей отчетливо проступали негроидные черты. Он улыбался, как бы предвкушая удовольствие. В его низком, сочном голосе звучал затаенный смешок, и, отдавая распоряжения, он подчеркивал свои слова выразительным жестом большой волосатой руки с вытянутым вперед длинным указательным пальцем.

— Мы заплатим им той же монетой! — говорил он.— Заплатим сполна! Нельзя терять ни минуты, ребята...

И вот за грядой облаков, сгустившихся над Вестфалией и Саксонией, бесшумный, как солнечный луч, пронесся аэроплан с беззвучно работающим атомным двигателем и фосфоресцирующим гироскопическим компасом, устремляясь, как стрела, к нервному центру, руководящему всеми военными силами Центральных Европейских Держав.

Он летел не особенно высоко, этот аэроплан, — он скользил в сотне футов над облачной пеленой, скрывавшей землю, скользил, готовый в любое мгновение нырнуть в ее влажный мрак, если на горизонте появится вражеский аэроплан. Молодой кормчий этого воздушного корабля делил свое напряженное до предела внимание между направляющими его путь звездами над головой и плотным слоем клубящихся паров, скрывавших от него землю. На больших пространствах эти облака лежали ровным слоем, словно застывшая лава, и были почти столь же неподвижны, но кое-где этот слой становился прозрачным, и в разрывах смутно мелькала далекая промоина, в которой просвечивала поверхность земли. Один раз авиатор отчетливо увидел огненный чертеж железнодорожной станции, в другой раз он успел заметить горящую ригу на склоне какого-то высокого холма: за завесой бурлящего дыма пламя казалось синевато-багровым. Но даже там, где земля была окутана саваном облаков, она жила в звуках. Сквозь их пласты долетал глухой грохот мчащихся поездов, гудки автомобилей... С юга доносился треск перестрелки, а когда цель была уже недалеко, авиатор услышал крик петуха...

Небо над этим морем облаков, сначала темное, усыпанное звездами, понемногу все светлело и светлело с северо-востока, по мере того как занималась заря. Млечный Путь растаял в синеве, и мелкие звезды померкли. Лицо искателя приключений и риска, сжимавшего штурвал аэроплана, зеленоватое от падавшего на него отблеска фосфоресцирующего овала компаса, было красиво в своей непреклонной целеустремленной решимости и бессмысленно счастливо, как у слабоумного, наконец-то завладевшего коробкой спичек. Его помощник, человек, не наделенный воображением, сидел, широко

расставив ноги; на полу между его ног стоял длинный, похожий на гроб ящик с тремя отделениями для трех атомных бомб — бомб совершенно нового типа, еще ни разу не испытанных, взрывное действие которых должно было продолжаться беспрерывно в течение неопределенно долгого срока. До сих пор каролиний — основное взрывчатое вещество этих бомб — подвергался испытаниям только в ничтожно малых количествах внутри стальных камер, впаянных в свинец. Помощник авиатора знал, что в темных шарах, покоящихся на дне ящика, стоявшего между его ног, дремлют гигантские разрушительные силы, но собирался точно выполнить полученный приказ и ни о чем не думал. Его орлиный профиль на фоне звездного неба не выражал ничего, кроме мрачной решимости.

Аэроплан приближался к вражеской столице, и облака начинали рассеиваться.

До сих пор полет был необыкновенно удачен — они не встретили ни одного неприятельского аэроплана. Пограничных разведчиков им, по-видимому, удалось миновать ночью—вероятно, те держались преимущественно под облаками. Пространство велико, и им посчастливилось благополучно избежать встречи с воздушными стражами. Их аэроплан, выкрашенный в светло-серый цвет, был почти не различим на фоне облаков, над которыми он скользил. Но вот уже восток заалел в лучах восходящего солнца, до Берлина оставалось каких-нибудь два десятка миль, а удача продолжала сопутствовать французам. Облака под ними неприметно таяли...

На северо-востоке, залитый утренним светом, лившимся через большой разрыв в облаках, лежал Берлин, все еще не погасивший своих ночных огней. Указательный палец левой руки авиатора скользил по квадрату слюдяной карты, прикрепленной у штурвала, еще раз сверяясь с расположением дорог и открытых пространств. Здесь, ближе к правой стороне, среди похожих на озера равнин, расположен Гафель; там, возле лесов, должен находиться Шпандау; здесь река огибает Потсдам; там впереди — Шарлоттенбург, рассеченный широкой магистралью, словно луч прожектора, указывающей на Генеральный Штаб. Вон там Тиргартен; за ним возвышается императорский дворец, а справа от него в этих высоких зда-

ниях, под этими сбившимися в кучу, увенчанными шпилями, увешанными флагами крышами расположился штаб Центральных Европейских Держав. В холодном бледном свете зари все это казалось отчетливым, но серым.

Авиатор резко поднял голову, внезапно услышав жужжание, которое возникло, казалось, ниоткуда и с каждой секундой становилось все громче. Почти над самой его головой кружил немецкий аэроплан, спускаясь с огромной высоты, чтобы напасть на него. Левой рукой авиатор сделал знак мрачному человеку, сидевшему за его спиной, крепче ухватил штурвал обеими руками, согнулся над ним и, вытянув шею, поглядел вверх.

Он был внимателен и настороժен, хотя абсолютно не верил, что враг способен взять над ним верх. Он был твердо убежден, что еще не родилось немца, который мог бы победить его в воздухе; да и не только его, но и любого опытного французского авиатора. Он предполагал, что они собираются ударить его сверху на манер ястребов, но, спускаясь с жестокого холода высот, голодные и усталые после бессонной ночи, они спускались недостаточно быстро — словно меч, извлекаемый из ножен ленивцем,— и это дало ему возможность проскользнуть вперед, оказаться между ними и Берлином. Еще на расстоянии мили от него они начали окликать его по-немецки в мегафон, но слова доносились до него лишь как клубок невнятных хриплых звуков. Затем его зловещее молчание пробудило в них тревогу, и они погнались за ним и оказались ярдов на двести позади него, держась на сто ярдов выше. Они начинали догадываться, кто он такой. Он перестал наблюдать за ними и сконцентрировал все свое внимание на городе, лежавшем впереди, и в течение некоторого времени оба аэроплана неслись, состязаясь в скорости...

Пуля просвистела в воздухе, и авиатору показалось, что у него над ухом разорвали лист бумаги. За первой пулей последовала вторая. Что-то ударило по аэроплану.

Пора было действовать. Широкие проспекты, площади, парки стремительно увеличивались в размерах и придвигались все ближе и ближе.

— Приготовиться! — скомандовал авиатор.

Худое лицо помощника застыло в мрачной решимости: обеими руками он вынул большую атомную бомбу из ее гнезда и поставил на край ящика. Это был черный шар в два фута в диаметре. Между двух ручек находилась небольшая целлулоидная втулка, и, склонившись к ней, он, словно примеряясь, коснулся ее губами. Когда он прокусит ее, воздух проникнет в индуктор. Удостоверившись, что все в порядке, он высунул голову за борт аэроплана, рассчитывая скорость и расстояние от земли. Затем быстро нагнулся, прокусил втулку и бросил бомбу за борт.

— Поворот! — почти беззвучно скомандовал он.

Полыхнуло ослепительное алое пламя, и бомба пошла вниз — крутящийся спиралью огненный столб в центре воздушного смерча. Оба аэроплана взлетели вверх; их подбросило, как мячики, и закружило. Авиатор, стиснув зубы, старался выправить потерявшую устойчивость машину. Его тощий помощник руками и коленями упирался в борт — он закусил губу, ноздри его раздувались. Впрочем, он был надежно закреплен ремнями...

Когда он снова поглядел вниз, его взору предстало нечто подобное кратеру небольшого вулкана. В саду перед императорским дворцом бил великолепный и зловещий огненный фонтан, выбрасывая из своих недр дым и пламя прямо вверх, туда, где в воздухе реял аэроплан; казалось, он бросал им обвинение. Они находились слишком высоко, чтобы различать фигуры людей или заметить действие взрыва на здание, пока фасад дворца не покачнулся и не начал оседать и рассыпаться, словно кусок сахара в кипятке. Тот, кто сбросил бомбу, посмотрел, обнажил в усмешке длинные зубы и, выпрямившись, насколько ему позволяли ремни, вытащил из ящика вторую бомбу, прокусил втулку и послал следом за первой.

Взрыв произошел на этот раз почти под самым аэропланом и, накренив, подбросил его вверх. Ящик с последней бомбой едва не опрокинулся, тощего швырнуло на ящик, лицом прямо на бомбу, на ее целлулоидную втулку. Он ухватился за ручки бомбы и с внезапной решимостью, словно боясь, что бомба ускользнет от него, прокусил втулку. Но прежде чем он успел бросить бомбу за борт, аэроплан начал перевертываться. И все стало опрокидываться. Человек инстинктивно ухватился рука-

ми за борт, стараясь удержаться, и его тело, прижав бомбу, помешало ей упасть.

Мгновение спустя она взорвалась, и от аэроплана, авиатора и его помощника остались только разлетевшиеся во все стороны куски металла, реющие в воздухе лохмотья и капли влаги, а третий огненный столб, крутясь, обрушился на обреченный город...

4

Впервые за всю историю войн появился непрерывный продолжительный тип взрыва; в сущности, до середины двадцатого века все известные в то время взрывчатые вещества представляли собой легко горящие субстанции; их взрывные свойства определялись быстротой горения; действие же атомных бомб, которые наука послала на землю в описанную нами ночь, оставалось загадкой даже для тех, кто ими воспользовался. Атомные бомбы, находившиеся в распоряжении союзных держав, представляли собой куски чистого каролиния, покрытые снаружи слоем неокисляющегося вещества, с индуктором, заключенным в герметическую оболочку. Целлулоидная втулка, помещавшаяся между ручками, за которые поднималась бомба, была устроена так, чтобы ее легко можно было прорвать и впустить воздух в индуктор, после чего он мгновенно становился активным и начинал возбуждать радиоактивность во внешнем слое каролиния. Это, в свою очередь, вызывало новую индукцию, и таким образом за несколько минут вся бомба превращалась в беспрерывный, непрекращающийся огненный взрыв. Центральные Европейские Державы располагали точно такими же бомбами, с той лишь разницей, что они были несколько больше и обладали более сложным индукционным устройством.

До сих пор все ракеты и снаряды, какие только знала история войны, создавали, в сущности, один мгновенный взрыв; они взрывались, и в тот же миг все было кончено, и если в сфере действия их взрыва и летящих осколков не было ничего живого и никаких подлежащих разрушению ценностей, они оказывались потраченными зря. Но каролиний принадлежал к бета-группе элементов так называемого «заторможенного рас-

пада», открытых Хислопом, и, раз начавшись, процесс распада выделял гигантское количество энергии, и остановить его было невозможно. Из всех искусственных элементов Хислопа каролиний обладал самым большим зарядом радиоактивности и потому был особенно опасен в производстве и употреблении. И по сей день он остается наиболее активным источником атомного распада, известным на земле. Его период полураспада — согласно терминологии химиков первой половины двадцатого века — равен семнадцати дням; это значит, что на протяжении семнадцати дней он расходует половину того колоссального запаса энергии, который таится в его больших молекулах; в последующие семнадцать дней эманация сокращается наполовину, затем снова наполовину и так далее. Как все радиоактивные вещества, каролиний (несмотря на то, что каждые семнадцать дней его сила слабеет вдвое и, следовательно, неуклонно иссякает, приближаясь к бесконечно малым величинам) никогда не истощает своей энергии до конца, и по сей день поля сражений и области воздушных бомбардировок той сумасшедшей эпохи в истории человечества содержат в себе радиоактивные вещества и являются, таким образом, центрами вредных излучений...

Когда целлулоидная втулка разрывалась, индуктор окислялся и становился активным. После этого в верхнем слое каролиния начинался распад. Этот распад не сразу, а постепенно проникал во внутренние слои бомбы. В первые секунды после начала взрыва бомба в основном еще продолжала оставаться инертным веществом, на поверхности которого происходил взрыв, — большим пассивным ядром в центре грохочущего пламени. Бомбы, сброшенные с аэропланов, падали на землю именно в этом состоянии; они достигали поверхности земли, все еще находясь в основном в твердом состоянии, и, плавя землю и камни, уходили в глубину. Затем, по мере того, как все большее количество каролиния приобретало активность, бомба взрывалась, превращаясь в чудовищный котел огненной энергии, на дне которого быстро образовывалось нечто вроде небольшого беспрерывно действующего вулкана. Часть каролиния, не имевшая возможности рассеяться в воздухе, легко проникала в кипящий водоворот расплавленной почвы и перегретого

пара, смешиваясь с ними и продолжая с яростной силой вызывать извержения, которые могли длиться годами, месяцами или неделями — в зависимости от размеров бомбы и условий, способствующих или препятствующих ее рассеиванию. Раз сброшенная бомба полностью выходила из-под власти человека, и действием ее нельзя было никак управлять, пока ее энергия не истощалась. Из кратера, образованного взрывом в том месте, куда проникла бомба, начинали вырываться раскаленные пары, взлетать высоко в воздух земля и камни, уже ядовитые, уже насыщенные каролинием, уже излучающие, в свою очередь, огненную, все испепеляющую энергию.

Таково было величайшее достижение военной науки, ее триумф — невиданной силы взрыв, который должен был «решительно изменить» самую сущность войны.

5

Современный историк, описывая ту эпоху, утверждает, что это было время, когда человечество «верило в непреложность некоторых отвлеченных понятий и было слепо к очевидным фактам». И в самом деле, те, кто жил в начале двадцатого века, должны были бы, казалось, ясно видеть, что война стремительно становится невозможной. И тем не менее они явно этого не замечали. Они не замечали этого до тех пор, пока атомные бомбы не начали рваться в их неумелых руках. А ведь всякий просвещенный человек, казалось бы, не мог не заметить столь очевидных фактов. На протяжении двух — девятнадцатого и двадцатого — веков количество энергии, которую завоевывали и подчиняли себе люди, неуклонно возрастало. В военном отношении это означало, что способность наносить удар, способность разрушать также неудержимо возрастает. А возможность спастись, избежать этого разрушения не увеличивалась ни на йоту. И любые виды пассивной обороны, любые защитные средства, любые укрепления — все сводилось на нет этим чудовищным ростом разрушительных сил. Способ же применения разрушительных сил становился настолько доступным, что любая самая незначительная группа недовольных могла им воспользоваться, и это означало пол-

ный переворот в полицейской системе и внутреннем управлении государства. Еще до начала последней войны было общеизвестно, что количество скрытой энергии, которое может превратить в руины полгорода, легко умещается в ручном саквояже. Эти факты жили в сознании каждого; они были известны даже уличным ребятишкам. И тем не менее человечество продолжало «баловаться», по выражению американцев, с такой опасной игрушкой, как военные приготовления и военные угрозы.

Только ясно осознав этот глубокий разрыв между достижениями науки и человеческого разума, с одной стороны, и действиями политиканов — с другой, современный человек окажется способен понять, как могло сложиться подобное чудовищное положение вещей. Социальная организация общества все еще находилась на стадии варварства. Уже насчитывалось немало людей, обладавших высоким духовным развитием, в личной жизни человек становился цивилизованным существом, и бытовая культура достигала расцвета, но общество как таковое в целом оставалось бессмысленным, нежизнеспособным и неорганизованным до идиотизма. Коллективная цивилизация — «Современное Государство» — все еще скрывалась во тьме грядущего.

6

Однако вернемся к «Годам странствия» Фредерика Барнета и узнаем, какова была судьба среднего человека во время войны. В те дни, когда Париж и Берлин испытали на себе ужасающее могущество науки, обращенной на цели разрушения, Барнет со своей ротой усердно рыл окопы в Люксембурге.

Кратко, но живо он описывает мобилизацию и свое путешествие в жаркую летнюю пору через север Франции и Арденны. Деревья и трава пожелтели от зноя, кое-где начали уже проглядывать осенние краски, и пшеничные поля отливали золотом. Когда эшелон задержался на час в Ирсоне, на платформе мужчины и женщины с трехцветными значками угощали изнемогавших от жажды солдат пивом и лепешками, и все выглядело очень весело и празднично.

«Какое отличное, прохладное это было пиво,— пишет Барнет.— А я от самого Эпсома ничего не ел и не пил».

В розовеющем вечернем небе кружило несколько монопланов. «Словно гигантские ласточки»,— замечает Барнет.

Батальон Барнета был отправлен через Седан в местечко, носившее название Виртон, и оттуда по железной дороге на Жемель. Но в лесу поезд остановили, их высадили, и они провели беспокойную ночь возле самого железнодорожного полотна, где беспрерывно проходили эшелоны и товарные составы. А на следующее утро, едва холодный рассвет пробился сквозь холодные облака, Барнет уже шагал на восток к Арлону по широким полям, перемежающимся рощами, и мало-помалу тучи рассеялись, и начало припекать беспощадное солнце.

Прибыв на место, пехота получила приказ рыть окопы и стрелковые ячейки между Сен-Юбером и Виртоном и замаскироваться в них, чтобы не дать неприятелю продвинуться с востока к укрепленной линии на Маасе. Двое суток они работали, исполняя приказ, и ни разу не видели неприятеля и не подозревали о катастрофе, которая обезглавила европейские армии и превратила западную часть Парижа и центр Берлина в пылающие развалины, повторяющие в миниатюре гибель Помпеи.

И даже когда они услышали о случившемся, это была далеко не вся правда.

«Нам сказали, что аэропланы и бомбы натворили немало бед в Париже,— рассказывает Барнет,— но отсюда еще не следовало, что «Они» не разрабатывают попрежнему свои планы и не издают приказы где-нибудь в другом месте. Когда из леса перед нами появился неприятель, мы закричали «ура» и принялись палить в него, не думая ни о чем, кроме завязавшегося боя. А если время от времени кто-нибудь приподнимал голову, чтобы посмотреть, что происходит в небе, свист пули над ухом быстро приводил его снова в горизонтальное положение...»

Это сражение продолжалось три дня и захватило довольно большое пространство — между Лувеном на севере и Лонгви на юге. В основном это была ружейная перестрелка и рукопашный бой. Аэропланы, по-видимому, не принимали первое время заметного участия в сра-

жении, хотя, без сомнения, их стратегическое значение с самого начала было велико, так как они предупреждали возможность внезапных маневров, внезапной переброски войск. Эти аэропланы были снабжены атомными двигателями, однако не имели не только атомных бомб, которые были явно неприменимы на полях сражений, но и никаких других. И хотя они вступали в единоборство и стреляли друг в друга и в них стреляли с земли из винтовок, тем не менее настоящих воздушных боев почти не происходило. То ли сами авиаторы не склонны были вести бой, то ли командование обеих сторон предпочитало беречь свои машины для целей разведки...

Дня два Барнет рыл окопы и строил планы дальнейших действий, а затем очутился на передовых позициях. Свои стрелковые ячейки он расположил главным образом вдоль глубокой сухой канавы, которая служила хорошим ходом сообщения, а землю разбросал по соседнему полю и замаскировал свое сооружение снопами колосьев и пучками маков. Ничего не подозревавший противник начал наступление через это поле и, несомненно, понес бы тяжелые потери, если бы кто-то на правом фланге не открыл стрельбы раньше времени.

«Когда неприятельские солдаты появились передо мной, я почувствовал, что меня охватил странный трепет,— признается Барнет.— Это было совсем не то ощущение, какое испытываешь на маневрах. Они остановились было на опушке леса, а потом двинулись вперед развернутым строем. Они приближались к нам, но смотрели не на нас, а куда-то в сторону, вправо. Даже когда они начали падать под нашими пулями, а их офицеры предупредили их свистками, они, казалось, по-прежнему не видели нас. Двое или трое из них остановились и тоже открыли стрельбу, а затем они все стали отступать обратно к лесу. Сначала они отступали медленно, оглядываясь на нас, а затем — словно лес притягивал их к себе — затрусили к нему рысцой. Я выстрелил — почти машинально — и промахнулся, потом выстрелил снова и почувствовал, что уже хочу непременно попасть в цель, проверил установку прицела и стал тщательно ловить на мушку голубую спину, мелькавшую среди колосьев. Сначала мне это не удавалось — так порывисты и не-

ожиданны были движения солдата,— и я не стрелял, но затем он, по-видимому, встретил на своем пути канаву или какое-то другое препятствие и задержался на секунду. «Получай»,— прошептал я и нажал на спуск.

Я испытал в высшей степени странное ощущение. В первую секунду, увидав, что я попал в него, я почувствовал прилив гордости и радость...

Пуля заставила его завертеться на месте волчком. Он подпрыгнул и вскинул руки...

Затем я увидел, что верхушки колосьев колышутся и в просветах между ними мелькает его бьющееся на земле тело. Внезапно к горлу у меня подступила тошнота. Я не убил его...

Он был беспомощен, как раздавленный червяк, но у него еще хватало сил корчиться. Я задумался...

Почти два часа этот прусский солдат умирал за стеной колосьев. И не то звал кого-то, не то кто-то окликал его...

Затем он как будто подпрыгнул — по-видимому, в последнем страшном усилии встать на ноги,— но тут же снова свалился, как куль, затих и больше не шевелился.

Видеть его было невыносимо, и кто-то, по-моему, пристрелил его. Я и сам уже собирался это сделать...»

Неприятель принялся обстреливать окопы союзников из своих укреплений в лесу. Соседа Барнета ранило, и он начал неистово чертыхаться и стонать. Барнет по дну канавы подполз к нему и увидел, что солдат весь в крови, а кисть его правой руки превратилась в кровавое месиво. Боль была невыносимой, но раненого душила такая ярость, что он забыл о боли.

— Глядите, глядите,— твердил он, то прижимая изуродованную руку к груди, то вытягивая ее.— Глупость чертова! Правая рука, сэр! Моя правая рука!

Барнет долго не мог его успокоить. Солдат был вне себя от сознания жестокого безумия войны, сознания, поразившего его вместе с пулей, которая мгновенно и навеки превратила его из искусного механика в калеку. Он в диком ужасе смотрел на страшную рану, ничего не видя и не замечая вокруг. Все же в конце концов Барнет перевязал кровоточащий обрубок и помог раненому перебраться по дну канавы в безопасное место.

Когда Барнет вернулся, все солдаты громко требовали воды, их, целый день сидевших в окопах, томила жажда. Пообедали они шоколадом с хлебом.

«Сначала,— говорил Барнет,— я, получив мое первое боевое крещение, был в необычайно приподнятом состоянии духа. Затем, по мере усиления жары, начались всяческие мучения, а время тянулось невыносимо медленно. Мухи не давали мне покоя, а кроме того, оказалось, что мой тесный окопчик кишит муравьями. Я не мог ни встать, ни выбраться из него, так как какой-то неприятельский стрелок в лесу давно держал меня под прицелом. А я все время думал о пруссаке, валявшемся на поле, и в ушах у меня звучали горькие вопли моего солдата. «Глупость чертова!» Да, это была глупость, проклятая глупость. Но кто был в ней виноват? Как мы дошли до этого?..

После полудня неприятельский аэроплан сделал попытку выбить нас с позиции динамитными бомбами, но две-три наших пули попали в него, и он внезапно нырнул за вершины деревьев.

«Сейчас повсюду, от Голландии до Альп,— сказал я себе,—скорчившись, зарывшись в землю, лежит миллион людей, которые стараются как можно основательнее изувечить друг друга. Грандиозность этого безумия не укладывается в сознании. Это сон. Скоро я очнусь...»

И тотчас эта мысль обрела иную форму: «Скоро человечество очнется».

Я лежал, раздумывая, сколько десятков тысяч из этого миллиона сейчас негодуют на обветшалые фетиши — империю и национальный флаг. Быть может, этот чудовищный кошмар предшествует кризису? И спящий, не в силах выносить долее подобный ужас... проснется?

Не помню, чем закончились мои размышления. Кажется, они не столько закончились, сколько были прерваны отдаленным грохотом пушек, начавших издалека обстреливать Намюр».

7

А ведь пока еще Барнет не испытал и тени того, во что обещала развернуться эта война. До сих пор он принимал участие лишь в небольшой перестрелке. Штыковая атака, прорвавшая их передовую линию, произо-

шла под Круа Руж, за двадцать с лишним миль от расположения его роты, и в ту же ночь под покровом темноты они оставили окопы и без дальнейших потерь покинули этот рубеж.

Полк Барнета без соприкосновения с противником отошел за линию укреплений между Намюром и Седаном, погрузился в вагоны на станции Метте и был переброшен через Антверпен и Роттердам на север, в Гарлем. Отсюда они уже походным порядком были направлены на север Голландии. И только тут, после этого перехода через Голландию, Барнет начал постигать всю чудовищность и катастрофичность этой борьбы, в которой он исполнял свою неприметную роль.

Он очень живо описывает мелькавшие за окнами вагонов холмы и долины Брабанта, многочисленные мосты через рукава Рейна и постепенный переход от холмистого бельгийского пейзажа к плоским ярко-зеленым лугам, залитым солнцем плотинам и бесчисленным ветряным мельницам голландских равнин. В те годы от Алкмара и Лейдена до Долларта тянулась сплошная полоса суши. Три большие провинции — Южная Голландия, Северная Голландия и Зейдерзееланд, которые с начала десятого века и по 1945 год были постепенно отвоеваны у моря и лежали на много футов ниже уровня волн, бившихся о защищавшие их плотины, теперь пышно цвели под северным солнцем, кормя многочисленное население. Сложная система законов, обычаев и традиций неустанно и зорко охраняла эти земли от ведущей на них осаду морской стихии. На двести пятьдесят с лишним миль, от Валхерена до Фрисландии, протянулась линия дамб и насосных станций, вызывая восхищение всего мира.

Если бы какому-нибудь любопытному богу вздумалось понаблюдать за течением событий в этих северных областях, пока англичане совершали свой фланговый марш, он мог бы с удобством воссесть на одном из величественных кучевых облаков, которые медленно плыли по голубому небу в эти замечательные дни накануне великой катастрофы. Да, погода в те дни стояла жаркая, без дождя, с легким ветерком, а земля была сухой и немного пыльной. И любознательный бог созерцал бы широкие зеленые пространства, залитые солнцем и испещренные тенями облаков, и отражающие небо боло-

та, обрамленные и разделенные густым ивняком и серебристыми камышами, и белые ленты дорог, открытые солнечным лучам, и кружевную сеть синих каналов. По лугам бродили огромные стада, по дорогам безостановочно двигались велосипеды, возы и пестрые автомобили крестьян; гудки бесчисленных моторных судов на каналах соперничали с шумной сутолокой дорог, и повсюду — в окруженных ригами и амбарами усадьбах, в сбившихся у дороги в кучу зданиях, в беспорядочно разбросанных домах деревень с неизменной старой и красивой церковью, в тесных городах, перерезанных бульварами с искусно подстриженными деревьями, опоясанных каналами с бесчисленными мостами,— повсюду обитали люди.

Народ этой страны не отличался воинственностью. Интересы и симпатии Голландии так поделились между двумя враждующими лагерями, что она до конца продолжала находиться в нерешительности и не принимала активного участия в борьбе мировых держав. И везде вдоль дорог, по которым проходили войска, собирались кучки и толпы бесстрастных наблюдателей и зевак: дети и женщины в своеобразных белых чепцах и старомодных деревянных башмаках и пожилые бритые мужчины, спокойно и задумчиво посасывающие длинные трубки. Они не боялись вторгшихся к ним чужеземцев: те дни, когда слово «солдатня» вызывало в представлении шайки разнузданных грабителей, давно канули в прошлое...

Со своего наблюдательного пункта в облаках бог увидел бы, как одетые в форму цвета хаки солдаты и выкрашенные в цвет хаки орудия расползались по всей приморской Голландии. Он увидел бы длинные железнодорожные составы — вагоны, набитые солдатами, и платформы с тяжелыми артиллерийскими орудиями и боеприпасами,— медленно ползущие на север, опасаясь крушения; он увидел бы Рейн и Шельду, запруженные судами, выгружающими все больше и больше солдат и все больше и больше боеприпасов; он увидел бы привалы, и раздачу рационов, и выгрузку из поездов; увидел бы длинные, медленно движущиеся колонны пехоты и кавалерии, похожие на гусениц, и похожие на личинки фургоны, и похожие на огромных жуков орудия, ползу-

щие на север по затененным тополями дорогам и плотинам мимо безучастных к их судьбе, невозмутимо наблюдающих за ними голландцев. Все суда и баржи на каналах были реквизированы для переброски войск. В свете теплого солнечного летнего дня вся эта картина оттуда, сверху, с облаков, должна была казаться каким-то буйным праздником оживших игрушек.

Когда солнце стало клониться к западу, все происходящее внизу, на земле, должно было подернуться золотистой дымкой, стать более ярким и засверкать, а удлинившиеся тени — сделать предметы более выпуклыми. Тени высоких колоколен все росли и росли, пока не достигли горизонта и не слились с надвигающимся мраком, и тогда медленно, неслышно, расправляя складки своего синего и все более отливающего черным плаща и мало-помалу обволакивая им землю, подкралась ночь; в непроглядной ее тьме одна за другой затеплились слабые искорки, и вскоре уже мрак сиял тысячами брильянтовых огней. И из этого слияния тьмы и мерцающего света до облаков долетел бы неумолчный гул человеческой деятельности, особенно отчетливый теперь, когда она была только слышна, но незрима.

И, быть может, проносясь в прозрачной бездне между землей и звездами, бог-наблюдатель всю ночь не сомкнул глаз, а быть может, он задремал. Но если бы он поддался этой вполне естественной потребности на четвертую ночь от начала великого флангового марша, то был бы скоро разбужен, ибо в эту ночь битва в воздухе решила участь Голландии.

Аэропланы были наконец введены в бой, и внезапно с ревом и визгом они ринулись вперед со всех четырех сторон небосвода, проносясь то над наблюдателем, то под ним, ныряя, сталкиваясь, опрокидываясь, взмывая к зениту и падая на землю, ринулись — одни, чтобы напасть на мириады копошащихся внизу существ, другие, чтобы защитить их.

Центральные Европейские Державы втайне собирали в кулак все свои летательные машины, и теперь они бросили их в атаку на небольшой клочок низменности — подобно великану, швыряющему на землю десять тысяч ножей. В этой бешено несущейся стае находилось пять аэропланов с атомными бомбами, державших курс

прямо к дамбам Голландии. И в ответ на это внезапное нападение на севере, на западе и на юге в воздух поднялись аэропланы союзников и бросились на врага. Так началась война в воздухе. В эту ночь люди носились в горных высях, оседлав вихрь, и, подобно архангелам, разили и падали, сраженные. И небеса проливали на изумленную землю ливень героев. Поистине последние битвы, которые вело человечество, были великолепнее всех предыдущих. Чего стоят воспетые Гомером схватки на мечах и скрип несущихся в бой колесниц по сравнению с этим стремительным полетом, столкновением, головокружительным триумфом и безудержным падением вниз, в объятия смерти?

А потом в этот смерч воздушных дуэлей, несущийся, крутясь, в пустом пространстве между огнями уличных фонарей и мерцанием звезд, ворвался вихрь и грохот, способный заглушить любой гром, и двадцать огненных змей, увеличиваясь на лету, алчно ринулись вниз на плотины Голландии и вонзились в преграды между морем и сушей, и снова взмыли вверх гигантскими столбами алого дыма, пара и огня, и пламя вырвало из мрака эту крохотную страну с ее деревьями и шпилями колоколен, объятую ужасом, видную всю как на ладони... А вокруг злобно металось море, яростно пеня багровые волны, подобные волнам крови.

И над этим густонаселенным клочком земли разнесся дикий многоголосый вопль и тревожный набат...

Уцелевшие аэропланы повернули обратно и скрылись из глаз, словно внезапно устыдясь своего деяния. А через десять брешей, охваченных пламенем, которое не могла погасить никакая вода, на сушу с ревом ринулось море.

8

«Мы кляли свое невезение,— говорит Барнет,— потому что в ту ночь не успели добраться до казарм в Алкмаре, где, как мы слышали, нас ждали полные рационы, табак и другие желанные блага. Но главный канал между Зандамом и Амстердамом был безнадежно запружен судами, и мы обрадовались, когда нам представился случай отстать от нашего основного транспорта, причалить в маленьком, заброшенном и затянутом тиной затоне и

найти пристанище в покинутом доме на берегу. Мы проникли в дом и обнаружили в погребе бочонок с остатками сельди, несколько головок сыра и глиняные кувшины с джином. Мы развели огонь, поджарили на рашпере селедки, насушили гренков с сыром. Никто из нас не смыкал глаз уже почти сорок часов, и я решил остаться в этом убежище до рассвета, а затем, если канал по-прежнему будет запружен судами, бросить нашу баржу и добираться до Алкмара пешком.

Наше убежище находилось примерно в сотне ярдов от канала, и мы могли видеть флотилию, проходившую под невысоким каменным мостом, и слышали голоса солдат. Вскоре в затоне неподалеку от нас остановилось еще пять или шесть барж; на двух из них были солдаты Антримского полка, и я поделился с ними найденным провиантом. Они, в свою очередь, угостили нас табаком. На запад от нас тянулось широкое пространство воды, а за ним виднелось множество крыш и две-три церковных колокольни. Наша баржа была слишком перегружена, и я разрешил нескольким взводам — всего тридцати — сорока солдатам — расположиться на берегу. Я не позволил им разместиться в доме, опасаясь, как бы они не попортили мебели, и оставил хозяевам долговую расписку за провиант, который мы взяли. Особенно радовались мы табаку и возможности развести костры, так как нас одолевали комары.

Ворота дома, в котором мы нашли провиант, были украшены надписью: «Vreugde bij Vrede» — «Мир дарует радость», — и все здесь говорило о деятельной старости удалившегося на покой человека, умеющего ценить комфорт. Я прошел через сад, которому большие кусты роз и душистого шиповника придавали нарядный и веселый вид, к очаровательной беседке и, устроившись там, стал наблюдать за моими солдатами, которые расположились на берегу и теперь стряпали ужин или просто отдыхали. Заходящее солнце золотило почти безоблачное небо.

Последние две недели я не имел ни минуты свободного времени и был целиком поглощен выполнением получаемых приказов. Я работал, напрягая все свои физические и душевные силы, отдыхая лишь в короткие часы, которые удавалось урвать для сна. Теперь эта неожидан-

ная передышка дала мне возможность беспристрастно оценить то, что я делал, и осознать, насколько поразительно было все происходящее. Я преисполнился признательности к солдатам моей роты, меня восхищала веселая готовность, с которой они терпели лишения и подчинялись необходимости. Я смотрел на них и прислушивался к их славным голосам. Как исполнительны были эти люди! Как беспрекословно готовы были они подчиняться и забывать о себе ради общей цели! Я думал о том, как мужественно переносили они все испытания и тяготы последних двух недель, как закалялись в этих испытаниях и как крепло их товарищество; и я думал о том, как, невзирая ни на что, много еще сохранилось добросердечия в нашей сумасбродной человеческой натуре. Ведь все они, в конце концов, были лишь случайными представителями человечества; их терпеливость и доброжелательность были подобны энергии, заключенной в атоме, и еще только ждали часа, когда им будет найдено благое применение. И снова с поразительной ясностью и силой я понял, что человечество прежде всего и больше всего нуждается в руководстве, что основная задача — найти руководство, забыть себя в стремлении к цели, стоящей перед всем человеческим родом. И в эту минуту жизнь снова представилась мне ясной и простой...»

Признание очень знаменательное для «немного дородного» молодого офицера, описавшего впоследствии все это в своих «Годах странствий», и очень характерное для той перемены, которая уже происходила в те годы в душах людей, подготавливая новую эру в истории человечества.

Барнет пишет дальше о необходимости спасти науку и общественные учреждения от индивидуализма и о том, как он пришел к выводу, что это — единственное «спасение». В те годы эти мысли, без сомнения, казались поразительными и оригинальными; теперь это лишь само собой разумеющаяся основа человеческой жизни.

На небе догорел закат, и сумерки сгустились в ночь. Во мраке костры запылали ярче, и на той стороне затона кто-то затянул ирландскую песню. Но солдатам Барнета, слишком уставшим за день, было не до песен, и на палубе баржи и на берегу все спали.

«Кажется, один только я не мог уснуть. Должно быть, сказалось переутомление. Промучившись некоторое время в лихорадочной полудремоте у румпеля, я очнулся и сел, *охваченный смутным беспокойством...*

В ту ночь вся Голландия представлялась мне лишь огромным пологом неба. Внизу была черная кромка горизонта: два-три церковных шпиля и вершины тополей, а над ними — опрокинутая гигантская чаша неба. Она была безоблачна и пуста. И все же моя неясная тревога каким-то непонятным образом исходила от неба.

Неожиданно меня охватила грусть. Была какая-то печальная смиренная покорность в этих спящих фигурах, окружавших меня; все эти люди пришли сюда издалека, они оставили позади привычную жизнь, чтобы принять участие в этой безумной войне, которая ничего не приносила и пожирала все,— в бессмысленном водовороте разрушения. Я увидел, как коротка и непрочна жизнь человека, целиком зависящая от случая, чудовищно беспомощная в осуществлении даже самых скромных своих замыслов. И я думал: неужели так будет всегда, неужели человек навеки обречен оставаться животным, которому так никогда и не будет суждено подчинить себе судьбу и изменить ее по своей воле? И он так и останется существом добрым, но завистливым, жаждущим, но неосуществляющим, широко одаренным, но действующим безрассудно,— останется таким до тех пор, пока породивший его Сатурн сам же его и не поглотит?..

Я внезапно очнулся от этих мыслей, заметив, что высоко в небе на северо-востоке появилась эскадра аэропланов. На полночной синеве неба они казались крохотными черными черточками. Помнится, я поглядел на них сначала довольно равнодушно, как на стаю перелетных птиц. А затем я увидел, что это лишь крыло огромного воздушного флота, стремительно приближающегося к нам со стороны границы, и насторожился.

Увидев эти аэропланы, я был поражен, что не заметил их раньше.

Удивленный, взволнованный, я тихонько поднялся на ноги, стараясь не разбудить своих товарищей. Я напряженно прислушивался, ожидая услышать грохот наших пушек. Почти бессознательно я поглядел на юг, по-

том на запад, всматриваясь в даль, ожидая, что оттуда придет защита, и тотчас увидел совсем близко от себя, точно они вынырнули прямо из мрака, три стремительно несущиеся эскадры аэропланов: одна эскадра шла на очень большой высоте, другая — основное ядро отряда — примерно на высоте двух тысяч футов, третья летела совсем низко над землей. Аэропланы, находившиеся в центре, шли таким плотным косяком, что за ними не видно было звезд, и тут я понял, что начинается война в воздухе.

Было что-то очень необычное и странное в этих почти невидимых с земли, изготовившихся к бою противниках, стремительно и бесшумно сближающихся друг с другом над головой спящих внизу войск. Все вокруг меня еще было погружено в сон; на судах, заполнявших главный канал, не заметно было никакого движения, хотя вдоль канала тянулась цепочка костров, да и весь он, испещренный светящимися точками, должен был быть отчетливо заметен сверху. Затем издали, со стороны Алкмара, донесся звук горнов, затем раздались выстрелы, и с ними слился отчаянный перезвон колоколов. Я решил как можно дольше не будить моих солдат...

Воздушный бой разгорелся мгновенно, как во сне. Мне кажется, что между тем моментом, когда я увидел в воздухе вражеский флот, и началом сражения прошло не больше пяти минут. Я видел все очень хорошо, черные силуэты аэропланов четко выделялись в прозрачной синеве северного неба. Аэропланы союзников — преимущественно французские — яростным ливнем обрушились на ядро вражеского флота. Они действительно походили на крупные дождевые капли. Послышался треск, похожий на шелест северного сияния,— первый звук, который долетел до меня; по-видимому, в небе началась ружейная перестрелка. Бледные вспышки, похожие на летние зарницы, озарили небо, а через секунду там уже царил хаос воздушного сражения, все еще почти совсем беззвучный. Некоторые вражеские аэропланы опрокидывались, очевидно, задетые удачным выстрелом; другие начинали стремительно падать и вдруг исчезали в ослепительном пламени, от которого на мгновение меркло все вокруг.

И в то время, как я все еще вглядывался в небо,

стараясь защитить рукой глаза от этих слепящих вспышек, а солдаты просыпались и вскакивали, кругом на плотины были сброшены атомные бомбы. С оглушительным грохотом они падали с неба, подобно Люциферу на картинах, оставляя позади себя огненный след. И светлая, прозрачная, полная трагических событий ночь, казалось, внезапно исчезла, поглощенная черным непроницаемым мраком, смыкавшимся вокруг этих исполинских огненных столбов...

За грохотом взрыва последовал рев ветра, в небе замелькали молнии и заклубились тучи...

Все произошло с феерической быстротой. Секунду назад я был одиноким наблюдателем в мире, погруженном в сон, в следующее мгновение все были на ногах... Мир пробудился, растерянный, ничего не понимающий...

Внезапно налетевший шквал обрушился на меня с такой силой, что сорвал мой шлем и снес беседку в саду усадьбы «Мир дарует радость», скосив ее, словно косой. Я видел, как падали бомбы, видел страшное малиновое пламя, взмывавшее вверх при каждом взрыве, и громоздящиеся друг на друга клубы кроваво-красного пара, и летящие к небу обломки, и на этом огненном фоне встали черные силуэты всех окрестных церквей, деревьев и печных труб. И внезапно я понял. Вражеские аэропланы взорвали плотины. Эти огненные столбы означали их гибель, и через несколько минут, сюда, на нас, хлынет море...»

Далее Барнет довольно пространно описывает меры — и, надо признать, вполне разумные меры,— которые были им приняты перед лицом этого неслыханного бедствия. Он посадил своих солдат на баржу и сообщил о случившемся на соседние баржи; затем велел механику пустить машину и отчалил. Но тут он вспомнил, что следует запастись продовольствием, и высадил на берег пятерых солдат, и они раздобыли несколько десятков сыров, успев вернуться на баржу до наводнения.

Барнет упоминает об этом доказательстве своего хладнокровия с законной гордостью. Он намеревался повернуть баржу носом против волны и дать полный ход. И он все время благословлял судьбу за то, что находится

в затоне, а не в каше судов на главном канале. Он, как мне кажется, несколько переоценил возможную силу первого удара — он опасался, объясняет он, что волна подхватит баржу и разобьет ее о дома или деревья.

Барнет не указывает, сколько времени прошло между взрывом плотин и тем мгновением, когда их баржу настигло хлынувшее на сушу море, но, по-видимому, это произошло минут через двадцать—тридцать. Он работал теперь в полном мраке — если не считать света фонаря — и на ураганном ветру. Он зажег носовой и кормовой огни...

Пар клубами поднимался ввысь над стремительно надвигавшейся стеной воды — ведь она хлынула в проломы плотин, раскалившиеся от взрыва почти добела,— и эта плотная завеса клубящегося пара скоро совершенно скрыла огненные вулканы взрывов...

«Наконец наводнение достигло нас. Оно разливалось по всей стране широким валом, надвигаясь с глухим ревом. Я ожидал увидеть Ниагару, но высота обрушившегося на нас водопада не превышала двенадцати футов. Наша баржа на какой-то миг неуверенно закачалась, получила хорошую порцию воды на палубу и всплыла. Я скомандовал полный вперед, поставил баржу носом против течения и ценой отчаянных усилий старался удержать ее в этом положении.

Дул ветер, такой же неистовый, как этот потоп, и мне кажется, мы сталкивались со всем, что только крутилось в волнах между нами и морем. Единственным источником света среди этой кромешной тьмы были наши фонари; в двадцати футах пелена пара становилась уже непроницаемой, а рев моря и ветра заглушал все прочие звуки. Черные глянцевитые волны, пенясь, проносились мимо нас, на миг попадая в полосу света наших огней, и снова растворялись во мраке. И оттуда, из этого мрака, неожиданно возникали различные предметы, которые мчались прямо на нас: полузатонувшая лодка, корова, часть бревенчатой стены какого-то дома, беспорядочная груда досок, ящиков. Все они вдруг появлялись перед нами, словно приоткрывалась какая-то дверца, стремительно надвигались, с сокрушительной силой ударялись о нашу баржу, а порой проносились мимо. Один раз я со-

вершенно отчетливо различил во тьме белое, как мел, человеческое лицо...

Впереди перед нами все время маячила группа полузатопленных, гнущихся под ветром деревьев, и мы постепенно к ним приближались. Я постарался обойти их стороной. Их ветви метались из стороны в сторону на черном фоне клубящегося пара, словно воздетые в безысходном отчаянии руки. Один большой сук обломило ветром, и он со свистом пронесся мимо меня. Мы понемногу продвигались вперед. Когда я в последний раз оглянулся на «Мир дарует радость», прежде чем ее поглотила тьма, она была прямо за нашей кормой...»

9

На рассвете баржа Барнета все еще держалась на воде. Носовая часть ее сильно пострадала, и солдаты посменно откачивали и отливали воду. Барнет сумел спасти десяток людей, чья лодка перевернулась рядом с баржей, а три других лодки он тащил на буксире. Во всяком случае, он еще плыл и находился где-то между Амстердамом и Алкмаром, но где именно — он определить не мог. Настал день, скорее похожий на ночь. Всюду, куда ни глянь, под хмуро-серым небом расстилалось серое пространство воды, а над водой торчали полуразрушенные кровли и верхние этажи домов, вершины деревьев, верхушки ветряных мельниц — словом, верхняя треть знакомого голландского пейзажа,— и мимо них в туманной дымке плыла целая флотилия барж и маленьких лодочек (некоторые были опрокинуты вверх дном), бревна, балки, мебель и множество других разнообразных предметов.

Утопленники в то утро оставались еще под водой. Лишь изредка проплывал труп коровы или окостеневшее тело человека, судорожно вцепившегося в какой-нибудь дощатый ящик или стул, напоминая о скрытом под водой страшном кладбище. Только к четвергу на поверхность стало всплывать много трупов.

Серый туман, словно серый полог, висел над головой, закрывая даль. Он рассеялся лишь после полудня, и тогда на западе под тяжелыми тучами пыли и клуба-

ми пара над безбрежным простором воды стали видны огненно-красные фонтаны атомных вулканов.

Издали, сквозь мглистую дымку, они казались тусклыми и зловещими, как лондонские закаты.

«Они стояли над водой,— говорит Барнет,— словно огненные водяные лилии со смятыми лепестками».

Это утро Барнет провел, по-видимому, на канале, спасая тех, кто проплывал мимо, вылавливая опрокинутые лодки, помогая людям выбраться из затопленных домов. Другие военные баржи занимались тем же. Только на исходе дня, когда самая неотложная помощь была оказана, он вспомнил, что ему следует накормить и напоить своих солдат и решить, что предпринять дальше. У них еще оставалось немного сыра, но не было ни капли воды. «Приказы», эти таинственные повелители человеческих судеб, исчезли уже, по-видимому, навсегда. Барнет понял, что теперь он должен действовать на свой страх и риск.

«Все мы чувствовали: произошла катастрофа такого масштаба и мир должен был так измениться, что мы напрасно стали бы надеяться найти на земле место, где все оставалось бы таким же, как до войны. Мы собрались на юте — мой механик Майлис, Кемп, еще двое младших офицеров и я — и принялись вырабатывать план действий. У нас не было ни пищи, ни определенной цели. Мы пришли к заключению, что наши боевые возможности ничтожны и что нам надо прежде всего раздобыть себе еду и получить какие-то инструкции. Каким бы ни был план военных операций, который прежде предопределял наши действия, теперь он, совершенно очевидно, утратил всякий смысл. Майлис считал, что нам следует повернуть на запад и попробовать вернуться в Англию через Северное море. По его расчетам, на такой моторной барже, как наша, можно было достичь Йоркширского побережья через сорок четыре часа. Но я отверг его предложение, потому что у нас было слишком мало провианта и совсем не было воды.

Со всех лодок вблизи от нас доносились просьбы дать им воду, и от этого нам хотелось пить еще сильнее. Я решил, что нам следует плыть на юг, где мы, несомненно, доберемся до такой возвышенности, которая не будет

затоплена морем, и тогда мы сможем пристать к берегу, найти какой-нибудь ручей, напиться, пополнить наши запасы и узнать, что происходит в мире. На многих баржах, проплывавших в тумане мимо нас, находились английские солдаты, заплывшие сюда с Северного Канала, но и они знали о происходящем не больше, чем мы. «Приказы» больше не служили нам путеводной звездой.

Однако вечером того же дня «Приказы» снова напомнили о себе через мегафон английского миноносца, сообщавшего о заключении перемирия и обрадовавшего нас известием, что провиант и вода срочно отправляются вниз по Рейну и флотилия барж с припасами будет стоять на старом Рейне возле Лейдена...»

Но мы не последуем за Барнетом и его солдатами в это странное путешествие по воде, над сушей, между деревьев, домов и церквей, мимо Зандама через Гарлем и Амстердам до Лейдена. Они плыли в тумане, пронизанном красными отблесками огня, в каком-то призрачном мире, полном неизвестности, растерянности, туманных силуэтов, доносившихся откуда-то голосов и мучительной жажды, притуплявшей все другие чувства.

«Мы сидели,— пишет Барнет,— тесно прижавшись друг к другу, а расположившиеся на носу солдаты были воплощением молчаливого терпения. И только один звук настойчиво нарушал тишину — мяукала кошка, которую один из наших солдат спас вблизи Зандама, когда она проплывала мимо нас на стоге сена. Мы держали курс на юг, полагаясь на компас-брелок, принадлежавший Майлису.

Мне кажется, никто из нас тогда не думал о том, что мы — остатки разбитой армии; нам в те минуты было как-то не до войны. Над всем преобладало ощущение грандиозной стихийной катастрофы. После атомных взрывов все международные споры словно утратили всякое значение. В те минуты, когда мы забывали о жажде, мы задумывались над тем, что нужно найти способ прекратить применение этого страшного оружия, пока на земле еще не уничтожено все живое. Ибо нам стало совершенно очевидно, что эти бомбы и те еще более страшные силы разрушения, предтечами которых они яв-

ляются, могут в мгновение ока уничтожить все, созданное человечеством, и порвать все существующие между людьми связи.

— Что они намерены делать? — спрашивал Майлис.— Что они намерены делать? Совершенно ясно, что мы должны положить конец войне. Совершенно ясно, что должен быть установлен какой-то порядок. Все это... все, что происходит... совершенно немыслимо.

Я ответил ему не сразу. Что-то — я даже сам не знаю, что именно,— воскресило в моей памяти того раненого, которого я перевязал в первый день сражения. Я снова увидел его гневные, полные слез глаза и жалкий кровоточащий обрубок, который пять минут назад был искусной рукой человека, простертой вперед в неистовом протесте: «Глупость чертова! Правая рука, сэр! Моя *правая* рука...»

На какое-то мгновение я утратил веру в людей, в силу разума.

— Мне кажется, что мы слишком... слишком глупы,— сказал я Майлису,— чтобы когда-нибудь положить конец войне. Если бы у нас хватало на это ума, мы должны были бы сделать это раньше. Мне кажется, что вот это...— я указал на черный скелетообразный остов разбитой ветряной мельницы, нелепый и безобразный, торчавший над залитой кровавым светом водой,— это конец».

10

Однако нам пора проститься с Фредериком Барнетом и с его голодными, погибающими от жажды на борту баржи солдатами.

В течение какого-то времени казалось, что цивилизации — в Западной Европе, во всяком случае,— пришел конец. Семена, посеянные Наполеоном и взращенные Бисмарком, распустились пышным цветом, «подобные огненным лилиям», озарив своим кровавым пламенем гибнущие нации, разрушенные и затопленные храмы, лежащие в руинах города, навсегда погубленные для человечества плодородные поля и миллионы трупов, плавающих в лужах крови. Был ли этот урок достаточным для



«ОСВОБОЖДЕННЫЙ МИР»



«ОСВОБОЖДЕННЫЙ МИР»

человечества, или же пламя войны будет снова и снова озарять руины?

Ни Барнет, ни его товарищи, разумеется, не могли с уверенностью ответить на этот вопрос. История человечества уже знала один такой пример. Когда американский континент был открыт европейцами, высокая цивилизация отступила там перед культом войны, рафинированным и жестоким, и теперь многие мыслящие люди полагали, что снова, в еще большем масштабе, повторится это торжество воина, эта победа инстинкта разрушения, присущего человеку.

Дальнейший рассказ Барнета целиком подтверждает обоснованность такого трагического предположения. Барнет дает несколько беглых зарисовок гибнущей — и, по-видимому, непоправимо гибнущей — цивилизации. Он видел холмы Бельгии, кишащие беженцами и опустошаемые холерой; он видел остатки воюющих армий, поддерживающих военный порядок уже после перемирия, не ведущих боев, но враждебно настороженных в силу привычки, и он видел полное отсутствие какого бы то ни было плана во всем.

В небе летали аэропланы, выполняя какие-то таинственные поручения. Ходили слухи, что в долинах Семуа и в лесных районах восточных Арденн началось людоедство, что там беснуются религиозные фанатики, что Китай и Япония напали на Россию, а в Америке разразилась революция. Все это сопровождалось бурями и ураганами небывалой силы и грозовыми ливнями...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ

1

На горном склоне неподалеку от города Бриссаго, над двумя заливами Лаго-Маджоре, лежат уступами зеленые луга, спускающиеся на востоке к Беллинцоне и на юге — к Луино, необычайно красивые весной, когда они превращаются в пестрый цветочный ковер. Но особенно прекрасны они в первые дни июня, когда цветут хрупкие

асфодели — лилии святого Бруно и весь луг усеян их белоснежными венчиками. К западу от этого восхитительного местечка протянулось глубокое лесистое ущелье — голубой провал шириной около мили, а за ним встает стена утесов, величественных и мрачных. Над лугами асфоделей каменистые склоны уходят ввысь, к скалистому, залитому солнцем кряжу, который, изгибаясь, смыкается с вершинами этих утесов, образуя с ними единую линию горизонта. На фоне этого сурового и дикого горного ландшафта еще более безмятежными кажутся огромное озеро внизу и окружающие его просторы плодородных долин и холмов с лентами дорог и пятнами деревень, и острова на юге и востоке, и червонно-золотые рисовые поля Валь-Маджа на севере.

И потому, что это уединенное и ничем не знаменитое местечко лежало вдали от трагедий, обрушившихся на человечество в тот роковой год, вдали от горящих городов и погибающих от голода сотен тысяч людей, здесь, в этом укромном углу, где все, дыша покоем, умиротворяло и укрепляло дух,— здесь должно было состояться совещание правителей, стремившихся приостановить, если еще не поздно, гибель цивилизации. Здесь должны были встретиться представители крупнейших держав мира, которых привела сюда несокрушимая энергия Леблана, этого человека, страстно и беззаветно преданного идее гуманизма, бывшего в ту пору французским послом в Вашингтоне,— встретиться для последней отчаянной попытки «спасти человечество».

Леблан принадлежал к тем простым, бесхитростным людям, чей удел — оставаться в тени во все эпохи процветания, но кому суждено сыграть на мировой арене такую роль, которая навеки обессмертит их имя в истории человечества после того, как страшная катастрофа упрощает положение вещей в мире до их собственной простоты. Такими людьми были Авраам Линкольн и Гарибальди. И Леблан с его прозрачно чистой, как у ребенка, душой, с его полной отрешенностью от личных интересов, явившись среди этого хаоса бедствий, недоверия и растерянности, обратился с неотразимым призывом к здравому смыслу — к единственному, что еще могло спасти мир. Его голос прозвучал как великое увещевание.

Это был лысый коротышка в очках, вдохновляемый теми высокими идеалами, которые принесла в дар человечеству французская нация. Он глубоко и убежденно верил в одну простую истину: войне должен быть положен конец, и единственный способ прекратить войну — это создать единое правительство для всех народов, населяющих землю. Все прочие соображения он считал не заслуживающими внимания. В самом начале войны, как только подверглись разрушению столицы двух воюющих держав, Леблан явился со своими предложениями в Белый дом к президенту. Он сделал это как нечто само собою разумеющееся. Ему посчастливилось, что в этот момент он был в Вашингтоне и должен был взывать к воображению именно американцев, которое в национальном масштабе отличается удивительной детскостью, ибо американцы принадлежат к числу народов, чье простодушие спасло мир. Леблану удалось увлечь своей идеей президента Америки и американское правительство. Во всяком случае, они поддержали его в достаточной мере, чтобы придать ему вес в глазах наиболее скептически настроенных правителей европейских государств, и, заручившись такой поддержкой, он взялся — ничего более фантастического нельзя, казалось бы, придумать — свести вместе правителей всех государств и объединить их. Он писал неисчислимые письма, рассылал депеши, предпринимал самые рискованные путешествия и вербовал себе союзников везде, где только мог; никто не казался ему лицом слишком незначительным для осуществления его целей или настолько упрямым, что его не стоило убеждать. В страшную осень последней войны этот неутомимый провидец в очках был похож на неунывающую канарейку, отважно щебечущую среди грома и молний. И никакие бедствия и катастрофы не могли поколебать его уверенность в том, что этим бедствиям может быть положен конец.

А в те дни земля вся была в огне войны и разрушения достигли неслыханных размеров. На вооруженном до зубов земном шаре одно государство за другим, предвосхищая возможность нападения, спешило нанести удар. В исступлении и страхе они бросались в войну, стремясь раньше других пустить в ход свои бомбы.

Китай и Япония напали на Россию и уничтожили Москву, Соединенные Штаты обрушили свой удар на Японию, в Индии бушевало стихийное восстание, и Дели превратился в огненный кратер, изрыгающий пламя и смерть, а грозный балканский король объявил мобилизацию. Казалось бы, каждому в те страшные дни должно было наконец стать ясно, что мир очертя голову устремляется к анархии. Весной 1959 года уже около двухсот центров цивилизации (и каждую неделю их количество возрастало) были превращены в негаснущие очаги пожаров, над которыми ревело малиновое пламя атомных взрывов. Вся промышленность была полностью дезорганизована, хрупкая система мирового кредита рухнула, и во всех городах, во всех населенных местностях людям грозил голод или они уже голодали. Почти все столицы были в огне, погибли миллионы людей, и многие обширные области уже никак не управлялись. По словам одного писателя того времени, человечество было подобно спящему, который бессознательно играет спичками и пробуждается, объятый пламенем.

Найдутся ли на всем земном шаре воля и ум, способные, действуя в столь непривычных условиях, противостоять происходящему и сделать хотя бы попытку предотвратить полное крушение всей социальной системы? Этот вопрос в течение многих месяцев оставался открытым. На какое-то время дух войны сделал бесплодными любые попытки сплотить все созидательные силы, все силы, направленные на сохранение порядка. Леблан был похож на человека, который пытается образумить землетрясение и ищет здравый смысл в кратере Этны. Хотя еле державшиеся у кормила власти официальные правительства теперь были бы рады заключению мира, банды безответственных и не поддающихся убеждению патриотов, узурпаторов, авантюристов и политических головорезов разного рода оказались обладателями несложных аппаратов высвобождения атомной энергии и могли создавать новые очаги разрушения. Каролиний таил в себе неотразимую притягательную силу для некоторых умов. Зачем уступать, если еще можно уничтожить противника? Сдаваться? В то время, как еще осталась возможность взорвать неприятеля и развеять его прах по ветру? Власть разрушать, ко-

торая была когда-то высшей привилегией правительств, стала теперь единственной силой, и она правила миром везде и повсюду. На земле оставалось уже немного мыслящих людей, которые в этот период, когда мир грозил превратиться в огненную пустыню, не впали бы, подобно Барнету, в отчаяние, восклицая вместе с ним:

— Это конец!..

И все это время Леблан, поблескивая очками, ездил то туда, то сюда, с неистощимой силой убеждения доказывая разумность своей идеи, и к нему постепенно начали прислушиваться. Ни разу за все время не проявил он и тени сомнения в том, что весь этот хаос должен прийти к концу. Ни одна нянька среди самых отчаянных воплей в детской не была так непоколебимо уверена, что в конце концов и здесь воцарится покой. Сначала к нему относились как к забавному фантазеру, затем мало-помалу его фантазии стали находить хотя и сумасбродными, но все же осуществимыми. А еще через некоторое время его уже считали практическим человеком. Люди, которые в 1958 году выслушивали его с улыбкой нетерпения, в начале 1959 года уже настойчиво спрашивали, что, по его мнению, следует предпринять. И он излагал свои мысли с терпеливостью философа и ясной точностью француза. Он начал получать все более и более обнадеживающие ответы. Переплыв Атлантический океан, он направился в Италию и здесь, заручившись обещаниями различных лиц, стал готовить конференцию. Мы уже упомянули выше причины, побудившие его избрать для этой цели высокогорные луга над Бриссаго.

— Мы должны освободиться от всех старых, укоренившихся ассоциаций,— заявил он.

Путем реквизиции он начал добывать все необходимое для предстоящего совещания, делая это со спокойной уверенностью, полностью оправдавшей себя. И вот совещание, которому предстояло установить новый социальный порядок в мире, собралось, не слишком на первых порах уверенное в успехе. Леблан, созывая свою конференцию, держался без всякого высокомерия и руководил ею с предельной скромностью. На высоких склонах гор появились люди с аппаратами беспроволочно-

го телеграфа; за ними последовали другие — с палатками и провиантом; подвели подвесную дорогу к линии Бриссаго—Локарно. Приехал Леблан. Он тщательно проверил каждую мелочь, которая могла бы нарушить ход совещания и внести диссонанс. Его можно было скорее принять за высланного вперед курьера, чем за инициатора совещания. Затем на аэропланах, подвесной дорогой или иным способом прибыли те, кто был призван решить судьбу мира. Это совещание не носило никакого специального наименования. В нем приняли участие девять монархов, президенты четырех республик, некоторые министры и посланники, а также видные журналисты и другие такие же влиятельные деятели. Присутствовали и представители науки, приехала даже мировая знаменитость, старец Холстен, чтобы вместе с другими вложить свою долю дилетантской государственной мудрости в разрешение самой сложной и грозной проблемы века. У одного только Леблана могло хватить решимости собрать вместе как номинальных правителей, так и истинных властителей мира наряду с величайшими умами современности и мужественно надеяться, что они могут прийти к соглашению...

2

И наконец один из приглашенных на это совещание представителей различных держав пришел пешком. Это был король Эгберт — молодой король почтенного и древнего королевства Европы. Эгберт был король-мятежник и всегда бунтовал против своего высокого положения. Он любил предпринимать длинные пешеходные путешествия и предпочитал ночевать под открытым небом. На этот раз он прошел пешком перевал Санта-Мария-Маджоре и в лодке добрался по озеру до Бриссаго; отсюда — снова пешком — направился в горы по прелестной дороге, обсаженной дубами и каштанами. Он взял с собой в путь — так как вовсе не намерен был спешить — пакеты хлеба и сыра. Свою небольшую свиту, которая была необходима в столь торжественном случае для его личного комфорта и престижа государства, он отправил вперед по подвесной дороге, так что с ним шел только его секретарь Фермин — ученый, ради этого

поста оставивший профессорскую кафедру мировой политики в Лондонском институте социологических, политических и экономических наук. Фермин, в большей мере обладавший умом, чем проницательностью, рассчитывал, что в своем новом положении будет пользоваться значительным влиянием, и даже теперь, по прошествии нескольких лет службы, едва начинал сознавать, насколько его функции сводятся лишь к тому, чтобы слушать. Прежде он занимался проблемами международной политики и был крупным авторитетом в вопросах тарифов и общегосударственной стратегии и весьма уважаемым сотрудником некоторых крупных печатных органов, призванных отражать общественное мнение, но атомные бомбы захватили его врасплох, и он все еще никак не мог освободиться до конца от своих доатомных взглядов и побороть влияние этих длительных взрывов, заставивших его умолкнуть.

Король сумел полностью освободить себя от всяческих оков придворного этикета. В теории — а он очень любил теоретизировать — его манеры были крайне демократичны. И если обе бутылки пива нес Фермин, раздобывший в одной из городских лавчонок рюкзак, то король допустил это только по недосмотру и в силу привычки. Собственно говоря, он никогда в жизни ничего не носил сам, но как-то ни разу не заметил этого.

— Мы никого не возьмем с собой,— сказал король.— Никого. Все должно быть предельно просто.

И Фермин нес бутылки с пивом.

Поднимаясь в гору—темп в основном задавал не Фермин, а король,— они обсуждали предстоящее совещание, и Фермин с некоторой неуверенностью, немало удивившей бы его самого в те годы, когда он был профессором, сделал попытку наметить политический курс своего спутника.

— Я признаю, ваше величество,— сказал Фермин,— что общая идея проекта, выдвинутого Лебланом, может быть осуществлена, но вместе с тем, хотя я и согласен, что было бы, вероятно, желательно установить некоторого рода общий контроль над международными делами — нечто вроде Гаагского международного суда с более расширенными полномочиями,— это еще отнюдь не при-

чина отказываться от основных принципов национальной и государственной суверенности.

— Фермин,— сказал король,— я намерен подать достойный пример всем моим братьям-королям...

Фермин изобразил любопытство, за которым скрывался страх.

— ...послав к чертям весь этот вздор,— закончил король.

И он прибавил шагу как раз в тот момент, когда Фермин, уже порядком запыхавшийся, собрался что-то ответить.

— Я намерен покончить со всем этим вздором,— сказал король, едва Фермин открыл рот.— Я намерен бросить мою империю и мой королевский сан на стол и заявить, что торговаться не буду. Люди слишком много торговались из-за прав — вот что больше всего мешало им жить — везде и всегда. Я намерен положить конец этой бессмыслице.

Фермин остановился как вкопанный.

— Но позвольте, ваше величество! — вскричал он.

Король тоже остановился, шагов на шесть впереди, и поглядел через плечо на вспотевшую физиономию своего советника.

— Неужто вы в самом деле думаете, Фермин, что я явился сюда как какой-нибудь прожженный политикан, чтобы создать из моего флага, моей короны, моих претензий и прочего и прочего препятствия на пути к миру? Этот французик прав. И вы это знаете не хуже меня. Все это принадлежит прошлому. Мы, все мы — короли, и правители, и представители государств — первопричина этого зла. Ведь мы проявление и символ разобщенности, а разобщенность всегда таит в себе угрозу войны, а угроза войны, конечно, приводит к накапливанию все большего и большего количества атомных бомб. Эта старая, как мир, игра окончена. Однако что же мы остановились? Надо идти. Мир ждет. А вы не считаете, что игра окончена, Фермин?

Фермин поправил лямку рюкзака и вытер ладонью вспотевший лоб.

— Я допускаю, ваше величество,— хмуро сказал он вслед удаляющейся спине,— что должна быть со-

здана определенная гегемония, некий союз, вроде древней Амфиктионии.

— Должна быть создана единая и самая простая форма управления для всей земли,— бросил король через плечо.

— Но безоговорочное, безрассудное отречение, ваше величество...

— Бух! — воскликнул король.

Прерванный подобным образом, Фермин умолк. Но легкое облачко досады набежало на его разгоряченный лоб.

— Вчера,— сказал король, поясняя свое междометие,— японцы чуть-чуть не покончили с Сан-Франциско.

— Я этого не слышал, ваше величество.

— Американцы сшибли японский аэроплан в океан, и бомба взорвалась под водой.

— Под водой, ваше величество?

— Да. Образовался подводный вулкан. Пар виден с Калифорнийского побережья. Вот как близко они подобрались. И в то время как творятся подобные дела, вы хотите, чтобы я взобрался на эту гору и начал торговаться. Вообразите, какое впечатление произведет это на его величество — моего кузена... да и на всех прочих!

— Он-то будет торговаться, ваше величество.

— Ничего подобного, — сказал король.

— Но как же, ваше величество?

— Леблан ему не позволит.

Фермин снова резко остановился и злобно дернул ненавистную лямку.

— Он будет прислушиваться к голосу советников, ваше величество,— сказал он голосом, который не оставлял сомнений, что в поведении рюкзака каким-то образом виноват король.

Король оглянулся.

— Надо подняться еще немного,—сказал он.—Я хочу добраться до безлюдного селения, про которое нам говорили, и там мы выпьем наше пиво. Это должно быть близко. Мы выпьем пиво и выбросим бутылки. И после этого, Фермин, я попрошу вас взглянуть на вещи в более широком аспекте... Потому что вам это необходимо, поверьте...

Король зашагал дальше, и некоторое время не слышно было ничего, кроме стука башмаков по кремнистой дороге да учащенного дыхания Фермина.

Наконец (как подумал Фермин) или вскоре (как показалось королю) подъем стал менее крут, тропа расширилась, и путники очутились в необыкновенно красивом месте. Это был один из тех высокогорных поселков, которые еще сохранились в горах Северной Италии — несколько лепящихся тесными рядами домиков и сараев — и становились обитаемыми только в разгар лета, а зимой и весной, вплоть до середины июня, стояли обычно на замке и пустовали. Все домики, сложенные из красивого светло-серого камня, затененного каштанами, утопали в густой траве, в рамке ярко-золотого дрока. Король еще никогда в жизни не видел такого великолепного цветения дрока, и, взглянув на него, он громко выразил свой восторг; казалось, дрок не столько поглощает солнечный свет, сколько сам излучает его. Король тотчас опустился на замшелый камень, с трудом извлек из кармана хлеб и сыр и попросил Фермина сунуть бутылки с пивом в траву, где-нибудь в тени, чтобы их охладить.

— Подумать только, Фермин, чего лишают себя люди, которые летают на воздушных кораблях! — сказал он.

Фермин обвел селение неодобрительным взглядом.

— Вы наблюдаете это в наиболее выгодном свете, ваше величество,— сказал он.— А потом сюда вернутся крестьяне и все загрязнят.

— Красота все равно останется,— сказал король.

— Поверхностная, ваше величество,— сказал Фермин.— Однако эта деревушка — символ быстро исчезающего социального порядка. Если обратить внимание на траву, которой заросли эти камни и которая пробивается даже в хижинах, то я склонен сделать вывод, что ею уже перестали пользоваться.

— Мне кажется,— сказал король,— что люди придут сюда, как только будут скошены цветущие луга. Вероятно, сюда приходят загорелые девушки, с красными платочками на черных волосах, и неторопливые палевые коровы, каких мы видели на дорогах внизу... Как же приятно сознавать, что эти прекрасные старинные формы жизни так неувядаемы! Еще во времена Рима и даже за мно-

го столетий до него, когда еще и слух о римлянах не долетал до этого края, люди с наступлением лета пригоняли сюда свои стада... Какие призраки витают над этими лугами!.. Сколько столкновений, сколько надежд!.. Дети резвились здесь, росли, превращались в стариков и старух и умирали — и так из поколения в поколение, тысячи человеческих жизней. Влюбленные, бесчисленные влюбленные ласкали друг друга среди золотого дрока...

Он задумался, усердно пережевывая хлеб с сыром.

— Жаль, что мы не захватили с собой кружки для пива,— сказал он.

Фермин достал складной алюминиевый стаканчик, и король соизволил напиться.

— Мне бы хотелось, ваше величество,—внезапно сказал Фермин,— убедить вас по крайней мере не спешить с вашим решением...

— Не стоит говорить об этом, Фермин,— сказал король.— Для меня все ясно, как божий день.

— Ваше величество,— взмолился Фермин, с трудом справляясь с хлебом, сыром и охватившим его неподдельным волнением,— неужели у вас нет уважения к вашему королевскому сану?

Помолчав, король ответил с необычной серьезностью:

— Именно потому, что оно у меня есть, Фермин, я и не хочу быть марионеткой в этой игре международных интересов.— Несколько секунд он задумчиво смотрел на своего спутника, а затем добавил:

— Королевский сан! А что вы знаете о королевском сане, Фермин? Да!—крикнул король своему растерявшемуся советнику.— Впервые в жизни я собираюсь стать настоящим королем. Я намерен возглавить великое дело и полагаюсь только на себя. Десятки поколений моя династия была лишь марионеткой в руках своих советников. Советники! А теперь я намерен стать подлинным королем... И я намерен... я намерен сбросить с себя, уничтожить корону, которая делала меня рабом, покончить с ней раз и навсегда. Да, это грохочущее взрывчатое вещество уничтожило массу обветшалого и вредоносного хлама! Окостеневший старый мир снова бурлит и плавится в огне, как в плавильном тигле, и если я был

лишь начинкой королевской мантии, то теперь я стал королем среди королей. Я призван сыграть свою роль, став во главе событий и положив конец крови, огню и бессмысленному хаосу.

— Но, ваше величество...— не унимался Фермин.

— Этот Леблан прав. Мир должен объединиться в республику, единую и неделимую. Вы это сами понимаете, а мой долг — помочь это осуществить. Король должен возглавить свой народ, а вы хотите, чтобы я сидел у него на шее, словно Морской Старик на шее Синдбада-Морехода. Сегодня мы должны привести к присяге королей. Человечество более не нуждается в нашей опеке. Мы должны разделить с ним наши мантии, мы должны разделить с ним нашу королевскую власть и сказать людям: теперь каждый из вас король и должен править миром... Неужели вы, Фермин, не чувствуете величия этой минуты? А вы хотите, чтобы я поднялся туда, на эту гору, и затеял там торг, и, словно какой-нибудь жалкий сутяга, набивал себе цену, выторговывал компенсации, требовал полномочий...

Фермин пожал плечами с покорностью отчаяния, а затем доказал делом старую истину, что при любых обстоятельствах человек должен есть.

Некоторое время оба молчали; король ел и перебирал в уме фразы речи, которую он готовил для совещания. Из уважения к древности его короны его просили председательствовать на совещании, и он был намерен использовать эту возможность так, чтобы память о нем осталась в веках. Убедившись, что красноречие ему не изменило, он на несколько секунд задержал взгляд на расстроенном и хмуром лице Фермина.

— Фермин,— сказал он,— вы идеализировали королевский сан.

— Ваше величество,— уныло сказал Фермин,— мечтой всей моей жизни было служить ему.

— Дергая за ниточки, Фермин,— сказал король.

— Вам угодно быть несправедливым, ваше величество,— ответил Фермин, глубоко уязвленный.

— Мне угодно покончить с несправедливостью,—сказал король.— Ах, Фермин,— продолжал король,— неужели вы нисколько мне не сочувствуете? Неужели вы никогда не поймете, что я не просто плоть и кровь, но еще

и дух и воображение со всеми его правами. Я король, восставший против оков, которые зовутся короной. Я пробудившийся король. Мои досточтимые дед и прадед никогда за всю свою августейшую жизнь не пробуждались ни на секунду. Им нравилось занятие, которое вы, да, вы, их советники, дали им: у них никогда не возникало сомнений в его целесообразности. А ведь это все равно, что дать куклу женщине, которой следовало бы иметь детей. Они с наслаждением участвовали во всяческих церемониях и процессиях, открывали памятники, принимали верноподданнические адреса, посещали столетних старцев и тройняшек и проделывали еще многое в этом же роде. И все это доставляло им невероятную радость. Они собирали альбомы газетных и журнальных вырезок, где они были изображены во время какой-нибудь подобной церемонии, и если пакеты этих вырезок становились тоньше, это их тревожило. Только это их и тревожило. А во мне есть какой-то атавизм. Мои симпатии влекут меня назад, к неконституционным монархам. Вероятно, имена, данные мне при крещении, восходят к слишком дальним предкам. Мне хотелось действовать. Мне было скучно. Я мог бы, как большинство принцев, погрязнуть в пороке, если бы нравы нашего дворца не были против обыкновения действительно строгими. Я был воспитан при самом целомудренном дворе, когда-либо существовавшем на земном шаре... Бдительно целомудренном... И я стал читать книги, Фермин, и задавать вопросы. Это должно было случиться с кем-то из нас рано или поздно. Очень может быть, что я просто от природы не слишком порочен. Во всяком случае, я так считаю.— С минуту он размышлял.— Да, это так.

Фермин кашлянул.

— Я согласен с вами, ваше величество,— сказал он.— Вы предпочитаете...

Он не договорил. У него чуть не сорвалось с языка: «болтовню», но он подыскал другое слово: «идеи».

— О этот мир венценосцев! — продолжал король.— Скоро никто не будет понимать, что это такое. Он станет для всех загадкой... Это был наряду со всем прочим мир парадных одежд. Для нас все непременно облачалось в парадные одежды и почти всегда украшалось флагами. А глаз киноаппарата должен был следить,

чтобы мы принимали это как положено. Если вы, Фермин, король и отправитесь поглядеть на какой-нибудь полк, он мгновенно бросит заниматься своим делом, наденет полную парадную форму, станет смирно и возьмет на караул. Когда мои августейшие родители отправлялись куда-нибудь в поезде, в тендер засыпали побеленный уголь. Да, Фермин, его белили, а если бы уголь от природы был белый, а не черный, я уверен, что железнодорожное начальство распорядилось бы его почернить. Вот как с нами обходились. Люди всегда повертывались к нам лицом. Мы никого и ничего не видели в профиль. Создавалось впечатление, что весь мир с упорством маньяка не сводит с нас глаз. А когда я начинал задавать канцлеру, архиепископу и всем остальным свои наивные вопросы, пытаясь узнать, что я увидел бы, если бы кто-нибудь повернулся ко мне спиной, мне только давали понять, что я, увы, не проявляю должного такта, которого требует от меня мой сан...— Он опять на мгновение задумался.— И все же, вы знаете, Фермин, в этом есть кое-что. Королевское достоинство распрямило плечи и придало осанку моему августейшему коротышке-дедушке. Оно придавало моей бабушке своеобразное неуклюжее величие даже в те минуты, когда она сердилась, а сердилась она очень часто. У них обоих было в высокой степени развито чувство долга. Мой бедный отец все время прихварывал во время своего недолгого царствования, но никто, кроме самых приближенных лиц, не знает, чего ему стоило каждое появление на публичных церемониях. «Мой народ ждет этого от меня»,—говорил он обычно про ту или иную утомительную обязанность. Почти все, что его заставляли делать, было глупо, как все скверные традиции, но в том, как он это делал и почему, не было ничего глупого... Сознание своего королевского достоинства — отличная вещь, Фермин, и оно у меня в крови; трудно себе представить, чем я мог бы стать, не будь я королем. Я мог бы умереть за мой народ, Фермин, а вы не можете. Нет, только не говорите, что вы готовы умереть за меня, потому что это неправда. Не думайте, что я забываю про мой королевский сан, Фермин, не внушайте себе это. Я король, истинный король, помазанник божий. То, что я в то же время болтливый молодой человек, ни в какой мере не меняет дела.

Но только настоящий учебник для королей, Фермин,— это вовсе не придворные летописи и не труды, посвященные «Welt-Politik», которые вы хотели бы заставить меня читать; нет, это «Золотая ветвь» старика Фрэзера. Вы читали его когда-нибудь, Фермин?

Фермин читал.

— Вот то были подлинные короли. Потом их разрубили на куски, и всем доставалось понемножку. Так королевское достоинство было привито всем народам.

Фермин обернулся и посмотрел в лицо своему августейшему собеседнику.

— Что же вы намерены предпринять, ваше величество? — спросил он.—Если вам не угодно послушаться моего совета, то как вы предполагаете поступить сегодня?

Король стряхнул крошки с одежды.

— Совершенно очевидно, Фермин, что войне должен быть положен конец раз и навсегда. Совершенно очевидно, что этого можно достичь, только создав единое правительство для всего земного шара. Наши скипетры и короны мешают этому. Совершенно очевидно, что они должны исчезнуть.

— Отлично, ваше величество,— перебил его Фермин,— но *какое* правительство? Я не вижу, какое правительство можете вы создать, если все сложат с себя власть.

— Ну что ж,— сказал король, обхватив руками колени.— Вот *мы* и будем этим правительством.

— Это совещание? — воскликнул Фермин.

— А кто же еще? — спокойно спросил король.— Это же страшно просто,— добавил он в ответ на потрясенное молчание Фермина.

— Но,— вскричал Фермин,— вы же должны получить полномочия! Будут же у вас, например, хотя бы какие-нибудь выборы?

— А к чему они? — любознательно поинтересовался король.

— Чтобы получить согласие тех, кем вы будете управлять.

— Нет, Фермин, мы просто собираемся покончить с нашими разногласиями и принять на себя руководство. Без всяких выборов. Без всяких полномочий. Руководимые изъявят свое согласие молчанием. Если же возникнет

какая-нибудь деловая оппозиция, мы попросим ее присоединиться к нам и помочь. Истинная санкция королевского сана — это умение крепко держать скипетр. Мы не хотим причинять людям лишние хлопоты. Я убежден, что большинство людей совершенно не хочет, чтобы их беспокоили всякими голосованиями. А для тех, кто захочет присоединиться к нам, мы найдем способ это сделать. Этого совершенно достаточно, чтобы была соблюдена демократия. Быть может. впоследствии, когда все уладится... Мы, Фермин, будем управлять как следует. Управлять государством становится трудно в тех случаях, когда начинают распоряжаться юристы, а с тех пор как на нас обрушились все эти бедствия, юристы притихли. Да, кстати, куда они все подевались?.. Где они? Многие, конечно,— причем наиболее зловредные — были убиты, когда взорвали мою законодательную палату. Вам, правда, не доводилось встречаться с покойным канцлером?.. Необходимость погребает права. И создает их. Юристы питаются мертвечиной, выкапывая из могил отжившие права... Такой образ жизни нам больше не нужен. Мы ограничимся законами, которые содержат в себе уголовный кодекс, во всем остальном наше правительство будет свободно в своих действиях... Поверьте мне, Фермин: сегодня, еще до заката солнца, мы, все мы, отречемся от власти и провозгласим Всемирную республику, единую и неделимую власть. Интересно, как бы посмотрела на это моя августейшая бабушка! Все мои королевские права!.. А затем мы начнем править. А что же нам еще остается делать? Мы объявим всему миру, что больше не существует «моего» и «твоего», а только «наше». Китай, Соединенные Штаты и две трети Европы, несомненно, поддержат нас и будут повиноваться. Им придется это сделать. А что еще им остается? Их официальные правители находятся здесь, среди нас. Им просто не придет в голову, что нам можно не повиноваться. А мы затем объявим, что право владения любой собственностью отныне переходит к Республике...

— Как, ваше величество! — вскричал Фермин, который внезапно понял все.— Вы уже обо всем договорились заранее?

— Дорогой мой Фермин, неужели вы думаете, что мы, все мы, собрались сюда для отвлеченных разглаголь-

ствований? Мы разглагольствуем уже полстолетия. Разглагольствуем и пишем. А здесь мы собираемся, чтобы создать нечто новое, простое, очевидное и необходимое.

Он встал.

Фермин, изменив многолетней привычке, остался сидеть.

— Да-а! — произнес он наконец.— И мне ничего не было известно!

Король весело улыбнулся. Он любил поболтать с Фермином.

3

Никогда еще мир не видел столь пестрого съезда различных выдающихся деятелей, как тот, который собрался на лугах над Бриссаго. Сильные державы и мелкие княжества, потрясенные и обескровленные, лишившиеся своего таинственного, горделивого величия, встретились, исполненные невиданного смирения. Здесь собрались короли и императоры, чьи разрушенные столицы были превращены в огненные озера, государственные деятели, чьи страны были ввергнуты в хаос, смертельно напуганные политики и финансовые магнаты. Среди них находились также замечательные мыслители того времени и ученые исследователи, которых было не так-то просто уговорить на время оставить избранное ими поле деятельности и приобщиться к власти. Всего собралось девяносто три человека — те, кого Леблан считал самыми выдающимися представителями современности. Все они мало-помалу осознали те простые истины, которые неутомимый Леблан усердно вбивал им в голову. Леблан, финансируемый королем Италии, обставил созванное им совещание с изысканной простотой, что вполне отвечало его характеру, и получил наконец возможность обратиться к человечеству со своим удивительным, но вполне разумным призывом. Короля Эгберта он просил быть председателем, и его вера в этого молодого человека была так велика, что он мгновенно оттеснил его на задний план, и, выступая как бы в роли секретаря, сидящего по левую руку председателя, сам, по-видимому, даже не замечал, как дает указания всем собравшимся, что именно им надлежит делать. Ему же казалось, что он всего лишь

резюмирует в общих чертах положение вещей для большей ясности. Одет он был в мешковатый белый чесучовый костюм и держал в руках несколько исписанных помятых листков бумаги, в которые, произнося свою речь, время от времени заглядывал. Они его явно смущали. Он объяснил, что прежде никогда не пользовался конспектом, но это случай особый.

А потом настал черед короля Эгберта, и он сказал именно то, что должен был сказать: у Леблана от наплыва чувств даже слегка затуманились очки, пока он слушал эту благородную речь, исполненную свободной непринужденности.

— Нам следует отказаться от каких-либо формальностей,— сказал король,— нам нужно править миром. Мы всегда делали вид, что правим миром, и вот теперь настало время подтвердить слово делом.

— Так-так,— шептал Леблан, кивая головой,— так-так.

— Мир постигла жесточайшая катастрофа, и мы призваны вновь поставить его на рельсы,— говорил король Эгберт.— И этот момент кризиса преподает нам простой урок: настало время, когда каждый должен вносить свою долю в общее дело, не ища выгоды для себя. Правильно ли я выразил дух нашего собрания?

Собрание было слишком разнородным и состояло из людей слишком пожилых и привыкших к сдержанности, чтобы чересчур бурно проявлять свой энтузиазм, однако дух собрания был выражен правильно, и, еще не оправившись от удивления, но мало-помалу все более и более оживляясь, присутствующие начали один за другим слагать с себя полномочия, отрекаться от престола и торжественно прокламировать свои намерения. Фермин, который сидел позади короля Эгберта и записывал речи ораторов, увидел воочию, как осуществляется все то, что было предсказано ему среди золотого дрока. Чувствуя себя странно, словно во сне, он присутствовал при провозглашении нового государства — Всемирного государства — и видел, как сообщение об этом было передано телеграфистам и аппараты беспроволочного телеграфа разнесли его по всем обитаемым уголкам земного шара.

— А теперь,— с радостным выражением сказал король Эгберт, и в голосе его прозвучала веселая, ликующая нотка,— мы должны взять под контроль все запасы каролиния, вплоть до последнего атома, и все аппараты для его изготовления...

Фермин не был одинок в своих сомнениях. Здесь не было ни одного человека, который в конце концов не был бы доброжелательным, разумным и рассудительным. Некоторые из них получили власть по праву рождения, другим она досталась случайно, третьи долго ее добивались, хорошенько не понимая, что она такое и что за собой влечет, но ни один из них не захотел бы удерживать ее в своих руках ценой неслыханной катастрофы. И всем ходом событий и усердными стараниями Леблана их умы были уже подготовлены к тому, что сейчас совершилось, и теперь со смешанным чувством неизбежности и невероятности всего происходящего они ступили на тот прямой и широкий путь, по которому был готов их повести король Эгберт. Все проходило очень гладко. Король Италии рассказал о мерах, принятых для защиты совещания от любого, самого неожиданного нападения: они находятся под охраной двух тысяч аэропланов с метким стрелком на борту каждого, кроме того, их лагерь имеет превосходную систему связи со всем миром, и наконец десятки прожекторов будут обшаривать небо. Затем Леблан подробно объяснил, почему он собрал их именно здесь и почему именно здесь им удобнее всего будет заниматься своей дальнейшей деятельностью. Лет двадцать назад он случайно набрел на это местечко, когда они с мадам Леблан путешествовали в этих краях.

— Наша пища пока будет очень проста, так как и эта страна и все соседние разорены,— сказал он.— Однако у нас будет превосходное свежее молоко, отличное красное вино, хлеб, говядина, салат и лимоны... А через несколько дней я надеюсь найти более расторопного поставщика...

Новые правители мира расположились обедать за тремя длинными столами, сооруженными из досок, положенных на козлы, но каждый стол, невзирая на чрезвычайную скудость меню, Леблан украсил огромными букетами прекрасных роз. На уступе пониже за такими

же столами обедали секретари и другие сопровождавшие лица; собрание обедало так же, как и заседало,— под открытым небом, и июньский закат, пылавший над черным кряжем на западе, озарял всю сцену. Среди девяноста трех не было теперь главенства, и король Эгберт сидел между незнакомым любезным маленьким японцем в очках и своим кузеном, королем одной из европейских держав. Напротив них сидели президент Соединенных Штатов и великий бенгальский мыслитель. Рядом с японцем поместился старый химик Холстен, а напротив него, чуть подальше,— Леблан.

Король Эгберт был по-прежнему весел, словоохотлив и излагал множество интересных мыслей. Вскоре у него завязался дружеский спор с американцем, который, по-видимому, считал, что их совещанию не хватает пышности.

По ту сторону океана, вероятно, из-за необходимости разрешать общественные проблемы в шумной и громоздкой манере всегда существовала склонность к внушительным и ошеломляющим церемониям, и президент был подвержен этой национальной слабости. Он заявил, что начинается новая эра, и предложил с этого дня, который должен был стать первым днем нового года, ввести новое летосчисление.

Король выразил сомнение в разумности такой меры.

— В этот день, сэр,— сказал американец,— человечество достигло совершеннолетия.

— Человечество,— сказал король,— достигало совершеннолетия беспрерывно. Вы, американцы, прошу меня простить, очень любите разного рода юбилеи. Да, я обвиняю вас в излишнем пристрастии к театральным эффектам. Всегда, каждую минуту что-нибудь происходит, но вам непременно хочется, чтобы та или эта минута была особенно важной, а все другие — второстепенными.

Американец заметил, что этот день, во всяком случае, кладет начало новой эпохе.

— Неужели вы хотите,— сказал король,— чтобы мы обрекли все человечество на ежегодное всемирное Четвертое июня отныне и присно и во веки веков? И все только потому, что в этот скромный безобидный день нам необходимо было сделать ряд заявлений. Нет, ни один день в календаре не заслуживает этого! Ах! Вы

ведь не испытали на себе так, как я, разрушительного действия мемориальных дней! Мои бедные предки были буквально расчленены на даты. И самое ужасное в этих пышных юбилейных торжествах то, что они нарушают естественную, благородную последовательность своевременных эмоций. Они разрывают ее. Они отбрасывают назад. Внезапно начинают развеваться флаги, вспыхивает иллюминация и всячески подновляется одряхлевший энтузиазм, а это — грубое насилие над тем истинным и подлинным, что должно было бы происходить само по себе. Для каждого дня совершенно достаточно той торжественности, которая заложена в нем самом. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Как видите, в том, что касается календаря, я стою на демократических, а вы — на аристократических позициях. Все на свете суверенно и имеет право на существование соразмерно своим заслугам. Ни один нынешний день не должен приноситься в жертву на могиле отошедших в прошлое событий. А вы что скажете, Вильгельм?

— Для достойного — да, достойны все дни.

— Полностью совпадает с моей точкой зрения,— сказал король и остался очень доволен всем, что он говорил.

Но американец продолжал настаивать на своем, и король постарался перевести разговор с вопроса о праздновании новой творимой ими эры на вопрос о ближайшем будущем. И тут всех присутствующих обуяла нерешительность. Все готовы были представить мир объединенным и покончившим с войнами, но что конкретно должно последовать за таким объединением, никто, по-видимому, не расположен был обсуждать. Такая единодушная сдержанность поразила короля. Он заговорил о возможностях, открывающихся перед наукой. Все те колоссальные средства, которые до сих пор вкладывались в непроизводительные военные приготовления на суше и на море, должны теперь, заявил он, дать невиданный толчок развитию наук.

— Там, где до сих пор работали единицы, будут работать тысячи,—сказал он и повернулся, ища поддержки, к Холстену.— Мы ведь пока только поглядываем в щелочку на эти огромные возможности. А вот вы уже на-

чали измерять глубину этих тайников, где скрыты сокровища.

— Они бездонны,— улыбнулся Холстен.

— Человечество,— сказал американец, желая оставить за собой последнее слово в споре с королем,— человечество, говорю я, только сейчас достигло совершеннолетия и вступает в права наследства.

— Расскажите нам что-нибудь о том, что нам предстоит узнать, дайте нам хотя бы некоторое представление о том, что станет нам вскоре доступным,— сказал король, по-прежнему обращаясь к Холстену.

Холстен открыл перед ними сияющие дали...

— Наука,— воскликнул король,— вот новый властелин мира!

— Мы считаем,— сказал президент,— что верховная власть принадлежит народу.

— Нет! — сказал король.— Верховный властитель не так очевиден и не столь арифметически сложен. Ни моя династия, ни ваш эмансипированный народ не годятся для этой роли. Это нечто такое, что вокруг нас, и над нами, и внутри нас. Это та общественная обезличенная воля и чувство необходимости, которые отчетливее всего и типичнее всего выражены в науке. Это разум человечества. Это то, что привело нас сюда, что заставило нас всех подчиниться его велениям...

Король умолк, взглянул на Леблана и снова обратился к своему противнику.

— Кое-кто склонен считать,— сказал король,— что совещание и в самом деле совершает то, что нам кажется, будто оно совершает, словно мы, вот эти девяносто с чем-то человек, объединяем мир, подчиняясь требованию своей свободной воли и разума. И хочется считать себя воплощением благородства, твердости и решимости. А мы вовсе не таковы. Я убежден, что мы в целом ничуть не более способны, чем любые случайно отобранные девяносто с лишним человек. Мы не созидатели — мы последствия. Мы спасательная команда... или спасаемые. Сейчас значение имеем не мы, а тот ветер убежденности, который согнал нас сюда...

Американец счел необходимым заявить, что, по его мнению, король неправ в оценке их среднего уровня.

— Холстен и еще двое-трое, пожалуй, делают его несколько выше,— согласился король.— Ну, а все остальные?

Его взгляд снова на секунду задержался на Леблане.

— Взгляните на Леблана,— сказал он. — Это же простая душа. Таких, как он, сотни и тысячи. Да, конечно, он энергичен и мыслит очень ясно, но укажите мне хотя бы один французский городок, где в два часа пополудни нельзя было бы найти точно такого же Леблана или весьма похожего на него за столиком наиболее популярного там кафе. Именно потому, что он прост, что в нем нет ничего сложного, ничего сверхчеловеческого, ничего из ряда вон выходящего, и оказалось возможным совершить все то, что он совершил. Но в другие, более благополучные времена — не правда ли, Вильгельм? — он бы остался тем же, чем был его отец: зажиточным лавочником, очень добропорядочным, очень аккуратным, очень честным. И по праздникам, прихватив с собой кувшин отличного сидра и мадам Леблан с ее вязаньем, он отправлялся бы куда-нибудь в лодочке и, усевшись под большим полосато-зеленым зонтиком, старательно удил бы пескарей...

Американский президент и японский принц в очках дружно запротестовали.

— Если я к нему несправедлив,— сказал король,— это только потому, что мне хочется как можно нагляднее представить вам мою точку зрения. Мне хочется, чтобы вам стало ясно, как ничтожны люди и дни и как в сравнении с ними велик человек...

4

Так король Эгберт говорил в Бриссаго, после того как было провозглашено объединение мира. И затем каждый вечер все члены собрания обедали вместе, и непринужденно беседовали, и начинали привыкать друг к другу, и оттачивали свои мысли в спорах. И каждый день они работали сообща и некоторое время в самом деле вполне искренне верили, что создают формы нового, всемирного правительства.

Начали обсуждать конституцию. Однако некоторые вопросы настоятельно требовали немедленного разрешения, и они занялись ими. Конституция могла и подождать. Понемногу выяснилось (как и предвидел король Эгберт), что ей придется ждать неопределенное время, а пока, приобретая все большую уверенность в себе, собрание продолжало управлять миром...

Вечером, после первого заседания Совета, король Эгберт много говорил, и много пил, и щедро расточал похвалы местному красному вину, которое раздобыл для них Леблан; собрав вокруг себя группу единомышленников, он произнес пространную речь в защиту простоты, превознося ее до небес, и заявил, что высшая, конечная цель искусства, религии, философии и науки — упрощение. Он объявил себя приверженцем простоты. И привел в пример Леблана как самый блестящий образец этой добродетели, с чем все единодушно согласились.

Когда наконец все встали из-за стола и начали расходиться, король почувствовал необычайный прилив восторженной нежности к Леблану и отвел его в сторону, чтобы обсудить с ним один, как он выразился, пустячок. У него есть, сказал он, орден, который не в пример всем прочим орденам и медалям, какие только существуют на свете, никогда не был опозорен. Он предназначался исключительно для пожилых людей, обладающих самыми высокими достоинствами, чьи блестящие дарования достигли полной зрелости, и обладателями этого ордена являлись лишь наиболее прославленные люди каждого столетия, поскольку, конечно, в этом вопросе можно доверять королевским советникам. Он понимает, сказал король, что теперь все эти звезды и ленты утратили какое-либо значение, заслоненные более существенными делами, а сам он и раньше не придавал им никакой цены, но, может быть, настанет время, когда к ним будут проявлять ретроспективный интерес, и, короче говоря, он хотел бы наградить Леблана Орденом Заслуг. Им руководит при этом только одно побуждение, добавил король: искреннее желание выразить Леблану свое глубокое уважение. Говоря это, король почти по-братски положил Леблану руку на плечо.

Леблан принял предложение со смущением и замешательством, отчего король еще больше уверовал в его восхитительную простоту. Он ответил, что как ни лестна для него столь высокая награда, в настоящую минуту это может породить зависть, и поэтому он предлагает отложить награждение до тех пор, пока он не завершит свои труды, которые этот орден мог бы увенчать. Поколебать его решение королю не удалось, и они расстались, выразив друг другу взаимное уважение.

После этого король призвал к себе Фермина, чтобы продиктовать ему вкратце кое-какие из высказанных им в тот день мыслей. Однако минут через двадцать свежий горный воздух нагнал на него сладкую дремоту, и он, отпустив Фермина, улегся в постель и тотчас погрузился в сон, на редкость глубокий и приятный. Он провел деятельный день и был доволен собой.

5

Установление нового порядка, начавшееся в таких гуманных формах, протекало — во всяком случае, по мерке прошлых эпох — чрезвычайно быстро. Воинственный дух человечества истощился. Лишь кое-где еще притаилась свирепость. В течение многих десятилетий политическая разобщенность приводила к чудовищному усилению воинственной деятельности человечества. Теперь это стало очевидно. Оказалось, что стремление вооружаться в значительной степени опиралось на побуждения отнюдь не такие уж агрессивные: на страх перед войной и воинственными соседями. Весьма сомнительно, чтобы когда-либо на всем протяжении истории среди непосредственно воевавших людей нашлась бы более или менее многочисленная группа тех, кто, посвятив себя военной деятельности, и в самом деле был обуреваем жаждой проливать кровь и подвергать свою жизнь опасности. Судя по всему, выйдя из первобытного состояния, человек в среднем утратил склонность к такого рода занятиям. Служба в армии стала профессией, и связанная с ней перспектива убийств рассматривалась скорее как неприятная возможность, чем как увлекательная неизбежность. Тот, кто будет перелистывать старые газеты и журналы, прилагавшие столько усилий, чтобы не дать угаснуть духу мили-

таризма, найдет в них не воспевание славы и подвигов, а опасливые рассуждения о неприятных сторонах вражеского вторжения и иноземного ига. Словом, милитаризм был трусостью. Вооруженная до зубов Европа двадцатого века решила воевать, как решает взбесившаяся от страха овца броситься в воду. И теперь, когда смертоносное оружие стало само взрываться в руках Европы, она с радостью готова была отшвырнуть его от себя и не искать больше мнимого прибежища и спасения в насилии.

Потрясение, пережитое человечеством, заставило его на какой-то срок сбросить личины: почти все умные люди, которые до сих пор поддерживали сложившуюся еще в древности враждебную разобщенность, ощутили внутреннюю необходимость действовать с открытым забралом и без задних мыслей, и в этой атмосфере общего нравственного возрождения почти не было попыток продать свое согласие на новый порядок подороже. Хотя человек, бесспорно, существо в достаточной мере безрассудное, все же едва ли кто-нибудь станет торговаться, выбираясь из горящего здания по пожарной лестнице. А Совет умел и принимать в этих случаях свои меры. «Патриоты», захватившие лаборатории и арсенал в окрестностях Осаки и пытавшиеся поднять в Японии восстание против включения ее в Единую Республику Человечества, сильно просчитались, делая ставку на национальную гордость, и получили по заслугам от своих же соотечественников. Схватка в арсенале была одной из наиболее ярких страниц последней главы в истории войн. До последней минуты «Патриоты» не могли решить, следует ли им в случае поражения взорвать свой запас атомных бомб или нет. Решая этот вопрос, они вступили в бой на мечах перед дверями из иридия, и сторонники умеренных действий находились в отчаянном положении — все из них, кроме десятерых, были убиты или ранены,— когда в арсенал ворвались сторонники республики...

6

Только один монарх во всем мире не пожелал признать новый порядок и подчиниться ему. Это был король балканский, по прозванию «Славянский Лис», непонят-

ный пережиток средневековья. Он вел переговоры, спорил и не спешил отказаться от своих прав. Он проявил необычайную увертливость в соединении с поразительным безрассудством, уклоняясь от многократных вызовов, полученных им из Бриссаго. То он был нездоров, то не мог расстаться со своей новой официальной фавориткой: его полуварварский двор во всем подражал лучшим романтическим образцам. Эту его тактику умело поддерживал его премьер-министр доктор Пестович. Не сумев добиться для себя полной независимости, король Фердинанд-Карл потребовал, к большой досаде совещания, чтобы его государство было объявлено протекторатом. Наконец в довольно неубедительной форме он заявил о своей покорности и тут же воздвиг целую гору препятствий при передаче государственного аппарата в руки нового правительства. И действия короля горячо поддерживали его подданные — неграмотные крестьяне, исполненные смутного, но страстного патриотизма и практически еще не знакомые с действием атомных бомб. И главное, он сохранил власть надо всеми балканскими аэропланами.

И тут впервые к необычайной наивности Леблана как будто примешалась некоторая двуличность. Он продолжал развивать свою деятельность по мирному объединению всех государств земного шара так, словно принял покорность Балкан за чистую монету, и объявил, что с пятнадцатого июля весь корпус аэропланов, несущий охрану Совета в Бриссаго, будет распущен. На самом же деле в этот знаменательный день он удвоил воздушную охрану и отдал необходимые распоряжения о соответствующем размещении аэропланов. Он провел несколько совещаний с различными специалистами, и, когда он посвятил короля Эгберта в свои планы, бывший монарх, слушая его необычайно точные и ясные предположения, невольно вспомнил вдруг свою полузабытую фантазию: Леблан под зеленым зонтиком терпеливо удит рыбу.

Семнадцатого июля, около пяти часов утра, один из дальних часовых бриссагского воздушного флота, незаметно круживший в облаках над озером Гарда, заметил чужой аэроплан, летевший в западном направлении, и окликнул его; не получив ответа, он дал сигнал по

беспроволочному телеграфу и пустился в погоню. Почти тотчас над горным кряжем на западе появился рой его товарищей, и, прежде чем неизвестный аэроплан успел увидеть впереди Комо, вокруг него уже смыкалось кольцо из десятка машин. Его авиатор, по-видимому, заколебался, спустился к самым вершинам и повернул на юг, но тут же заметил биплан, летевший ему наперерез. Тогда он снова повернул, взял курс прямо на поднимавшееся из-за гор солнце и прошел на расстоянии ста ярдов от своего первого преследователя.

Находившийся в этом аэроплане стрелок мгновенно открыл огонь и доказал свою находчивость, прежде всего выстрелив в пассажира. Аэронавт не мог не слышать, как закричал его раненый товарищ, однако он так спешил скрыться, что, боясь потратить хотя бы секунду, даже не оглянулся. За его спиной прозвучали еще два выстрела. Не выключая мотора, он сжался в комок и минут двадцать вел свою машину, каждый миг ожидая получить сзади пулю. Ни одного выстрела не последовало, и когда он наконец оглянулся, то увидел совсем близко три больших аэроплана, а его товарищ с тремя пулями в теле лежал мертвый на своих бомбах. Его преследователи, несомненно, не собирались ни разбивать его аэроплана, ни убивать его самого, но неумолимо заставляли его спускаться все ниже, ниже, ниже... Он уже заметался в какой-нибудь сотне ярдов над кукурузными и рисовыми полями. Впереди черным силуэтом на фоне утренней зари темнело какое-то селение со стройной колокольней и металлические мачты с проводами, миновать которых он не мог. Он выключил мотор и камнем упал вниз. Быть может, он надеялся, что, сев, успеет добраться до бомб, но его безжалостные преследователи пронеслись над ним и застрелили его прежде, чем он достиг земли.

Три аэроплана опустились по спирали на траву рядом с разбившейся машиной. Из аэропланов выскочили стрелки и, держа в руках свои легкие винтовки, побежали к груде обломков и двум убитым людям. Длинный, похожий на гроб ящик, стоявший на полу аэроплана, сломался, и в нем на подстилке из соломы мирно покоились три черных предмета, каждый с двумя ручками, похожими на ручки кувшина.

Эти предметы настолько приковали к себе внимание победителей, что никто даже не взглянул на два изуродованных и окровавленных трупа, лежавших среди обломков, словно это были не люди, а случайно раздавленные колесом лягушки на дороге.

— Черт побери! — крикнул один.— Глядите, вот они!

— И совсем не поврежденные! — сказал другой.

— Мне еще никогда не доводилось их видеть,— сказал первый.

— Они больше, чем я думал,— сказал второй.

К ним подошел третий. Секунду он смотрел на бомбы, а затем перевел взгляд на мертвого человека с раздавленной грудной клеткой, лежавшего среди развороченной земли и зеленой примятой травы, под обломками аэроплана.

— Тут нельзя рисковать,— сказал он, словно извиняясь.

Остальные двое тоже обернулись к своим жертвам.

— Мы должны передать сообщение,— сказал первый.

Черная тень закрыла от них солнце. Они поглядели вверх и увидели аэроплан, из которого был сделан последний выстрел.

— Что передавать? — прозвучал вопрос из мегафона.

— Три бомбы,— хором ответили снизу.

— Откуда они? — спросил мегафон.

Три стрелка поглядели друг на друга и шагнули к мертвым. Одного осенила какая-то мысль.

— Передавай пока,— сказал он,— а мы тем временем поищем.

Их авиаторы присоединились к ним, и все шестеро, не смущаясь присутствием мертвецов, начали торопливо рыться в обломках в поисках каких-либо примет, чтобы опознать людей и аэроплан. Они обыскивали карманы убитых, их окровавленную одежду, мотор, остатки корпуса. Они перевернули трупы и оттащили их в сторону. Ни на чем не было ни единой метки... ни один предмет не выдал своего происхождения.

— Мы ничего не можем обнаружить!—сообщили они наконец.

— Никаких следов?

— Никаких.

— Я спускаюсь,— передал человек сверху...

7

Славянский Лис стоял на металлическом балконе своего причудливого дворца, построенного в новом стиле. Балкон висел над обрывом; внизу, сверкая на солнце, лежала его маленькая белая столица, а рядом с королем стоял Пестович — лукавый, седеющий, с трудом подавляя нараставшее в нем волнение. В растворенную дверь за их спиной был виден зал, отделанный малиновой эмалью и алюминием; из этого зала две распахнутые двери вели в голубую комнату, где телеграфист в башенке склонился над своей нескончаемой записью; именно к этой фигуре то и дело обращал свои взоры король, снова и снова поглядывая с вопросительным видом через плечо. Два курьера в пышных мундирах застыли в бесстрастном ожидании. Посреди зала, обставленного с внушительной строгостью, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол с массивными чернильницами из белого металла и старинными песочницами в духе этой новой, но приверженной к романтической старине монархии. В зале происходили заседания королевского совета, и шесть министров, членов кабинета, стояли там, исполненные сдержанного любопытства. Их созвали к двенадцати часам, но было уже половина первого, а король все еще медлил на балконе и, по-видимому, ждал каких-то известий, которые все не поступали.

Король и его премьер-министр сначала переговаривались шепотом, а затем смолкли, так как им нечего было высказать друг другу, кроме смутного беспокойства. Вдали, на склоне горы, белели длинные металлические кровли хозяйственных построек, фермы, служившие прикрытием для завода, изготовлявшего бомбы, и для склада готовых бомб. (Химик, создавший все это по приказу короля, скоропостижно скончался после декларации в Бриссаго.) Кроме короля, премьер-министра и трех преданных слуг, никто не знал об этом сосредоточении смер-

ти и разрушения. Авиаторы и их помощники-бомбометатели, ожидавшие сейчас сигнала в своих аэропланах-бомбовозах под палящим полуденным солнцем там, внизу, на плацу перед казармами мотоциклетных войск, не знали, где находятся бомбы, которые им предстояло взять на борт. По плану, разработанному Пестовичем, им уже следовало бы отправляться в путь. Это был превосходный план. Он ставил своей конечной целью не более не менее как создание всемирной империи. Правительство идеалистов и ученых, заседавшее где-то там, в Бриссаго, должно было взлететь на воздух, вслед за чем вот эти застывшие в ожидании аэропланы устремятся на восток и на запад, на север и на юг, во все концы обезоружившей себя планеты, и провозгласят Фердинанда-Карла новым Цезарем, властелином, владыкой Земли.

Это был великолепный план. Однако ждать в таком напряжении известия, что первый удар нанесен успешно,— это было нелегко.

У Славянского Лиса были белобрысые волосы, мучнистый цвет лица, короткие щетинистые усы, необыкновенно длинный нос и маленькие голубые глазки, посаженные чересчур близко, чтобы производить приятное впечатление. У него была привычка нервно теребить свои усы в те минуты, когда его беспокойная душа приходила в волнение, и сейчас это непрерывное движение его пальцев выводило Пестовича из себя.

— Я пойду,— сказал премьер-министр,— посмотрю, что случилось с телеграфом. Почему нам ничего не сообщают: ни хороших вестей, ни дурных.

Король остался один и мог теперь теребить свои усы сколько ему заблагорассудится; он облокотился о перила балкона и вцепился в усы длинными белыми пальцами обеих рук. Это придало ему необыкновенное сходство с грязновато-белой собакой, грызущей кость. А что, если они схватили его людей? Что тогда делать? Что, если они их схватили?

Внизу, в городе, часы на колоколенках с золочеными куполами прозвенели полчаса первого.

Разумеется, они с Пестовичем предвидели такую возможность. Даже если их посланцев схватят... Что ж, они ведь поклялись хранить тайну... Да они могут и не попасть к ним в руки живыми, их могут убить... И на-

конец можно ведь все отрицать... Отрицать и отрицать...

И тут высоко-высоко в небесной синеве он заметил с десяток маленьких светящихся точек...

Появился Пестович.

— Все депеши бриссагского правительства, ваше величество, передаются в зашифрованном виде,— сообщил он.— Я приказал, чтобы...

— *Взгляните!* — прервал его король, указывая тонким длинным пальцем на небо.

Пестович поглядел, а затем на какой-то миг задержал вопросительный взгляд на бледном лице короля.

— Мы должны держаться так, словно ничего не произошло, ваше величество,— сказал он.

Несколько секунд они молча следили за крутыми спиралями снижающихся аэропланов, а затем начали торопливо совещаться.

Если сделать вид, что король совещается с кабинетом министров, вырабатывая план окончательной передачи всех полномочий правительству Бриссаго, это будет выглядеть вполне невинно и не вызовет ничьих подозрений, решили они, и поэтому, когда бывший король Эгберт — посланник новой власти — появился в зале, он увидел, что король, приняв несколько театральную позу, держит речь перед своими советниками и двором. (Двери в комнату, где помещался беспроволочный телеграф, были закрыты.)

Бывший король, посланец Бриссаго, стремительно, словно струя свежего ветра, прошел среди развевающихся занавесей и почтительно расступившихся придворных, но некоторая жесткость взгляда противоречила привычной любезности его манер. За королем торопливо семенил Фермин — его единственный спутник. И когда Фердинанд-Карл встал, приветствуя гостя, по спине балканского владыки снова прошел холодок — как тогда, на балконе... Но тревога тотчас развеялась: так беззаботно и непринужденно держался посланец. В конце концов даже ребенок сумеет обвести вокруг пальца этого пустомелю, который ради какой-то идеи и по приказу ничтожного утописта-французика в очках выбросил на свалку, словно ненужную ветошь, древнейшую в мире корону.

Надо отрицать, отрицать...

А затем мало-помалу — и это было еще более тягостно — король балканский начал сознавать, что и отрицать ему нечего. Гость дружески и спокойно говорил о всех сторонах спора между Балканами и Бриссаго, говорил о чем угодно, кроме...

— Быть может, они просто где-то задержались? Быть может, им пришлось опуститься на землю из-за какой-нибудь поломки и они все еще на свободе? Быть может, именно сейчас, когда этот дурак что-то здесь лопочет, они там, над горами, сбрасывают свой смертоносный груз за борт аэроплана?

Неистовые надежды и мечты заставили Славянского Лиса вновь распушить поджатый было хвост.

О чем он все-таки говорит? Надо же отвечать ему, пока еще ничего не известно! В любую минуту небольшая окованная латунью дверь за его спиной может отвориться, и они услышат, что Бриссаго превращен в прах и развеян по ветру. Приятно будет разрядить напряжение, приказав без лишних слов арестовать этого болтуна. Пожалуй, его можно будет убить... Что такое?

Король Эгберт повторил:

— Как ни смешно, они предполагают, что ваша уверенность в себе объясняется припрятанным запасом атомных бомб.

Король Фердинанд-Карл постарался взять себя в руки и с возмущением отверг подобные выдумки.

— О, разумеется! — сказал бывший король.— Это разумеется само собой.

— Какие есть для этого основания?

Бывший король позволил себе сделать какой-то неопределенный жест и довольно явственно хмыкнул. Какого дьявола он ухмыляется?

— В сущности, никаких,— сказал он.— Но, когда дело касается вещей такого рода, приходится быть сугубо осторожным.

И опять на краткий миг что-то, какая-то тень насмешки промелькнула в глазах посланца, и холодок снова пробежал по спине короля Фердинанда-Карла.

Пестович, наблюдавший хмурое, напряженное лицо Фермина, почувствовал ту же мучительную тревогу. Он

поспешил на помощь своему монарху, опасаясь, что тот будет протестовать чрезмерно горячо.

— Обыск! — кричал король.— Наложение ареста на наши аэропланы!

— Только на время,— пояснил бывший король Эгберт,— пока не закончится обыск.

Король воззвал к своим советникам.

— Народ никогда не допустит этого, ваше величество,— заявил суетливый человечек в раззолоченном мундире.

— Вам придется принудить его,— сказал бывший король, с любезной улыбкой обращаясь ко всем советникам.

Король Фердинанд метнул взгляд на закрытую латунную дверь, из-за которой все еще не поступало никаких вестей.

— Когда хотите вы приступить к обыску?

Бывший король лучезарно улыбнулся.

— Раньше чем послезавтра это едва ли будет возможно,— сказал он.

— Вы будете обыскивать только столицу?

— А что же еще? — совсем уже весело спросил бывший король.

— Лично мне,— доверительным тоном продолжал он,— вся эта затея представляется крайне нелепой. Прятать атомные бомбы! Ну кто способен на такую глупость? Никто. Ведь это виселица, если его поймают, наверняка виселица, а если не поймают, то почти наверняка он сам взлетит на воздух. Но теперь мне, как и любому другому человеку в мире, приходится подчиняться приказу. И вот я здесь.

Эта простодушная болтовня приводила короля в ярость. Он поглядел на Пестовича; тот едва приметно кивнул. Но как бы то ни было, это хорошо, что приходится иметь дело с дураком. Они могли бы послать сюда и искушенного дипломата.

— Да, конечно,— сказал король,— я не могу не признать превосходства в силе... Ну, и известной логики... в этих распоряжениях, исходящих из Бриссаго.

— О, я знал, что вы будете разумны,— со вздохом облегчения сказал бывший король.— В таком случае нам следует уточнить...

И они уточнили — без излишних формальностей. До конца обыска ни один балканский аэроплан не имел права подняться в воздух; в то же время воздушный флот всемирного правительства будет кружить в небе, а во всех балканских городах должны быть развешены объявления с предложением награды тем, кто укажет местонахождение атомных бомб...

— Вам надо это подписать,—сказал бывший король.

— Зачем?

— Чтобы подтвердить, что мы не совершаем никаких враждебных действий по отношению к вам.

Пестович утвердительно кивнул в ответ на взгляд своего монарха.

— Ну, а теперь,— все с той же милой непринужденностью продолжал бывший король,— мы вызовем сюда побольше наших людей, прибегнем к помощи вашей полиции и осмотрим ваш дворец и прочее. Вот и все. А пока, если позволите, я буду вашим гостем.

Когда Пестович остался наконец снова наедине с королем, он увидел, что тот обуреваем самыми противоречивыми чувствами, которые играли им, как бушующие волны щепкой. То он был исполнен радужных надежд и презрения к «этому ослу» и его обыску, то погружался в пучину отчаяния.

— Они найдут их, Пестович, и тогда он нас повесит.

— Кто нас повесит?

Король приблизил свой длинный нос к самому лицу советника.

— Этот улыбающийся мерзавец жаждет нас повесить,— сказал он.— И повесит, если только мы дадим ему хоть малейшую возможность.

— Чего же тогда стоит вся их Новая Цивилизация и Государственность?

— Вы думаете, что эта банда безбожников, вивисекторов-фанатиков и фарисеев способна на сострадание?— воскликнул последний коронованный жрец романтики.— Вы думаете, Пестович, они понимают, что такое высокие стремления и манящая мечта? Вы думаете, что наш смелый и величественный замысел может их увлечь? Вот здесь, перед вами, стою я — последний и самый великий романтик из цезарей всех времен, и вы думаете, что они

упустят случай повесить меня, как собаку, удушить меня, как крысу в норе? А этот ренегат! Этот, бывший некогда помазанником божьим...

— Не выношу таких глаз, которые смеются и не становятся мягче,— помолчав, добавил король.

— Я не стану сидеть здесь, как кролик перед удавом,— сказал он в заключение. — Мы должны куда-нибудь перенести эти бомбы.

— Рискните,— сказал Пестович,— не трогайте их.

— Нет,—сказал король.—Их надо спрятать поближе к границе. Тогда, пока за нами будут следить здесь,— а за нами здесь всегда будут теперь следить,—мы можем купить аэроплан за границей и поднять их в воздух...

Весь вечер король был как в лихорадке и все его раздражало, но тем не менее он разработал весьма хитроумный план. Бомбы нужно было переправить в другое место; для этого требовалось два фургона с атомными двигателями, как для перевозки сена. Бомбы нужно завалить сеном... Пестович уходил и приходил, давал указания преданным слугам, обдумывая каждую мелочь, меняя уже принятые решения.

Тем временем король и бывший король дружески беседовали о самых разнообразных предметах. Но мысль о пропавшем без вести аэроплане ни на мгновение не покидала короля Фердинанда-Карла. Был ли он захвачен или успешно выполнил приказ, по-прежнему оставалось загадкой. И в любую секунду вся сила и мощь, стоявшая за спиной посланца Бриссаго, могла рухнуть и исчезнуть.

А после полуночи король в плаще и шляпе с большими, свисающими на глаза полями, какие мог бы надеть и крестьянин и почтенный горожанин, незаметно выскользнул через ход для прислуги в восточном крыле дворца в густой парк, разбитый на склоне холма над городом. Пестович и его камердинер-телохранитель Петр в такой же одежде вышли из-за кустов лавра, окаймлявших аллею, и присоединились к своему монарху. Была теплая, ясная ночь, но звезды казались непривычно далекими и тусклыми из-за аэропланов, которые, включив свои прожекторы, обшаривали небо их лучами. Один яркий луч, казалось, задержался на мгновение на короле, когда тот выходил из дворца, но тотчас скользнул дальше, и Фердинанд-Карл

решил, что его не заметили. Однако не успел он со своими спутниками выйти за пределы дворцового сада, как луч другого прожектора снова нашел их и задержался на них.

— Они видят нас! — вскричал король.

— Они нас не узнают,— сказал Пестович.

Король поглядел вверх: равнодушный, круглый, светящийся глаз смотрел прямо на него; он словно бы подмигнул ему и потух, ослепив его на несколько секунд...

Они пошли дальше. Возле садовой калитки, которая по распоряжению Пестовича была открыта, король остановился в тени дуба и оглянулся на свой дворец. Это было высокое узкое сооружение; двадцатый век отдавал здесь дань средневековью с помощью стали, бронзы, искусственного камня и матового стекла. Дворец вздымал ввысь нагромождение шпилей и башен. В верхнем этаже восточного крыла находились апартаменты, отведенные бывшему королю Эгберту. Одно из окон было ярко освещено, и на фоне этого светлого пятна неподвижно стояла небольшая черная фигура, устремив взгляд в темноту.

Король скрипнул зубами.

— Он даже не подозревает, как мы проскользнули у него между пальцев,— сказал Пестович.

И в эту минуту бывший король медленно поднял руки, словно зевая, потер глаза и отошел от окна, очевидно, чтобы лечь спать.

Король торопливо шагал по глухим, извилистым улочкам своей древней столицы к перекрестку, где их уже ждал старый, потрепанный автомобиль с атомным двигателем. Это был наемный экипаж самого низкого разбора, с помятым кузовом и продавленным сиденьем. За рулем сидел обыкновенный шофер, каких сколько угодно в столице, но рядом с шофером помещался молодой секретарь Пестовича, знавший дорогу на ферму, где были спрятаны бомбы.

Автомобиль петлял по лабиринту старого города, еще ярко освещенного и оживленного (кружившие в небе аэропланы заставили людей высыпать на улицу, а хозяев кафе держать свои двери открытыми), а затем, проехав по длинному новому мосту и миновав пред-

местье с редко разбросанными строениями, очутился среди полей. И все это время, пока автомобиль проезжал столицу, король, мечтавший затмить Цезаря, сидел совершенно неподвижно, откинувшись на спинку сиденья, и никто не произносил ни слова. А когда автомобиль выбрался из предместья на темное шоссе, они снова увидели, что над темными полями, словно гигантские призраки, беспокойно снуют лучи прожекторов. При виде этих мечущихся белесых овалов король выпрямился, а потом закинул голову и стал глядеть на кружившие в небе аэропланы.

— Мне это не нравится,— сказал король.

Вскоре одно из этих голубовато-лунных пятен легло на автомобиль и, казалось, заскользило вместе с ним. Король съежился на сиденье.

— Как они отвратительно бесшумны,— сказал король.— Такое ощущение, словно за тобой крадутся длинные белые кошки.

Он снова выглянул в окно.

— Вот этот явно следит за нами,— сказал он.

И тут внезапно его обуял панический страх.

— Пестович,— сказал он, вцепившись в руку своего министра,— они следят за нами. Придется отказаться от нашего плана. Они следят за нами. Я возвращаюсь.

Пестович начал его уговаривать.

— Велите шоферу поворачивать обратно,— сказал король и попытался отодвинуть панель переговорного окошка. Несколько секунд в автомобиле происходила отчаянная борьба: один хватал другого за руки, раздался глухой удар.— Я не в состоянии этого выдержать,— твердил король.— Я возвращаюсь.

— Но ведь они нас повесят,— сказал Пестович.

— Нет, если мы сейчас во всем признаемся. Нет, если мы отдадим им бомбы. Это вы втравили меня в эту...

Наконец Пестович предложил компромисс. Примерно в полумиле от фермы есть гостиница. Они заедут туда, король выпьет коньяку и даст отдохнуть своим нервам. А если и после этого он сочтет за лучшее вернуться обратно, ну так он вернется обратно.

— Взгляните,— сказал Пестович,— луч опять погас.

Король посмотрел на небо.

— По-моему, этот аэроплан следует за нами, погасив прожектор,— сказал он.

В маленькой старой и грязной гостинице король мешкал довольно долго, не зная, на что решиться, а потом сказал, что вернется назад и отдастся на милость Совета.

— Если этот Совет еще существует,— заметил Пестович.— Возможно, что ваши бомбы уже покончили с ним.

— Если бы так, эти проклятые аэропланы не летали бы у нас над головой...

— Они могут еще не знать.

— Но разве вам нельзя обойтись без меня, Пестович?

Пестович ответил не сразу.

— Я считал, что бомбы следует оставить на старом месте,— сказал он наконец и подошел к окну. На их автомобиль падал яркий сноп света. Пестовича осенила блестящая мысль.

— Я пошлю моего секретаря, чтобы он для виду затеял какой-нибудь спор с шофером,— сказал Пестович.— Это прикует внимание к ним, а мы тем временем — вы, я и Петр — выйдем через задний ход и, держась в тени живой изгороди, проберемся на ферму...

Этот план, вполне достойный репутации Пестовича, как будто вполне удался.

Десять минут спустя, мокрые, грязные, запыхавшиеся, но не замеченные никем, они уже перелезали через ограду фермы. Но когда они уже бежали к сараям, из груди короля вырвался не то стон, не то проклятие — все вокруг них осветилось на мгновение... и свет скользнул дальше.

Но действительно ли он не задержался или все же помедлил какую-то секунду?

— Они не заметили нас,— сказал Петр.

— Да, наверное, так,— сказал король и прирос к месту, уставившись на сноп света, который скользнул по склону горы, задержался на мгновение на стоге сена и, разгораясь все ярче, пополз обратно.

— В сарай! — крикнул король.

Он больно ударился обо что-то ногой, но через минуту все трое уже находились внутри огромного сарая на стальном каркасе, в котором стояли два моторных

фургона с сеном, предназначавшиеся для перевозки бомб. Курт и Авель—братья Петра—поставили их здесь еще днем. Половина сена была сброшена на пол сарая; оно предназначалось для того, чтобы прикрыть бомбы, как только король укажет, где они спрятаны.

— Здесь есть подвал,— сказал король.— Не надо, не зажигайте фонаря. Вот ключ, откроется кольцо...

Некоторое время никто не произносил ни слова. В темноте послышался стук сдвинутой с места каменной плиты и шарканье подошв по ступенькам, ведущим в подвал, а затем шепот и тяжелое дыхание — это Курт взбирался по лестнице с первой бомбой в руках.

— Мы еще им покажем,— сказал король и тут же ахнул.— Черт бы побрал эти прожекторы! И какого дьявола вы оставили дверь открытой?

Широкие двери сарая были распахнуты настежь, и весь пустынный двор фермы был залит голубым пытливым светом прожекторов, а на полу сарая лежала широкая полоса света.

— Закрой дверь, Петр,— сказал Пестович.

— Нет!— крикнул король, но было поздно, так как Петр уже вступил в полосу света.— Не показывайтесь!— снова крикнул король.

Курт шагнул вперед и оттащил брата обратно. На несколько секунд все пятеро застыли в неподвижности. Казалось, свет будет гореть вечно, но внезапно он погас, и они на минуту ослепли.

— Вот теперь,— с тревогой сказал король,— теперь закройте дверь.

— Только не плотно!— крикнул Пестович.— Оставьте щель, чтобы мы могли выбраться...

Поднять наверх и погрузить бомбы было делом нелегким, и король некоторое время трудился, как простой смертный. Курт и Авель выносили из подвала тяжелые бомбы, Петр поднимал их в фургон, а король и Пестович помогали прятать их в сене. Все старались производить как можно меньше шума...

— Ш-ш-ш! — прошептал король.— Что это?

Но Курт и Авель не расслышали его предупреждения и, спотыкаясь, продолжали подниматься по лестнице с последней ношей.

— Ш-ш-ш! — Петр бросился к ним и шепотом приказал им остановиться. В сарае наступила полная тишина.

Дверь сарая приотворилась немного шире, и на тускло-голубом фоне выросла черная фигура человека.

— Есть тут кто-нибудь? — с легким итальянским акцентом спросил человек.

Короля прошиб холодный пот. Ответил Пестович:

— Только бедный крестьянин — нагружает сеном свою машину,— сказал он, схватил тяжелые вилы и неслышно шагнул вперед.

— Вы грузите свое сено в плохое время и при очень скверном освещении,— сказал человек, заглядывая внутрь.— Разве у вас здесь нет электричества?

Внезапно вспыхнул свет электрического фонарика, и в тот же миг Пестович прыгнул вперед.

— Убирайся вон из моего сарая! — крикнул он и вонзил вилы в грудь незваного гостя. Вероятно, он надеялся мгновенно заставить его замолчать. Но человек громко вскрикнул, когда вилы, вонзившись ему в грудь, отбросили его назад, и тотчас стало слышно, как кто-то бежит через двор.

— Бомбы! — крикнул раненый, стараясь выдернуть впившиеся в грудь зубья, и в ту же секунду Пестович, по инерции шагнувший вперед после удара, попал в полосу света и был застрелен кем-то из двух подбегавших людей.

Человек, лежавший на земле, был тяжко ранен, но не утратил присутствия духа.

— Бомбы! — повторил он и, с трудом поднявшись на колени, направил свет своего электрического фонарика прямо на короля.

— Застрелите их! — крикнул он, кашляя и выплевывая сгустки крови, от чего ореол света вокруг головы короля заплясал.

И в этом пляшущем пятне двое его товарищей увидели короля, стоявшего на коленях в фургоне, и Петра возле стены. Старый Лис поглядел на них исподлобья — они увидели бесцветно-белое лицо злой нечисти, попавшей в капкан. И когда, превозмогая страх, в порыве самоубийственного героизма он наклонился вперед к

бомбе, они выстрелили одновременно и разнесли ему череп.

От его лица осталась только нижняя половина.

— Пристрелите их! — продолжал кричать раненый.— Пристрелите их всех!

Но тут фонарик в его руке погас, и он со стоном покатился под ноги своих товарищей.

Но у тех тоже были с собой фонари, и сарай осветился снова. Петра застрелили, хотя он уже поднял руки в знак того, что сдается.

Курт и Авель, стоявшие на верхней ступеньке лестницы, секунду были в нерешительности, а затем ринулись обратно в подвал.

— Если мы не убьем их,— сказал один из стрелков,— они разнесут нас своими бомбами в клочья. Они спустились туда, вниз. Идем!..

— Вот они! Руки вверх! Слышите? Посвети, я буду стрелять...

8

Было еще совсем темно, когда Фермин и камердинер явились к бывшему королю Эгберту и доложили, что все кончилось благополучно.

Эгберт приподнялся и сел, спустив ноги с кровати.

— Он покинул дворец? — осведомился бывший король.

— Он мертв,— сказал Фермин.— Его застрелили.

Бывший король задумался.

— Пожалуй, это наилучший исход,— сказал он.— А где бомбы? На ферме, у подножия холма? Да ведь это же совсем рядом! Идемте туда. Я сейчас оденусь. Есть здесь кто-нибудь, Фермин, чтобы сварить нам по чашечке кофе?

В скупых предрассветных сумерках автомобиль бывшего короля доставил его на ферму, где последний непокорный король лежал среди своих бомб. Край неба запылал, восток осветился и солнце поднялось над горой, когда автомобиль короля Эгберта въехал во двор фермы. Там он увидел фургоны с сеном, которые уже выкатили из сарая вместе с их смертоносным грузом. Человек сорок авиаторов охраняли двор, а в стороне сто-

яла кучка крестьян, глазея на происходящее, но еще не понимая его значения. Пять трупов были аккуратно уложены в ряд возле каменной ограды двора. На лице Пестовича застыло удивленное выражение, а короля можно было опознать только по его длинным белым пальцам и золотистым усам. Раненого аэронавта перенесли в гостиницу. Бывший король отдал распоряжение отправить бомбы со всеми предосторожностями в новые специальные лаборатории под Цюрихом, где их должны были обезвредить в парах хлора, и повернулся к пяти неподвижным фигурам.

Пять пар ступней торчали в странном окаменелом согласии...

— А что еще можно было сделать? — сказал король, словно отвечая на какой-то внутренний протест.

— Хотелось бы мне знать, Фермин, много ли их еще осталось!

— Бомб, ваше величество? — спросил Фермин.

— Нет, таких королей...

— Какое достойное сожаления безумие! — сказал бывший король, продолжая думать вслух.— Фермин, я полагаю, что похоронить их следует вам, как бывшему профессору Международной Политики. Здесь?.. Нет, не хороните их возле колодца. Люди будут пить эту воду. Похороните их где-нибудь там, в поле.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОВАЯ ЭРА

1

Теперь, когда все уже осуществлено, задача, стоявшая перед Советом в Бриссаго, представляется нам, в общем, довольно простой. В основном она сводилась к тому, чтобы приспособить социальный порядок к стремительному и все убыстряющемуся развитию человеческих знаний. Совет был собран с поспешностью спасательной экспедиции, но спасать ему предстояло обломки, которые уже нельзя было спасти. Выбор был только один: либо

возврат человечества к варварству примитивного земледелия, от которого оно с такими муками едва успело избавиться, либо создание нового социального порядка на основе современной науки. Прежние качества человеческой натуры: подозрительность, своекорыстие, зависть, воинственность — были несовместимы с гигантской разрушительной силой новых изобретений, которые открывала людям лишенная людских слабостей логика чистой науки. Равновесие могло быть достигнуто либо путем низведения цивилизации до уровня, на котором современные механизмы не могли бы создаваться, либо путем приспособления человеческой натуры и всех социальных институтов к новым условиям. И Совет был создан для осуществления второй возможности.

Рано или поздно человечество неизбежно должно было оказаться перед необходимостью такого выбора. Неожиданное развитие атомной науки лишь ускорило и сделало более внезапным и драматичным это столкновение нового с привычным, которое подготавливалось еще с той минуты, когда был обтесан первый кремневый топор или высечена первая искра огня. С того дня, когда человек создал свое первое орудие и позволил другому самцу приблизиться к себе, он перестал быть существом, руководимым чистым инстинктом и не знающим колебаний. И с этого дня все шире разверзалась пропасть между его эгоистическими страстями и социальной необходимостью. Мало-помалу он приспособился к оседлой жизни и его себялюбие расширилось до общественных потребностей клана и племени. Но как бы ни расширялся круг его стремлений и интересов, дремавший в нем инстинкт охотника, кочевника и открывателя чудес опережал их, питая его фантазию. Никогда человек не был до конца покорен клочком своей земли или прикован к своему очагу. Всегда и повсюду, чтобы удержать его в узах жизни пахаря и скотовода, требовались воспитание и священник. Мало-помалу огромная сложная система традиций и императивов подавила его инстинкты — императивов, удивительно подходивших для того, чтобы превратить его в землепашца и скотовода, который на протяжении двадцати тысяч лет считался нормальным типом человека.

А его труд без всякого намерения или желания с его стороны создал цивилизацию. Цивилизацию породил избыток плодов сельского хозяйства. Она возникла в виде торговли и дорог, она пустила по рекам лодки и вскоре вторглась в моря, а в дворцах ее первых владык, в ее храмах, богатых и располагавших досугом, в пестрой суете ее портовых городов рождалась мысль, рождались философия и наука и закладывались основы нового порядка, который в конце концов утвердился как единственно возможная форма человеческого существования. Сперва медленно — как мы рассказали вначале,— а потом все быстрее и быстрее человечество овладевало все новыми родами энергии. Человек, в общем, не искал их и не стремился к ним: они были ему навязаны, и в течение какого-то времени люди беспечно пользовались этими новыми силами и новыми открытиями и изобретениями, совершенно не задумываясь над последствиями. Ведь на протяжении бесчисленных поколений эти перемены происходили настолько постепенно, что человек их почти не ощущал. Но когда они завели его достаточно далеко, их темп внезапно убыстрился. И человек, испытывая потрясение за потрясением, обнаружил наконец, что его жизнь все меньше и меньше сохраняет старые формы и все больше и больше приобретает новые.

Еще накануне высвобождения атомной энергии противоречия между старым укладом жизни и новым достигли крайнего напряжения. Эти противоречия были даже острее, чем накануне падения Римской империи. С одной стороны, существовал старинный жизненный уклад, опиравшийся на семью, небольшую общину, распыленную промышленность; с другой — новая жизнь, измерявшаяся иными масштабами, с широкими горизонтами и по-новому осознанными задачами. Уже становилось очевидным, что людям придется сделать выбор. Розничные торговцы и синдикаты не могли существовать бок о бок на одном и том же рынке, сонные возчики и моторные фургоны не могли двигаться по одной дороге, лучники и стрелки-аэронавты — служить в одной и той же армии, или примитивные крестьянские ремесла и мощные заводы — ужиться на одной и той же планете. И тем более несовместимы были крестьянские идеалы, устремления,

жадность и зависть с безграничными возможностями, которые открывала людям новая эра. Если бы взрывы атомных бомб не заставили лучшие умы мира поспешно встретиться на совещании в Бриссаго, все равно так или иначе, рано или поздно, но совещание — пусть и не столь официальное — наиболее мыслящих и чувствующих свою ответственность людей должно было состояться для разрешения этой мировой дилеммы. Если бы работа Холстена затянулась на века и результаты его открытий мир получал бы постепенно, самыми ничтожными долями, все равно человечество было бы вынуждено собраться и обсудить эти открытия, чтобы выработать план действий на будущее. И в самом деле, еще за сто лет до кризиса существовала и накапливалась литература, предвидевшая эти проблемы, и совещание могло опереться в своей работе на огромное количество проектов создания «Современного Государства». Атомные взрывы лишь углубили уже назревшую проблему и придали ей драматизм.

2

Создание этого Совета не знаменовало собой приход к власти сверходаренных людей. Его члены не были глухи к чужому мнению и выносили свои идеи на обсуждение — идеи, рожденные в результате «морального шока», пережитого человечеством под воздействием атомных взрывов; но нет оснований полагать, что носители этих идей особенно высоко поднимались над средним уровнем. Можно было бы привести примеры тысячи ошибок и оплошностей, допущенных Советом вследствие рассеянности, раздражительности или усталости его членов. Многое делалось на ощупь и часто неудачно. Весьма сомнительно, чтобы среди членов Совета нашелся хоть один человек, которого можно было бы назвать по-настоящему великим; исключение составлял Холстен, но и его одаренность ограничивалась одной узкоспециальной областью. Однако Совету в целом было присуще чувство взятой на себя ответственности, действия его отличались последовательностью и прямотой. Что касается Леблана, то ему, несомненно, была свойственна

благородная простота, но и тут позволительно усомниться, был ли он по-настоящему великим человеком или попросту добрым и честным.

Бывший король Эгберт был по-своему мудр, не лишен романтической жилки и оказался бы заметен среди тысяч, хотя и не среди миллионов. Однако его мемуары и даже решение писать эти мемуары как нельзя лучше характеризуют и его самого и его соратников. Читать эту книгу очень интересно, но она вызывает и большое недоумение. Огромную работу, проделанную Советом, он принимает как нечто само собою разумеющееся, как ребенок — бога. Кажется, что он совершенно не отдает себе отчета в том, насколько велико ее значение. Он рассказывает забавные анекдоты о своем секретаре Фермине или кузене Вильгельме, высмеивает американского президента, который, в сущности, являлся не столько представителем американского народа, сколько случайным изделием американской политической машины, и пространно описывает, как он, потеряв дорогу, три дня блуждал в горах в обществе единственного японского члена Совета. Урон, нанесенный их отсутствием, был, по-видимому, не слишком велик и не вызвал перерыва в заседании...

Совещание в Бриссаго порой пытались изобразить как собрание всего цвета человечества. Вознесенное причудой или мудростью Леблана на вершину гор, оно приобрело черты некой олимпийской надмирности, а извечная склонность человеческого ума преувеличивать такого рода сходства превратила членов этого совещания в некое подобие богов. Однако его скорее следовало бы сравнить с вынужденными сборищами в горах, какие, несомненно, происходили в первые дни всемирного потопа. Сила Совета крылась не в нем самом, а в обстоятельствах, которые обостряли работу ума, очищали души от мелкого тщеславия, освобождали от извечных оков честолюбия и антагонизма. Это было правительство, с которого соскоблили все вековые наслоения, и оно получило такую свободу действий, какую могут дать только подобное очищение и нагота. И свои проблемы оно ставило перед собой ясней и проще, без тех запутанных и сложных процедур, которые создавали столько затруднений в прежние времена.

3

Мир в том виде, в каком он представал тогда взорам Совета, ставил перед ними поистине слишком грандиозную и слишком неотложную задачу, чтобы можно было тратить время и силы на внутренние разногласия. Пожалуй, имеет смысл обрисовать в нескольких фразах положение человечества к концу периода воюющих государств, к критическому году, последовавшему за высвобождением атомной энергии. Этот мир, располагавший, по нашим теперешним представлениям, весьма скудными возможностями, впал теперь в состояние чудовищного хаоса и бедствий.

Следует помнить, что в то время людям еще только предстояло распространиться на огромные пространства земного шара — песчаные, горные, необитаемые, дикие чащи, лесные пустыни и покрытые льдом полярные области еще ждали их. Люди по-прежнему могли жить только у воды, на пригодных для земледелия почвах, в умеренном или субтропическом климате; они густо селились лишь в речных долинах, и все их большие города возникали либо на судоходных реках, либо возле морских портов. На огромных пространствах даже этой пригодной для возделывания земли мухи и москиты, разносчики смертоносных болезней, успешно противостояли вторжению человека, и под их охраной девственные леса стояли нетронутыми. Да, в сущности, над всей землей, даже в самых густонаселенных районах, кишели такие рои мух и вредных насекомых, что сейчас это представляется нам почти невероятным. Карта населения земного шара 1950 года была бы так густо заштрихована по берегам морей и рек, что могло бы создаться впечатление, будто homo sapiens[1] был существом земноводным. Свои шоссейные и железные дороги человек тоже прокладывал в низинах, лишь кое-где пробиваясь сквозь преграды гор или взбираясь на высоту не более трех тысяч футов, чтобы достичь какого-нибудь курорта. И даже через океан он следовал по строго определенному пути, так что в океане были сотни тысяч квадратных миль, куда

---

[1] Homo sapiens *(лат.)* — «человек разумный». Определение современного человека как биологического вида.

корабли заплывали только случайно, когда их заносило туда бурей.

В таинственные земные недра под его ногами он заглянул всего на какие-нибудь пять миль, и сорока лет еще не прошло с тех пор, как он ценой трагического упорства достиг наконец полюсов земного шара. Неисчерпаемые минеральные богатства Арктики и Антарктики были все еще погребены под напластованиями вечных льдов, и неизведанные сокровища внутренних слоев земной коры оставались нетронутыми; даже о самом их существовании он пока не подозревал. Высокогорные области были известны только кучке проводников и альпинистов да посетителям нескольких жалких отелей, а огромные безводные пространства, пересекавшие массивы континентов от Гоби до Сахары и протянувшиеся вдоль американского горного кряжа, с их чистым воздухом, ежедневным обилием ослепительного солнечного света и тепла, торжественной тишиной и прохладой звездных ночей и скрытыми глубоко под землей водоемами, представлялись воображению человека областями ужаса и смерти.

Но теперь взрыв атомных бомб безжалостно разбросал огромные массы населения, жившие до этого момента скученно в колоссальных грязных городах той эпохи, по сельским областям. Словно какая-то грубая сила, возмущенная человеческой слепотой, сознательно сотрясла планету, чтобы переместить людей в более здоровые и пригодные для жизни районы. Большие города и огромные индустриальные районы, избежавшие атомных бомбардировок, находились вследствие краха экономики почти в таком же бедственном и трагическом положении, как те, что пылали от взрывов, и сельские местности были наводнены бездомными, отчаявшимися людьми. В некоторых частях земного шара свирепствовал голод, кое-где появилась чума...

На равнинах северной Индии, где благосостояние народа из года в год все более попадало в зависимость от железных дорог и системы ирригационных каналов, которые наиболее фанатичные отряды повстанцев привели в негодность, бедствия достигли неслыханных размеров: население вымирало целыми деревнями, и никому не было до этого дела, и даже тигры и пантеры, охотившиеся за немногими еще уцелевшими, изнуренными голодом

и болезнями людьми, уползали назад в джунгли зараженными и там погибали. В Китае бесчинствовали разбойничьи шайки.

Стоит отметить, что от той эпохи до нас не дошло ни одного полного описания атомного взрыва. Но сохранились бесчисленные упоминания, заметки и частичные описания, и с их помощью следующим поколениям удалось воссоздать картину гибели и опустошения.

Необходимо помнить, что эта картина беспрерывно, изо дня в день и даже из часа в час изменялась, по мере того как взорвавшаяся бомба перемещалась, выбрасывала осколки, проникала в свежий слой почвы или соприкасалась с водой. Барнет, оказавшийся в начале октября в сорока милях от Парижа, описывает главным образом смятение, царившее в сельских местностях, и трудность стоявшей перед ним задачи, но все же и он упоминает об огромных облаках пара, «закрывавших все небо на юго-западе», и багровом зареве, видневшемся под ними ночью. Некоторые районы Парижа еще продолжали пылать, и даже на этом расстоянии от него в импровизированных жилищах устроилось немало люд й, стороживших груды вещей, которые им удалось награбить в горящем городе. Барнет упоминает также про отдаленный грохот взрывов, «похожий на шум поездов, проносящихся по железному мосту».

Другие описания сходны с этим: всюду встречаются «непрерывные раскаты», либо «глухие удары и грохот», либо что-нибудь в том же роде, и все единодушно говорят о густой пелене пара, внезапно превращающейся в проливной дождь, пронизанный зигзагами молний. Чем ближе к Парижу, тем больше становилось таких стоянок, теснящих деревни, и множество людей, часто больных и чесоточных, ютилось под самодельными навесами, потому что им некуда было идти. Пелена пара по мере приближения к городу становилась все более густой и непроницаемой, так что наконец дневной свет исчез совсем и осталось лишь тусклое багровое зарево, «необычайно гнетуще действовавшее на душу». Но и в этой зловещей полутьме еще жило немало людей, цеплявшихся за свои жилища. Чаще всего они голодали, питаясь овощами со своих огородов или раздобывая что-нибудь из запасов бакалейных лавок.

Еще ближе к городу — и исследователь увидел бы перед собой полицейский кордон, преграждающий путь тем, кто, отчаявшись, стремился возвратиться домой или хотя бы спасти наиболее ценное имущество, оставшееся в «зоне непосредственной опасности».

Границы этой зоны были установлены довольно произвольно. Если бы наш исследователь мог получить туда доступ, он попал бы в зону грохота, в зону непрекращающихся раскатов грома, странного, лиловато-красного сияния, где все сотрясается и содрогается от непрерывных взрывов радиоактивного вещества. Целые кварталы пылали, но дрожащие языки пламени казались тощими, бледными призраками огня на фоне могучего малинового зарева. Оно глядело и из пустых глазниц окон, торчащих среди руин и пожарищ.

Каждый шаг здесь был так же опасен, как спуск в кратер действующего вулкана. Кипящий, смерчеподобный центр действия атомного взрыва мог внезапно переместиться в любом направлении; огромные глыбы земли, куски канализационных труб или каменной мостовой, поднятые на воздух струей взрыва, могли обрушиться на голову исследователя, а разверзшаяся под его ступнями бездна — поглотить его в своей огненной пучине. Едва ли кто-нибудь, раз отважившись проникнуть в эту долину смерти и оставшись в живых, решался повторить свою попытку. Существуют рассказы о светящихся радиоактивных парах, разлетавшихся на десятки миль от места взрыва бомбы и убивавших и сжигавших все, что попадалось им на пути. А пожары, распространившиеся из Парижа в западном направлении, достигли почти самого моря.

К тому же воздух в этом внутреннем кругу преисподней среди залитых багровым светом руин был настолько сух и так опалял кожу и легкие, что вызывал трудноизлечимые язвы...

Таков был конец Парижа, и такое же бедствие, только в еще большем масштабе, постигло Чикаго, и такова же была участь Берлина, Москвы, Токио, восточной половины Лондона, Тулона, Киля и еще двухсот восемнадцати населенных центров и стратегически важных пунктов. Каждый из них превратился в пылающий очаг

радиоактивного распада, погасить который могло только время, и для некоторых из них это время не настало еще и поныне. По сей день взрывы эти еще продолжают кое-где грохотать, хотя и со все убывающей силой и свирепостью. На карте почти каждой страны три-четыре, а то и больше красных кольца отмечают местонахождение затухающих атомных бомб и мертвые районы в несколько десятков миль диаметром вокруг них, откуда человек был вынужден уйти. Там пылали музеи, соборы, дворцы, библиотеки, галереи шедевров мирового искусства и все, что накопил человек, создавая и совершенствуя; теперь это погребено под дымящимися обломками и станет наследием грядущих поколений, которым, быть может, удастся когда-нибудь исследовать эти любопытные останки...

4

Обездоленные городские жители, которые в черные дни осени, когда завершилась Последняя война, наводнили сельские области, находились в состоянии тупого отчаяния и гибли массами. Барнет описывает множество встреч с этими несчастными, ютившимися в примитивных шалашах среди виноградников Шампани, куда он попал в тот период, когда служил в армии восстановления мира и порядка.

Вот, например, рассказ о дамском портном, который вышел на дорогу возле Эпернэ и осведомился, как обстоят дела в Париже. Это был, говорит Барнет, круглолицый человек в опрятном черном костюме (настолько опрятном, что Барнет был поражен, увидев его жилище — шатер, сооруженный из ковров); у него были «любезные, но несколько назойливые манеры», тщательно подстриженные усы и бородка, аккуратно приглаженные волосы и выразительные брови.

— Никто не бывает в Париже,— сказал Барнет.

— Но, мосье, это — большое упущение,— заметил стоявший у обочины человек.

— Опасность слишком велика. Радиация разрушает кожу.

Брови запротестовали.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего.

— Но, мосье, это же чрезвычайно неудобно — так жить в изгнании и ждать. Моя жена и мой маленький сын испытывают невероятные страдания. Полное отсутствие удобств. К тому же приближается зима. Я уж не говорю о расходах и о том, как трудно доставать провизию... Как вы полагаете, мосье, когда будет наконец предпринято что-либо, чтобы сделать Париж... доступным?

Барнет внимательно поглядел на своего собеседника.

— Я слышал,— сказал он,— что должно смениться несколько поколений, прежде чем Париж снова станет доступным.

— О! Но это же чудовищно! Подумайте, мосье! Что пока будут делать люди вроде меня? Я костюмер. Все мои клиенты, все мои интересы да прежде всего самый мой стиль — все это немыслимо без Парижа...

Барнет посмотрел на небо, откуда начинал накрапывать дождь, на пустынные поля, с которых уже был убран урожай, на подстриженные тополя у дороги.

— Понятно, что вы хотите возвратиться в Париж,— сказал он,— но Парижа больше не существует.

— Не существует?

— Нет.

— Но в таком случае, мосье, что же... что же будет со мной?!

Барнет поглядел на запад, куда уходила белая лента дороги.

— Где еще мог бы я рассчитывать... найти хорошую клиентуру?

Барнет не ответил.

— Быть может, на Ривьере? Или, скажем, в таком курортном городке, как Хомбург? Или где-нибудь на море?

— Все это,— сказал Барнет, впервые позволяя себе осознать до конца то, что подсознательно было для него ясно уже давно,— все это тоже, вероятно, больше не существует.

Наступило молчание. Затем голос рядом с ним произнес:

— Но, мосье, это же немыслимо! Тогда же не остается... ничего!

— Да, не очень много.

— Человек не может вдруг взять и начать сажать картофель!

— Было бы неплохо, если бы мосье мог принудить себя...

— Вести жизнь крестьянина? А моя жена?.. Вы не знаете, какое это утонченное, изнеженное создание! Она так трогательно беспомощна! В ее беззащитности есть особое тонкое очарование. Она похожа на гибкую лиану с большими белыми цветами... Впрочем, все это вздор. Не может быть, чтобы Париж, выстоявший против стольких бедствий, не возродился к жизни снова.

— Не думаю, чтобы он когда-нибудь возродился. Парижу пришел конец. И Лондону тоже, и как я слышал, и Берлину. Удар был нанесен по всем важнейшим столицам мира...

— Но... Позвольте мне в этом усомниться, мосье.

— Это так.

— Это невозможно. Цивилизации не гибнут подобным образом. Человечество будет требовать...

— Парижа?

— Да, Парижа.

— Вы можете с таким же успехом броситься в Мальмстрем, мосье, и пытаться возобновить вашу деятельность там.

— Я предпочитаю оставаться при своем убеждении, мосье.

— Приближается зима. Не разумнее ли было бы, мосье, подыскать себе жилье?

— Еще дальше от Парижа? Нет, мосье. Но то, что вы сказали, мосье, невероятно, этого не может быть, вы в каком-то чудовищном заблуждении... Право же, вы заблуждаетесь... Я просто хотел получить от вас некоторые сведения...

«Когда я в последний раз оглянулся на него,— пишет Барнет,— он стоял возле придорожного столба на вершине холма и задумчиво, пожалуй, даже с некоторым сомнением, смотрел в сторону Парижа, не замечая моросящего дождя, который уже промочил его насквозь».

5

По мере того как Барнет переходит к описанию приближающейся зимы, записи его все больше и больше пронизывает холодок уныния и не до конца еще осознанное ощущение неотвратимо надвигающейся гибели. Вся эта огромная масса невольных и не приспособленных к новому образу жизни кочевников не в состоянии была осознать, что кончилась целая эпоха, что помощи и руководства в прежнем виде ждать больше неоткуда, что время не пойдет вспять, как бы терпеливо ни стали они этого дожидаться. И когда первые снежные хлопья безжалостного января закружились в воздухе, многие все еще смотрели с надеждой в сторону Парижа. И повествование Барнета делается все мрачнее...

После возвращения Барнета в Англию тон его записок стал, быть может, менее трагичен, но, безусловно, более суров. Англия предстала перед ним страной испуганных и озлобленных домовладельцев, прячущих продовольствие, искореняющих кражи и грабежи, выгоняющих каждого погибающего от голода скитальца из каждой придорожной канавы, опасаясь, что он бесцеремонно и бессовестно умрет на пороге у того, кто не сумеет прогнать его дальше.

Последние остатки английских войск покинули Францию в марте после того, как находившееся в Орлеане временное правительство категорически отказалось снабжать их продовольствием. По-видимому, это были дисциплинированные, но, в сущности, бесполезные вооруженные отряды, хотя Барнет и считает, что они во многом содействовали прекращению грабежей и разбоя и поддержанию порядка. Он вернулся на родину, в голодающую страну,— судя по его запискам, Англия в ту весну представляла собой картину унылого терпения, что не мешало ей прибегать к самым отчаянным средствам в поисках спасения. Она переживала еще большие страдания, чем Франция, так как прекратился подвоз продовольствия, без которого она не могла обходиться. Солдаты Барнета получили в Дувре хлеб, сушеную рыбу и вареную крапиву, затем походным порядком были отправлены в Ашфорд и там распущены. По дороге они видели на телеграфных столбах четырех повешенных: их каз-

чили за кражу брюквы. Работные дома в Кенте кормили, как узнал Барнет, толпы скитальцев хлебом с примесью глины и опилок. А в Суррее не хватало даже такой пищи. Барнет пешком направился в Винчестер, обходя подальше отравленный атомными взрывами район Лондона, и в Винчестере ему повезло: он получил место помощника телеграфиста на центральной телеграфной станции и постоянный паек. Станция стояла на вершине мелового холма, на восточной окраине города.

Здесь он помогал принимать бесчисленные шифрованные депеши, предшествовавшие совещанию в Бриссаго, и здесь через его руки прошла Декларация, объявлявшая об окончании войны и создании объединенного правительства мира.

Ему нездоровилось в тот день, он чувствовал себя разбитым, и смысл того, что он расшифровывает, не проник до конца в его сознание. Он занимался этим машинально, как давно надоевшей обязанностью.

Декларация вызвала бурю ответных депеш, совсем его замучивших. Вечером, когда его сменили, он съел свой скудный ужин и вышел на балкон, чтобы покурить и проветрить голову после непривычно напряженных часов работы, смысл которой оставался ему непонятным. Был тихий, ясный вечер. Он разговорился с одним из своих товарищей-телеграфистов, и только тут, как он пишет: «Я вдруг осознал, отклики каких грандиозных событий проходили через мои руки в течение последних четырех часов. Но восторг первых минут сменился сомнением.

— Это какое-то шарлатанство,— глубокомысленно заметил я.

Но мой сослуживец был настроен более оптимистично.

— Это значит — конец бомбардировкам и разрушениям,— сказал он.— Это значит, что мы скоро получим из Америки зерно.

— Кто же станет посылать нам зерно, когда деньги больше ничего не стоят? — спросил я.

И тут внезапно снизу, из города, к нам донесся звон. Соборные колокола, ни разу за все время моего пребывания в этом городе не издавшие ни звука, зазвонили — вначале несколько неуверенно, хрипло, словно

простуженные. Мало-помалу они оживали все больше, и мы поняли, что происходит. Это был благовест. Мы прислушивались к нему в недоверчивом изумлении, глядя на изможденные желтые лица друг друга.

— Значит, это правда,— сказал мой товарищ.

— Но что же можно теперь сделать? — спросил я.— Все разрушено...»

И на этой фразе, с неожиданным художественным чутьем, Барнет обрывает свое повествование.

6

Приступив к делам, новое правительство с первых же шагов проявило известное величие духа. Да, в сущности, иначе и быть не могло: его действия требовали величия духа. С самого начала новые правители должны были иметь перед глазами весь земной шар и рассматривать его как единое целое, как единую проблему: уже нельзя было более заниматься им по частям. Необходимо было сохранить его весь в целом от всякой новой попытки атомного разрушения и обеспечить всеобщий и постоянный мир на всей земле. От этой способности видеть мир как нечто единое зависело самое существование нового правительства. Другого выхода не было.

Едва все существующие на земле запасы атомных бомб и аппаратура для синтеза каролиния были захвачены, пришлось заняться роспуском или использованием на общественных работах всех еще находившихся под ружьем войск; а затем надо было спасти урожай, накормить миллионы бездомных скитальцев и найти для них кров и работу. В Канаде, в Южной Америке и в азиатской части России хранились колоссальные запасы продовольствия, которые оказались под спудом только из-за краха денежной и кредитной систем. Это продовольствие необходимо было как можно быстрее доставить туда, где свирепствовал голод, чтобы спасти население этих областей от полного вымирания. В результате восстановление путей сообщения и перевозка этих запасов дали занятие большинству бывших солдат и наиболее трудоспособных без-

работных. Борьба с бездомностью приобретала грандиозные размеры: начав с устройства временных лагерей, жилищный комитет Совета быстро перешел к постройкам более постоянного характера. В своей попытке организовать эти толпы бродяг новое правительство встретило гораздо меньше трудностей, чем можно было ожидать. Этот страшный год страданий и смертей сделал людей необычайно покорными: они разуверились в былых традициях, освободились от своих укоренившихся предрассудков; они чувствовали себя пришельцами в странном чуждом мире и готовы были последовать за всяким, кто уверенно поведет их за собой. Распоряжения нового правительства поступали к ним вместе с лучшими из всех верительных грамот — с продовольствием. Один старый ученый, исследователь рабочего движения, доживший до новой эпохи, утверждает, что люди в те дни так же легко подчинялись приказам, «как толпа рабочих-иммигрантов в чужой стране».

А тем временем стали очевидны огромные возможности использования атомной энергии на благо общества. Новые механизмы, получившие применение еще до войны, улучшались и множились, и Совет получил в свое распоряжение не только миллионы рабочих рук, но также машины и энергию, благодаря которым первоначальные его планы представлялись теперь смехотворно ничтожными. Селения, которые предполагалось строить из дерева и железа, строились из камня и бронзы; дороги, которые представлялись лишь узкими полосками рельсов, на деле превращались в широкие пути, требовавшие смелых архитектурных решений; сельское хозяйство, от которого ждали лишь удовлетворения самых насущных нужд, теперь благодаря новым удобрениям, химическим средствам, ультрафиолетовым лучам и научному руководству скоро создало уже достаточное изобилие во всем.

Новое правительство предполагало начать с частичного и временного восстановления той старой социальной и экономической системы, которая являлась преобладающей до появления первых атомных двигателей, ибо большинство ставшего неимущим населения земного шара давно приспособило свои взгляды и привычки к этой системе. Дальнейшее же социальное переустройство оно

надеялось возложить на плечи своих преемников, кем бы они ни оказались. Однако день ото дня становилось все очевидней, что это невозможно. С тем же успехом Совет мог бы провозгласить возрождение рабства. Когда энергия и золото стали производиться в неограниченных количествах, капиталистическая система была разрушена и разрушена невосстановимо; при первой же попытке ее восстановить она снова потерпела крах. Уже перед войной половина промышленных рабочих не имела работы, и намерение заставить их трудиться на прежних условиях работы по найму было чревато неудачей с самого начала: полностью разрушенная система денежного обращения уже сама по себе служила достаточным к тому препятствием, и поэтому возникла необходимость накормить, одеть и дать кров огромной массе людей по всей земле, не требуя от них возмещения в форме того или иного труда. В скором времени отсутствие работы для столь огромного количества людей стало представлять собой совершенно очевидную социальную опасность, и правительству пришлось прибегнуть к такого рода ухищрениям, как элементарные декоративные работы по дереву и камню, ручное тканье, садоводство, цветоводство и разбивка парков и скверов; все эти работы производились в широких масштабах с привлечением наименее приспособленной к жизни части населения, чтобы не дать ей сойти с пути, а более молодые и способные были направлены в школы, где им выплачивали пособие и обучали их обращению с новыми атомными механизмами... Так Совет мало-помалу невольно приступил к преобразованию жизни города и промышленного производства, а в сущности, и всей социальной системы.

Идеи, когда на их пути не воздвигают препятствий политические интриги или соображения финансового порядка, приобретают необычайно стремительное и широкое распространение, и не прошло и года, как протоколы заседаний Совета со всей очевидностью показали, что он понял, какие колоссальные возможности открываются перед ним, и частично под своим непосредственным руководством, частично через специальные комитеты занялся созданием совершенно нового социального строя.

«В мире не может быть устойчивого социального порядка, и люди не могут чувствовать себя счастливыми, пока огромные части земного шара и большие категории людей находятся на другой стадии цивилизации, нежели преобладающая масса. Теперь уже такое положение, когда огромные группы людей находятся в неблагоприятном экономическом положении или не понимают принятой всем остальным миром социальной задачи, стало невозможным».

Вот так Совет сформулировал свое представление о проблеме, которую ему предстояло разрешить. Крестьянин, батрак и всякий земледелец, пользующийся примитивными способами труда, находились «в неблагоприятном экономическом положении» по отношению к более образованным и менее консервативным классам, и сама логика событий вынуждала Совет проводить систематическое вытеснение этого отсталого способа производства более эффективным. Совет разработал план перехода к «современной системе» земледелия во всем мире; эта система должна была дать каждому земледельцу полную возможность пользоваться всеми достижениями цивилизации, и такое вытеснение старого новым осуществлялось неуклонно и продолжает осуществляться по сей день. Основная идея современной системы заключается в замене индивидуального земледельца земледельческой гильдией и в полном отказе от деревенского образа жизни. Эти гильдии представляют собой союзы мужчин и женщин, получающих в совместное владение участок пахотной земли или пастбища и обязующихся производить определенное количество зерна, мяса или других продуктов сельскохозяйственного труда. Эти союзы, как правило, не велики, что дает возможность руководить их деятельностью на строго демократических началах, но вместе с тем и достаточно многочисленны, чтобы самим производить всю работу, за исключением времени уборки урожая, когда им оказывают помощь городские жители. Возле своих полей они строят летние домики, так как быстрота и дешевизна современных способов передвижения позволяют постоянно жить в ближайшем городе, где у них есть свои дома с общей столовой и клубом, и, кроме того, каждая гильдия обзаводится своим «домом гильдии» в столице государства или области. Благодаря этой

новой системе на огромных пространствах, где в старину с незапамятных времен преобладало «сельское» население, теперь от него не осталось и следа. И мало-помалу навсегда уходит в прошлое и замкнутая, косная жизнь одинокого фермера, и мелочные дрязги и обиды, зависть и недоброжелательство маленькой деревушки — все это скученное, полуживотное существование вдали от книг, от общественных интересов, в постоянном общении с коровами, свиньями, курами и их экскрементами. Скоро все это исчезнет окончательно. Даже в девятнадцатом веке это уже перестало быть неизбежным уделом человека, и только отсутствие коллективного сознания и воображаемая потребность в грубых, необразованных солдатах и производящем классе, стоящем на низшей ступени развития, помешали этому процессу произойти еще в ту эпоху...

И одновременно с преображением сельской жизни лагери для городского населения, созданные Советом в первый период его деятельности, тоже быстро преобразовывались — отчасти в силу сложившегося положения, отчасти по указаниям самого Совета — в города нового типа...

7

Для того, чтобы проиллюстрировать, каким образом кардинальные проблемы вынуждали Совет в Бриссаго браться за их разрешение, достаточно будет сказать, что прошел почти год, прежде чем Совет, и то с большой неохотой, приступил к созданию единого общего языка для всех народов мира, необходимость которого была очевидна. Совет, по-видимому, даже не стал рассматривать предложенные ему варианты искусственно созданного универсального языка. Он хотел как можно меньше усложнять жизнь простых, обремененных заботами людей, а широкое распространение английского языка во всем мире с самого начала подкупило их в его пользу. Исключительная простота английской грамматики также говорила сама за себя.

Ради того, чтобы английская речь могла зазвучать во всех уголках мира, народам, говорящим на этом языке,

пришлось пойти на некоторые жертвы. Язык лишился целого ряда грамматических особенностей, в частности старых форм сослагательного наклонения и большинства неправильных образований множественного числа; правописание было упорядочено и приспособлено к гласным, существующим в других европейских языках, после чего начался процесс заимствования иностранных имен существительных и глаголов, чрезвычайно быстро достигший колоссальных размеров. Через десять лет после создания Всемирной Республики «Словарь Нового Английского Языка» так разросся, что уже включал в себя двести пятьдесят тысяч слов, так что человеку, жившему в 1900 году, было бы совсем нелегко прочесть обыкновенную газету.

И в то же время люди новой эпохи по-прежнему могли оценить достоинства старой английской литературы...

Единообразие было введено и в других областях, имевших не столь принципиальное значение. Стремление к всеобщему взаимопониманию и облегчению всякого рода общения и связей, естественно, повлекло за собой принятие повсюду метрической системы весов и мер и уничтожение многочисленных отличных друг от друга календарей, чрезвычайно затемнявших до последнего времени хронологию. Год был разделен на тринадцать месяцев, по четыре недели в каждом, а День Нового Года и День Високосного Года, объявленные праздниками, не входили в счет обычных недель. Так системе месяцев и недель была дана четкость и стройность. Помимо этого, было решено, как выразился в разговоре с Ферминым король, «пригвоздить к месту пасху».

В этих вопросах, как и во многих других, новая цивилизация проявляла себя в форме упрощения сложностей старой. История календаря на протяжении всей мировой истории представляет собой несовершенные попытки его упорядочить — восходившие к седой древности попытки зафиксировать время посева и день зимнего солнцестояния,— и это окончательное упорядочение календаря имело чисто символическое значение, выходящее далеко за пределы практического удобства. Однако Совет не позволял себе слишком резких нововведений; он не переименовал месяцев и не изменил летосчисления.

Во всем мире уже была принята единая монетная система. В течение нескольких месяцев после того, как Совет взял власть в свои руки, мир существовал без какой-либо твердой валюты. Деньги еще были в ходу на довольно больших пространствах, но достоинство их колебалось самым фантастическим образом, как и доверие к ним населения. Золото перестало быть, как прежде, редким металлом, и вся денежная система рухнула. Золото навсегда превратилось теперь в продукт отхода в процессе высвобождения атомной энергии, и стало ясно, что уже ни один металл не сможет больше послужить основой денежной системы. С этой минуты любые денежные знаки имели лишь условную стоимость. Однако мир привык иметь дело с металлической монетой, связи и взаимоотношения между людьми в огромной мере выросли и зиждились на основе наличных расчетов и были почти непредставимы без участия этого чрезвычайно удобного посредника. Для продолжения жизни человеческого общества как социального организма казалось совершенно необходимым существование денежного обращения в том или ином виде, и перед Советом встала задача найти какую-то подлинную ценность, которая могла бы послужить базисом денежной системы. Были рассмотрены такие, казалось бы, устойчивые ценности, как земля и труд, выраженный в часах. Наконец правительство, в руках которого были теперь сосредоточены почти все запасы атомного сырья, объявило золотой соверен единицей денежного обращения, приравняв его стоимость к определенному количеству единиц энергии и установив одновременно, что один соверен равен двадцати маркам, двадцати пяти франкам, пяти долларам и так далее; оно также приняло на себя обязательство при соблюдении определенных условий отпускать в виде обеспечения указанное количество энергии за каждый предъявленный золотой соверен. В целом эта система оправдала себя. Фунт стерлингов избежал полной девальвации. Репутация металлических денег была восстановлена, и после некоторого колебания цен деньги в их привычном наименовании снова начали входить в употребление и приобретать более или менее устойчивые эквиваленты в повседневном обиходе людей...

8

Когда Совет в Бриссаго увидел, что задуманные как временные поселения лагери быстро превращаются в большие города нового типа и он, таким образом, волей-неволей перестраивает мир, решено было дело перераспределения городского населения земного шара передать в руки координатора и специального комитета из наиболее квалифицированных людей. Теперь этот комитет является всемирным правительством в гораздо большей мере, чем сам Совет или любой другой из его комитетов. Деятельность этого комитета — непрекращающаяся активная планировка и перепланировка мира как места обитания людей, — истоки которой, почти неприметные вначале и носившие название «градостроительства», следует искать где-то не то в Европе, не то, в Америке конца девятнадцатого столетия (вопрос этот окончательно еще не решен), представляет теперь собой, так сказать, коллективную материальную деятельность всего человечества в целом. Пришло к концу стихийное беспорядочное расселение и перемещение народов (столь же бесцельное и неосмысленное, как растекание в разные стороны выплеснутой на землю воды), занимавшее огромное место в истории человечества на протяжении бессчетного количества веков и приводившее здесь к перенаселению, там — к нескончаемым опустошительным войнам и повсюду — к хаотичности, в лучшем случае колоритной, но крайне неудобной. Теперь люди расселяются по всем годным для жизни уголкам земли, и помогает им в этом все человечество в целом всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Города не привязаны больше к проточной воде и плодородным землям, стратегические соображения не играют больше роли при их постройке и планировании, так же как и вопросы социальной неустойчивости. Аэроплан и очень дешевый быстроходный автомобиль положили конец прежним торговым путям; единый язык и единые для всего мира порядки и законы уничтожили тысячи всевозможных затруднений и неудобств, в результате чего началось небывалое расселение людей по всей земле. Человек получил возможность жить где угодно. Вот почему наши города теперь представляют собой не случайные скопления людей, а под-

линно общественные поселения, обладающие каждое своими отличительными особенностями, объединенные общими интересами и нередко общим родом занятий. Они разбросаны среди бывших пустынь — этих водоемов солнца, которые на протяжении стольких веков были потеряны для человечества, они устремляются ввысь среди вечных снегов, прячутся на далеких островах, в океане, нежатся на берегах глубоких лагун. На первых порах все человечество стремилось покинуть долины рек, служившие ему колыбелью полмиллиона лет, но теперь, когда Война с Мухами близка к завершению и эти тлетворные насекомые уничтожены почти все до единого, люди начинают возвращаться на прежние места, так как их снова потянуло к опоясанным ручьями садам, к жизни, так приятно протекавшей среди островов, гондол и мостов, к ночным огням фонарей, отраженным в воде залива.

Человек, перестающий быть животным, занятым обработкой земли, все более и более превращается в строителя, путешественника и творца. Из Отчетов Комитета Расселения видно, насколько человек перестает быть земледельцем. Из года в год наши научные лаборатории упрощают труд земледельца и повышают его производительность; менее одного процента населения земного шара занято сейчас производством продуктов питания, да и эта цифра неуклонно уменьшается. Количество людей, обладающих образованием и склонностями земледельца, значительно превышает общественную потребность в них, и труд их теперь обращен на возделывание садов, парков, газонов и обширных великолепных цветников, которые занимают в нашей жизни все больше и больше места. По мере усовершенствования методов земледелия растет урожай, и одна сельскохозяйственная организация за другой решает, пользуясь постановлением 1975 года, превратить свои поля в общественный парк и сады увеселений. Таким образом, неуклонно увеличивается пространство, отданное свободному времяпрепровождению и красоте. И победы ученых-химиков, создающих синтетические продукты питания, пока еще не находят себе практического применения просто потому, что питаться естественными продуктами и выращивать их гораздо приятнее и интереснее. И с каждым годом все раз-

нообразней становятся сорта наших фруктов и все прекрасней наши цветы.

9

В первые годы существования Всемирной Республики имели место рецидивы разного рода политических авантюр. Небезынтересно отметить, что после гибели короля Фердинанда-Карла попыток возродить сепаратизм больше не замечалось, но когда самые насущные материальные потребности населения были удовлетворены, в ряде стран появились очень малопохожие люди, в действиях которых было нечто общее: все они стремились воскресить былые политические неурядицы, чтобы с их помощью достичь высокого положения и влияния. Ни один из этих авантюристов не пытался выступить от имени короля, откуда явствует, что монархизм успел устареть еще в девятнадцатом веке, но все они играли на пережитках националистических и расовых предрассудков, которых было немало в любой стране, и не без известного основания утверждали, что Совет попирает расовые и национальные обычаи и не считается с религиозными установлениями. Равнины Индии особенно изобиловали такого рода агитаторами. Возрождение газет, переставших печататься в страшный год из-за краха денежной системы, дало оружие в руки недовольных и помогло им организоваться. Вначале Совет не придавал значения растущей оппозиции, а затем признал ее с обезоруживающей прямотой.

Разумется, еще никогда не существовало столь условного правительства. Оно было на редкость незаконным. В сущности, это скорее был клуб — клуб из ста или около того человек. Вначале их было девяносто три, но это число впоследствии увеличилось за счет привлечения новых членов, количество которых всегда превышало количество умерших, так что одно время Совет состоял даже из ста девятнадцати членов. Состав его был неизменно разнороден. Привлечение новых членов никогда не основывалось на признании чьих-либо прав. Старый институт монархии неожиданно сослужил свою службу новому режиму. Девять членов первоначального состава нового правительства были коронованными особами, добровольно

отрекшимися от трона, и никогда потом число представителей былых династий не падало ниже шести. Если они и два-три бывших президента республики обладали хоть какой-то тенью права на власть, то все остальные члены Совета не имели уже решительно никаких прав на участие в управлении миром. Естественно поэтому, что их противники легко находили общий язык в вопросе о возрождении представительного правительства и возлагали большие надежды на возвращение к парламентской системе.

Совет решил дать недовольным все, чего они требовали, однако в такой форме, которая мало отвечала их намерениям. В мгновение ока он превратился в представительный орган. Он стал даже сверхпредставительным. Он стал столь представительным, что все политиканы захлебнулись в потоке избирательных голосов. Все взрослое население обоих полов от Южного полюса до Северного получило право голоса; весь земной шар был разделен на десять избирательных округов, которые голосовали в один и тот же день с помощью весьма простого усовершенствования почтовой связи. Члены правительства избирались пожизненно и могли быть отозваны только в исключительных случаях, но раз в пять лет проводились новые выборы и в правительство дополнительно избирались еще пятьдесят человек. Была принята система пропорционального представительства и прямого голосования, причем избиратель имел также право указать на избирательном бюллетене в специально отведенной для этого графе, кого именно из своих представителей он хотел бы отозвать. Однако, чтобы отозвать выборное лицо, требовалось такое же количество голосов, каким оно было избрано, а для членов правительства первого состава — столько же голосов, сколько дали результаты первых выборов по любому избирательному округу.

На этих условиях Совет охотно отдал свою судьбу в руки избирателей всего земного шара. Ни один из членов Совета не был отозван, а пятьдесят новых избранных его коллег, из которых двадцать семь имели рекомендации самих членов Совета, были слишком разнородны по своему составу, чтобы изменить общее направление его политики. Отсутствие каких-либо обязательных процедур

или формальностей не давало возможности устроить обструкцию внутри него, и когда один из двух новых членов-индийцев, сторонников внутренней автономии, спросил, как можно внести законопроект, он узнал, что законопроекты вообще не вносятся. Индийцы решили обратиться к спикеру и удостоились выслушать немало мудрых поучений из уст бывшего короля Эгберта, принадлежавшего теперь к старожилам Совета. Все это ошеломило их раз и навсегда...

Но в эти дни работа Совета уже близилась к концу. Его усилия были теперь направлены не столько на дальнейшую созидательную деятельность, сколько на охрану уже достигнутых результатов, защиту их от театральных эффектов политиканов.

Человечество все более и более освобождалось от необходимости подчиняться какому-либо официальному правительству. Деятельность Совета на первоначальной ступени была высоко героична. Он вышел на смертный поединок с драконом и одним ударом разрубил хитросплетенный клубок устарелых понятий и нелепых, неуклюжих, порожденных завистью законов собственности; он разработал широкую и благородную систему охранительных институтов, обеспечил свободу пытливости мысли, свободу критики, свободу общения, единую основу для воспитания и образования, а также освобождение от экономического гнета.

Совет все больше и больше становился скорее залогом надежности достигнутого, чем фактором активного вмешательства. До наших дней не сохранилось ничего, что хотя бы в какой-то мере напоминало ту атмосферу мелочных споров и распрей, в которой не столько создавалось, сколько усложнялось и запутывалось законодательство и которая являлась, пожалуй, наиболее ошеломляющей чертой всей общественно-политической жизни девятнадцатого столетия. В том веке люди, по-видимому, только и делали, что издавали законы, в то время как мы в подобном случае просто по мере надобности изменяли бы некоторые установления. Эта деятельность по изменению установлений, которую мы поручаем ученым комитетам специального назначения, обладающим необходимыми познаниями и идущим в ногу с общим процессом интеллектуального развития общества в целом, находилась в де-

вятнадцатом веке в сетях законодательной системы. У них шли споры по мелочам. В наше время это столь же странно, как спорить из-за незначительных приспособлений какой-нибудь сложной машины. Для нас теперь так же ясно, что жизнь должна протекать в рамках известных законов, как то, что день должен сменяться ночью. И наше правительство собирается теперь на день-два один раз в году в залитом солнцем Бриссаго, когда расцветают лилии святого Бруно,— собирается, в сущности, только для того, чтобы благословить деятельность своих комитетов. И даже сами эти комитеты, в свою очередь, теперь уже скорее являются носителями общественных идей, нежели инициаторами. Становится все труднее выделять из общей массы отдельные руководящие личности. Мало-помалу значение отдельной личности для нас стирается. Каждая хорошая мысль служит теперь общему делу, и каждый одаренный мозг находит себе применение в сфере того широкого и свободного содружества людей, которое сливает воедино и направляет к единой цели энергию и волю всего человечества.

10

Вряд ли когда-нибудь вновь вернется тот этап развития общества, когда «политика», иначе говоря, своевольное вмешательство в здравые установления общественного характера, была главным интересом в жизни серьезных людей. Мы, по-видимому, уже вступили в совершенно новую в истории фазу, когда соперничество — в отличие от соревнования — почти сразу из движущей силы человеческого существования превратилось в нечто позорное, подавляемое и уничтожаемое. Профессии, основанные на соперничестве, перестали быть почетным занятием. Мир между отдельными нациями принес с собой и мир между отдельными людьми. Мы живем в обществе, достигшем совершеннолетия. Человек-воин, человек-законник уходят в область небытия вместе со всем тем, что насаждало распри и раздор; на смену этим пережиткам варварских, низких страстей приходит мечтатель, человек-ученый, человек-художник.

Нет жизни, которую можно было бы назвать единственно естественной для человека. Он был и остает-

ся лишь вместилищем разнообразных и даже несовместимых возможностей — древним свитком, на котором налагается друг на друга множество предрасположений. В начале двадцатого столетия многие писатели имели обыкновение говорить о конкуренции, о замкнутой, узкой жизни, посвященной стяжательству, накоплению, о подозрительности и отчужденности так, словно все это воплощало основные свойства человеческой натуры, а широта ума, стремление не к обладанию, а к созиданию были уклонением от нормы, к тому же весьма поверхностным. Насколько эти писатели были неправы, стало ясно в первые же десятилетия после установления Всемирной Республики. Как только мир был освобожден от огрубляющей душу неуверенности в завтрашнем дне, от бессмысленной борьбы за существование, разобщающей людей и поглощающей личность, стало совершенно очевидно, что в людях, в огромном их большинстве, живет задавленное стремление к созиданию. И мир начал созидать — сначала преимущественно в эстетическом плане. Эта эра в истории человечества, удачно названная «Цветением», еще не закончилась. Большинство населения земного шара состоит сейчас из художников в широком смысле этого слова, и в основном деятельность людей направлена уже не на то, чтобы создавать повседневно необходимое, а на то, чтобы улучшить, украсить, одухотворить жизнь. В последние годы этот созидательный процесс претерпел значительные изменения. Он стал более целенаправленным; первоначальное стремление к изяществу и красоте уступило место большей углубленности, выразительности. Но это не меняет существа самого процесса, это скорее вопрос оттенков. Перемены эти связаны с расширением и углублением образования и развитием философии. На смену первым безотчетно-ликующим взлетам фантазии пришли более осознанные и более плодотворные творческие порывы. Во всем этом есть естественная закономерность, ибо искусство приходит к нам раньше науки, как удовлетворение насущных потребностей приходит раньше искусства и как игра и развлечение возникают в жизни человека прежде, чем достижение сознательно поставленной перед собой задачи...

На протяжении тысячелетий накапливалось в человеке это стремление к творческой деятельности, борясь против ограничений, поставленных перед ним его социальной неприспособленностью. Этот уголек тлел давно, и наконец пламя вспыхнуло и вырвалось наружу. Летописи и памятники, оставшиеся нам от наших предков, необычайно трогательно и трагично свидетельствуют об этом извечно подавляемом стремлении создать что-то. В мертвой зоне погибшего под атомными бомбами Лондона еще сохранился квартал маленьких особнячков; он дает довольно яркое представление о старом укладе жизни. Эти домики чудовищны, однообразны, квадратны, неуклюжи, придавлены к земле, уродливо несоразмерны в своих частях, неудобны для жилья, грязны и в некоторых отношениях просто омерзительны; только люди, доведенные до отчаяния, потерявшие всякую надежду на что-либо лучшее, могли жить в таких домах; однако к каждому из этих жилищ примыкает жалкий маленький прямоугольник земли, именуемый «садом», где почти всегда можно обнаружить подпорку для веревки, на которой сушилось белье, мерзейший ящик с отбросами и урну, доверху набитую яичной скорлупой, золой и прочим мусором. Теперь, когда этот район можно посещать почти без всякого риска, так как лондонская радиация уже настолько потеряла силу, что практически почти не имеет значения, мы в каждом таком «саду» обнаруживаем стремление что-то создать. В одном это будет жалкая маленькая дощатая беседка, в другом — сложенный из кирпича «фонтан», украшенный ракушками, в третьем — нечто вроде «мастерской», в четвертом — «грот». И в каждом жилище вы увидите жалкие дешевые украшения, неуклюжие статуэтки, неумелые рисунки. Все эти усилия украсить жизнь выглядят невероятно нелепо, словно они созданы человеком с повязкой на глазах; у впечатлительного наблюдателя они могут вызвать почти такое же мучительное чувство жалости, как нацарапанные на стене рисунки, которые мы порой находим в старых тюрьмах; однако они существуют, и все они говорят о задавленных созидательных инстинктах, рвущихся на свободу. Наши бедные предки ощупью, в потемках стремились обрести эту радость творче-

ского самовыражения, которую принесла нам наша свобода...

В былые времена одно стремление было общим для всех простых душ—обладать небольшой собственностью, клочком земли, обособленно стоящим домиком, словом, тем, что англичане называли «независимым положением». И это стремление к собственности и независимости было так сильно в людях, очевидно, именно потому, что в нем осуществлялась их мечта к самовыражению. Это было творчество, это была игра, это была возможность сделать что-то свое, отличительное, не похожее на других и получить от этого наслаждение. Собственность всегда была только средством к достижению цели, а скупость — извращением благородного инстинкта. Обладание было нужно людям, чтобы свободно творить. Теперь, когда каждый имеет возможность уединиться в своем собственном жилище, это стремление к обладанию получило новое выражение. Люди приобретают знания, и трудятся, и накапливают ценности для того, чтобы оставить после себя ряд прекрасных панно в каком-нибудь общественном здании, ряд статуй на какой-нибудь террасе, или в роще, или в павильоне. Иные стараются проникнуть в какую-нибудь тайну природы, посвящают себя разгадке еще не раскрытых таинственных явлений с той же страстью, как некогда люди посвящали свою жизнь накоплению богатств. Труд, бывший когда-то основой общественной жизни человека — ибо большинство людей тратило всю свою жизнь на то, чтобы заработать себе на пропитание,— для современного человека не большее бремя, чем тот заплечный мешок с провизией, который брал с собой в старину альпинист, решив подняться на вершину горы. В наш век просвещения и изобилия не имеет значения то, что большинство людей, внесших свой вклад в общее дело, не создает ни новой мудрости, ни новой красоты, а просто занято тем или иным приятным и веселым видом деятельности, который помогает им ощущать полноту жизни. Быть может, и они приносят свою пользу тем, что воспринимают окружающее и откликаются на него, и так или иначе они ничему не мешают...

11

Все эти гигантские перемены в человеческой жизни во всех ее аспектах, которые происходят вокруг нас, перемены столь же стремительные и чудесные, как переход юноши из полуварварского состояния подростка к зрелости мужчины, сплетены воедино с переменами нравственного и духовного порядка, почти столь же грандиозными и беспрецедентными. И дело не в том, что старое уходит из жизни и в нее приходит новое, а скорее в том, что изменившиеся обстоятельства в жизни людей пробуждают все, что было заглушено в душе человека, и подавляют то, что, будучи чрезмерно поощряемым, получало чрезмерное развитие. Человек не столько вырос и изменил свою натуру, сколько повернулся к свету своей другой стороной. Это явление наблюдалось и раньше, но не в таком масштабе. Так, например, в семнадцатом веке шотландские горцы были кровожадными и жестокими разбойниками, а в девятнадцатом веке их потомки отличались высокой честностью и порядочностью. В начале двадцатого столетия в Западной Европе не существовало народа, который был бы, казалось, способен на гнусную массовую резню, и в то же время любой из них был в ней повинен на протяжении предыдущих двух столетий. Утонченная, беззаботная, дышащая благородством жизнь привилегированных классов любой европейской страны в годы, предшествующие последним войнам, протекала в сфере совсем иных мыслей и чувств, нежели замкнутое, тусклое, исполненное черствости и подозрительности существование респектабельных бедняков или примитивные чувства самых низших слоев населения, среди которых властвовали грубая сила, убожество и первобытные страсти. Однако между этими тремя мирами не существовало исконных, принципиальных различий; все зависело только от среды, образа мыслей, традиций. Если же обратиться к отдельным примерам, то свидетельством разнообразных возможностей, заложенных в природе одного человека, может послужить разительное различие в жизни, которую вел религиозный фанатик до и после своего обращения к богу.

Атомная катастрофа не только выгнала людей из городов, оборвала их деловую деятельность и экономические связи — она разрушила их старинный, устойчивый образ мыслей, уничтожила предрассудки и понятия, некритично унаследованные от предков. Выражаясь языком прежних химиков, начался новый «процесс возникновения»; люди были освобождены от всех прежних уз, и им предстояло заменить их другими, которые могли оказаться и хорошими и дурными.

Совет указал им путь к добру. Король Фердинанд-Карл, если бы его бомбы достигли своего назначения, быть может, вновь сковал бы человечество бесконечной цепью зла. Но осуществить эту задачу ему было бы труднее, чем Совету — свою. Нравственное потрясение — результат атомных взрывов — было огромно, и на какой-то срок темные стороны человеческой натуры победило искреннее убеждение в настоятельной необходимости радикальных перемен. Дух наживы и дух сутяжничества жалко съежились, испуганные делом своих рук. Перед лицом небывало страстного стремления к новым идеалам мало кто рисковал искать для себя мелкой личной выгоды, а когда эти плевелы начали прорастать снова и всяческие «притязания» поднимать голову, почва, в которую они попали, оказалась каменистой и неплодородной, ибо были уже реформированы законодательство и суд, и новые законы не оглядывались на отжившее прошлое, а были обращены в будущее, и жаркое солнце преображенного мира выжигало сорняки. Возникла новая литература, по-новому осмысливалась история, в школах уже учили по-новому, и новые идеалы прочно овладели молодыми сердцами. Почтенный делец, который, предвосхитив строительство нового научно-изыскательского поселка на холмах Сассекса, скупил там всю землю, был высмеян и изгнан из суда, когда он попытался потребовать за нее какой-то неслыханной компенсации, а обладатель сомнительного патента Дасс в последний раз появляется на страницах истории в качестве обанкротившегося владельца газеты «Где справедливость?», в которой он требует от человечества уплаты долга в размере ста миллионов фунтов. Та-

ким образом, представление хитроумного Дасса о справедливости сводилось к убеждению, что ему обязаны ежегодно выплачивать пять миллионов фунтов, поскольку он сумел присвоить себе частицу открытия Холстена. Дасс в конце концов непоколебимо уверовал в свои права, заболел манией преследования и скончался в частной психиатрической лечебнице в Ницце. Произойди все это в Англии в начале двадцатого столетия, оба эти человека, несомненно, оказались бы владельцами несметного богатства и титула баронета, и совершенно иная их участь выражает существо новой эры.

Новое правительство очень быстро поняло необходимость единого всеобщего образования, без которого человечество было бы неспособно воспринять идею единого всемирного управления. Оно не стало прямо нападать на национальные, местные и сектантские формы религии, превращавшие в те годы мир в лоскутное одеяло, сшитое из ненависти и недоверия; оно предоставило религиозным организациям искать путь к богу на свой лад, но объявило как чисто светскую доктрину требование уважения ко всем и необходимость для каждого поступаться личным во имя общего блага; оно возродило школы во всех уголках земли и учредило новые, и в каждой школе изучалась история войны, а также последствия и нравственный урок Последней Войны, и внушалась одна мысль, внушалась не как чье-то мнение, а как непреложный факт: спасение мира от вражды и гибели — общественный долг и прямая задача каждого мужчины и каждой женщины на земле. Все эти идеи, ставшие для нас теперь самыми элементарными, самыми банальными истинами, представлялись членам Бриссагского Совета, когда они впервые отважились обнародовать их, необычайно смелыми открытиями, способными воспламенить души.

Провести реформу образования Совет поручил комитету, в который вошли и мужчины и женщины, и он проводил эту работу на протяжении нескольких десятилетий чрезвычайно эффективно и с большим размахом. Этот комитет образования, дополняя деятельность комитета перераспределения населения, занимался и

продолжает заниматься по сей день вопросами нравственно-духовного порядка. И самым выдающимся деятелем этого комитета, а по существу — и довольно долгое время,— руководителем его был некий русский по фамилии Каренин, выделявшийся еще и тем, что он был калека от рождения. Тело этого человека было так согнуто, что он едва мог передвигаться; с годами он стал испытывать все более тяжкие страдания и должен был в конце концов подвергнуться двум операциям. Второй операции он не перенес. Всякого рода уродства, имевшие настолько широкое распространение в средние века, что калека-нищий непременно сыскался бы в любой толпе как неотъемлемая и характерная ее особенность, в новом мире становились редкостью уже в те годы. И уродство Каренина довольно странно воздействовало на его коллег: их отношение к нему было окрашено жалостью и некоторой отчужденностью. Преодолеть это ощущение могла привычка, а не доводы рассудка.

У Каренина было волевое лицо с глубоко посаженными небольшими, но ясными карими глазами и крупным, решительным тонкогубым ртом, желтая морщинистая кожа и черные с сильной проседью волосы. Он был нетерпелив, а порой даже терял над собой контроль и сердился, но его вспышки ему легко извиняли: ведь страдание, как огонь, вечно жгло его тело. Под конец его жизни престиж этого человека был очень высок. Ему более, чем кому-либо из его современников, обязаны мы тем духом самоуничижения, тем отождествлением себя со всем обществом, которое легло в основу единого образования. Всемирно известное обращение ко всем педагогам земного шара, являющееся как бы ключом ко всей современной системе образования, быть может, целиком вышло из-под его пера.

«Тот, кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее,— писал Каренин.— Таков девиз, начертанный на печати, скрепившей этот документ, и такова наша исходная позиция во всем, что нам предстоит сделать. Было бы ошибкой видеть в этом что-либо иное, кроме простого утверждения факта. Это должно лечь в основу вашей работы. Вы должны учить забывать своекорыстные интересы, и все остальное, чему вы будете учить, должно быть подчи-

нено этой задаче. Образование и воспитание — это освобождение человека от самого себя. Вы должны расширять кругозор ваших воспитанников, поощрять и развивать их любознательность и их творческие порывы, поддерживать и углублять их альтруистические чувства. Вот в чем ваше призвание. Руководимые и направляемые вами, они должны сбросить с плеч наследие ветхого Адама — инстинктивную подозрительность, враждебность, неистовость страстей—и обрести себя заново как частицу необъятной вселенной. Тесный замкнутый круг эгоизма должен распасться, раствориться в мощном стремлении к единой общечеловеческой цели. И все то, чему вы будете учить других, вы должны скрупулезно постигать сами. Философия, наука, искусство, все виды мастерства, общественная деятельность, любовь — вот в чем спасение от одиночества эгоистических желаний, от тягостного погружения в самого себя и в свои личные взаимоотношения, которое является проклятием индивидуума, изменой человечеству и отступничеством от бога...»

12

Когда дела и события достигают полного завершения, только тогда можно постичь их смысл и значение. Теперь, в наш новый век, оглядываясь назад, мы можем с полным пониманием охватить все расширяющийся поток литературы. Смыкаются казавшиеся прежде разобщенными звенья единой цепи, и то, что подвергалось когда-то осуждению как жестокое и бесцельное, предстает перед нами теперь факторами единой гигантской проблемы. Огромная часть наиболее правдивых творений человеческого духа восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого столетий неожиданно оказывается совершенно единодушной в своей сущности; они предстают перед нами как бесконечное сплетение вариаций на одну и ту же тему, тему борьбы эгоистических страстей и узости кругозора, с одной стороны, и растущего сознания более широких потребностей и менее замкнутого существования — с другой.

Этот конфликт присутствует, например, даже в таком раннем сочинении, как «Кандид» Вольтера, где стремление не только к счастью, но и к высшей справедливости разбивается о противодействие людей и вынуждено в конце концов найти весьма неубедительное удовлетворение в малом. «Кандид» был одним из первых сочинений среди бесконечного множества книг, наполненных глухим протестом, тревогой, жалобой. Романы, особенно романы девятнадцатого столетия, если оставить в стороне чисто развлекательную литературу, свидетельствуют об этом тревожном осознании происходящих перемен, зовущих к действию, и об отсутствии этих действий. Перед нами проходит целый сонм этих видений; на тысячу ладов — то шутливо, то трагично, то с нелепой аффектацией олимпийского безразличия — они повествуют о жизни, протекающей в мучительном разладе между мечтой и узкими рамками действительности. Мы то смеемся, то плачем, то недоумеваем, погружаясь в этот подробный и непреднамеренный отчет о том, как мужавший дух человека порой осторожно, порой страстно, порой озлобленно и всегда, по-видимому, безуспешно пытался приспособиться к своим заплатанным, обветшалым одеждам, неудобство которых приводило его в ярость. И всегда, во всех этих книгах, лишь только вы начинаете приближаться к сути дела, как вас постигает разочарование, и автор словно уклоняется от самого главного. Одна из самых нелепых условностей того времени заключалась в том, что писатель не должен был касаться религии. В противном случае он рисковал навлечь на себя ревнивую ярость великого множества профессиональных религиозных наставников. Можно было констатировать существующий разлад, но запрещалось искать каких бы то ни было путей к примирению. Религия была привилегией церкви...

И не только беллетристические произведения избегали касаться религии. Ее игнорировали газеты; ее тщательно обходили при обсуждении различных деловых вопросов, и во всех общественных делах она играла ничтожную, жалкую роль. И продиктовано это

было не презрением к религии, а почтением к ней. Древние религиозные институты все еще пользовались у людей таким большим уважением, что приложение религии к повседневной жизни казалось им кощунством. Это странное отчуждение религии продолжало существовать и в начале новой эры. Ясный ум Марка Каренина в значительно большей мере, чем влияние других его современников, помог возвратить религию простой человеческой жизни. Каренин воспринимал религию без каких-либо иллюзий, без суеверного трепета, как нечто простое и обычное, столь же необходимое для человека и для благополучия Республики, как воздух и пища, земля и энергия. Он видел, что религия, в сущности, уже сама вырвалась из оков церковных иерархий, храмов и символов, в которые пытались заключить ее люди, и уже тайно и неосознанно способствует всеобщему принятию новой, более высокой ступени развития человеческого духа. И он дал этой тенденции более ясное выражение, приспособил ее к свету и далям новой зари...

Но если мы возвратимся к беллетристике, чтобы постичь дух того времени, и будем знакомиться с ней в хронологическом порядке — насколько теперь удалось его установить,— то станет очевидно, что писатели в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия уже гораздо острее ощущают происходящие в общественной жизни перемены, чем их предшественники. Первые прозаики пытались изображать «жизнь, как она есть»; писатели более позднего времени показывали жизнь в ее видоизменениях. Все чаще и чаще их персонажи либо пытаются приспособиться к происходящим в мире переменам, либо страдают в результате этих перемен. И чем ближе к эпохе Последних Войн, тем все отчетливее становится эта новая концепция повседневной жизни как приспособления к беспрерывно ускоряющемуся развитию. Книга Барнета, сослужившая нам столь хорошую службу, совершенно откровенно показывает мир, подобный кораблю, гонимому ветром по волнам. Писатели начала нашей эпохи открывают перед нами бесконечную галерею индивидуальных конфликтов — столкновения старых обычаев, привычек, ограниченных идеалов, мелких характеров и врожденных предрассудков с новы-

ми широкими возможностями, которые открыла нам жизнь. Они описывают чувства стариков, вырванных из привычного окружения и принужденных мириться с непривычным для них комфортом, с которым они никак не могут освоиться. Они показывают нам разлад между откровенным эгоизмом юности и еще недостаточно четко определившимися требованиями меняющихся социальных условий. Они рассказывают нам о стремлении захватить и изуродовать наши души, о романтических неудачах и трагических заблуждениях тех, кто не понял, куда стремится мир, о дерзании и любопытстве и о том, как они внесли свою лепту в общее стремление к одной цели. И все их повествования кончаются рассказом либо об утраченном счастье, либо о счастье завоеванном, либо о гибели, либо о спасении. И чем зорче глаз художника и тоньше его искусство, тем глубже проникающая его произведение убежденность, что мир может быть спасен. Ибо все жизненные пути ведут к религии для тех, кто пойдет по ним достаточно далеко...

Людям старой эпохи показалось бы странным, что вопрос о том, является ли наш мир целиком христианским или совершенно нехристианским, до сих пор остается нерешенным. Во всяком случае, мы, несомненно, сохранили дух христианства, хотя и отбросили многие его временные формы. Христианство было первым проявлением мировой религии, первым полным отрицанием племенного духа распрей, войн. То, что вскоре оно восприняло ритуалы более древних религий, не меняет дела. Человеческому разуму пришлось пройти через две тысячи лет испытаний, чтобы постичь наконец, какие здравые истины скрыты в давно известных и приевшихся заповедях христианской веры. Мыслитель-социолог, по мере того как он все шире и шире постигает нравственные проблемы общественной жизни, неизбежно приходит к учению Христа, и так же неизбежно христианин, по мере того как он учится мыслить, приходит к Всемирной Республике. А что касается притязаний различных сект, проблем наименования и преемственности, то мы живем в эпоху, которая освободилась от подобных пут.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАРКА КАРЕНИНА

1

Вторую операцию Марку Каренину сделали в новой хирургической больнице, расположенной в Паране, высоко в Гималаях над ущельем, где Сатледж покидает Тибет.

На земле нет ничего равного дикой красоте здешней природы. С любого места гранитной террасы, опоясывающей с четырех сторон невысокие корпуса лабораторий, открывается вид на горы. Внизу, прячась от глаз в синей глуби ущелья, кипит река, пробиваясь к густонаселенным равнинам Индии. Но ее яростный рев не долетает сюда и не нарушает торжественного безмолвия этих высот. По склонам синего ущелья растут гигантские гималайские кедры, но с высоты они кажутся лишь пятнышками мха, а за ущельем на огромном пространстве громоздятся исхлестанные ветрами, исполосованные снежными лавинами многоцветные скалы с вершинами, обточенными в шпили. Эти скалы — северная оконечность ледяной и снежной горной пустыни, которая к югу возносится все выше и выше, становясь все более дикой и неприступной, и увенчивается высочайшими вершинами нашей планеты — Дхаулагири и Эверестом. Здесь высятся утесы, подобных которым нет нигде на земле, и разверзаются пропасти, столь глубокие, что на дне их можно было бы спрятать Монблан. Ледники здесь огромны, как внутренние моря, и столь густо усыпаны огромными валунами, что на них под ничем не заслоненными солнечными лучами распускаются странные мелкие цветы. На севере, закрывая от взора плоскогорье Тибета, устремляется ввысь эта фарфоровая цитадель, этот готический собор — Риво-Парджул, он возносит над рекой свои стены, башни, шпили — двенадцать тысяч футов пестрых зубчатых скал. А за ним — и на востоке и на западе — в синее гималайское небо уходят бесчисленные вершины. И где-то внизу застыла гряда облаков, несущих Индии дождь и остановленных невидимой рукой.

Сюда, с быстротой сновидения пролетев над ирригационными сооружениями Раджпутаны, над куполами и башнями Верхнего Дели, прибыл Каренин, и сбившиеся в кучу крошечные здания (хотя высота южных стен их равна почти пятистам футам) показались ему, когда аэроплан, снижаясь, кружил над ними, детской игрушкой, затерянной среди горной пустыни. Сюда не было проложено дорог — единственным средством сообщения служил аэроплан.

Аэронавт посадил аэроплан посреди просторного двора, и Каренин с помощью своего секретаря спустился на землю, держась за распорки крыла, и направился к группе людей, пришедших его встретить.

Здесь, вдали от шума и всяческих источников инфекции, среди вечного покоя, был создан оплот хирургии для научных опытов и врачевания. Уже само здание показалось бы весьма необычным тому, кто привык к непрочной архитектуре в ту эпоху, когда энергия была еще непомерно дорога. Здание было сложено из гранита; его необычайной крепости стены снаружи уже потрескались от мороза, но внутри они были отполированы. В лабиринте мягко освещенных комнат стояли блистающие чистотой столы с лабораторными приборами, а на операционных столах лежали инструменты из латуни, очень тонкого стекла, платины и золота. Со всех концов земли сюда съезжались мужчины и женщины изучать хирургию или проводить экспериментальную работу. Все они носили одинаковую белую форменную одежду и питались за общим столом; больные же помещались в верхних этажах зданий и обслуживались медицинскими сестрами и квалифицированными сиделками...

Первым с Карениным поздоровался Циана — ученый директор института. Рядом с ним стояла Рэчел Боркен — главный администратор.

— Вы устали? — спросила она.

Старик Каренин покачал головой.

— Нет, только ноги затекли,— сказал он.— Мне давно хотелось побывать в таком институте, как ваш.

Он говорил так, словно только это и привело его сюда.

Наступила короткая пауза.

— Сколько сейчас людей ведет здесь научную работу? — спросил Каренин.

— Триста девяносто два человека,— ответила Рэчел Боркен.

— А сколько больных и персонала?

— Две тысячи триста.

— Я буду больным,— сказал Каренин.— Я им вынужден стать. Но мне хотелось бы сначала все посмотреть. А потом я стану больным.

— Может быть, пройдем ко мне? — предложил Циана.

— А затем я должен буду поговорить с доктором,— сказал Каренин.— Но сначала мне хочется поближе познакомиться со всем, что тут у вас делается, и побеседовать с вашими людьми.

Он поморщился и шагнул вперед.

— Почти всю свою работу я уже привел в порядок,— сказал он.

— Вы много работали последнее время? — спросила Рэчел Боркен.

— Да. А сейчас мне нечего больше делать, и это както странно... Ужасно скучная вещь — болезнь и необходимость заниматься собой. Эта дверь и этот ряд окон очень хороши — полоска золота на сером граните, и вдали, в пролете арки, горы. Да, это очень красиво...

2

Каренин лежал, укутанный в белый пушистый плед, а Фаулер, которому была поручена операция, беседовал с ним, присев на край кровати. Помощник Фаулера скромно сидел в стороне и молчал. Все обследования были закончены, и Каренин знал, что̀ ему предстоит. Он был утомлен, но безмятежно спокоен.

— Итак, если вы меня не оперируете, я умру,— сказал он.

Фаулер кивнул.

— А после операции,— улыбаясь сказал Каренин,— я, возможно, все равно умру.

— Не обязательно.

— Допустим. Но смогу ли я вернуться к работе?

— Можно надеяться...

— Итак, скорее всего я умру, а если не умру, то, весьма вероятно, стану никчемным инвалидом?

— Я считаю, что если вы останетесь в живых, то сможете продолжать работать... так же, как сейчас.

— Ну что ж, в таком случае я, по-видимому, должен рискнуть. Но не могли бы вы, Фаулер... не могли бы вы напичкать меня лекарствами и подвинтить меня немного вместо всей этой... вивисекции? Несколько дней активной жизни на лекарствах... а затем конец?

Фаулер задумался.

— Мы еще не научились делать подобные вещи,— сказал он.

— Но близок день, когда вы научитесь?

Фаулер кивнул.

— Вы заставляете меня чувствовать себя так, словно я последний урод на земле. Уродство — это неуверенность в себе... Неопределенность. Мое тело работает ненадежно, нельзя даже понять, будет оно жить или умрет. Скоро, вероятно, настанет время, когда тела, подобные моему, уже не будут появляться на свет.

— Видите ли,— помолчав, сказал Фаулер,— миру необходимы такие души, как ваша.

— Да, пожалуй,— сказал Каренин,— моя душа как-то послужила миру. Но не потому, что она заключена в такое тело, вы ошибаетесь, если так думаете. В уродстве нет никаких скрытых достоинств. Меня всегда раздражало... мое состояние. Если бы я мог передвигаться свободнее и пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет человеку здоровье, я сделал бы больше. Но, быть может, со временем вы научитесь превращать деформированное тело в полноценное. Ваша наука еще только зарождается. Это более тонкая вещь, чем физика или химия, и ей требуется больше времени, чтобы начать творить чудеса. А тем временем кое-кому из нас придется примириться со своей участью и умереть.

— В этом направлении уже проделана изумительная работа,— сказал Фаулер.— Я имею право говорить так, потому что моей заслуги тут нет. Я умею делать выводы из того, чему меня учат, могу оценить достижения тех, кто талантливее меня, и руки у меня хорошие, но те, другие — Пигу, Мастертон, Лай и остальные,— они стремительно прокладывают пути к новым вершинам

знания. У вас была возможность следить за их работой?

Каренин отрицательно покачал головой.

— Однако я могу представить себе ее грандиозный размах,— сказал он.

— У нас здесь работают сейчас очень много людей,— сказал Фаулер.— Мне кажется, что по сравнению с девятнадцатым веком количество людей, которые мыслят, бьются над разрешением задач, ведут наблюдения, ставят опыты, возросло по меньшей мере в тысячу раз.

— Не считая тех, кто ведет учет этой работе?

— Да, не считая их. Научно поставленная регистрация всей исследовательской работы — это, конечно, сама по себе очень большая задача, и лишь теперь мы начинаем ее по-настоящему осуществлять. И уже ощущаем ее плодотворный результат. С тех пор как этот труд перестал оплачиваться, ему посвящают себя только те, у кого есть склонность к такого рода занятию, и оно превратилось в призвание. Здесь у нас есть копия энциклопедического индекса — я покажу ее вам сегодня, вам это будет интересно,— и каждую неделю карточки вынимаются и заменяются новыми, с последними данными о результатах работ; их доставляют нам аэропланы департамента исследовательских работ. Это индекс знаний, и он непрерывно растет, становится все более точным. Подобного индекса еще никогда не существовало на земле.

— Когда я начал работать в Комитете Образования,— сказал Каренин,— подобный индекс всех человеческих знаний казался чем-то неосуществимым. Научные исследования приносили хаотические горы результатов, о которых сообщалось на сотнях различных языков, в тысячах всевозможного рода публикаций...— Он улыбнулся, вспоминая.— Как нас пугала эта работа!

— Теперь этот хаос почти полностью приведен в порядок. Вы сами увидите.

— Да, я был слишком погружен в свою работу... Конечно, мне это будет очень интересно.

Пациент внимательно посмотрел на своего хирурга.

— Вы постоянно работаете здесь? — внезапно спросил он.

— Нет,— сказал Фаулер.

— Но большую часть времени вы работаете здесь?

— Из последних десяти лет в общей сложности я проработал здесь семь. Время от времени я уезжаю — спускаюсь туда, вниз. Это необходимо. По крайней мере мне это необходимо. Порой все здесь словно одевается серой пеленой, и тебя охватывает тоска по жизни — настоящей, исполненной страсти, когда любишь, когда ешь и пьешь ради удовольствия есть и пить... тоска по шумной толпе, интересным неожиданностям и смеху — главное, по смеху...

— Да, да,— сказал Каренин.

— А потом наступает день, когда ты внезапно снова вспоминаешь эти горы...

— Именно так жил бы и я, если бы не мое... не мои физические недостатки,— сказал Каренин.— Тому, кто этого не испытал, никогда не понять, как мучительно ощущение неполноценности. Прекрасен будет тот день, когда на земле не останется никого, чье тело мешало бы ему вести обычную человеческую жизнь, чей дух не мог бы по своему желанию подниматься к этим вершинам.

— Мы скоро этого достигнем,— сказал Фаулер.

— Из поколения в поколение человек стремился ввысь, стремился подняться над унизительной неполноценностью своего тела и духа. Над страданиями, слабостями, подлым страхом, унынием, отчаянием. Как хорошо мне все это знакомо! Они отняли у меня куда больше времени, чем три года, которые вы отдали отдыху. Но ведь каждый человек в какой-то мере калека и в какой-то мере животное? Я хлебнул этого чуть больше, чем другие, вот и все. Только теперь, полностью осознав эту истину, человек сможет обрести над собой власть, которая позволит ему уничтожить в себе калеку и животное. Теперь, перестав быть рабом своего тела, он впервые сможет познать полноценную телесную жизнь... Это совершится еще при жизни вашего поколения. Ветхий Адам и все остатки скотов, пресмыкающихся и прочих тварей, которые еще гнездятся в наших телах и душах, полностью подчинятся вам, не так ли?

— Вы формулируете это чересчур смело,— сказал Фаулер.

Его осторожность заставила Каренина весело рассмеяться...

— Когда,— внезапно спросил Каренин,— когда вы будете меня оперировать?

— Послезавтра,— сказал Фаулер.— В течение суток вам придется есть и пить только то, что будет мною предписано. А думать и беседовать вы можете, о чем вам будет угодно.

— Мне хотелось бы осмотреть ваш Институт.

— Вы его осмотрите сегодня после обеда. Я распоряжусь, чтобы для вас приготовили носилки. А завтра полежите на террасе. Ни одни горы в мире не сравнятся красотой с нашими...

3

На следующее утро Каренин поднялся рано и видел, как солнце вставало из-за гор; он съел легкий завтрак, после чего его секретарь Гарденер пришел узнать, как предполагает Каренин провести этот день. Хочет ли он кого-нибудь видеть? Или, быть может, терзающая его боль слишком мучительна?

— Я буду рад побеседовать с кем-нибудь,— сказал Каренин.— Здесь, несомненно, много самых различных людей, обладающих живым умом. Пусть придут поболтать со мной. Это развлечет меня... Вы не можете себе представить, какой интерес пробуждается ко всему, когда увидишь зарю своего последнего дня.

— Последнего дня?!

— Фаулер убьет меня.

— Он этого не думает.

— Фаулер убьет меня. И даже если не убьет, то мало что от меня оставит. Словом, так или иначе это мой последний день. Если и настанут какие-то дни потом, это уже будет шлак. Я знаю...

Гарденер хотел что-то сказать, но Каренин продолжал:

— Я надеюсь, что он убьет меня, Гарденер. Не будьте... не будьте старомодны. Больше всего на свете я боюсь именно этих последующих дней — этого жалкого лоскутка жизни. Прозябать залатанным и возвращенным к жизни куском истерзанной болью материи? То-

гда... тогда все, что я скрывал, подавлял, отбрасывал или исправлял, возьмет надо мной верх. Я сделаюсь сварлив. Я могу потерять контроль над своим эгоизмом. А он и так никогда не был особенно надежным. Нет, нет, Гарденер, молчите! Вы сами знаете, вы видели, как этот эгоизм прорывался порой. Что будет, если я перенесу операцию и возвращусь к жизни — тщеславный, завистливый, ничтожный — и то уважение, которое завоевала мне среди людей моя полезная работа, использую в своекорыстных мелких целях калеки?..

Он на мгновение умолк, глядя, как туман в глубоких ущельях вспыхивает, пронизанный лучами восходящего солнца, превращается в светящиеся облака и тает.

— Да,— повторил он,— я боюсь наркоза, боюсь этих лохмотьев жизни. Жизнь — вот чего мы все страшимся. Смерть! Смерть не страшна никому. Фаулер — искусный хирург, но когда-нибудь хирургия будет лучше понимать свой долг и не будет так стремиться к тому, чтобы спасти... спасти лишь потому, что еще теплится что-то. Я старался держаться до конца, как должно, и делать свое дело. Я знаю, что после операции работа будет мне уже не по силам. Так что же мне тогда останется? Да, я знаю, что буду уже не способен работать...

Не понимаю, почему надо так дорожить последней, волочащейся по земле ниточкой размотанного клубка жизни... Я, калека от рождения, знаю, что жизнь прекрасна. Я знаю это слишком хорошо, чтобы не путать ее зерно с мякиной. Запомните это, Гарденер. Быть может, в последнюю минуту у меня не хватит духу, и я впаду в отчаяние, и конец мой будет омрачен неблагодарностью и малодушным забвением всего, кроме боли... Не верьте тому, что я, быть может, скажу тогда... Если ткань хороша, то ее обтрепанный край не имеет значения. Не может иметь значения. Пока мы существуем, мы существуем только в каждое данное мгновение, но после смерти мы — вся наша жизнь от первого вздоха до последнего.

4

Вскоре, как пожелал Каренин, к нему стали приходить люди, и, беседуя с ними, он смог снова забыть о себе. Рэчел Боркен довольно долго сидела с ним на тер-

расе, разговаривая преимущественно о жизни женщин. С ней пришла девушка по имени Эдит Хейдон, уже завоевавшая себе широкую известность как цитолог. Кроме них, у него побывали молодые ученые, работавшие там, поэт Кан — больной, и Эдвардс, театральный художник. Беседа переходила с предмета на предмет и становилась то глубокой, то поверхностной, в зависимости от темы. А потом Гарденер записал все, что ему удалось запомнить, так что мы можем еще раз ознакомиться с мировоззрением Каренина, узнать его взгляды и отношение ко многим важным сторонам жизни.

— Мы жили до сих пор в эпоху смены декораций,— сказал он.— Мы готовили сцену, очищали ее от реквизита уже разыгранной и прискучившей драмы... Если бы мне удалось посмотреть хотя бы первые явления нового спектакля!.. Как страшно загроможден был мир! Он страждал, как стражду сейчас я, под все растущим ненужным бременем. Он был запутан, сбит с толку, он был в смятении. Он мучительно жаждал освобождения, и, быть может, ничто уже не могло освободить его и оздоровить, ничто, кроме ярости и насилия атомных взрывов. Вероятно, они были необходимы. Подобно тому, как в пораженном болезнью организме постепенно воспаляется один орган за другим, так, мне кажется, в старом мире загнивало в последние годы его существования все. Устарелые формы общественной жизни подчиняли себе, порабощали все новое и прекрасное, что дарила миру наука. Национализм, всевозможные политические организации, право собственности, институты, церкви и секты присваивали себе новые силы, сулившие неограниченные возможности, и обращали их во зло. Они не терпели свободной речи, они преграждали путь образованию, они не могли позволить никому подняться до задач нового времени... Вы молоды, и вам не понять, какое отчаянное возмущение и безвыходное отчаяние владело нашими душами — душами тех, кто верил в безграничные возможности науки в канун открытия атомной энергии...

И суть не только в том, что большинство людей не могло понять, не хотело слушать,— в том, что у тех, кто понимал, не хватало веры. Они видели все, что происходило, они обсуждали это и не могли сделать вывода...

Недавно я перечитывал старые газеты. Просто поразительно, как наши отцы относились к науке. Они ненавидели ее. Они ее боялись. Они позволяли существовать и работать лишь какой-то жалкой группке ученых... «Пожалуйста, не делайте нам никаких открытий о нас самих,— говорили они им,— не заставляйте нас прозревать, оставьте нас в покое в нашем узком привычном мирке, не пронзайте его ужасным лучом вашего познания. Но изобретайте для нас разные фокусы — не слишком серьезные, в пределах нашего понимания. Дайте нам дешевое освещение. И научитесь лечить нас от некоторых неприятных болезней — от рака, от туберкулеза, от насморка — и найдите нам средство от ожирения...» Мы все это изменили, Гарденер. Наука перестала быть нашей служанкой. Мы чтим ее как нечто более высокое, чем наши отдельные личные судьбы. Это пробуждающийся разум человечества, и скоро... скоро... Как мне хотелось бы еще посмотреть — теперь, когда занавес уже поднят...

Пока я лежу здесь, они расчищают то, что осталось от Лондона после взрывов атомных бомб,— продолжал он.— Потом они начнут восстанавливать здания и постараются вернуть им тот вид, какой они имели до взрыва. Быть может, они раскопают под обломками и тот старый домишко в Сент-Джон Вуд, где нашел приют мой отец после изгнания из России... Лондон моего детства встает у меня в памяти, словно город на какой-то другой планете. А вам, тем, кто моложе, вероятно, кажется, что такого города просто не могло быть на земле.

— А много ли от него уцелело? — спросила Эдит Хейдон.

— Говорят, что в южном и северо-западном районах города дома стоят почти не тронутые на площади в несколько квадратных миль; сохранились также мосты и большая часть доков. Вестминстер, где помещались почти все правительственные учреждения, сильно пострадал от маленькой бомбы, совершенно уничтожившей парламент; от старинной улочки Уайтхолл и всего прилегающего к ней района правительственных зданий не осталось почти ни следа, но сохранилось очень много рисунков и чертежей стоявших там зданий, а огромная яма в восточной части Лондона не имеет особого значе-

ния. Это был район бедняков и мало чем отличался от северной окраины и южной... Почти все можно будет воссоздать... И это очень нужно. Уже сейчас порой трудно становится восстановить в памяти былое — даже нам, кто видел его своими глазами.

— Мне все это кажется таким далеким,— сказала девушка.

— Это был нездоровый мир,— задумчиво произнес Каренин.— Когда я вспоминаю детство, мне кажется, что каждый из окружавших меня людей был чем-то болен. И они действительно были больны. Они были больны от сумбурности жизни. Каждый был охвачен беспокойством из-за денег, и каждый был занят чем-то, что было ему совсем несвойственно. Питались они какой-то странной смесью пищевых продуктов, и ели либо слишком мало, либо слишком много и когда придется. Насколько все они страдали от болезней, видно хотя бы из объявлений и реклам. Все здания в новой части Лондона, которые сейчас раскапывают, залеплены рекламами различных пилюль. По-видимому, каждый тогда глотал какие-нибудь пилюли. На Стрэнде в одном из отелей нашли уцелевший под обломками чемодан какой-то дамы, и оказалось, что она имела при себе пилюли и таблетки девяти сортов. За веком носящих при себе оружие последовал век носящих при себе пилюли. И то и другое одинаково странно для нас. Кожа их должна была находиться в отвратительном состоянии. Очень немногие мылись как следует. Одежда их была пропитана грязью, которая накапливалась в ней месяцами. Все носили старую одежду. Наш способ обновлять одежду, расплавляя ее и отливая заново каждую неделю, показался бы им совершенно фантастическим. Об их одежде даже думать неприятно. А в какой тесноте они жили! В этих ужасных городах, в которых нельзя было повернуться, чтобы кого-нибудь не задеть. В диком грохоте. Сотни людей гибли в уличных катастрофах. В Лондоне одни только автомобили и омнибусы убивали и калечили ежегодно двадцать тысяч человек, а в Париже было еще хуже: на запруженных толпами улицах люди падали замертво от недостатка воздуха. Жизнь лондонцев была полна таких раздражителей, внешних и внутренних, что от этого нетрудно было потерять рассудок. Это был обезумевший

мир. Он был как бред больного ребенка. Те же лихорадочные фантазии, те же бессмысленные требования и горькие разочарования.

— Вся история,— сказал Каренин,—это летопись детства... И все же нет, не совсем. В ребенке, даже в больном ребенке, всегда есть что-то удивительно чистое, и какая-то своеобразная сила, и вместе с тем что-то трогательное. Но старый мир слишком часто вызывает в нас возмущение. Так часто поступки этих людей кажутся нам чудовищно глупыми, отвратительно, нарочито глупыми, а это прямо противоположно всему, что молодо и свежо.

— На днях я читал о Бисмарке, об этом политическом герое девятнадцатого столетия, об этом преемнике Наполеона, боге крови и железа. А ведь он был просто тупым и упрямым любителем пива. Да, вот кем он был — самым заурядным, грубым человеком, когда-либо достигавшим величия. Я видел его портреты: обрюзгшее, жабье лицо, выпученные глаза и густые усы, скрывающие безвольный рот. Он знать ничего не хотел, кроме Германии — Германии разросшейся, Германии раздувшейся, Германии вознесшейся. Германии и того класса, к которому он сам принадлежал. И вне этого для него не существовало никаких идей; настоящие идеи были ему недоступны; его разум никогда не поднимался выше примитивного коварства деревенского хитреца. И этот человек был самым влиятельным лицом в мире — во всем мире! Никто не оставил после себя столь глубокого следа, потому что повсюду находились такие же грубые души, как он сам, охотно вторившие его рыку. Он растоптал десятки тысяч прекрасных творений, а злобным душам этих деревенщин нравилось смотреть, как он топчет красоту. О нет, он не был ребенком; его тупой национализм и агрессивность — это не ребячество. Детство — это обещание. А он был пережитком. И вся Европа, внимая бряцанию его сабли, приносила ему в жертву своих детей, приносила в жертву образование, искусство, радость и все свои надежды на счастливое будущее. Этот старый дурак поклонялся кумиру «крови и железа», и эта чудовищная религия распространилась на весь мир. И так было до тех пор, пока атомные бомбы не расчистили нам снова путь к свободе...

— Теперь он представляется каждому из нас чем-то вроде мегатерия,— сказал один из юношей.

— Человечество за время своего существования создало три миллиона больших орудий и сто тысяч огромных судов, служивших единственной цели — войне.

— Неужели не было в те времена на земле разумных людей, которые восстали бы против этого идолопоклонства? — спросил тот же юноша.

— Их уделом было отчаяние,— сказала Эдит Хейдон.

— Как он далек от нас... А ведь есть люди, которые родились еще при Бисмарке!— воскликнул юноша.

5

— И все же я, быть может, несправедлив к Бисмарку,— сказал Каренин, следуя течению своих мыслей.— Видите ли, люди — всегда порождение своего века. Мы стоим на фундаменте сложившихся представлений своей эпохи, а воображаем, что твердо стоим на земле. Както раз я познакомился с очень приятным человеком, маори, прадед которого был каннибалом. У него случайно сохранился дагерротип этого старого грешника, и оказалось, что прадед и правнук удивительно похожи. Было совершенно очевидно, что, переместись они во времени, каждый с успехом заменил бы другого. Люди, жестокие и глупые в эпоху глупости, могли бы проявить блестящий ум, мягкость и благородство характера в просвещенный век. И у мира в целом тоже могут быть подъемы и упадки духа. Подумайте о том, какой духовной пищей питался мозг Бисмарка в детстве: унизительность наполеоновских побед и завершающее торжество Битвы народов... В те дни все, и глупцы и мудрецы, равно верили, что раздел мира на множество отдельных государств неизбежен и что так будет продолжаться еще тысячелетиями. Это и было неизбежно до тех пор, пока не стало невозможным. И всякого, кто стал бы открыто отрицать эту неизбежность, сочли бы... о да, разумеется, сочли бы *глупцом*. Старик Бисмарк провозглашал общепризнанные истины, он был только чуточку более других... энергичен. Вот и все. Он полагал, что поскольку должно существовать национальное правительство, то он создаст такое,

которое будет сильным в своей стране и непобедимым за ее пределами. И если он жадно впитывал в себя идеи, которые, как мы понимаем теперь, были глупыми, это еще не значит, что сам он был глупцом. Нам больше повезло, чем ему: наш мозг питался идеями коллективизма и единства. Что бы сейчас было с нами, если бы не милость науки? Я был бы ожесточившимся, озлобленным, затравленным русским интеллигентом, конспиратором, арестантом или цареубийцей. А вы, моя дорогая, были бы суфражисткой и били бы грязные стекла витрин.

— *Нет, не была бы!* — с достоинством заявила Эдит.

Беседа изменила направление, приняв шутливый характер, и молодые люди поддразнивали друг друга, а старик с улыбкой прислушивался к их болтовне, но затем один из молодых ученых направил разговор в новое русло. Он заговорил горячо, словно излагая заветные мысли.

— Видите ли, сэр, мне кажется — конечно, это трудно доказать,— что цивилизация была на краю гибели, когда на нее обрушились атомные бомбы; мне кажется, что, не будь Холстена, не будь открыта искусственная радиоактивность, старый мир все равно был бы сокрушен... С той только разницей, что после катастрофы он не возродился бы к лучшему, а погиб бы безвозвратно. Я отчасти занимаюсь вопросами экономики и должен сказать, что с экономической точки зрения столетие, предшествовавшее открытию Холстена, было столетием бессмысленного расточительства, которое с каждым годом нарастало. И только крайним индивидуализмом тех лет, только полным отсутствием всякого взаимопонимания между людьми или какой-либо общей цели можно объяснить такое расточительство. Человечество истощало свои ресурсы, как... умалишенный. Люди израсходовали три четверти всего запаса каменного угля, имевшегося на планете, они выкачали почти всю нефть, они истребили свои леса, и им уже стало не хватать меди и олова. Они истощили и заселили свои пахотные земли, а их огромные города так понизили уровень воды в тех местностях, которые они считали пригодными для жилья, что каждое лето наступала засуха. Вся общественная система стремительно приближалась к полному банкротству. А они из года в год тратили все больше и больше средств и энергии на военные приготовления, и промышленность

все больше попадала в зависимость от капитала. Когда Холстен начал свои изыскания, экономическая система уже шаталась. Но в целом мир не чувствовал надвигающейся опасности и не стремился проникнуть в ее причины. Люди не верили, что наука может спасти их, да и не понимали, что их нужно от чего-то спасать. Они не видели, не хотели видеть пропасти, разверзшейся у их ног. Человечеству просто случайно повезло, что кто-то продолжал заниматься наукой. И, как я уже сказал, сэр, если бы не этот спасительный вариант, все равно вскоре настал бы крах, революция, паника, полный распад общества, голод и — это тоже вполне вероятно — полный хаос... И сейчас рельсы ржавели бы на опустевших железнодорожных путях, телефонные столбы, сгнив, валялись бы на земле, океанские пароходы превращались бы в портах в груды ржавого железа, а выжженные, опустевшие города сделались бы пристанищем шаек грабителей. И мы, быть может, были бы теперь разбойниками в потрясенном, распавшемся мире. Вы улыбаетесь, а ведь это уже случалось в истории человечества. Земной шар и сейчас еще начинен остатками погибших цивилизаций. Варвары сделали из Акрополя свой оплот, а гробница Адриана была превращена в крепость, воевавшую на развалинах Рима против Колизея... Кто поручится, что все это никак не могло повториться в 1940 году? И разве все это так далеко ушло от нас в прошлое даже сейчас?

— Нам это кажется очень далеким теперь,— сказала Эдит Хейдон.

— Ну, а сорок лет назад?

— Нет,—сказал Каренин, устремив взгляд на горы,— по-моему, вы недооцениваете, каких высот уже достиг человеческий интеллект в те первые декады двадцатого столетия. Я знаю, что в общественной, политической жизни этот интеллект мало проявлял себя, но он существовал. И ваша гипотеза представляется мне маловероятной. Я сомневаюсь, чтобы открытие атомной энергии могло задержаться. В ходе научных открытий существует своя непреложная логика. Более ста лет человеческая мысль и наука шли своим путем, независимо от событий повседневной жизни. Дело в том, что они сбросили с себя путы. Не будь Холстена, появился бы дру-

гой, подобный ему. И не в тот год, так в следующий атомная энергия была бы открыта. В Риме — эпохе упадка — наука только зарождалась... Ниневия, Вавилон, Афины, Сиракузы, Александрия — эти первые, неуклюжие попытки объединения, создавали краткий период стабильности, давали передышку, во время которой зародился дух исканий. Человек должен был пробовать, проделывать опыты, прежде чем понял, как надо начинать. Но уже двести лет назад он по-настоящему начал... Политические распри, дипломатические интриги, войны девятнадцатого и двадцатого столетий — все это было последней вспышкой костра, на котором, как феникс, сгорела старая цивилизация, озарив рождение новой цивилизации. Той, которой служим мы...

— Человек всегда живет на заре существования, — сказал Каренин.— Жизнь — всегда начало и только начало. Она начинается беспрерывно и вечно. И каждый наш новый шаг кажется нам огромней предыдущего, но он лишь подготовка к следующему. Сто лет назад наше Современное Государство показалось бы просто мечтой, утопией; теперь же это привычные условия нашего существования. Но я задумываюсь о возможностях человеческого мозга, которые вот-вот развернутся под эгидой прочного покоя, обеспеченного ему этим государством, и эти величественные горы кажутся мне такими ничтожными...

6

Около одиннадцати часов Каренин пообедал, после чего проспал два часа под своим одеялом из искусственного меха. Когда он проснулся, ему принесли чай, после чего Гарденер, зная, что это его заинтересует, сообщил ему о некоторых затруднениях, возникших в Гренландии и на Лабрадоре в связи с моравскими школами. Затем некоторое время он провел в одиночестве, после чего к нему снова пришли Рэчел Боркен и Эдит Хейдон. Позже к ним присоединились Эдвардс и Кан, и разговор зашел о любви и месте женщины в возрожденном мире.

Над Индией в мерцающем мареве лежала гряда облаков; на востоке отвесные скалы, возносящиеся над пропастью, ослепительно сверкали под солнцем. Время от вре-

мени где-нибудь трескалась скала, и огромные куски ее летели в бездну, или внезапно со страшным грохотом обрушивалась лавина снега, льда и камней, повисала над бездной, как серебристая нить, и исчезала бесследно...

7

Вначале Каренин больше молчал, и Кан, чьи стихи пользовались большим успехом, заговорил о любви-страсти. Он сказал, что во все века, с первых дней возникновения человечества страстная личная любовь всегда была его заветной мечтой, но только теперь она наконец стала действительностью. Это была греза, за которой из поколения в поколение устремлялись люди, но она всегда ускользала от них в последний миг, когда, казалось, уже готова была осуществиться. На тех, кто стремился к ней слишком упорно, она почти неизменно навлекала гибель. Теперь, освободившись от всего низменного и темного, поднявшись над обыденностью, каждый мужчина и каждая женщина обретают надежду на торжествующую, осуществленную любовь. Новая эра — это Заря Любви...

Каренин слушал Кана, грустно задумавшись, и голос поэта словно бился об это молчание не в силах его преодолеть. Сначала Кан говорил с Карениным, но вскоре уже обращался и к Эдит Хейдон и к Рэчел Боркен. Рэчел слушала его молча, а Эдит наблюдала за Карениным и упорно избегала взгляда Кана.

— Я знаю,— сказал Каренин наконец,— что многие разделяют такую точку зрения. Я знаю, что увлечение любовью сейчас охватило весь мир. «Цветение» — великое стремление украшать жизнь, делать ее изящной, не могло не сказаться и тут. Я знаю, когда вы говорите: мир освобожден — вы хотите сказать, что он освобожден, чтобы любить. Там внизу, под этими облаками, пребывают влюбленные. Мне известны ваши стихи и песни, Кан, ваши почти мистические песни, в которых наш старый огрубевший мир растворяется в сияющей дымке любви — плотской любви... Но вы не правы, вы ошибаетесь, помоему. Вы молоды, наделены могучим воображением и видите жизнь... пылко, глазами молодости. Однако сила, которая привела человека на эти вершины, под эту чуть

подсиненную черноту неба и манит его вдаль — в грозную, величественную безграничность будущего,— это сила более мощная, более зрелая, более высокая, чем чувства, которые вы воспеваете... Всю мою жизнь (это было неотъемлемой частью моей работы) мне приходилось думать о плотской любви, освобожденной от всех оков, и о том неизведанном, что может заронить в душу человека эта полная свобода и почти безграничное могущество. И вот теперь я вижу, что весь мир пребывает в упоительном экстазе расточительства: «Будем петь и радоваться, будем прекрасны и подобны богам...» Оргия только начинается, Кан... Это неизбежно, но это не конец человечества... Подумайте, что мы такое? Еще вчера в безграничности времени жизнь пребывала в вечном полусне, настолько глубоком, что она не осознавала сама себя: ее отдельные воплощения, ее различные инстинкты, ее секундные преосуществления рождались, недоуменно смотрели вокруг, играли, испытывали желания, томились голодом, старели и умирали. Неисчислимые вереницы зрительных восприятий: картины пронизанных солнцем джунглей, речных заводей, дремучей чащи,— безотчетные желания, бьющиеся сердца, распростертые крылья и скрытый, подползающий ужас вспыхивали на мгновение жарким пламенем и исчезали без следа. Жизнь была непрерывной мучительной тревогой, которую озаряла игра тут же гаснущих отблесков. А затем появились мы — появился человек, и открыл глаза, и это был вопрос, и протянул руки, и это было требование, и возникли сознание и память, которая не умирает вместе с человеком, но живет и множится вечно—общее сознание, всеподчиняющая воля, пытливое проникновение вглубь и дерзание, достигающее звезд... Голод, и страх, и то, что кажется вам таким важным,— пол — все это лишь первичные частицы жизни, из которых мы все возникли. И я согласен с вами: все эти первичные чувства следует удовлетворить, ими нельзя пренебрегать, с ними надо считаться, но все они будут оставлены позади.

— Только не Любовь,—сказал Кан.

— *Я* говорю о плотской любви, о любви-сближении. Именно это вы и имеете в виду, Кан.— Каренин покачал головой.— Вы не можете одновременно и стоять под деревом и взбираться на его вершину,— сказал он.

— Нет,— помолчав, заговорил он снова,— это чувственное волнение, эти любовные перипетии — все это одно из состояний роста, и мы перерастаем их. До сих пор литература, искусство, взгляд на чувства и все эмоциональные формы нашего бытия были еще совсем юношескими; книги и пьесы, радости и надежды — все вращалось вокруг открывшегося вам чуда любви, но теперь жизнь шагнула вперед, и сознание повзрослевшего человечества обращается к другим предметам. Поэты, которые прежде умирали в тридцать лет, живут теперь до восьмидесяти пяти. И вы тоже будете еще долго жить, Кан! У вас впереди бессчетная вереница лет — и все они будут наполнены познанием... Над всеми нами еще тяготеет чрезмерное бремя пола и различных связанных с ним традиций, и мы должны от него освободиться. И мы уже освобождаемся от него. Мы уже открыли тысячи различных способов отдалять смерть, так что половой инстинкт, получивший такое сильное развитие на ранней, варварской ступени нашего существования, чтобы в достаточной мере уравновесить смерть, теперь стал молотом, лишенным наковальни, и бьет не по смерти, а по жизни. Вы, молодые юноши и девушки, поэты, хотите обратить ее в наслаждение. Что ж, наслаждайтесь. Это тоже может быть одним из способов избавления. Очень скоро, если у вас есть мозг, достойный этого названия, наслаждение вам надоест и вы подниметесь сюда во имя более высоких занятий. Старые религии и новые их видоизменения все еще пытаются, как я вижу, подавлять эти инстинкты. Пусть подавляют. Если им это удастся. В своих последователях. Любой путь в конце концов все равно приведет вас сюда, к вечным поискам знания, к великому упоению могуществом разума.

— Но, между прочим,— сказала Рэчел Боркен,— между прочим, половина человечества — женщины, специально приспособлены для... для любви и продолжения рода, хотя в этом теперь меньше нуждаются.

— Оба пола специально приспособлены для любви и для продолжения рода,— сказал Каренин.

— Однако основное бремя несут женщины.

— Но не психологически,— заметил Эдвардс.

— Право же,—сказал Кан,—если вы говорите о любви как о какой-то ступени в жизни человека, то не кажет-

ся ли вам, что эта ступень необходима? Совершенно независимо от задачи продолжения рода любовь между полами необходима. Разве не любовь, не чувственная любовь развязала крылья воображения? Ведь без этого толчка, без этого стремления оторваться от самого себя, стать безрассудным, забыть о себе наша жизнь была бы лишь удовлетворением поставленного в стойло вола, не так ли?

— Ключ, которым мы отмыкаем дверь, чтобы отправиться в путешествие,— сказал Каренин,— это средство, а не цель.

— А женщины?—воскликнула Рэчел.—Мы же существуем! Каково наше будущее как женщин? Неужели мы только ключ, который отпирает для вас, мужчин, двери воображения? Поговорим теперь об этой стороне вопроса. Я постоянно думаю о ней, Каренин. А вы — что вы думаете о нас? Ведь вы, вероятно, много размышляли над этими проблемами?

Каренин, казалось, взвешивал свой ответ, а потом сказал с расстановкой:

— Меня нисколько не интересует ваше будущее: как женщин. Меня нисколько не интересует будущее мужчин — как самцов. Я хочу уничтожить эти раздельные судьбы. Меня интересует только ваше общее будущее как носителей разума, как частиц единого разума всех человеческих поколений, продолжающих его пополнять. Ведь не только природа разделила человечество на две специфические половины, но люди сами всеми своими институтами, всеми своими обычаями всячески углубляют, преувеличивают это различие. Я же хочу, чтобы женщины утратили свою специфичность. Эта мысль не нова. Именно этого требовал Платон. Я не хочу, чтобы и дальше все шло по-прежнему и природное различие продолжало всячески подчеркиваться. Я его не отрицаю, но хочу уменьшить его и преодолеть.

— А пока мы... остаемся женщинами,— сказала Рэчел Боркен.

— Но нужно ли вам всегда думать о себе как о женщинах?

— Нас к этому вынуждают,— сказала Эдит Хейдон.

— Женщина, мне кажется, не перестает быть женщиной только потому, что одевается и работает, как муж-

чина,— сказал Эдвардс.— Вот вы, женщины, живущие здесь — я имею в виду женщин-ученых,— носите такую же белую одежду, как мужчины, гладко причесываетесь и занимаетесь своей работой так, словно на свете существует лишь один пол, и все же вы ничуть не менее женщины — даже если и не столь женственны, как те красавицы, которые живут там внизу, на равнине, одеваются ради удовольствия выставлять себя напоказ, думают только о любовниках и всячески подчеркивают свое отличие от мужчин... Наоборот, мы любим вас гораздо больше...

— Но ведь мы занимаемся нашей работой,— сказала Эдит Хейдон.

— Так какое это имеет значение? — спросила Рэчел.

— Если вы заняты работой и мужчины заняты работой, тогда, бога ради, оставайтесь женщинами, сколько вам нравится,— сказал Каренин.— Когда я призываю вас покончить со своей специфичностью, я думаю не об уничтожении пола, а об уничтожении этой одержимости полом, которая превращается в досадную и вредную помеху на пути жизни. Возможно, именно пол создал общество, и первой формой общества была семья, то есть союз полов, первым государством—объединение кровных родственников, первыми законами—половые запреты. До самого последнего времени понятие нравственности подразумевало прежде всего соблюдение определенных правил в отношениях полов, не преступающее установленных норм. До самого последнего времени главным жизненным интересом и целью обыкновенного среднего человека было содержать женщину и ее детей и властвовать над ними, а главную заботу женщины составляло стремление найти себе такого мужчину. В этом была драма, в этом заключалась жизнь. И зависть с ревностью, порождаемые этими стремлениями, правили миром. Вы только что сказали, Кан, что плотская любовь—это ключ, отмыкающий двери индивидуального одиночества, а я говорю, что до сих пор она отмыкала эти двери лишь для того, чтобы снова замкнуть их, сделав наше одиночество парным... Быть может, все это было необходимо когда-то, но теперь нам это не нужно. Все изменилось и продолжает изменяться крайне стремительно. Ваше будущее, Рэчел, как женщин сходит на нет.

— Неужели вы хотите сказать, Каренин, что женщины должны будут стать мужчинами?

— И мужчины и женщины должны стать людьми.

— Вы хотите уничтожить женщину? Но послушайте, Каренин! Это же не только вопрос пола. Независимо от нашего пола мы другие, чем вы. Мы по-другому воспринимаем жизнь. Забудьте на минуту, что мы... самки, Каренин, все равно вы увидите, что мы другие люди, с другим назначением. В некоторых областях мы как-то удивительно неспособны. Ну, вот я нахожусь здесь потому, что у меня есть организаторские способности, а Эдит здесь потому, что у нее искусные и терпеливые руки. Но это ничуть не меняет того факта, что почти вся наука в мире создана мужчиной, что мужчины и только мужчины творят историю и можно написать историю всех народов, населяющих землю, не упомянув почти ни одного женского имени. Но зато мы обладаем даром преданности, умением воодушевлять, инстинктивной тягой ко всему поистине прекрасному, жизнелюбием, особой чуткостью и зоркостью на добро и зло. Вы знаете, что в этом отношении мужчины по сравнению с нами слепцы. И вы знаете, что они беспокойны и порывисты. А у нас есть стойкость. Может быть, мы не способны открывать новые горизонты или прокладывать новые пути, но разве в будущем не предназначена для нас роль поддерживать, восполнять и сохранять? Роль, быть может, не менее важная, чем ваша? Столь же важная. На нас держится мир, Каренин, хотя, быть может, воздвигли его вы.

— Вы прекрасно знаете, Рэчел, что я разделяю ваши взгляды. Я не считаю, что женщина не должна больше существовать. Но я действительно считаю, что женщина-кумир, плотский кумир, не имеет больше права на существование. Я хочу, чтобы не существовало больше женщин, оружие которых — ревность, а талант — порабощение. Я хочу, чтобы не существовало больше женщин, которых можно завоевать, как приз, или запереть, как драгоценность. А там внизу, на равнине, именно этому кумиру кадят фимиам.

— В Америке,— сказал Эдвардс,— мужчины дерутся на поединках, отстаивая превосходство своей избранницы, и устраивают турниры в честь Королевы Красоты.

— В Лахоре я видел красивую девушку,— сказал Кан.— Она, словно богиня, восседала под золотым балдахином, а на ступеньках у ее ног сидели трое прекрасных мужчин, одетых и вооруженных, как на старинных полотнах. Они выражали этим свою преданность ей и ждали только ее позволения, чтобы сразиться за нее.

— Все это выдумки самих мужчин,— сказала Эдит Хейдон.

— Я уже говорил,— воскликнул Эдвардс,— что чувственная любовь гораздо ярче воспламеняет воображение мужчины, чем женщины! Какая женщина способна на подобные поступки? Женщина либо просто подчиняется, либо старается извлечь из них для себя выгоду.

— Все дурное, что есть в отношениях мужчины и женщины, обоюдно,— сказал Каренин.— Это вы, поэты, Кан, с помощью ваших любовных песен превращаете прекрасный товарищеский союз в возбужденный хоровод вокруг женщины. Однако в женщине, во многих женщинах заложено нечто, радостно откликающееся на этот призыв, они дают волю самому эгоистичному виду эгоизма — культу собственной личности. Они становятся своим собственным художественным творением. Они ухаживают за собой и украшают себя, как, вероятно, не смог бы ни один мужчина на свете. Они ищут себе золоченые балдахины. И даже когда они как будто восстают против этого, они, в сущности, преследуют ту же цель. Я читал в старых газетах о движении за эмансипацию женщин, возникшем накануне открытия атомной энергии. Такого рода движения, порождавшиеся стремлением освободиться от ограниченности и тирании пола, кончались еще более неистовым утверждением его, и женщины снова провозглашались героинями и возвеличивались еще больше. Елена, попадавшая в тюрьму за суфражизм, принесла по-своему не меньше зла, чем Елена Троянская, и до тех пор, пока вы не перестанете считать себя женщинами,— с мягкой улыбкой он погрозил Рэчел пальцем,— вместо того чтобы считать себя просто разумными людьми, до тех пор вам всегда будет грозить опасность стать жертвами... «еленизма». Думать о себе как о женщине — это значит не мыслить себя отдельно от мужчины. Вы не можете

этого избежать. А вы должны научиться — ради нас и ради вас самих — мыслить себя во вселенной рядом с солнцем и звездами. Вы не должны быть целью наших дерзновенных стремлений, вы должны сами разделять их с нами...

И широким жестом он указал на темно-синее небо над вершинами гор.

8

— На все эти вопросы наука скоро даст нам ответ,— сказал Каренин.— Пока мы сидим здесь и в довольно туманных выражениях обсуждаем на досуге, что нужно людям и что, возможно, будет, сотни умных и пытливых мужчин и женщин трудятся над этими проблемами уверенно и спокойно, трудятся из любви к знанию. Теперь самой богатой жатвы мы можем ожидать от психологии и физиологии нервной системы. Сложность отношений мужчины и женщины, проблема живучести эгоизма — все это временные беды, и с ними будет покончено еще в нашем веке. В один прекрасный день эти противоречия, которые кажутся такими укоренившимися, исчезнут, все, что кажется сейчас несовместимым, гармонично совместится, и мы будем так же решительно и смело отливать в прекрасную форму наши тела и души, наши чувства и наши взаимоотношения, как мы врезаемся сейчас в недра гор, и обуздываем морскую стихию, и меняем направление ветра.

— Это будет следующая ступень,— сказал Фаулер, который тоже вышел на террасу и молча сел на стул за спиной Каренина.

— Конечно, в старину люди были прикованы к своему городу или к своей стране,— сказал Эдвардс,—прикованы к домам, которыми они владели, или к работе, которой занимались...

— Я считаю,— сказал Каренин,— что способность человека к самосовершенствованию безгранична.

— Конечно, она безгранична,— сказал Фаулер, проходя вперед и присаживаясь на перила террасы, лицом к Каренину.— Знание неисчерпаемо, и возможности человека безграничны... Вы не устали от разговоров?

— Мне все это очень интересно,— сказал Каренин.— Мне кажется, в скором времени люди перестанут испытывать усталость. Вы скоро изобретете какое-нибудь средство, которое будет очищать организм от продуктов утомления и мгновенно восстанавливать истощенные ткани. Эту старую машину можно заставить работать без замедления и без остановки.

— Это возможно, Каренин. Но нам еще нужно многое узнать.

— А сколько часов в сутки мы не живем полноценно, а тратим на процессы пищеварения! Быть может, и от этого нас со временем можно будет избавить?

Фаулер утвердительно кивнул.

— А затем еще сон. Когда человек положил конец ночи, ярко осветив свои города и дома,— это произошло всего лет сто назад,— казалось, что теперь он, естественно, восстанет против своего восьмичасового бездействия. Быть может, скоро мы будем глотать какую-нибудь таблетку или нас будут помещать в поле действия какой-нибудь силы, после чего нам будет достаточно подремать часок, чтобы снова стать свежими и бодрыми.

— Фробишер и Амир Али уже ведут работу в этом направлении.

— И наконец, все помехи, которые несет с собой старость, все болезненные изменения, которые несут годы нашему организму, мало-помалу вы заставляете их отступать все дальше и дальше и все увеличиваете расстояние, отделяющее бурную и страстную юность от воздержанной старости. Человек, который прежде неуклонно слабел по мере того, как разрушались его зубы, и умирал, сейчас с надеждой смотрит вперед, веря, что срок его существования на земле будет продлен еще и еще. А тело человека и все его рудиментарные органы, все его предательские западни, в которых гнездилась для него опасность,— вам удается все лучше и лучше справляться с ними. Вы как бы заново лепите и перекраиваете это тело, и оно выходит из ваших рук обновленным. А психологи учатся отливать в новую форму мозг, освобождать его от болезненных комплексов, от дурных мыслей и побуждений, от всего, что его угнетает, и от предрассудков и узости. И в нас все больше повышается спо-

собность передавать по наследству то, чем мы овладели, и так сохранять это для человечества. Человечество беспрерывно накапливает силы, мудрость, опыт, знания и все больше подчиняет отдельную личность общей цели. Не так ли?

Фаулер подтвердил, что это действительно так, и принялся рассказывать Каренину о новых работах, проводящихся в Индии и в России.

— А как обстоит дело с проблемой наследственности? — спросил Каренин.

Фаулер рассказал об огромном научном материале, собранном и исследованном гениальным Ченом, которому удалось проследить довольно отчетливо законы наследственности и даже найти способы предопределять пол ребенка, некоторые черты его внешнего облика и многие наследственные особенности...

— Он действительно способен?..

— Пока еще это, так сказать, лабораторная победа,— сказал Фаулер.— Но завтра она принесет и практические результаты.

— Вот видите,—воскликнул Каренин, с улыбкой оборачиваясь к Рэчел и Эдит,— пока мы здесь развиваем всевозможные теории о мужчинах и женщинах, наука уже открывает силы, которые могут раз и навсегда покончить с этим старым спором! Если женщина станет для нас помехой, мы сведем это зло до минимума, а если какой-нибудь тип мужчины или женщины будет нам не по вкусу, мы не будем больше его воспроизводить. Все эти старые тела, эти старые телесные ограничения и вся эта якобы неизбежная грубая наследственность спадают с души человека, как сморщенный кокон с бабочки. Сам я, например, когда слышу о чем-либо подобном, ощущаю себя именно такой бабочкой, которая боится расправить еще влажные крылья. Ведь куда все это нас уводит?

— За грань человеческого,— сказал Кан.

— Нет,— ответил Каренин.— Мы по-прежнему можем твердо стоять ногами на этой земле, которая нас породила. Но воздушная сфера уже перестала быть для нас преградой, и земной шар уже не прикован к нашим ногам, как ядро к ступням каторжника... Скоро люди, научившиеся приспособляться к изменениям си-

лы тяжести, к иным давлениям и к разреженным неизвестным газам и страшному ощущению пустого пространства, отважатся покинуть пределы Земли. Одной этой планеты будет им уже мало; их дух заставит их устремиться ввысь... Разве вы не видите, как их смелые корабли, сверкая на солнце, устремятся к звездам и будут становиться все меньше и меньше, пока не превратятся в мерцающую светящуюся точку и не растают в синеве? Быть может, они одержат победу, быть может, погибнут, но за ними последуют другие... И словно откроется огромное окно,— закончил Каренин.

9

Когда день склонился к вечеру, Каренин и его собеседники поднялись на крышу здания, чтобы полюбоваться закатом, игрой красок на вершинах гор и последним брезжущим сиянием. К ним присоединились еще два хирурга из расположенных в нижнем этаже лабораторий, а затем сиделка принесла Каренину освежающий напиток в чашечке из тонкого стекла. Был тихий безветренный вечер; на севере в темно-синем безоблачном небе виднелись два серебристых биплана, летевших к обсерваториям на Эвересте, который лежал в двухстах милях отсюда за зубчатыми массивами на востоке. Все следили, как они плыли над горами и растаяли в синеве. Потом заговорили о работе этих обсерваторий. Понемногу разговор перешел на исследовательскую работу в целом, которая велась сейчас во всем мире, и мысли Каренина снова возвратились к совокупному интеллекту человечества и к великому будущему, открывавшемуся перед человеческой мыслью. Он задавал хирургам множество вопросов о перспективах их науки и с огромным интересом и волнением слушал все, что они ему рассказывали.

А пока они беседовали, солнце коснулось края гор, на мгновение превратилось в ослепительное полушарие жидкого огня, зазубренное снизу, и скрылось за кряжем.

Каренин, прищурившись, посмотрел на его пламенеющий край, прикрыл глаза рукой и умолк.

Внезапно он вздрогнул.

— Что с вами? — спросила Рэчел Боркен.

— Я совсем забыл...— сказал он.

— Что вы забыли?

— Я совсем забыл, что завтра меня будут оперировать. Я, Человек, провел сегодня такой увлекательный день, что чуть было не позабыл про Марка Каренина. Марк Каренин завтра ляжет под ваш нож, Фаулер, и весьма вероятно, что Марк Каренин умрет.— Каренин остановил возражения, подняв морщинистую руку.— Это не имеет значения, Фаулер. Это почти не имеет значения даже для меня. Ну, право же, разве это Каренин сидел здесь сейчас и разговаривал с вами? Не кажется ли вам, Фаулер, что это скорее наш общий разум — разум всего человечества говорил во всех нас и с нами? Вы, и я, и все мы выражали мысль за мыслью, но нить этих мыслей не принадлежала ни вам, ни мне. Мы все познали какую-то истину. И когда человек полностью и окончательно выразил свою сущность, став выразителем идеи, он как отдельная личность уже перестает существовать. Я чувствую, что уже опустошил этот неглубокий сосуд — этого Марка Каренина, который в юности так безраздельно и прочно держал меня в своих цепях. Ваша красота, дорогая Эдит, и ваш высокий лоб, дорогая Рэчел, и ваши твердые руки, Фаулер,— все это сейчас почти в такой же мере я сам, как эта рука, лежащая на подлокотнике моего кресла. И в такой же мере не я. А дух, жаждущий познать, дух, стремящийся созидать, дух, который живет в нас и говорит в нас сейчас, жил в Афинах, жил во Флоренции и будет жить, я убежден в этом, вечно...

И ты, древнее Солнце, в последний раз пронзающее мечами своих лучей ослабевшие глаза Марка,— берегись меня! Ты думаешь, что я умираю, а в действительности я лишь еще раз меняю оболочку, чтобы добраться до тебя. Десять тысячелетий я грозил достичь тебя, и скоро, знай, скоро я приду. После того как я совсем освобожусь от своего тела, и все личины будут сброшены. Теперь уже скоро, очень скоро, древнее Солнце, я устремлюсь к тебе, и достигну тебя, и опущу ступню на твое испещренное пятнами лицо, и ухвачу тебя за твои огненные кудри. Сначала я шагну на Луну, а затем

устремлюсь на тебя. Я уже говорил с тобой когда-то, древнее Солнце, миллионы раз я обращался к тебе, и сейчас эти воспоминания оживают во мне. Да, давно, давно — прежде чем я, Человек, сменил тысячи поколений, забытых ныне и превратившихся в прах,— я, волосатый дикарь, протянул к тебе руку и — о, как отчетливо я это помню! — увидел тебя в ловушке. Ты позабыло это, древнее Солнце?..

Слушай, древнее Солнце, я собираю себя воедино из капель индивидуальностей, которые разбивали меня на мириады рассеянных по миру частиц. Я собираю миллиард моих мыслей в единую науку и миллионы моих разрозненных стремлений в единую общую волю, в единую общую цель. Да, у тебя есть причины прятаться от меня за горами, да, ты можешь страшиться меня...

10

Каренин пожелал остаться наедине со своими мыслями, прежде чем вернуться к себе на ночь. Ему облегчили боль, которая снова начала его мучить, укутали в меха, потому что ночь несла с собой ледяной холод, и оставили его, и он еще долго сидел один, глядя, как догорает закат и надвигается ночной мрак.

Тем, кто незаметно наблюдал за ним, на случай если ему может что-либо понадобиться, казалось, что он совсем ушел в свои мысли.

Белые и лиловые пики гор на золоте заката вспыхивали и угасали в холодной синей дали, а над ними уже загорались яркие созвездия индийского неба, блеска которых не может затмить даже сияние луны. Луна поднялась из-за черной стены гор на востоке, но задолго до ее появления она послала вперед свои косые лучи, пронизав ими туман, лежащий в ущельях, и превратив башни и шпили Риво-Парджул в волшебно сияющий сказочный замок...

Но вот над черной кромкой скал вспыхнул свет, призрачный и яркий, и, словно оторвавшийся от соломинки мыльный пузырь, спокойная и ясная луна поплыла в бездонное темное небо...

И тогда Каренин встал. Он сделал несколько шагов по террасе и остановился, глядя на этот огромный серебряный диск, на этот серебряный щит, с которого должен начать человек свое победоносное проникновение в далекие миры...

Потом он повернулся и, заложив руки за спину, устремил взор на звезды в северной части неба...

Наконец он возвратился в свою комнату. Он лег в постель и проспал до утра, и сон его был спокоен. А рано утром к нему пришли, ему дали наркоз, и операция была произведена.

Она прошла успешно, но Каренин сильно ослабел и был вынужден лежать совершенно неподвижно.

А на седьмую ночь сгусток крови оторвался от рубцующейся ткани, достиг сердца, и Каренин умер мгновенно.

1913.

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.

Собрание сочинений в 15 томах.

Том IV.

Редактор тома И. Гурова.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 3/VII 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1156. Зак. 1196. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 15,5+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 25,83. Уч.-изд. л. 27,42.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.